Иван Шамякин

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

Иван Шамякин

СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ

РОМАН

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЕЛАРУСЬ“
МИНСК 1966

Бел2
Ш19

7-3-3
—66М

Перевод А. и З. Островских

Художник А. Кашкуревич

1

Доктор Ярош стоял на крыше веранды и свистел, заложив пальцы в рот. Свистел так, что казалось, с дубов сейчас осыплется листва. В голубую бездну неба поднималась стая голубей. Голуби кружили над дачей. У «николаевских красных» горели крылья. Вдруг стаю точно ветром сдуло; миг — и она уже далеко над бором. И доктор чуть не полетел следом за нею. Шагнул на самый край крыши. Под тяжестью его большого тела натужно скрипнули столбы веранды, зазвенели стекла. Он волновался, как мальчишка. Солнце, поднявшееся над бором, било прямо в лицо, ослепляло. Ярош заслонился от него не ладонью, а как-то по-детски локтем. На другом конце крыши стоял его сын Виктор, ростом чуть не с отца, но худой, тонкий, длинноногий. Он следил за голубями в полевой бинокль.

У колодца сидели на лавочке женщины. Их занимали не голуби, а голубятники.

— Смешно! Как ребенок. Целый день может гонять голубей,— с укором, но в то же время любуясь мужем, сказала Галина Адамовна.

— А мне нравятся люди, способные так увлекаться,— откликнулась Валентина Андреевна, не сводя глаз с Яроша.

— О, я приревную, Валя!

Сказала шутя и тут же почувствовала, как тревожно екнуло сердце. Покраснела.

Валентина Андреевна заметила краску на ее щеках и отвернулась: она хорошо знала свою подругу, ее болезненную подозрительность.

— Было бы к кому, Галя. Я уже старая баба. Видишь, как расплылась? Это я бы должна ревновать. Мой Кирилл каждый день ставит мне тебя в пример. «Смотри,— говорит,— как Галина умеет следить за собой: стройная, точно в двадцать лет».

— Полные всегда завидуют худым,— засмеялась Галина Адамовна, довольная похвалой.

С веранды на другой половине дома вышла дочка Шиковичей — Ира, одетая по-праздничному — яркая широкая юбка, белая блузка, белые босоножки. Этот легкий наряд подходил и к ее стройной фигурке и к веселому летнему утру.

Ира поправила очки и тоже стала вглядываться в небо. Голубиной стаи она своими близорукими глазами не увидела и, презрительно сморщив нос, сказала:

— Они давно уже в городе, ваши голуби.

— Не каркай! — бросил с крыши Виктор.

Это был первый гон привезенных из города на дачу голубей, и отец с сыном волновались: вернутся ли они?

Но как ни был занят Антон Кузьмич голубями, он не пропустил мимо ушей слов сына.

— Э-э, братец! Ты как это разговариваешь с девушкой? Она же старше тебя. А ты ей — «не каркай!». Ужас!

Валентина Андреевна заступилась за мальчика:

— Не велика барыня. Как она, так и с ней. Мы тут все на «ты». Одна семья.

Девушка с иронической улыбкой посмотрела на мать и повернула по тропинке к ручью, протекавшему метрах в сорока от дачи. Издали позвала:

— Наташка, пошли на луг!

Двенадцатилетняя дочка Яроша сидела на подоконнике, свесив ноги наружу, и читала, равнодушная к голубям, которые еще вчера вызывали в ней живейший интерес и, возможно, вызовут его завтра. Но сегодня ей было не до голубей. Она с головой ушла в «Приключения Гекльберри Финна» и то и дело хо-

хотала, стуча от восторга пятками по стене. Ириного приглашения она не услышала.

Галина Адамовна сказала:

— Наташка, тебя зовут.

Девочка не отзывалась.

— Наташка!

— А?

— Сходи с Ирой на луг, нарвите щавеля.

— О боже! — тяжело вздохнула Наташа.— Что за жизнь на этой проклятой даче! Странички не дадут прочитать человеку.

Женщины рассмеялись.

— Наталка! — крикнул Ярош.— Не ворчи, свекруха. Катись колобком на луг. Тебя голуби боятся.

— Житья нет от ваших голубей.— Наташа перекинула ноги через подоконник и скрылась в комнате.

Виктор между тем объявил:

— Летят!

— Где? Где?! — затопал по крыше Ярош, даже дом задрожал, выхватил у сына бинокль, радостно крикнул: — Ага, летят! Возвращаются. А что я вам говорил? Маловеры! — упрекал он неведомо кого, потому что никто не высказывал сомнений, если не считать Ириной реплики.

Стая голубей пронеслась над соснами, низко облетела вокруг дома, устремилась было к чердаку, к голубятне, но, спугнутая свистом Яроша, снова взмыла вверх.

Галина Адамовна, по-девичьи стройная, томно потянулась, закинув за голову голые руки.

— А хорошо тут. Я давно так не отдыхала.

— Хорошо, когда гостей нет. Каждый день гости. Надоело. Кирилл без конца кого-нибудь приглашает. Ему скучно без гостей. А мне стряпай да тарелки мой. Антон! — окликнула Валентина Андреевна Яроша.— Рыбу ловить пойдем?

У Галины опять загорелись щеки. Она боялась этих походов с удочками к реке, в густые заросли кустов, хоть, правда, ее мужу и Валентине никогда не приходилось оставаться там вдвоем, с ними шли либо Витя, либо Наташа или Ира, а чаще — все трое. Сама она нарочно не ходила, чтоб не подумали, что не дове-

ряет или следит. Нет, ей очень хотелось быть такой, как муж — он во всем верит ей,— как Шикович, равнодушный к тому, куда и с кем ходит его жена, как Валентина. Хочется... Но она не может. Она терзается. И не столько от самой ревности, сколько от стыда за нее, за себя, за то, что она не умеет, как другие. Да, если б он не был так хорош, ее Антон. В тысячный раз она залюбовалась его богатырской фигурой, устремленной в небо вслед голубиной стае, его сильными голыми руками, широким, мужественным лицом, каштановыми волосами. Она не знает волос красивее. Дураки те, кто говорит, что доктор Ярош рыжеват. Если б они пригляделись поближе, если б могли погладить эти мягкие волосы, почувствовать, как они пахнут, прижать эту умную голову к груди... Вот так... Она мысленно обняла мужа. И тут же почувствовала жгучую боль, подумав, что другая, чужая женщина когда-нибудь обнимала его. Закружилась голова. Как сквозь сон долетели до нее слова подруги.

— Утром спрашиваю: «Признавайся, Кирилл, кого пригласил на сегодня?» — «Никого»,— говорит. А по глазам вижу, что обманывает. Сбегу в луга на весь день. Пускай сам принимает. Что с тобой, Галя? Ты нездорова?

— Нет. Ничего.— Галина Адамовна бодро вскочила и засмеялась. Но смех ее звучал неестественно.

Ярош оторвался от голубей, посмотрел вниз на жену.

— Галка, что случилось?

— Ничего. Вон кто подбирается к вашим голубям.— Она показала в небо над лугом.

Там, в вышине, медленно кружил коршун.

— Витя, наказать агрессора. Сбить, как Пауэрса.

Отец и сын с равной прытью спрыгнули вниз. Виктор забежал в комнату и выскочил оттуда с ружьем. Мальчику только недавно разрешили пользоваться им, и он рад был каждому случаю блеснуть своими охотничьими талантами. Долговязый, согнувшись, едва не касаясь носом земли, он забавными прыжками мчался к ручью, рассчитывая кустарником незаметно добраться до того места, над которым кружил коршун.

Галина Адамовна крикнула:

— Витя, осторожно! Там где-то Ира...

Ярош следил глазами за сыном и беззвучно смеялся. Смеялось все его тело, источавшее здоровье и силу.

Голуби упали вниз. То ли почуяли опасность, то ли увидели, что хозяева, наконец, оставили свой пост и ничто не мешает им вернуться в голубятню. Но не залетели сразу на чердак, а всей стаей, шумно хлопая крыльями, расселись на перилах балкона по другую сторону дома.

Из окна мансарды высунулась лобастая голова с залысинами, которые глубокими заливами врезались в поросль длинных, слегка курчавых и сильно всклокоченных светлых волос.

— Что у вас тут за базар? — хмуро проворчал Шикович, блеснув золотым зубом.— Не даете человеку поработать спокойно.

— Ты, Кирилл, совсем как Наташка,— засмеялась Валентина Андреевна.— Все утро ходили на цыпочках. Не можем же мы так весь день.

— Сегодня воскресенье, Кирилл Васильевич. Надо отдыхать,— сказала Галина Адамовна.

Ярош хитро прищурился.

— Что-то глаза у тебя заспанные. Неужто от работы?

Голова Шиковича скрылась. Ярош и женщины рассмеялись. Через минуту Шикович появился на балконе в зелено-коричневой полосатой пижаме. Пугнул голубей:

— Кыш, черти! Уже нагадили.— И повернулся к Ярошу.— Я тебе дам — «глаза заспанные»! Эскулап несчастный! Тебе что? Вырезал слепую кишку — и никаких забот, гоняй голубей.

— Бедное человечество! Сколько оно потеряет, если не прочтет твоей статьи. Мир перевернется?

— Ну, завелись! Теперь надолго,— рассмеялась Валентина Андреевна.— Идем купаться, Галя.

— Наташка, купаться хочешь?

Девочка выглянула из окна, крикнула:

— Что хочу, то хочу! Тут желания наши, мамочка, всегда совпадают.— Она выскочила в открытое окно с полотенцем и книгой в руках.

В кустах хлопнул выстрел.

Коршун спокойно проплыл над усадьбой. Все проводили его глазами. Ярош посетовал:

— Промазал Виктор.

— Насыпьте ему соли на хвост,— хмыкнул Шикович наверху.

— Я тебя, скептика пузатого, сейчас сброшу с твоей голубятни!

Уходя, женщины слышали, как под тяжелыми шагами Яроша застонали ступеньки лестницы, ведущей на чердак, где Шикович оборудовал себе «кабинет». Потом, оглянувшись, увидели коротышку Шиковича, болтающего в воздухе ногами в объятиях богатыря Яроша.

— Пусти, черт! Кости переломаешь. Вот лапы! Клещи! Тебе не хирургом быть, а кузнецом. В жизни не видел такого врача. Отвяжись!

Тяжело дыша, Шикович вывернулся из рук Яроша и откатился на другой конец балкона.

— Валя просила каждый день делать тебе массаж. Вот видишь, сна как не бывало!

— Валя придумает! А сама ленится даже зарядку делать. Я хоть каждое утро полчаса ногами дрыгаю.

— Вот именно — дрыгаешь! Мало толку от твоей зарядки.

Ярош подошел и стал рядом, он был выше на целую голову. В городе, когда они вместе гуляли, на них оглядывались с улыбкой, а приятели подшучивали над ними. Но это не мешало их дружбе.

С минуту они молча глядели на луг, где меж кустов мелькали пестрые халаты их жен и Наташи. Женщины шли к дубам, за которыми искрилось тысячами солнц продолговатое зеркало воды. Это старица. Самой реки не видать, в незапамятные времена она отступила от леса на добрый километр. Виден только красный столб сигнального фонаря на берегу. Луг тут холмистый, он перерезан ручьями, канавами, берега которых заросли лозняком. На взгорках стоят дубы. В заречной дали синеет лес. Слева из зарослей кустарника выглядывают стрехи хат. И все-таки нигде, даже в широком поле, нет такого ощущения простора и необъятности, как здесь, особенно если смот-

реть отсюда, с высоты. Странно, но даже небо тут кажется выше, чем в других местах. И видишь все сразу — зеленую землю и голубое небо. И воду. Пусть немного ее, но в ней отражена небесная глубь и дубы. А повернись — и дивный бор, сосна в сосну, обступил небольшую обжитую поляну. Ближе к ручью, который отделяет лес от луга, сосны уступали место дубам-богатырям, каких немного осталось в наших лесах. К самому бору притулились старые постройки лесничества — контора, домики лесничего, лесника, конюшня.

Одинокая дача — это большое и немножко нескладное строение с разными по форме верандами, с мансардой только на одной половине — построена на границе леса и луга, под дубами. Шикович хвастался, что место выбрал он, позабыв, что Ярошу еще с партизанских времен известны были эти края.

Шикович встал на носки, потянулся, подняв руки, глубоко вдохнул воздух. Ему хотелось сказать в который уже раз: «Эх, какой живописный уголок! Похвали мой вкус, ты, эскулап!» Но сейчас он нашел другую форму:

— Кажется, что здесь даже воздуха больше, чем в городе. Какое небо! А?

— Больше кислорода.

— Для меня — воздух, для тебя — кислород. Это ж тебе не кислородная палатка. Мне здорово спится здесь,— Шикович засмеялся.— Острый у тебя глаз. Я и вправду задремал над своей статьей.

— А мы все утро ходили не дыша: Кирилл творит,— иронически улыбнулся Ярош.

— Это ты ходил не дыша, врун несчастный? Свистел, как Соловей-разбойник. Тебе приходилось когда-нибудь писать публицистические статьи?

— Нет, слава богу.

— То-то! Это мýка. Особенно на заказанную тему. Скажи, с тобой бывало, что ты хочешь сделать как можно лучше, понимаешь, что это в твоих силах, а не выходит? Получается какая-то жвачка. Скучная жвачка.

— Когда писал диссертацию, бывало. В работе — нет. Жвачка в нашей работе — упаси бог!

Шикович на минуту серьезно задумался.

— Я понимаю. Очевидно, чем больше ответственность, тем работаешь точнее.

— Разве когда ты пишешь, ты не чувствуешь ответственности?

— Черт его знает! Иной раз кажется, недостаточно чувствую.— И вдруг крикнул: — Видишь?

— Что?

— Радуга! Маленькая радуга возле дуба. Должно быть, Наташа плещется у берега. Хорошо! А не пойти ли и нам искупаться? — И сам себе решительно возразил: — Нет! Надо дописать эту злосчастную статью. Живицкий с меня три шкуры спустит, если завтра не сдам.

Однако, вместо того чтобы идти работать, Шикович плюхнулся в шезлонг, с наслаждением потянулся, показывая из-под пижамных штанов волосатые ноги, закрыл глаза и сказал:

— Надо писать. А то ведь предстоит еще выпивка. Я пригласил Гукана.

Ярош захохотал. Друг посмотрел на него с недоумением.

— Валя только что жаловалась, что не проходит дня, чтоб ты не позвал кого-нибудь в гости.

— А-а...

— Ты ставишь жену в тяжелое положение. Пригласил — и молчишь.

— Молчу. Ибо, во-первых, люблю экспромты. А вовторых, мое правило: лучше выслушать от жены нотацию потом, чем заранее. Пусть думает, что человек заглянул случайно, и все обойдется.

— На кой тебе Гукан?

— На что мне Гукан? — Шикович с усилием выбрался из глубокого шезлонга, чертыхнулся, подошел к Ярошу, который спокойно сидел на перилах, глядя на бор.

— Давно не беседовал с ним по душам. Лет шесть уже. Интересно, знаешь... Изменился ли он? И в каком направлении? Произошли такие события! Переворот в мозгах, в сердцах. А как он? Он, брат, из твердолобых. Интересно, как он относится к своей книге. К нашей книге, которую мы вместе писали. Он — автор,

я — литобработчик. Я, например, не пожалел многое перечеркнуть из того, что писал тогда. И эту книжечку мне хочется перетряхнуть основательно. Но надо знать, как смотрит он, автор. Если будет упираться — к черту! Я, обработчик, разгромлю его.

— Ого! — иронически воскликнул Ярош, не отрывая взгляда от верхушек сосен.— А не смелость ли это пьяного зайца, Кирилл?

От пижамы Шиковича отлетела пуговица и покатилась по полу. Заложив под пижамой руки за спину, воинственно выставив округлый живот, Шикович смерил могучую фигуру друга уничтожающим взглядом.

— Если б я тебя не знал, как знаю, я дал бы тебе по морде за такие слова. В разных ролях мне приходилось выступать, но в роли пьяного зайца никогда не был. И не буду! Прими это во внимание! Теперь нам известно в десять раз больше, чем десять лет назад, когда писалась книга, и нельзя показывать подполье так, как это сделал Гукан. О многом важном в ней — ни слова. О людях, которые погибли... Да и которые остались в живых. О тебе, например...

Ярош изменился в лице: как не бывало иронической усмешки, покоя, довольства, он помрачнел, словно от внезапной боли. Тихо сказал:

— Я играл в подполье второстепенную роль. А вот о других... О других надо было сказать. Но если забыли о них тогда, то стоит ли ворошить это сейчас, через семнадцать лет! Тревожить мертвых?

Когда Шикович, человек вообще спокойный, взрывался, он начинал размахивать руками и кричать.

— Антон! Мне стыдно слышать это от тебя. Такие мертвые не умирают! Они должны жить, стоять в одном строю с нами! И бороться! Не было героев безымянных!.. Это сказал человек, который сам отдал жизнь. Ты забыл? — Шикович ринулся в открытую дверь и тут же вернулся с книгой в руках.— Вот... «Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто погиб за себя и за вас...» Фучик! За себя и за нас! А ты — не надо тревожить мертвых. Кому-нибудь, может быть, и хочется, чтобы мертвые молчали. Но ты... Тебе-то зачем?

— Я не люблю вспоминать о своей подпольной жизни — ты ведь знаешь. На мою долю выпало очень уж тяжкое...

Ярош отвернулся, сжал руками перила так, что побелели пальцы, и стал глядеть на луг. Под дубами, на берегу старицы ходила женщина в купальном костюме. «Валя или Галя?» — подумал он, приглядываясь. И почувствовал прилив нежности к жене, к детям, к семье Шиковича — ко всем добрым людям и к этой чудесной природе, к земле и к небу. Ко всему на свете. Человек он был сентиментальный, и глаза его увлажнились. Чтобы скрыть свою слабость, не оборачиваясь, сказал сурово:

— А упреков таких мне не бросай! Я тех людей не забываю.

Шикович взял его за плечо и заставил повернуться.

— Не забываешь? — спросил мягко и вдруг оттолкнул от себя и опять закричал: — А что ты сделал, чтобы подвиг их стал известен? Рассказал ли хоть о них Виктору, Ирине, Наташе? Новому поколению?

— Не каждый умеет рассказать.

— Ты умеешь. Но тебе мешает твоя хирургия.

— Ну-у, знаешь...

— У тебя гуманная профессия. Ты избавляешь людей от страданий. И тебе кажется, что этого достаточно.

— Да. Пускай это звучит банально, по-газетному. Но в конце концов наши добрые дела — лучший памятник...

— За добрыми делами иной раз скрывается эгоизм, себялюбие. Я хотел поскорее окончить повесть и отмахивался от газетной работы, хотя мой фельетон мог помочь людям. А у тебя одна диссертация, теперь — вторая. Операции... И ты создал себе философию. За ней легко спрятаться. Работаешь ты — дай бог каждому! Но подумай, как было бы обидно и несправедливо, если б, например, история обороны Брестской крепости так и осталась погребенной под ее развалинами.

Шикович как-то чудно́, боком, откатился к двери, стал в узком проеме, упершись локтями в косяки. Он жаждал поспорить. И не для того, чтоб доказать что-

то своему собеседнику, а скорее, чтоб разжечь себя самого.

Ярош сказал после паузы:

— Я первый написал, что не согласен с вашей книгой.

— А потом — в кусты? — саркастически сощурил маленькие глазки Шикович.

Ярош вздохнул полной грудью и подошел к нему.

— Не будь, Кирилл, как говорит моя Наташка, «умным назад». Я вот что тебе скажу. Если этот запал у тебя не на один день, если ты серьезно хочешь заняться нашим подпольем,— вот тебе моя рука! — Шикович пожал протянутую руку.— А если ты позвал Гукана, чтоб потрепать старому человеку нервы,— я в такой игре не участник. Несмотря на его книгу, я уважаю Гукана. Человек воевал хорошо и поработал — дай бог каждому, как ты говоришь. Иди пиши свою статью.— Ярош шутливо толкнул друга в комнату.

2

Гукан к обеду не приехал.

Кирилл, шумный с утра, веселый и добрый после того, как кончил статью, начал хмуриться и злиться. Нарочно сообщил жене, что к обеду должен быть председатель исполкома. Валентина Андреевна всегда тонко улавливала настроение мужа и потому ни словом не упрекнула его.

— Пожалуйста. Обед у нас с Галей сегодня воскресный. Подождем.

Кирилл посмотрел на часы. Ему хотелось есть, может быть, потому он и злился. Пошел к Ярошу, который лежал у ручья под дубом и читал английский журнал.

— Вот свинья!

— Кто? — Ярошу почему-то стало смешно, и он прикрыл рукой улыбку.

— Когда я был ему нужен, он находил меня, где бы я ни был. Я специально просил в газете командировки в самые далекие углы. Гукан отзывал назад и еще упрекал, что у меня нет партийной совести. «Это книжка не моя. Это партийное поручение. И мне и тебе». Вот как!

— «Юпитер, ты сердишься...» И повторяю: не нравится мне то, что ты задумал. Пригласить человека, чтоб...

— Ей-богу я приглашал от души. И поговорить хочу по душам. В конце концов почему ты думаешь, что за эти годы взгляды его не изменились? Все изменилось.

— А если от души, так наберись терпения и, как добрый хозяин, прости. Мало ли что могло задержать человека. Ты сам не так уж аккуратен.

— Есть хочу.

— Тебе полезно поголодать.

Кирилл лег на спину, подложил руки под голову, сладко потянулся. Долго вглядывался в листву дуба. В ее гуще носились, сбивая сухие веточки, какие-то пичуги, но он никак не мог разглядеть их и с грустью подумал, что слабеет зрение. Незаметно подходит старость. Хотелось пофилософствовать на эту тему. Но Ярош углубился в чтение. Кирилл посмотрел на товарища и не решился помешать. В нем жило уважение к людям, читающим на иностранных языках. Уважение и зависть. Он жалел, что был лентяем и не изучил ни одного языка. Правда, тут же находил оправдание: его поколению было не до того. А Ярош разве не его поколение?

Ярош как-то сказал, что не поздно восполнить этот пробел и сейчас. Не поздно? Черта с два! Некогда почитать на родном языке, не только что изучать чужой.

А небо... небо какое сегодня! Ясное, оно ни минуты не остается одинаковым, в нем тысячи оттенков. И оттенки эти меняются на глазах. Вот как сейчас. И тучки-овчинки все разные — по форме, по контурам. Та, что плывет над лесничеством, похожа на... На что? На прическу Эллы, машинистки редакции. Кирилл грустно улыбнулся: не больно велик у него запас метафор и сравнений. Всегда мучается, пока подберет

меткое, свежее. Он винит в этом газету: она засушила. Даже небом долго любоваться не может — устает. Натура его жаждет деятельности.

— Доктор Ярош, в машине у меня есть бутылка коньяка... Давай раздавим. Тайком. А за обедом, на удивление своим «богом данным», будем пить одно кисленькое винцо.

Ярош засмеялся.

— У тебя характер авантюриста, Кирилл.

Обедали вместе, за общим столом, как часто бывало, на веранде у Ярошей, потому что в это время дня там тень. Только Ира к столу не вышла.

— Она поела уже,— ответила Валентина Андреевна на вопрос мужа.

Кирилл рассердился. Его возмущало отношение дочери. Он умышленно строил дачу вместе с Ярошем, чтоб легче было бороться с «семейным эгоизмом», а главное — с индивидуализмом детей. Черты этого индивидуализма тревожили, хотя проявлялся он у дочери и у сына совершенно по-разному.

— Твоя неорганизованность только питает их эгоизм,— попрекнул Шикович жену.— Что им до других, до порядка! Порядок — для родителей. А им — анархия. Захотела — поела, и будьте здоровы! Никаких забот. Мама сготовила, мама и тарелки помоет...

Галина Адамовна не боялась, что дети Шиковича, старшие по возрасту, окажут дурное влияние на ее Виктора и Наташу. Но она не любила, когда при ребятах заводили разговоры о воспитании. Ей вообще не нравились, хотя по сути правильные, рассуждения Шиковича на эту тему при детях. Она считала, что воспитание — это своего рода хитрый механизм, который должен действовать незаметно и вместе с тем ни на миг не останавливаясь: не греметь, не лязгать, не дымить, не чадить — работать безотказно. Раскладывая приборы, она бросила как бы между прочим и будто кольнула Кирилла вилкой в бок:

— А ты подавай пример.

Он с грохотом отъехал на стуле от стола, вскочил.

— Нет, ты послушай... Выходит, во всем виноват я! В чем? Хотел бы я, чтоб мне объяснили. Что я — трутень, лежебока, спекулянт, вор? Черт побери, я работаю день и ночь! Добросовестно, честно. Не кривлю душой. Не краду. Даже редко подхалимничаю.

— Однако бывает? — с иронией заметил Ярош, откупоривая бутылку вина.

— Преимущественно — перед женой.

— Что-то я не замечаю,— откликнулась Валентина Андреевна из комнаты, где протирала бокалы.

— Нет, кроме шуток... «Подавай пример»!.. В чем, дорогая Галина Адамовна? Что в конце концов главное в формировании человека? Труд. Я тружусь. И ты трудишься! — крикнул он жене.— Так почему же наши дети не научились работать? Почему растут эгоистами? Вот что меня волнует...

— Твои дети не хуже других,— сказала с обидой Валентина Андреевна, появляясь на пороге с рюмками и бокалами в руках.

— Не хуже... Утешила! Вот так всегда своей неразумной любовью ты разрушаешь то, что я пытаюсь создать!

— Неправда. При детях я никогда тебе не перечу. Но ты чаще говоришь все это мне, чем им.

— Слова ничего не значат,— опять-таки будто невзначай обронила Галина Адамовна.

Шикович взмахнул руками, как петух крыльями.

— Вот тебе, пожалуйста! А я, дурак, всю жизнь верил в силу слова. Жил за счет слова, кормил детей...

Но Галина Адамовна не ответила — пошла на кухню, чтобы принести закуски. Кирилла давно уже выводила из себя эта ее невозмутимость. Он отлично знал, что совсем не такая она спокойная. Неуравновешенная, ревнивая... А вот с ним, в особенности если дело доходит до спора, изображает из себя невесть кого. Не говорит — изрекает. Она вышла — и у Кирилла пропала охота шуметь и спорить. Только сейчас он вспомнил о Викторе и Наташе. Виктор, длинный, нескладный подросток, смутился, покраснел. Он всегда смущался, когда при нем взрослые заводили разговоры о воспитании детей. В противоположность ему, Наташа слушала, разинув рот. Сидела на сту-

пеньках крыльца, смотрела в книжку, а между тем не пропускала ни слова. Ей очень хотелось услышать, что скажет папа. Она была влюблена в своего отца. Но Яроша, кажется, не интересовало ничто, кроме стола: как всегда, он наводил порядок и красоту. Ни мама, ни тетя Валя не умеют это делать лучше его.

Когда Галина вернулась и поставила на стол тарелки с жареными лисичками и салатом из свежих огурцов, Кирилл сказал уже добродушно и примирительно:

— Напрашивается только один вывод: слишком много благ предоставляем мы нашим детям. Очевидно, надо поменьше. Мой отец требовал с нас, как с больших. В этом — соль...

Тут не выдержала Наташа:

— Неправда, дядя Кирилл! Детям надо давать все! На то они дети.

Всех рассмешила ее непосредственность.

— Садитесь за стол, философы,— позвала Валентина Андреевна.

После обеда нахмурилось. Как-то незаметно и быстро затянуло небо. Но по-прежнему было безветренно; тучи не принесли свежести, они придавили землю томящей духотой. Замерли деревья, даже трепетная осина над ручьем затихла. Уснула на раскладушке Наташа, свесив руку, уронив книжку на траву.

Кирилл, разморенный обедом, дремал в шезлонге, сквозь сон вставляя реплики в разговор женщин с Ярошем, иногда невпопад. Это их смешило. Он раскрывал глаза, грозил пальцем, бормотал:

— Как бог покарал Хама, который смеялся над спящим, а? — И голова его снова падала на грудь.

— Парит. К дождю. Будет клев,— сказал Ярош и пошел с Виктором собирать рыболовные снасти.

Нарочно мешкал, чтобы дать другу вздремнуть. А потом поднял грохот на веранде, закричал:

— Кирилл, хватит дрыхнуть! Идем удить.

Шикович в ответ подтянул ноги, повернулся на бок. Но Валентина Андреевна со смехом опрокинула шезлонг, вывалив мужа на землю.

— Иди, иди. Нечего пузо отращивать. Тащи его, Антон.

Сухое сено (на взгорке лежали первые валки) разливало далеко вокруг не только густой, пьянящий аромат, но и какую-то особую теплоту, которая поднимала настроение, будила фантазию, вызывала воспоминания детства. Истома шла от чего-то другого: может быть, от тонкого запаха цветов в низинах или едкого духа выброшенных на берег водорослей, ила, ракушек.

Неподвижная старица словно застыла, остекленела, в зеркале ее с необычайной яркостью отражались такие же неподвижные тучи и дубы. Только у травянистого берега невидимые мушки и водяные жуки вычерчивали на этой глади сложные иероглифы. Рыба легла на дно — ни одного всплеска. Виктор разбил тишину и гладь блесной спиннинга. И сразу вода ожила: разбежались круги, словно разнося сигналы тревоги; из травы вылетела утка, крякнула и упала в заросли; под обрывом что-то всплеснуло, будто бросили большой камень.

— Щука! Папа, видел, какая щука? — азартно закричал Виктор и стал забрасывать туда блесну.

Согнувшись, он крутил катушку, и казалось, что удилище протыкает его худой живот насквозь. Мужчины постояли, посмотрели. Шикович предлагал тут и поудить — лень было идти дальше, он обливался потом.

— Эта лужа завороженная... браконьерами. Сколько они вытаскивают рыбы сетями! А я на удочку и спиннинг не взял ни одной малявки,— сказал Ярош.

И они двинулись дальше. Один Виктор остался гоняться с блесной за неуловимой щукой.

От реки потянуло влажной свежестью и прохладой. Пахло дождем. Приближение его всегда сильнее чувствуется у воды. Недаром в народе говорят: реки притягивают дождь. Реки и лес. Но рыболовам показалось, что река сама тянется, поднимается всей своей влагой навстречу далекому дождю.

Ярош умел не только любоваться природой,— она всегда вызывала в нем стремление постичь ее законы. Шикович, несмотря на свою профессию, на лоне

природы не любил заниматься анализом окружающего. В минуты отдыха он как бы выключал свой ум, давая полную волю чувствам. Очутившись на высоком берегу над кручей, он взмахнул руками, точно собираясь взлететь, жадно вдохнул речную прохладу и от восторга даже закричал:

— О-го-го!.. Красота-а-а! — И сел на сожженную солнцем жесткую траву, свесив с обрыва ноги.— Никуда дальше не иду. Здесь мое место.— Бросил вниз удочку и съехал на спине по песчаному склону; у самой воды на мокром песке не сел, а лег, раскинув руки и ноги, как убитый.

Ярош, улыбаясь его чудачествам, еле уговорил Шиковича пойти дальше: здесь рыба не клюет, и сидеть на этом месте — напрасно тратить время. А он знает местечко, где окуни сами лезут на крючок.

Тропинка вела через густой лозняк, разросшийся на песчаных наносах. Лозины стегали по лицу, по рукам. Кирилл ругался:

— Ты, эскулап, нарочно таскаешь меня по этой чащобе, чтоб я больше нагибался. Сознайся, тебя Валя подкупила?

Ярош смеялся, шагая впереди. Вышли из лозняка — Ярош остановился и разочарованно свистнул:

— Захватил какой-то тип наше место.

Берег тут понижался. Впереди протекал луговой ручеек: он поил покос, дольше задерживал разлив, а потому и летом, когда на суходолах поблекли уже краски, пойма его тешила глаз весенней свежестью. У лозняка, где остановились огорченный Ярош и равнодушный Шикович, над негустым разнотравьем уже высились метелки тимофеевки и лисохвоста, кострицы и щавеля. И только кукушкины слезки и смолка еще рассыпали свои яркие цветочки. А там, ниже, еще все цвело — каждая травинка: желтые, красные, лиловые, васильково-синие, голубые цветы, сливаясь в чудесный радужный ковер, покрывали сочную зелень травы.

И там, на мысу, где ручей вливался в реку, под вербой они увидели того, кто захватил любимое место Яроша.

Доктор хотел было повернуть назад, но Шикович вгляделся и удивленно воскликнул:

— Фу, черт! Если ты не замечал за мной галлюцинаций, то это не кто иной, как Гукан. Ей-богу, он!

Они подошли. Действительно это был председатель горисполкома Гукан. Поздоровались. Гукан ответил рассеянно, как малознакомым, продолжая сосредоточенно следить за поплавком. Удочек у него было несколько. Одно бамбуковое удилище он держал в руках, другие были воткнуты в глинистый берег. Он стоял, широко расставив длинные ноги, наклонившись над самым обрывом. Своим худым аскетическим лицом, глубоко сидящими глазами и густыми кустиками седых бровей он напоминал в профиль ястреба, высматривающего добычу, казалось, на самом дне реки. Одет был Гукан, как подобает для летнего дня и рыбной ловли,— в белый полотняный костюм. Но сразу бросалась в глаза старомодность этого костюма, как будто шился он лет тридцать назад. Пиджак сделан на манер френча — с хлястиком, с большими нагрудными карманами, сильно оттопыренными, и еще большего размера — нижними, тоже чем-то набитыми. (Может быть, это и удобно для рыболова — такое множество карманов?) Еще старомоднее выглядела кепка. Замасленная, смятая спереди над козырьком, обвислая сзади, она как-то забавно молодила своего владельца, придавая ему сходство с приказчиком старых времен.

Ярош заглянул в резиновое ведерце, стоявшее позади рыболова, увидел, что оно полно рыбы, и почувствовал уважение к человеку, который умеет удить: не то что другие — только бы время провести. Доктор уважал всякое умение.

Шикович разглядывал Гукана с иронической усмешкой: давно с ним знакомый, он впервые видел его в таком наряде и в такой роли.

Гукан подсек и выбросил на траву трепещущего окунька и лишь тогда повернулся к ним, протянул руку.

— Что ж это вы, Семен Парфенович! Мы вас ждали,— укоризненно сказал Шикович.

— Прости... Не устоял перед искушением. В кои-то веки нашему брату удается выбраться на лоно природы. Вот и думал: половлю и явлюсь в гости со своей ухой. Подожди.

Нырнул поплавок одной из удочек. Гукан живо подскочил к удилищу и вытащил серебристо-белую плотвичку. Ярош снял ее с крючка. Кидая в ведерце, спросил:

— Резиной не пахнет?

— Нет. Проверено.

— Так, может, пора уже варить уху? — предложил Шикович.

— Ты видел, как берет? Поудим, доктор? — обратился Гукан к Ярошу, угадав в нем единомышленника.

— Конечно, поудим! — ответил Ярош. Сбросив тапки, закатав штаны, он побрел через ручей.— Я подальше.

Гукан оценил его рыбацкую деликатность. Посмотрел вслед, сказал:

— Завидую этому человеку! Богатырь,— вздохнул.— Неровно делит мать природа.

— Да уж неровно, чтоб ей пусто было! — согласился Кирилл, разматывая леску.

Он пристроился тут же, шагах в десяти от Гукана, хотя тому это не очень понравилось. Сел на обрывистом бережку, свесив ноги к воде, насадил червяка, поплевал на него, натянул леску, согнув удилище, и отпустил: крючок и груз полетели далеко в реку, но течение быстро снесло поплавок к берегу. А гукановские поплавки, наоборот, тянет на середину. Неожиданные повороты делает течение. Шикович проследил, как проплыл кустик травы, поразмыслил над тайнами реки, понял, наконец, почему Гукан занял эту позицию: сливаются два потока — реки и ручья, рыба любит такие уголки. Его место — уже не то. Но он не стал искать другого. Тут хорошо сидеть на мягкой траве. Вода близко, хоть опускай в нее ноги. Чудесное журчание. Как будто вода бежит по звонкой металлической трубе. Почему это? Откуда? Струя бьет в берег? Берег тут мягкий. Он вслушивался, вглядывался. Но мысли расплываются, нельзя сосредоточиться. Набегают одна на другую. Ласточки чертят крыльями воду. Летают у самых ног. Может быть, гнездо в круче? Пахнут травы. Ласточки не нарушают покоя, а запах опьяняет. Обволакивает истома. Клонит ко сну. Красный поплавок легко покачивается, однако

у него не клюет. А у Гукана клюет. Он то и дело подсекает. И уже сколько раз в воздухе мелькали рыбки, трепетали в траве.

«Мелочь берет. Можно и с удочкой браконьерствовать. Надо ему сказать». Но не сказал — поленился. Хотелось повалиться на траву и смотреть в небо, где густеют облака. Солнце еще пробивает их, но расплылось, как желток на сковородке. Чужой старый образ. Ну их, эти образы! Опять дотошные критики будут ловить у него блох. Аллах с ними!

Тяжело шмякнулось что-то рядом в траву.

— Смотри! — Гукан держал в руке большого окуня, и лицо его сияло.

Шикович засмеялся. Вспомнилась французская кинокомедия, эпизод, где в соревновании рыболовов рыба клевала только у браконьера — героя фильма.

Кирилла всегда забавляли наивная радость и неумеренное бахвальство рыболовов и охотников. Уважаемые, серьезные люди, взяв в руки удочку или ружье, превращаются в детей. Между тем Гукан достал из кармана нечто вроде маленького пистолета, вытащил из дула ленту рулетки и смерил длину окуня. А потом этим же прибором взвесил рыбину. Кирилл смотрел на него уже без иронии, без смеха, а даже с некоторым восхищением: «Ух, черт! Ну и дотошный!» Лицо Гукана, расплывшееся было в улыбке, снова вытянулось, когда он сказал:

— Восемьсот граммов. Думал, больше.

Но вообще он, очевидно, был доволен уловом. Присел под вербой. Чудно́ сел — высоко, до самого подбородка подняв острые колени. На правое колено положил удилище.

Шикович увидел, как вокруг поплавка ходят окуньки, и залюбовался их игрой.

— Чем, инженер человеческих душ, собираешься порадовать нас в ближайшее время?

Кирилл не любил ни этого обращения, замусоленного до тошноты, ни этого шаблонного вопроса. Но подумал, что Гукан, сам того не ведая, дал повод для разговора, ради которого он и пригласил его к себе.

— Хочу вернуться к подполью. — Шикович нарочно не оборачивался, однако почувствовал на себе

долгий, пристальный взгляд председателя исполкома.

— Опять война? Шестнадцать лет строим. Вон какие города отгрохали. Дети выросли, родившиеся после войны. Глянешь вокруг — дух занимается. Вот-вот советский человек на Луну ступит. А ваш брат все воюет. Назад, братцы, смотрите. Не умеете смотреть вперед!

— Справедливый упрек, Семен Парфенович,— согласился Шикович.— Но каждый пишет о том, что его волнует.

— Роман? — спросил Гукан после долгой паузы.

— Документальная повесть.

— Документальная? Писано-переписано...

— Не так уж много, Семен Парфенович. О нашем городе — одна ваша книга. Да и сколько там о подполье? Мимоходом. В основном — партизаны. Я хочу заглянуть поглубже... Разобраться.

— Разбирался горком.

— Правильно. Но мне, например, далеко не все ясно. Особенно первый период. К тому же, согласитесь, что сейчас мы на многое смотрим другими глазами.

— Хочешь, значит, проревизовать решние горкома.— Гукан не спрашивал, а как бы с иронией констатировал факт.

Шикович поерзал в траве и с силой закинул удочку в воду. Он понял, что Гукан не отступится ни от одного слова, ни от одного положения своей книги, написанной его, Кирилловой, рукой. Охватила злость.

«Почему ты так упорно держишься за то, что у многих и многих вызывает сомнение? Почему считаешь, что только ты владеешь истиной в последней инстанции? Решение горкома!.. Ты был секретарем и подготовил это решение, повторив то, что написал в книге. А люди, участники, протестуют!..»

Кирилл обеими руками сжал удилище, как будто оно могло затащить его неведомо куда. Он боялся, как бы не прорвалось его раздражение. Понимал, что ссориться сейчас с Гуканом глупо и неуместно. Помог ему справиться с собой сам Гукан. Он встал, наклонился над водой,— со стороны можно было подумать,

что, кроме поплавков и рыбы, ничто больше не волнует и не занимает его. Кирилл оглядел долговязую фигуру, спокойное худое лицо и, чувствуя, как остывает, беззлобно выругался про себя:

«Актер, чертова жердина! Дорого я дал бы, чтоб узнать, о чем ты думаешь».

Они долго молчали.

Наконец, насаживая нового червяка, Гукан сказал:

— Это тебя Ярош подбивает на подполье? Советую не слишком поддаваться ему. Анархист.

— Ярош анархист? — Кириллу стало весело.— Более дисциплинированного человека я не знаю.

— Разная бывает дисциплина. Безусловно, он выполнял ответственные задания. Но это было, так сказать, не главное направление нашей борьбы. И его держали в стороне. Поэтому у него сложилось однобокое представление о подполье. В нашей книге, конечно, не все факты и люди названы. Но я и не ставил себе такой цели.

«Книга «наша», а цель «твоя»,— мысленно засек Кирилл.

— Мы дали общую оценку. А Ярош хотел все перечеркнуть, потому что не было названо его имя... Взять хотя бы его письмо в редакцию...

Шикович вспомнил свое первое знакомство с Ярошем — как, получив письмо, разыскал молодого врача. И тот с болью, с обидой рассказывал о своих незаслуженно забытых друзьях-подпольщиках.

Нет, Ярош написал тогда не потому, что о нем не упоминали. В этом Кирилл за годы дружбы с ним убедился. Но не совсем не прав и Гукан: у Яроша было в то время путаное представление об общей картине подпольной борьбы в городе.

И тут же Кирилл вспомнил сегодняшний разговор с другом о том, стоит ли тревожить мертвых. Даже Ярош, неукротимый и неутомимый Ярош, вот как стал рассуждать! Что это — возраст? Дача, голуби, рыба...

А может быть, и правда это не то, не главное, что нужно сейчас народу?

У Шиковича нередко возникали такие сомнения в актуальности своих творческих замыслов. Это тяжелые сомнения. Кирилл боялся их. Поэтому ему уже

не хотелось ни «прощупывать» Гукана, ни вообще продолжать этот разговор. Надо переключиться на что-нибудь другое!

Ему повезло: нырнул поплавок, он подсек и вытащил порядочного язя. Его удача подогрела рыболовный азарт Гукана, язя тот не взял ни одного. Семен Парфенович подсел поближе. Заговорил о повадках рыб. Рассказывал с интересными подробностями, но очень уж монотонно. Кирилл молчал. Смотрел, как покачивается поплавок, слушал журчание воды, крик ласточек. Сильнее пахло дождем. Река убаюкивала...

Вдруг Гукан услышал, как рядом что-то тяжелое плюхнулось в воду. Подумал — обвалился берег. Глянул — нет Шиковича. По реке плыла соломенная шляпа. Семен Парфенович испуганно вскочил. Но тут же под обрывом вынырнула голова.

— За удилище хватайся, за удилище! — крикнул Гукан.

Шикович схватился за удилище и, фыркая, отплевываясь, выбрался на берег. А шляпа поплыла по течению.

— Что случилось?

— Задремал,— ответил Шикович, тряся головой, чтоб вылить воду из ушей.

— Задремал? — Гукан разразился таким хохотом, что ласточки испуганно шарахнулись за реку. Шиковичу никогда не доводилось слышать, чтоб суровый, скупой на улыбку председатель так хохотал. Никак не мог успокоиться, вытирал слезы, гладил худой живот и снова заливался. Его хохот привлек внимание и удивил Яроша. Он бросил удочки и вылез из лозняка, чтоб посмотреть, что случилось.

3

Обычно Гукан являлся в исполком за полчаса до начала работы. Во-первых, это дисциплинировало подчиненных, хотя, когда секретарша стала приходить еще раньше, он запретил ей это де-

лать. Она должна была быть на месте без пяти девять, не раньше и не позже. Гукан любил порядок и умел его поддерживать.

Во-вторых, таким образом ему удавалось избегать встреч с теми, кто добивался квартиры и ежедневно подстерегал его. Наконец, в пустом, хорошо проветренном кабинете, в окна которого заглядывали ветви каштанов, славно думалось и можно было спокойно спланировать свой рабочий день.

У Гукана, не в пример иным руководителям, хватало воли придерживаться этих однодневных планов.

В понедельник Семен Парфенович проспал. Он и досадовал и улыбался, когда торопливо шел по омытым дождем улицам. Уже лет двадцать с ним этого не случалось. Без будильника, без посторонней помощи он мог проснуться точно в назначенный час. А тут вдруг проспал до половины девятого. Всему виной вчерашняя поездка.

«А впрочем, это не плохо, что организм еще способен так выключаться»,— размышлял он на ходу.

Вспомнил вчерашний день. Много было приятного. Особенно рыбалка. Редко когда так повезет. А дождь, который захватил их на лугу? И потом, как он готовил с двумя любезными, приветливыми женщинами уху, пока мужчины ездили в деревню, в магазин, и хохотал, рассказывая им, как свалился в реку Кирилл Шикович. Женщины тоже смеялись.

В приемной уже ждали люди. Человек десять. Гукан поздоровался. Его сразу окружили.

— Товарищ председатель!

— Семен Парфенович!

— Товарищ Гукан!

Он остановился посреди комнаты, высокий — выше самого рослого из посетителей. Снял габардиновую кепку, вытер сложенным вчетверо платком лоб и шею. Внимательно оглядел присутствующих, стараясь отгадать, кто с чем.

— Погодите. Можете считать меня бюрократом, кем угодно, но давайте сразу выясним взаимоотно-

шения. Заявляю решительно: по квартирным вопросам не принимаю. В пятницу — милости прссим.

— Я два месяца не могу к вам попасть! — раздраженно крикнула молодая женщина с бледным, усталым лицом, в простеньком платье.

— Возможно,— спокойно согласился Гукан.— Дела и выезды дважды срывали мне приемный день. Принимали мои заместители.

— А я хочу к вам!

— Нэла,— обратился Гукан к секретарше.— Была эта гражданка на приемах?

Маленькая черненькая Нэла зарумянилась, робко и неуверенно ответила:

— Была.

— Запишите ее на пятницу первой в очередь.— И приветливо сказал женщине: — Жду вас ровно в девять.

Посетительница растерялась. Председатель отлично знал таких вот сердитых, которые приходят с явным намерением покричать, поскандалить, и умел успокоить или хотя бы умерить их воинственный пыл.

Теперь она не отходила от Нэлы, чтоб та не забыла записать ее первой.

— Вы, товарищ майор, насчет дороги? — Лицо Гукана мгновенно посуровело, глаза стали колючими и смотрели не на майора, а поверх его головы, как бы разыскивая кого-то.— Дорогу мимо школы-интерната закрываем. Вы хотите, чтоб дети глотали пыль и газы от ваших машин? Не выйдет! Вам дали проезд — приведите его в порядок.

— Мост.

Гукан раздраженно обратился к присутствующим:

— Мост через канаву — коза перескочит. Проблема, видите ли! Что же мне, детей послать, чтоб построили этот мост? Постыдились бы говорить. Такая часть!..

Кое-кто из посетителей засмеялся.

Гукан круто повернулся к следующему — человеку интеллигентного вида, в очках.

— Вы?

— Я, собственно говоря, тоже...

— Договорились. В пятницу... У вас что?

— Я насчет парка...

— К Кушнеру. Пусть подготовит предложения.

Гукан искал взглядом посетителя, у которого могло быть дело, не вызывающее сомнений в его важности.

Взгляд его остановился на совсем молодом человеке, почти юноше, модно одетом: светлый костюм, коричневая рубашка, узенький галстук. Он стоял в стороне, слушал, и в глазах его, близоруких, прищуренных, светилась ироническая усмешка.

У таких, которые не лезут вперед, не заглядывают льстиво в глаза и даже не очень добиваются приема,— у них-то и бывают самые интересные дела.

— А вы, товарищ? — через головы обратился к нему Гукан.

— Я? — показал на себя пальцем юноша и как будто удивился.— Я хочу предложить новую планировку микрорайона. На Выселках.— И он поднял рулон ватманской бумаги.

— О! — обрадовался Гукан.— С этого мы и начнем! Потому что на сегодняшний день — это главное. Прошу вас.

И посетители молча расступились, разомкнув кольцо вокруг председателя и давая дорогу к двери кабинета молодому архитектору.

В приемной было уже душно. А в кабинете — чудесный влажный холодок: закроешь за собой дверь — и словно попадаешь в другую страну. Окна выходили на север, на тихую улицу. Гукан кивнул на длинный стол для заседаний.

— Тут и раскладывайте свои чертежи. Вместо кнопок — вот вам. — Он поднял один из массивных подшипников, которые горкой лежали на краю стола.

Гукан повесил на вешалку кепку, заглянул в настольный календарь: какие дела ждут его сегодня. Потом подошел к открытому окну и залюбовался каштаном. С тех самых пор, как зажглись белые свечки цветов, он с любопытством следил, как завязывались, развивались и как теперь растут плоды каштана, маленькие, еще зеленые, с едва заметной насечкой.

Семен Парфенович смотрел на них по нескольку раз в день. Это успокаивало, давало отдых нервам, хорошо действовало на настроение.

Но, разглядывая каштан, он вдруг почувствовал какую-то тревогу. Отчего?

Словно испугавшись, что эту тревогу может заметить посторонний человек, председатель быстро обернулся:

— Ну, что у вас?

— Вот здесь...

— Не надо объяснять. Я сам... Я, молодой человек, зубы съел на этих планировках... Так... Так... Это у вас что?

— Сад для детей. Со всем комплексом...

— Так... Любопытно. Любопытно...

Он перешел ко второму листу, к третьему. Проект ему нравился. Планировка микрорайона, архитектура его не похожи были на все, что ему показывали до сих пор. Обком и горком поставили задачу — сделать микрорайон самым красивым в городе, самым современным по архитектурному решению, и несколько бескрылых проектов уже было отклонено. А в этом, пожалуй, что-то есть. Гукан подошел к столику, на котором стояли телефонные аппараты, позвонил главному архитектору города Гамбицкому, потом — своему заместителю Кушнеру, занимавшемуся вопросами строительства. Попросил их зайти. Кладя трубку, спросил:

— Как ваша фамилия? Кто вы?

— Моя? — опять словно с удивлением переспросил юноша и улыбнулся, должно быть подумал: «Наконец-то догадался спросить».— Я студент Ленинградского архитектурного. Дипломант. Это мой дипломный проект. Я вырос на Выселках.

— О, брат, это уже прямо-таки тема для романа! Знаешь, есть у нас местный писатель — Шикович?

— Знаю. Я еще когда в школе учился, он у нас выступал.

— Да... Его хлебом не корми, а дай поговорить.

И вспомнилось, как вчера Шикович чуть не испортил день. Хорошо было после рыбалки сидеть на веранде, слушать, как шумят дождь, деревья в лесу.

Он, Гукан, и женщины пили шампанское. Шикович и Ярош — коньяк. Черт его потянул за язык заговорить о культе личности (сейчас Гукан даже не помнит, с чего это началось)! Вот тогда Шикович и разошелся. Припомнил, как Гукан, будучи секретарем горкома, заставлял его сочинять письма Сталину. Конференция ли какая-нибудь, собрание актива — подавай сюда Шиковича, чтоб написано было красиво, поэтично. «Где они, наши письма, Семен? Давай когда-нибудь почитаем! И некоторые места из нашей книги, из первого издания. Хочешь, сейчас прочту?»

Жена и Ярош охладили пыл разошедшегося хозяина. И надо признать, что он тут же сумел обернуть все в шутку и даже вроде бы извинился. Семена Парфеновича не обидела пьяная болтовня и напоминание о его прежних делах. Не он один так поступал. Такое было время. Задело другое: фамильярность, с которой Шикович говорил все это. Он тогда же подумал, что был прав, весьма осторожно принимая приглашения. Нельзя ответственному работнику ходить по гостям! Слишком легко теряется дистанция.

Теперь, отгоняя непрошенные воспоминания, он подумал иначе, уже со злостью: «Задрал нос писака. Распоясался».

Первым вкатился в кабинет Гамбицкий, низкий, толстый, с головой-шаром, блестящей, даже сизой от частого бритья. Он двигался, точно на роликах, быстро, бесшумно. Председателю архитектор крепко пожал руку. Со своим коллегой поздоровался издали, кивком.

— Привет, Кухарев. Ты все-таки решил побеспокоить Семена Парфеновича? Ах, молодежь, молодежь!

— И правильно сделал, что побеспокоил. Любопытный проект,— сказал Гукан.

Гамбицкий испытующе посмотрел на председателя: говорит, что думает, или с подвохом?

— Любопытный. Но не наши традиции, Семен Парфенович. Не наш стиль, форма. Западные.

— А что, по-вашему, на Западе в архитектуре нет ничего интересного? — спросил Кухарев.

— Нет, почему же? Есть оригинальные решения. Весьма своеобразные. Но у нас не те задачи, дорогой мой коллега.

— А по-моему, главная задача, чтоб было красиво, дешево и людям удобно жить. А вы просто консерватор!

Бритая голова Гамбицкого покраснела, маленькие уши загорелись, как два лепестка. Гукан рассмеялся.

— О! А вы из молодых да ранний. Зубастый. Это хорошо.— И вдруг на лицо его как бы легла тень.— Но имейте уважение к нам, старикам. Мы с Феликсом Яновичем взрывали город в сорок первом. Мы его построили заново. Разве плохо построили?

— Вообще — ничего.

— Вообще! Вы слышали? Вообще! — плаксиво выкрикнул главный архитектор.

— Хорошо построили! — сурово и решительно сказал Гукан.

— Хорошо,— с чуть заметной улыбкой согласился Кухарев.— Я уважаю старших. Я учусь у них. Но, Феликс Янович, вы говорите: другие задачи. На Западе — Чехословакия и ГДР с их высокой строительной культурой. Разве у них не те же задачи?

— Вот это правильно! — Тень на лбу Гукана, в его глазах растаяла.

В кабинет вошел Кушнер, моложавый, с приятным лицом, правый рукав — пустой. Подал всем левую руку и без лишних слов стал разглядывать проект, переходя от одного листа к другому.

— Ну как, строитель? — спросил Гукан, наблюдая за заместителем с усмешкой.

— Черт его знает! Для меня это темный лес. Я покуда на натуре не увижу, никак не пойму, что хорошо, а что плохо,— откровенно признался Кушнер.

Гамбицкий хмыкнул. Гукан покачал головой. Его давно уже перестала удивлять откровенность заместителя, его на редкость самокритичное отношение к себе. Он говорил только правду — и о себе и о других, какой бы она ни была. Если чего не понимал, не

знал — не стыдился признаться ни начальству, ни подчиненным. За это его одни уважали, другие не любили.

— А мне планировка нравится.— Гукан постучал пальцами по первому листу.— Рассмотри, Гамбицкий, там со своими. Серьезно. В деталях. Помогите товарищу... Кухареву.

— Если Гамбицкому не по вкусу, он похоронит без долгих надгробных речей,— обронил Кушнер.

— Иван Федорович! — обиделся архитектор.

— А мы вынесем все проекты на исполком, в том числе и этот. Обсудим с участием общественности. Выселки должны быть самым красивым районом! — заключил Гукан.

У Кухарева при этих словах заблестели глаза, и он горячо поблагодарил председателя горисполкома. Ему, может быть, больше, чем кому бы то ни было, хотелось, чтоб Выселки стали самым красивым районом. Когда, свернув чертежи, Кухарев вышел, Гукан кивнул вслед:

— Видели, какая молодежь растет?

— Пробивная,— ответил Гамбицкий.

— Образованная,— вздохнул Кушнер.

Гукан прошел за свой стол, сел в кресло, полистал бумаги, выбирая, какой заняться в первую очередь.

Спросил:

— Как выходной провели?

— Ездил сынишек проведать в лагерь. Встретил ребят с завода. Возвращались назад — заглянули в чайную в Вербовичах. И, конечно, хватили лишнего. Да что пили! Пиво и какое-то плодово-ягодное вино. Пойло. И кто у нас выпускает такую дрянь? Бр-р, гадость! Лучше уж водку пить,— смешно сморщился Кушнер: даже свои человеческие слабости он никогда не скрывал.

Гамбицкий поджал губы, он никак не мог свыкнуться с этой «святой простотой» заместителя.

— Нет, я работал. Нам, творческим работникам, некогда и отдохнуть.

Гукан и Кушнер усомнились, что архитектор действительно работал, но смолчали.

Гукан сказал:

— А я славно порыбачил. Возле Дятлова. На такое место напал... Окуни, дураки, одного подцепишь, ведешь, другие следом идут, готовы на берег выскочить. Килограмма четыре вытаскал. А потом насмешил меня один чудак.— Семен Парфенович откинулся на спинку кресла и засмеялся.— Ей-богу, давно уже так не хохотал. Шикович. Они такую в лесничестве дачу себе отгрохали! С Ярошем! Хоромы! Живут, как помещики. Так вот... Пришел Шикович на берег. Пьяненький, разумеется. Сел над обрывом. Бубнил, бубнил что-то. И вдруг — бултых в реку! Гляжу — одна шляпа плывет. Едва я вытащил его. Задремал, оказывается. Ха-ха-ха!..

Гамбицкому не приходилось еще слышать, чтобы Гукан так хохотал. И потому в первый момент он растерялся. И только потом, когда председатель уже вытирал платком глаза, архитектор залился мелким всхлипывающим смехом. Кушнер даже не улыбнулся. Ему не понравилась эта веселость, и он сказал:

— Никогда не видел Шиковича пьяным.

И этим как обрезал смех Гукана. Председатель мгновенно замкнулся: потушил глаза, сжал губы. Наклонился над столом, пригладил редкие седые волосы, бросил сердито:

— Ну, давайте работать!

Гамбицкий без единого слова направился к двери.

Кушнер подошел к окну и, выглянув на улицу, сорвал каштановый лист.

— Сколько раз я просил тебя,— разозлился председатель,— не трогай листьев. Дурная привычка! Этак ты за лето весь каштан ощиплешь.

— Весь — не достану.

Семен Парфенович кипел. За год с лишним совместной работы он так и не разобрал: на самом деле этот человек всегда говорит то, что думает, или иной раз просто издевается. Вот как сейчас: «Весь — не достану».

— Если заместитель председателя исполкома будет так обращаться с зелеными насаждениями, не знаю, когда мы выполним решение обкома.

Кушнер засмеялся.

— Есть оправдание: всю зелень погубил Кушнер.

Гукан не ответил. Склонив голову набок, начал писать резолюцию на какой-то бумаге. И Кушнер опять сказал то, что подумал:

— Мне кажется, Шикович не насмешил, а испортил тебе настроение. Чем?

Гукан поднялся, тяжело, по-стариковски, опираясь о стол. Проговорил подчеркнуто вежливо:

— Иван Федорович, давай займемся делами.

Кушнер улыбнулся и пошел к двери, бросив на ходу:

— Я еду на строительство школы-интерната.

Семен Парфенович нервно прошелся по кабинету, остановился у окна, полюбовался каштаном, чтоб успокоиться. Листья, с утра влажные, быстро обсыхали, поднимали кверху острые зубчики, меняли свой ярко-зеленый цвет на зелено-матовый. Где-то в вершине шуршали невидимые птицы. Все, как всегда, как вчера, позавчера. А спокойствие не приходило. Снова всплыла тревога.

«Шикович не насмешил, а испортил тебе настроение. Чем?» В самом деле, чем? Если не считать несколько шумного разговора о культе личности, Шикович держал себя как радушный хозяин. Вообще весь вчерашний день был приятен. И сейчас стоит в ушах шум дождя, а перед глазами — потоки воды, льющиеся с крыши.

В даче — крепкий дух свежей сосны, аппетитно пахнут уха и жареная рыба.

Что еще говорил Шикович? Ага, короткий разговор на берегу — о подполье. Что он сказал? «Хочу писать повесть. Документальную. Заглянуть поглубже. Разобраться». В чем? В чем он хочет разобраться? Конечно, толкает его на это Ярош. Ну что ж, пускай разбирается. В конце концов держаться за оценку, данную им подполью десять лет назад, не так уж сейчас и обязательно. Упорствовать было бы неразумно. А вообще, будь его воля, он не позволил бы каждому писаке копаться в прошлом. Не твое это дело. Пиши о том, что видишь вокруг себя. Был ты на фронте — пиши про фронт. А я руководил подпольем — я и написал про подполье.

Впрочем, все это ерунда. Не в характере Шиковича слишком углубляться. Не хватит пороху.

«Я знаю меру твоей глубины — всё по верхам. Тебе кажется, что это ты написал за меня книжку. Что бы ты написал, не будь моих материалов и рассказов? Лодырь. Я тебя силком засаживал за рабочий стол. Моя книжка поставила тебя на ноги. Не забывай это!»

Незаметно мысли приняли форму отповеди Шиковичу, который чем-то раздражал его. Правда, Семен Парфенович старался сохранить объективность. Даже упрекнул себя за то, что в последние годы как-то забыл о человеке, который ему помог. «Писатели — народ самолюбивый, надо было его приласкать». Но эта «объективность» мало успокаивала. Чем больше он думал, тем больше злился. «Ишь, раскричался! Письма его заставляли писать!.. Переработался... Зазнался — вот в чем беда».

Гукан не услышал, как в кабинет вошел секретарь исполкома Гарусевич. Этот молодой человек, чрезвычайно аккуратный во всем, появлялся и исчезал бесшумно, как тень. Даже Гукан, сам педант, удивлялся, откуда у этого деревенского парня такая педантичность. Идет бурное заседание, решаются важнейшие вопросы, а Гарусевич в определенное время, бесшумно исчезает, чтоб у себя в кабинете выпить бутылку «боржоми» и съесть бутерброд, который приносит с собой из дому.

Секретарь осторожно кашлянул.

Гукан нервно вздрогнул, обернулся. Бросил подозрительный взгляд: знал, что у него в последнее время появилась старческая привычка разговаривать с самим собой вслух.

— Как это вам удается? Дверь на весь дом скрипит, один вы умеете открывать ее бесшумно.

— Вы глубоко задумались, Семен Парфенович.— Гарусевич сочувственно вздохнул: — Дела.

Гукан придирчиво оглядел его. Как всегда, костюм словно только что из-под утюга, ботинки — из-под бархатки чистильщика. И казалось, этой же бархаткой «надраены» щеки. Гукан неприязненно подумал: «Увидеть бы тебя хоть раз небритым».

Вернувшись за стол, коротко спросил:

— Что там у вас?

Гарусевич сел и стал подавать бумаги на подпись.

— Письмо в Совет Министров о добавочных ассигнованиях на строительство продуктовых магазинов.

Гукан снял с пера пылинку, аккуратно подписал и промокнул.

— Записка в обком о создании новых парков.

Подписал размашисто, не читая.

— Ответ в редакцию насчет непорядков в похоронном бюро и на кладбище...

— Непорядки на кладбище!.. — Председатель грустно покачал головой.— Чем только нам, Кондрат Петрович, не приходится заниматься!

— Да,— снова сочувственно вздохнул Гарусевич.

Гукан прочитал ответ и не подписал — отложил в сторону.

— А вот здесь нам пишут. Канадские туристы выражают благодарность за гостеприимство. Группа балтийских моряков хвалит наш город, и особенно ресторан.

— Ну, это юмористы, чертовы дети. Город как город. А ресторан дрянь. Надо нам послушать трест столовых и ресторанов,— и неожиданно спросил: — Вы бываете в ресторане?

Гарусевич смущенно покраснел.

— Что вы, Семен Парфенович! Правда, когда работал еще в отделе культуры, раза два актеры затащили. Пьянчуги, я вам скажу...

Гукан, который любил своего секретаря за аккуратность в работе, посмотрел на него с некоторой иронией.

— Почему-то у нас считается крамолой, если человек зашел в ресторан. А если я просто хочу пообедать?

— Очень правильно, Семен Парфенович! — обрадованно поддержал Гарусевич.

Гукан устало зевнул.

— Что там еще?

Секретарь подал целую стопку скрепленных листов с напечатанным на машинке текстом.

— Записка председателя комиссии по охране здоровья о состоянии больниц в городе и вообще о всей нашей медицине. И скажу вам, Семен Парфенович, по-моему, необъективно. Одни недостатки видит доктор...

— Ярош?

— Ярош. Если он пошлет это выше — жди комиссии.

— Ну, комиссии нам бояться нечего. Ладно. Я почитаю.— Гукан хлопнул по стопке ладонью.

Однако не стал читать, а когда секретарь вышел, снова подошел к окну. Снизу, с улицы, долетал людской гомон, шипение шин по нагретому асфальту. Сквозь листья каштана просвечивало небо, ясное, жаркое, как уже много дней подряд. Гукану опять вспомнилась вчерашняя дача. Он почувствовал себя усталым и подумал, что хорошо бы хоть недельку отдохнуть в таком вот тихом лесном уголке, не ездить бы ни на какие курорты, где зной и полно народу. Умеют же люди устраиваться! А он всю жизнь работает, волнуется. Шикович сейчас лежит под соснами в гамаке и фантазирует. Никто не рвется к нему на прием, не требует выполнения планов строительства. И Ярош... Нет, Ярош на работе. У хирурга, конечно, работы хватает — ничего не скажешь, больные не могут ждать.

Но зачем ему чернить то, чему отдали столько сил и здоровья и он, Гукан, и сам Ярош?

Председатель не знал, что написано в докладе, и не хотел сейчас читать — боялся, что еще больше испортится настроение. Подумал, почему вчера Ярош ни словом не обмолвился об этой записке. Из деликатности, чтобы не беспокоить гостя служебными делами? От Яроша мысль перекинулась к Шиковичу, и вдруг отчетливо вспомнилось, как секретарь горкома Тарасов однажды упомянул, что до войны работал с Шиковичем в одном районе. Старые друзья, значит? Почему-то от этого стало неприятно. Гукан постарался успокоить себя: «Ну и что? Пусть друзья». Но и он, Гукан, работает с Тарасовым мирно и дружно. А что касается Яроша, то он еще года два назад выступал на сессии с суровой критикой. И критика

пошла на пользу: министерство обратило внимание. Открыты новые поликлиники, строится больница...

Все-таки каштан успокоил. Гукан посмеялся над своей тревогой и вернулся к столу.

Шел обычный рабочий день председателя исполкома. Телефонные звонки. Посетители. Бумаги. Ливень бумаг. В середине дня позвонил заместитель председателя облисполкома Мухля. Выяснял некоторые детали переноса городской границы. Город рос. Под конец длинного телефонного разговора Гукан спросил между прочим:

— Послушай, Петр Макарович, кто у нас следит за строительством частных дач? Я знаю, что я занимаюсь, но только там, где отведены были участки под такое строительство. В Залетном. И у нас нарушений сколько угодно. Но все-таки есть какой-то присмотр. А я имею в виду дачи дикие, которые растут в разных местах, как грибы. Где? Не знаешь? Редко, значит, осматриваешь свои владения. Что бы творилось в городе, если бы я вот так же не знал, где что строится. Анархия! Я не волнуюсь. В Дятловском лесничестве — видел, какие хоромы выросли? Да, Яроша и Шиковича. Я ведь не говорю, что им не нужна дача. Пускай отдыхают на здоровье. Ребята и в самом деле славные. Способные. Но все-таки, кто им отводил участок? Лесхоз? Райисполком? А имеют ли они право? Смотри, брат. Знаешь, как теперь печать выступает против частной собственности? Как бы нам с тобой не всыпали... Люди они умные, но я не сказал бы, что слишком умно с их стороны строить такие хоромы в лесу. Не один десяток кубометров. Мой дружеский совет тебе — поинтересуйся. Поинтересуешься? Вот-вот!.. Чтоб не было неожиданностей... Ну, привет!

Положив трубку, Гукан облегченно вздохнул, подошел к окну, снова полюбовался своим каштаном. Уже и сквозь густую листву в кабинет пробивалось дыхание знойного летнего дня.

4

Ярош сидел в ординаторской и курил. Он устал. Три часа у операционного стола. Две тяжелые операции. Особенно утомила последняя — оперировал ребенка.

Операции детей всегда утомляли его. Столько лет практики, слава лучшего хирурга области, а волновался он сегодня, как студент.

Пепел папиросы упал на халат. И сразу же быстрая рука неслышно подставила пепельницу. Ярош поднял голову и с благодарностью посмотрел на операционную сестру. Он знал, что эта девушка влюблена в него. А он ее очень ценит: Маша, несмотря на молодость, лучшая операционная сестра из всех, с какими ему приходилось когда-либо работать. Она понимает не только каждое его слово, но и каждое движение, жест. Шевельнулась его левая бровь — и она знает, какой инструмент подать. Сбежались морщинки на переносице — и Маша поправляет допущенную ассистентом ошибку. Она умеет так промокнуть пот у него на лбу и висках, что ни на секунду, ни на миг не отвлекает от больного, не мешает операции. Она все умеет и все знает.

«Золотая сестра»,— сказал как-то Ярош. Врачи приняли это как шутку: Маша была рыжая, и не просто рыжая, а огненно-красная. Красные косы, брови, ресницы, золотистые рыжинки осыпали нос, щеки, руки. Тогда Ярошу стало ее жаль. Он всегда жалел некрасивых женщин. И больше никогда не говорил «золотая сестра», даже заглазно. В хорошие минуты он называл ее «мой хирургический гений».

Маша сняла косынку и так же ловко, как работала, стала поправлять волосы. И вдруг Ярош увидел, впервые за два года, что она хороша. Стройная, высокая; копна волос жаром горит. Стоя с поднятыми руками, она вся как бы тянулась вверх; и казалось, вот-вот оторвется от земли и улетит на какую-нибудь другую планету, с которой она и явилась, эта диковинная девушка.

С доктором в последние годы это часто бывало — такие неожиданные открытия. Так, например, совсем недавно ему открылась прелесть «Мокрого луга» Федора Васильева. Он много раз видел картину, но не мог тогда понять, чем она отличается от множества пейзажей, которые пишут областные художники. Еще раньше он так же открыл чеховский «Вишневый сад». В юности когда-то не досидел до конца спектакля.

Маша увидела, почувствовала, что он смотрит на нее, и так и застыла с поднятыми руками. Взгляды их встретились. Ярош понял, что отвечает за каждое свое движение, каждое слово в эту минуту. Он видел ожидающие, испуганные, любящие глаза. Овладев собой, отвел взгляд, потушил недокуренную папиросу (курил он теперь только после тяжелых операций), откинулся на спинку дивана и сказал:

— Устал я, Маша...

Она перевела дыхание, опустила руки. Но что это? В ее глазах слезы.

Он поднялся, дружески положил ей на плечо руку.

— Не надо, Маша. Мы с вами добрые друзья.

Она благодарно улыбнулась, высвободила плечо из-под его тяжелой руки и пошла к двери.

Ярош сел и закурил вторую папиросу.

Через несколько минут Маша появилась в дверях и обычным своим спокойным голосом напомнила:

— В четыре у вас консультация в Третьей больнице.

Она была не только лучшей операционной сестрой, но и его добровольным секретарем — всегда все помнила.

— Спасибо, Маша.— Он вздохнул и опять почему-то повторил: — Устал я сегодня.

Ярош не любил Третьей больницы из-за ее главврача Тамары Гаецкой. До войны они вместе учились в медучилище. Вместе поступили в мединститут. И уже тогда Тамара выказывала ему свое расположение. Но война их разлучила. Тамара успела эвакуироваться, окончила институт, побывала на фронте. Вернулась в родной город — и сразу заняла руко-

водящий пост в отделе охраны здоровья. Врач она была бездарный, но неплохой организатор, а главное — обладала большой «пробивной силой»: умела всюду проникнуть, все достать, найти. Яроша она тоже сразу нашла в первый же приезд в Минск, где он учился в медицинском институте. И очень хотела пригреть, заполучить его. Но что ни делала, на какие уловки ни шла, он только в одном уступил — раза два брал у нее деньги взаймы. Ему было очень трудно, пока он кончал институт, потому что, хотя маленький Тарас и жил у тетки Любы, Ярош считал своим долгом содержать приемного сына. Тамара это знала и ловко умела помочь.

А когда он женился на Галине, Тамара просто как с цепи сорвалась. Она, можно сказать, поставила целью своей жизни: сделать его своим любовником. И вот уже пятнадцать лет добивается этого, не брезгуя ничем. Сама давно замужем, имеет сына и все никак не угомонится. Пользуясь встречами на конференциях, собраниях, бесцеремонно афиширует на людях свою мнимую близость с ним. Ее звонки на дом, настойчивые приглашения к себе довели Галину до болезни, и ревность ее приняла патологический характер, стала психозом. Антону не раз приходилось, превозмогая гордость, убеждать жену, что он никогда и пальцем не коснулся этой женщины.

Галина люто, нечеловечески ненавидела Гаецкую.

Как-то, когда они уже близко подружились, Ярош пожаловался Шиковичу, что одна дура отравляет ему жизнь, семейное счастье. Кирилл сказал ему тогда не то в шутку, не то всерьез:

— А знаешь, я на твоем месте показал бы ей разок, чего стоит настоящий мужчина. И, уверяю тебя, она сразу бы угомонилась. Сделала бы из этого глубокую тайну. Безошибочный психологический ход.

Валентина Андреевна, когда Кирилл рассказал ей об этом разговоре, шутливо хлопнула мужа ладонью по лысине, засмеялась:

— Тоже мне настоящий мужчина!

Галина, в свою очередь, жаловалась Вале на мужа, и умная, объективная женщина готова была верить ей — такова женская психология.

...Ярош не доехал до самой больницы. Он часто так делал. Чтоб потом, незаметно проскочив проходную, через скверик обойдя главный корпус, попасть в хирургический. Так он мог избежать встречи с Тамарой Александровной, которая видела подъезжающие машины из окна своего кабинета. Ярошу были противны эти уловки. Он давно отказался бы от консультаций в Третьей больнице, но отделением здесь заведовал способный молодой хирург Майзис. Ярош любил молодого врача и не мог отказать ему в помощи. Вообще он старался сделать все возможное, чтоб его младшие коллеги не допускали ошибок.

Но сегодня пройти незаметно не удалось: у проходной задержала колхозница с трехлетним сыном. Мальчику неопытная акушерка во время родов вывихнула ножки. Ярош тут же на лавочке в сквере осмотрел малыша.

— Через полгода будет отплясывать.

Молодая мать залилась слезами радости.

— Я напишу вам записку, чтоб ребенка положили ко мне в отделение. Жаль, что я отпустил машину!

— Ой, доктор, что вы! Я донесу.

— Далеко. Жарко.

— Нам не привыкать! Только бы поправились его ножки. Сыночек, родненький, скажи «спасибо».

Мальчик смело и очень серьезно, как взрослый, проговорил:

— Спасибо, дядя.

— О, ты, брат, герой!

— Он все спрашивает: «Мама, а буду я бегать, как Ленька?» Старший наш. Будешь, сыночка, будешь бегать!

Ярош написал записку.

И тут появилась Тамара Александровна. В белом халате, лицо — словно молоком умытое, только брови и ресницы слегка подчернены да накрашены губы. Она, невысокая, не слишком полная, пышногрудая — по-своему красивая. Многим мужчинам она нравилась. Гаецкая это знала, и тем более ее приводило в неистовство полное невнимание того, кто давно нравился ей.

— Профессор Ярош, что за частная консультация в моей клинике?

Колхозница испугалась.

— Сынок мой, доктор. Ножки у него... А тут сестра из нашей деревни... «Приезжай,— говорит,— мы попросим доктора...»

Ярош, не отвечая Гаецкой, стал объяснять женщине, как проехать в их больницу.

— Положите его у нас,— кивнула на мальчика Тамара Александровна.

— Благодарю, — ответил Ярош. — Я хочу дать интересную операцию своему ортопеду. И сам буду ассистировать...

Гаецкая при больных всегда величала его «профессор» и делала это без иронии. Для простых людей доктор — любой врач. А Ярош — кандидат наук, известный хирург, надо же как-то отличить его. Да ей и самой было приятно называть его профессором.

— А ты сегодня добрая,— с иронией сказал Ярош Тамаре Александровне, когда колхозница, сто раз поблагодарив, ушла.

— Я всегда добрая.

— Для себя.

Она передернула подкрашенными губами, но смолчала. Знала: если возразить, он наговорит резкостей. Ласково предложила:

— Зайдем ко мне, Антон? Я угощу тебя газированной водой. Только что принесли сифон. И сироп есть.

Он избегал заходить к ней в кабинет, но сейчас хотелось пить.

Она усадила его в мягкое кресло у письменного стола; кресло было глубокое, уютное, а льняной чехол свеж и прохладен. Пошла за клеенчатую зеленую занавеску, отделявшую умывальник, и вернулась с запотевшим сифоном, бутылкой сиропа и стаканами.

Ярош потрогал сифон и присвистнул. Встал, заглянул за занавеску, рассмеялся.

— Ого, холодильник!

— Он временно у меня, в лаборатории ремонт.

Она налила в стаканы сироп, потом воду, размешала ложечкой, протянула один стакан Ярошу. На голубые глаза лег вишневый отсвет, когда под-

няла стакан. Отпивала маленькими глотками и не сводила взгляда с гостя.

Ярош отошел к окну и жадно выпил холодную вкусную воду. Она налила еще.

— Хоть воды выпьем с тобой. Пригласил бы меня на дачу. Говорят, живешь, как в раю.

— В гости приглашают друзей семьи.

— А разве я тебе не друг?

Незаметно она очутилась совсем рядом.

— Не притворяйся, Тамара, мы не маленькие. Ты отлично знаешь, как тебя «любит» Галина. А мне покой жены дороже всего.

— Она становится мещанкой, твоя Галина.— Сейчас глаза ее, казалось, метали серые искры.

— Ну, уж насчет мещанства давай лучше не будем...

Она подошла так близко, что Ярошу стало неловко. Он отступил в угол между столом и стеной. Она жарко дышала ему в лицо.

— Почему ты избегаешь меня? Я тебя люблю.

— Я это уже слышал, Тамара. И не раз. Пропусти.

— Люблю, люблю... Поцелуй меня. Один раз. Жалко тебе?

Женщина теряла всякую пристойность.

Никогда еще, при всей ее развязности, ей не удавалось поставить Яроша в такое нелепое положение.

На миг он растерялся. Но тут же нашелся. Он умел удивлять людей неожиданностью своих поступков. Вдруг подхватил Тамару под мышки, рывком поднял и... поставил на письменный стол. Пусть кто-либо из персонала увидит через окно своего главного врача на столе со стаканом в руке!..

Тамара Александровна чего угодно могла ждать от Яроша, но такой номер застал ее врасплох. Теперь растерялась она.

Ярош успел отойти к двери и взять шляпу.

Наконец она соскочила на пол, даже стекла зазвенели. Рассмеялась.

— А ты становишься шутником. Прогресс!

Лицо ее горело. Но все-таки она пошла следом за ним. Ярош услышал за собой стук ее каблуков и

рассвирепел. Бесстыжая баба! Как можно такому человеку доверять руководство больницей!

Он не вышел сразу во двор, а умышленно прошел в терапевтическое отделение. В длинном полутемном коридоре на койках лежали больные. В той больнице, где Ярош заведовал отделением, этого давно уже не было: больные в коридорах не лежали, и всюду было чисто. О здешних непорядках писал он в своей докладной записке исполкому горсовета. Не обращая внимания на больных, на персонал, Ярош загремел на весь корпус:

— Когда здесь, наконец, будет похоже на больницу? Что это такое?

Тамара Александровна догнала его, сжала локоть.

— Антон!

— Клиника! Помойная яма, а не клиника! — не унимался он.

Тогда и она заговорила громко, отводя удар:

— Нам не отпускают столько средств, сколько вам, профессор. Походатайствуйте о нас. Вы — председатель комиссии горсовета.

Коридор кончился, и они вышли во двор. Под ярким солнцем — все вокруг сияло и зеленело — гнев Яроша утих. Он взглянул на Гаецкую и увидел, что она, щурясь от света, уже опять улыбается.

«Чертова баба! С нее — что с гуся вода. Ну, погоди же!..»

Сказал спокойно, с улыбкой, мирно шагая рядом с ней по асфальтовой дорожке:

— Мне Шикович рассказал... В редакцию пришло письмо. Пишут добрые люди, как ты используешь санитарную машину. С утра — на рынок, вечером — в лес, за вишнями. А врачи «неотложной» ходят пешком. Я ему говорю: «Если о Гаецкой, можешь давать без проверки. Все правильно, ручаюсь головой. Сенсационный фельетон выйдет!»

Она остановилась. Ярош по инерции прошел еще шага два и обернулся. Лицо ее, минуту назад пылающее, побледнело. Сказала с угрозой:

— Появится фельетон, я тебе этого до смерти не забуду.— И, не попрощавшись, пошла назад, величественная, надменная.

Майзис, маленький, курчавый, в больших черных очках, встретил его на крыльце отделения.

— У вас сегодня, коллега, хорошее настроение,— сказал он.

— А разве вы видели меня когда-нибудь в плохом? — шутливо откликнулся Ярош.

— Нет, но вы так погружены в свою работу, что иной раз кажется, ничего вокруг не замечаете. Даже того, какой день. А день — красота! Посмотрите!

Ярош засмеялся.

— Знаете что? Приезжайте ко мне на дачу. Я покажу вам такую красоту, какой вы, горожанин, сроду не видали.

Проконсультировав несколько больных, Ярош опять почувствовал себя усталым. С ним это редко случалось.

— Должно быть, будет гроза. Хочется спать,— зевнув, сказал он Майзису, когда они переходили из палаты в палату.— Последний?

— У меня — последний. Но очень просила больная из терапии, чтобы посмотрели ее. Именно вас просит, Антон Кузьмич. По-моему, интересный случай. Митральный стеноз. Согласна оперироваться.

Ярош глянул на часы, вздохнул.

— Ах, Майзис, Майзис, пользуетесь вы моей слабостью!

— Что поделаешь, Антон Кузьмич. Такая уж профессия.

— Да, брат, профессия наша трудная. Ничего не скажешь.

Вспомнив терапевтическое отделение, куда ему надо было идти, и главного врача, Ярош опять почувствовал раздражение. Беспорядок, грязь не только в больнице, но и в любом месте его, обычно спокойного, приводили в ярость.

Он сказал Майзису:

— У Гаецкой в кабинете — холодильник. Шелковые шторы. Новая мебель. А рядом — больные в коридоре.

Майзис поднял голову, и очки его рассыпали ослепительные блестки. Улыбка тронула толстые губы.

— У нас ее называют «царица Тамара».

— Потому что вы беззубые здесь, как моллюски. Пропесочили бы эту «царицу» на партийном собрании.

Молоденькая женщина-врач, встретившая их в коридоре, растерялась — покраснела, начала заикаться, назвала Яроша профессором. Он не рассердился, но, опасаясь, что все вместе — эта почтительность, вид отделения, Тамара — вызовет в нем гневную вспышку, нахмурился, опустил голову, выключился (он умел это делать), чтоб не видеть и не слышать, что творится вокруг.

Они вошли в палату, где теснилось штук семь коек, между ними оставались лишь узкие проходы. Как ни старался Ярош, все равно сразу увидел все: грязные стены, потемневшие от сырости, латаные наволочки и простыни, застиранные полотенца, обшарпанные тумбочки.

— Вот наша больная,— сказала врач, подойдя к койке в углу и, спохватившись, придвинула Ярошу табурет.

Больная как больная. Он видел таких сотни. Маленькая женщина, до того худая, что казалось, под одеялом ничего нет. А на подушке измученное лицо с ярко выраженными симптомами ее болезни: бледная, синюшные губы и крылья носа, а щеки зарумянились. Волнуется. И глаза... Какие глаза и как они смотрят! В них были вопрос, мольба, надежда, страх — вся сложная гамма чувств человека, жаждущего жить.

Присаживаясь, он подумал, что у большинства больных сердцем женщин красивые волосы. По контрасту, очевидно. У этой тоже чудесные — светло-золотистая, пышная корона. Чтоб не встречаться взглядом с больной, Ярош разглядывал свои большие, отбеленные спиртом и эфиром руки и слушал лечащего врача. У него выработалась профессиональная привычка: слышать и фиксировать в памяти только то, что нужно ему как консультанту. Все остальное, в том числе имя и фамилию, он выяснял потом, когда сам осматривал больного. Но сообщение врача, что больная перенесла первую атаку ревматизма в немецком концлагере, взволновало его. Он посмотрел на эту маленькую женщину с интересом и жалостью,

встретил ее глаза, полные странного света и мольбы, подумал: «Вот она — война! Восстановлены города. А сердца́ людей... Сердца́ изувечены». Он думал о сердцах не вообще. Нет. Как врач, представил конкретное маленькое сердце, в котором развился порок. Ординатор рассказывала, в каком состоянии больная поступила в больницу.

— Отек нижних конечностей... Резко увеличена печень...

— Когда поступила? — спросил Ярош.

— Две недели назад.— Смутившись, она забыла, на чем ее перебили.

— Продолжайте, пожалуйста.— И снова со стороны могло показаться, что консультанта интересуют только собственные руки.

— Был проведен курс лечения...

И вдруг в монотонный доклад, пересыпанный латинскими терминами, ворвалось шепотом произнесенное слово:

— Кузьма...

Ярош сперва даже не обратил внимания.

— Антон Кузьмич,— громко поправил Майзис, стоявший за спиной Яроша.

Тогда Ярош резко поднял голову, посмотрел на больную. Она виновато улыбнулась и опять несмело прошептала уже другое имя:

— Виктор...

Ярош почувствовал, как руки его словно пронизал электрический ток, закололо в кончиках пальцев: он услышал свои подпольные клички. У него были необычайно чуткие пальцы, «патологически чуткие», даже эмоции свои он прежде всего ощущал в пальцах. Вот так заколет, а в душе гнев, или радость, или удивление. Сейчас он узнал эту женщину. Но не верил глазам. Разве мертвые воскресают? Сколько лет прошло! Где она была до сих пор?

Он медленно поднялся с табурета.

Врач с испугом смотрела на свою пациентку: что она — бредит?

Майзис легонько свистнул: он был романтик, любил приключенческие фильмы и книги, неожиданные встречи.

Больная успокоила своего врача обыденным вопросом:

— Не узнаете, Антон Кузьмич?

Ярош, умевший владеть собой в любых обстоятельствах, тут растерялся.

— Зося? — прошептал он так, что вздрогнули, приподнялись на локтях больные, а Майзис в восторге потер руки.

— Зося! — повторил он громче и, высокий, могучий, сильный, склонился над постелью, как бы пытаясь оградить ее от чужих глаз, от болезней, от всех бед.

Взял тонкие, исхудалые руки в свои мягкие широкие ладони, осторожно сжал.

— Откуда вы взялись, Зося?

5

На стоянке такси у вокзала один из шоферов радушно пригласил Яроша:

— Пожалуйте, доктор, в мою.

— В Дятловское лесничество. Знаете?

— Знаю. Наш брат все должен знать.

«Волга» рванулась с места. Ярош по инерции откинулся на спинку и так застыл. Мелькали уличные фонари, витрины, фары встречных машин. Он закрыл глаза, но не ощутил сладости отдыха. День позади. Необычный день. Ярош полон впечатлений от встречи с человеком, которого восемнадцать лет считал мертвым: «Вот сюжет для Кирилла». Он хотел направить мысли в другое русло, успокоиться. Но тщетно!

Зося попросила, чтоб он оперировал ее. И не сказала, как многие другие: «Лучше умереть, чем так мучиться». Она верила, что он может ее спасти.

Когда там еще операция! Не раньше чем через месяц. Да и можно ли будет оперировать? Это покажет обследование. А он уже волнуется. Волнуется, пожалуй, больше, чем перед своей первой самостоя-

тельной операцией. Представляет ее сердце, видит, как на макете, сужение левого предсердно-желудочного отверстия. Недостаточность клапана... Мозг начинает напряженно работать. Идет операция... Он внимательно и придирчиво прослеживает весь ход ее — от подготовки больной до...

Вскрывает грудную клетку... Берет сердце... Вот оно...

Машина резко затормозила. Ярош открыл глаза. Стояли перед закрытым шлагбаумом у железнодорожного переезда на окраине города.

«Только всего проехали? — удивился он.

Прошло несколько минут, а он уже чуть ли не закончил операцию, на которую нужны часы.

— Задремали, Антон Кузьмич? — спросил шофер.

Где-то сбоку пыхтел паровоз. Затрубил в рожок стрелочник.

Ярош глянул на лицо шофера, освещенное слабым отсветом приборов и красным фонарем шлагбаума. Нет, этого человека он не лечил, у него на лица память хорошая. Шофер, поняв, что доктор пытается его вспомнить, сказал:

— Вы спасли моего сына, Антон Кузьмич. На всю жизнь вам благодарен. Мать каждый день поминает. «Хоть бы ты,— говорит,— повозил доктора». Скажите — и я каждый день буду вас возить.

— Ну, что вы...

Прошел недлинный товарный состав. Старенький паровоз кинул в ночное небо пригоршню искр. Но они не стали звездами — упали назад на землю, погасли.

Медленно поднимался шлагбаум. Вместо красного фонаря загорелся зеленый.

Машина бросила на переезд короткий сноп света. Заблестели рельсы. За переездом фары выхватили из ночи длинный отрезок шоссе.

Ярош посмотрел в боковое окно и увидел звезды. Их было мало, и они плыли над черным лесом, который ночью почему-то казался ему горной грядой — с вершинами, уступами, теснинами. Там, впереди, лес подступит к самому шоссе, и тогда исчезнет иллюзия.

Остановка, разговор с шофером, звезды, лес — все это отвлекло его мысли от Зоси. Правда, ненадолго. Вскоре он уже снова думал о ней, но теперь поиному. Вспомнил вторую за этот день стычку с Тамарой. Она вдруг отказала в переводе Зоси в ту клинику, где работал Ярош. Он попытался втолковать ей, что собирается сам оперировать больную и потому удобнее, чтоб она была под его постоянным наблюдением. Гаецкая язвительно спросила:

— Твоя подпольная любовь?

Антон не выдержал и выругался грубо, со злостью. Гаецкая испугалась, сразу оформила перевод.

Когда Ярош позвонил в редакцию Шиковичу, что задерживается, тот сказал:

— Черт с тобой! Торчи возле своих больных хоть неделю. А я погибаю от духоты.

Ярош долго сидел у постели Зоси. Она смотрела на него, улыбалась, счастливая и смущенная.

— Где вы были все это время? — спросил он.

— Последние четыре года здесь, в нашем городе.

— Что же вы делали?

— Работала приемщицей швейной артели на Выселках.

— И не знали обо мне?

— Знала. Видела несколько раз.

— Видели? И не могли прийти?

— Не решалась.

— Стыдно подпольщице быть такой трусихой. Айай-ай!

— Какая я подпольщица! Я дочь доктора Савича.— Глаза Зоси наполнились слезами.

— Ну, не надо! Пожалуйста! Никаких волнений и никаких рассказов! Обо всем поговорим потом.— Он поднялся, чтобы уйти.

Она робко попросила:

— Посидите еще немножко, Антон Кузьмич. Мальчик этот, Тарас, жив?

— Мальчик! Мальчик уже в армии отслужил. На заводе работает.

— Я искала его.— Она как будто считала себя виноватой, как будто просила прощения за то, что не сумела найти ребенка.

— Потом, потом. Не волнуйте себя никакими воспоминаниями.

Сестры и санитарки ходили на цыпочках, говорили шепотом, у них были испуганные лица. Яроша это сердило, но он молчал. Заставил себя молчать. Что бы они подумали, если бы он, всегда вежливый и обходительный с младшим персоналом, вдруг накричал на них?

Теперь, в машине, он решил, что надо завтра же обо всем рассказать Маше и попросить, чтобы она взяла над Зосей шефство. Не как сестра. Как человек.

Такси свернуло с шоссе в лес. В свете фар деревья кажутся неживыми, как на декорации, и в то же время фантастически прекрасными. Проплывают застывшие стволы с неподвижной белой листвой. Будто на миг рождаются из доисторической тьмы и снова уходят в небытие. Тени бегут впереди, перегоняют свет: длинные, узкие вблизи и широкие — вдалеке. А по бокам черно. И наверху мрак: опять не видно звезд.

Ярош любил ночную езду по лесу. Часто уговаривал Шиковича поездить. Тот не понимал его восторгов. Ярош сердился: «Какой ты к дьяволу писатель, если не чувствуешь такой красоты! Ты погляди на эти сосны! Какой цвет? А тени! С чем ты сравнишь их? Попробуй написать это реалистической кистью. Помрешь — не напишешь. Тут, брат, нужен какой-то особый, условный прием».

— Хирург-абстракционист,— хмыкал Шикович.— Новости! Чудеса из чудес!

Шофер такси, должно быть, в знак благодарности хотел довезти своего пассажира как можно скорей и мчался по корням и выбоинам, не жалея машины.

Ярош попросил:

— Потише, пожалуйста. Можно?

— Можно! — Шофер сбавил скорость.— Я думал, вы спешите.

— Нет, мне хочется полюбоваться лесом.

— О-о, лесок тут славный! Таких бы сосен — на дом.

— Что было у вашего сына?

— Перелом позвоночника. На строительстве. Несчастный случай.

— А-а, помню.

Шофера обрадовало, что доктор помнил его сына. Начал торопливо и многословно рассказывать о сыне, о себе, обо всей семье.

Ярош слушал и не слышал. Смотрел на лес и думал. Как в свете фар бросались из мрака навстречу машине деревья, кусты, так из ночи памяти возникали эпизоды и события, далекие и близкие, времен подполья и нынешнего дня.

Не подъезжая к даче, остановил машину у конторы лесничества, заставил шофера взять деньги, хотя тот и отказывался, и пошел пешком.

Светилось только одно окно — под крышей, у Шиковича.

«Надо отучить его от работы по ночам,— подумал Антон Кузьмич о друге. И тут же о жене с нежностью: — Спит Галка. Здесь хорошо спится».

Жалко было будить жену. Когда под ногами скрипнула ступенька крыльца, он погрозил ей пальцем: «Ш-ш-ш!» Потом долго стоял неподвижно. Не поднималась рука, чтоб тихонько, одним пальцем, постучать в стекло веранды. Он был уверен, что дверь заперта. Однако попробовал осторожно нажать на ручку — и дверь легко подалась. Белая, как привидение, фигура стояла у порога. Наученный многолетним опытом, Ярош все понял и мгновенно мобилизовал спокойствие и выдержку.

— Что, боишься войти? Стыдно? — шепотом сказала Галина и тут же сорвалась: — Не заходи в дом, где спят дети! Бессовестный!

— Галка! — Он сделал шаг. Он просил, заклинал ее этим ласковым именем, чтоб она не поднимала шума: рядом люди, дети.

— Не подходи! Не прикасайся ко мне!

— Галя! Выслушай! — уже потребовал Антон.

— Что мне слушать? Мне все сказали. «Он занят на консультации... » До двенадцати часов! Не первый раз ты «консультируешь» у нее до поздней ночи! Сколько мне еще терпеть! Не подходи!

Однако сама бросилась к нему и начала колотить маленькими кулачками по могучей груди.

— Ненавижу тебя! Всё! Всё, всё!.. Завтра, завтра... Сейчас же, сейчас... Забираю детей... И — всё.

— Галя! — Он отступил на шаг и попытался заслониться от ее ударов портфелем, который все еще держал в руке.

Но она выхватила портфель и стукнула им Яроша по голове. Это его взорвало. Жена раньше не позволяла себе ничего подобного. Взмахом руки Антон выбил у нее портфель, легко поднял, в крепком объятии прижал к груди. Она билась, стараясь вырваться. Но напрасно. Он носил ее по просторной веранде, убаюкивая, как младенца, и шептал:

— Глупая! Глупая. Глупая...

И она затихла. Словно впала в беспамятство. Неподвижная, стала как будто тяжелее. Она уже не вырывалась, даже не просила: «Пусти!» Он знал из прошлого опыта, что самый простой и быстрый способ помириться — это доказать ей, что нигде он не растрачивал себя. Возможно, Галина и ждала этого. Ему стало больно, обидно. Вспомнилось, из-за чего он задержался, с какими чувствами ехал домой. И вдруг — такая встреча. Антон бросил жену на широкую тахту (они спали здесь же, на веранде). Душил галстук. Он сорвал его и швырнул через стол в угол. Туда же последовали пиджак и шляпа. В сумраке ясной ночи Галина видела эти резкие движения и, почуяв грозу, молчала. Она хорошо знала мужа: совсем иначе он вел бы себя, если бы чувствовал за собой какую-нибудь вину. Огонь ревности, который она раздула, представляя, как мужа — ее мужа! — обнимает, целует ненавистная ей Тамара,— огонь этот затухал. Она почти готова была просить прощения. Но, зная мягкость и отходчивость Антона, никогда не делала первого шага к примирению. Кроме того, слишком еще были свежи в памяти муки, которые она пережила с того момента, когда Кирилл приехал один и сказал, что Антон задерживается из-за какой-то неотложной консультации в Третьей клинике. Чего это ей стоило — ни словом, ни движением не выдать себя перед Шиковичами! Как назло, Валентина Андреевна не отхо-

дила от нее весь вечер. Мысль, что кто-то видит, догадывается, какая буря у нее в душе, была всего тяжелее. За одно это унижение она вправе не прощать Антона или, во всяком случае, не идти первой навстречу. Он громко проглотил горько-соленый комок в горле и почти простонал:

— Боже мой!

Галине стало его жалко: такой сильный, большой, мужественный... До чего она довела его! Волна нежности залила ее сердце. Если б он приблизился, она притянула бы его к себе, приласкала. Но он ходил по веранде, споткнулся о портфель, со злостью пнул его ногой. Под его шагами новые половицы не поскрипывали, а гудели. В рамах дрожали стекла.

Ярош повторил:

— Боже мой! — И, помолчав, стал швырять слова, точно камни: — Какая дикость! Представить трудно... Прожить с человеком шестнадцать лет, вырастить детей... И не верить ему ни на крупицу, ни на золотник. Всегда считать подлецом, способным на любую гадость. Всегда подозревать... Ревновать черт знает к кому... К любой бабе. В конце концов в такой атмосфере жить нельзя. Нельзя дышать, черт побери!..

Его слова обидели Галину Адамовну. Обидели, потому что были правдой. Да, так жить нельзя! Да и не живут они так, они живут хорошо и душевно. А от приступов ревности она сама страдает во сто раз сильнее. Он должен понимать это, должен жалеть ее. А он вот как считает — что она отравляет ему жизнь, что она чудовище.

Галина заплакала.

— Конечно, я глупая... Дикарка... Не даю тебе жить. Ты большой ученый. А я? Кухарка твоя, служанка. Нянька твоих детей. За ними, за внушительной фигурой доктора Яроша да за гнилыми зубами своих пациентов я ничего не вижу. Света не вижу...

Чем дольше она говорила, тем больше убеждала себя, что она несчастная жертва, и, переполненная жалостью к себе, содрогалась от рыданий.

«Да неправда это! Ложь! — хотелось крикнуть Ярошу.— Разве ты живешь так уж худо? Разве я не

стараюсь сделать твою жизнь красивой и полной? Ты сама выдумываешь себе страдания». Но он молчал. Знал свою жену, ее болезнь, в которой, возможно, больше всего повинна та, к кому она ревнует. И гнев его обратился на Тамару. Подумал: «Как проучить эту распущенную бабу?» Остановился возле тахты. Плечи Галины судорожно вздрагивали. И у него дрогнуло сердце — стало жаль ее. Это правда, она нередко бывает несчастна. Но есть ли в этом его вина? Может быть, не так уж пылко любил он жену, однако любил нежно, спокойно, разумно, уважал, ограждал от житейских невзгод, добивался доверия между ними. Почему же она не верит ему, самому близкому человеку? Не обидно ли это?

Он присел на тахту, осторожно коснулся ее плеча, горячего и сквозь шелк сорочки.

— Галя!

Она всхлипнула громче.

— Ладно. Я беру свои слова назад. Прости. Но будь же и ты объективна. Ведь мы культурные люди. И нам не по двадцать лет, чтоб встречать друг друга кулаками... Да и в двадцать... Ты унижаешь прежде всего себя самоё, свое человеческое достоинство. Неужто нельзя было спросить спокойно: «Где ты задержался?» И я ответил бы тебе. Я ответил бы,— он встал и взволнованно прошелся по веранде,— что у меня необыкновенный день... Я встретил человека, который спас меня от смерти и которого я считал погибшим. Помнишь, я рассказывал тебе? Дочь доктора Савича. Ты не представляешь...

В первые годы их совместной жизни муж рассказывал о разных случаях из времен своей подпольной работы. Галина даже втайне сомневалась в достоверности некоторых из них. И большую часть этих историй она уже забыла, потому что в последние годы Антон редко вспоминал подполье. И, уж конечно, она забыла имена его товарищей по борьбе или врагов. Но незнакомую ей Зосю Савич помнила. Помнила, как та спасла Антона. И вот эта женщина, о которой он говорил особенно тепло, вдруг появилась? Откуда? Встретились они случайно или она искала Яроша? Галина Адамовна забыла о своей обиде, о ревности

к Тамаре. Другое заставило ее насторожиться. Повернулась лицом к мужу. Он остановился у стола.

— Майзис попросил меня проконсультировать больную. Митральный стеноз. И больная выражала желание, чтобы я посмотрел ее. Я пришел в палату. И вдруг слышу: «Виктор». Моя подпольная кличка. Представляешь? Нет, ты подумай только! Восемнадцать лет я считал человека мертвым. И вот... Она не все рассказала мне. Но я догадываюсь, что́ она пережила. Четыре года, как она уже в нашем городе, и все время избегала встречи. Дочь доктора Савича. Этим многое сказано. Но почему дочь должна отвечать за отца, даже если тот и был врагом? Я перевел ее в нашу клинику. На это потребовалось время. Она слышала о моих операциях, просит оперировать ее. И я буду оперировать! Как будто противопоказаний нет. Третья стадия по Бакулеву.

Галина вздохнула с облегчением.

Она никогда не ревновала мужа к его пациенткам. Многие из тех, кого он лечил, оперировал, встречались с ним потом, приглашали к себе, и это никогда не вызывало у нее возражений. В ее глазах пациентки переставали быть женщинами, представляющими опасность. А потому, когда муж рассказал, что Савич тяжело больна, что он будет ее оперировать, Галина Адамовна совсем успокоилась. Она даже утратила интерес к событию, так взволновавшему Антона. Теперь она почувствовала свою вину перед ним, и ей хотелось поскорей загладить ее. Она тихо позвала, прервав его рассказ:

— Иди сюда, Антон.

Он умолк, постоял минуту, как бы раздумывая, идти или не идти. Нерешительно приблизился.

Она притянула его за руку, посадила на тахту, припала к руке губами.

— Прости меня, Антоша. Я глупая. Слабая и глупая женщина.

Его всегда трогало, когда Галина просила прощения.

— Ничего, ничего. Ладно. Я не сержусь. Чего не бывает в жизни.

— Ты славный, умный. Я люблю тебя.

— И я тебя люблю.— Он поцеловал ее мокрую соленую щеку, глаза, губы.

Она обвила его шею горячими руками.

— Подожди, я разденусь.

Антон мигом сбросил свой легкий костюм и, ложась, поцеловал колени жены. У Галины красивые ноги, и он любил их целовать.

После такой нервной вспышки, примирения и близости Галина сразу засыпала и спала крепко.

Ярош в ту ночь не мог уснуть. Перед глазами стояла Зося. Какие только мысли, воспоминания не лезли в голову!

В конце концов он не выдержал: тихонько встал и, захватив костюм, вышел в сад.

Ночь была тихая, теплая, безросная, полная ароматов. Умолкли уже соловьи. Не проснулись еще ранние пташки. Шел третий час. Лес вокруг казался высокой крепостной стеной, окружавшей этот маленький мир, с одиноким домом, в верхнем окне которого горел свет. Из этой крепости вели на волю одни ворота — на луг: просвет между дубами и ольхами, которые росли вдоль ручья. Но сегодня и эти ворота были закрыты: над лугом небо темное, с ним сливаются земля, кусты и деревья. Одинокие тусклые звездочки мерцают над лесом, как далекие сигнальные фонари большого мира.

За старицей «драл дранку» дергач. Жалобно пискнула какая-то птичка, быть может, попала в лапы хищника. Где-то заухала сова. Ярошу в ее крике почудился плач заблудившегося ребенка. Его охватило чувство одиночества, грусти. Захотелось к свету, к людям — в большой мир. Раньше примирение с Галиной всегда приносило радость и покой. Сегодня на душе остался неприятный осадок. Она делает трагедию из того, что он задержался на два-три часа. Когда жива еще в сердцах великая трагедия войны. Когда трагическая судьба отдельных людей, получившая начало еще тогда, не разрешена и сегодня. Через две-три недели он вскроет грудную клетку, доберется до сердца женщины, исстрадавшейся и мужественной. По-настоящему мужественной. Кто знает, чем кончится эта операция...

Ярош отошел на несколько шагов от дома и увидел в окне склоненную голову Шиковича. Кирилл писал.

Подняв гнилушку, светившуюся под ногами, Ярош кинул ее в окно.

Шикович высунулся и погрозил кулаком, прошипел:

— Сумасшедший, напугал.

— Идем погуляем.

— В два часа ночи? Прогресс! Иду. К черту фельетон!

Мигом спустившись с «курятника», как он называл мансарду, Кирилл сразу заговорил о своей работе.

— Какой я фельетонист! Я лирик. Мне всегда не по себе, когда я причиняю человеку неприятность, даже если уверен, что человек этот дрянь. Один старый дурак бросил старую жену и сошелся с молодой. Я говорил со старухой. Крикливая, грубая баба. Но молодая тоже стерва... Погоди. А ты не собираешься читать мне мораль, что, мол, полезно рано ложиться и рано вставать? Не есть мяса и не пить водки?

— Не бойся. Ты хотел услышать от меня поподробнее о подполье? Могу рассказать кое-что.

— Во-о! Это разговор! То двух слов не вытянешь, то вдруг среди ночи...

— Только не перебивай своими дурацкими репликами.

— Всё. Нем как рыба.

РАССКАЗ АНТОНА ЯРОША

— Это было в субботу, в конце августа. Или, может быть, в начале сентября. Хорошо помню одно: я только что прочитал в газете, что немецкие войска ведут бои в Сталинграде. Правда, даже лживый националистический листок не оповещал заранее, как он делал это часто, что город занят «непобедимой армией фюрера». Писали, что идут жестокие бои. Но сколько городов было занято до того! Боль, та скрытая и непередаваемая боль, которую мы испытывали, когда наши войска оставляли какой-нибудь город, была на этот раз еще сильней. Как никогда раньше. Куда дошел враг! Волга! Доморощенные стратеги, мы возлагали главные надежды на широкие водные рубежи. Хо-

тя эти надежды не раз нас обманывали. И вот боль вылилась в злобу.

В пожарную подбирались люди надежные с точки зрения «нового порядка», так же как в полицию,— всякий сброд, уголовники. Но в тот день «коллеги» мои тоже почему-то были злы. Мы ссорились, ругались так, что краснели стены. Ни раньше, ни позже за всю свою жизнь мне не приходилось слышать такого густого мата. Я не отставал от других, потому что дорожил завоеванным среди них авторитетом. Мне даже теперь противно вспоминать это свое «фольклорное красноречие». Из-за частых пожаров нарушился график дежурств, и мы добрых два часа выясняли, чья же очередь: кто недоработал, а кто переработал на прошлой неделе. Почему-то никто не хотел в ту ночь дежурить. Начальник наш — брандмейстер Хиндель, «свой немец» (он и до войны служил в нашей пожарной команде), закрывал ладонями уши и устало, жалобным голосом причитал:

«Майн гот! Майн го-от! Нет на вас бога. Постыдились бы моих седых волос». И вдруг срывался и сам начинал кричать и материться: «Да замолчите вы, дырявые шланги! Мешки с песком! Чушки обгорелые! Чтоб вам...»

Это был мягкий, слабохарактерный человек, и его никто не боялся. Боялись «настоящего немца» Лотке, который занимал должность механика, но всюду совал свой нос, как и надлежало агенту гестапо. Если б он появился, ссора сразу утихла бы и дежурил бы тот, кого Хиндель назначил. Он назначил Гвоздика, был у нас такой пьянчужка. Гвоздик кивал на меня, к нему присоединилось еще двое-трое. Я послал их... Остальные стали на мою сторону. Они уважали меня за силу. На пожарах мне случалось работать за троих, когда действительно надо было тушить огонь.

Помню — такие мелочи запоминаются — телефон не зазвонил, а слабо забренчал, как жестянка. Однако Хиндель вздрогнул. Он боялся городского телефона. Смело, сразу он брал трубку только одного аппарата, который звонил громко и пронзительно,— когда дежурный с вышки сообщал о пожаре. Хиндель протянул руку и застыл, словно надеясь, что звонок затихнет

и еще одна неприятность минует его. Но телефон не смолкал. И брандмейстер вынужден был поднять трубку.

Это звонил Павел.

«Кого? Кузьму Клеща?» Хиндель посмотрел на меня, однако трубку не передал; он всегда настораживался, когда звонили кому-нибудь из его подчиненных. «А кто спрашивает? Павел Харитонович? А зачем вам Клещ? Кто он вам? Друг, земляк, свояк? Откуда вы звоните? Из управы?»

Я подошел и бесцеремонно забрал из его рук трубку. Телефон работал плохо, голос — как с того света, но я узнал Павла. Он приглашал вечером к себе. На именины. Будет что выпить. Из деревни привезли самогонку. Я переспросил:

«Сколько? Три бутылки? Всего? На четверых? Ну, мне это — что собаке муха».

Пожарники заржали. И тут я увидел Лотке. Низкорослый, кривоногий, как старый кавалерист, в черной замусоленной кожаной куртке, в очках с какими-то зеленоватыми стеклами, он стоял на пороге и слушал. Внимательно слушал. Я еще раз убедился, что он знает русский язык. Но за три месяца, что я служил в пожарной, он ни разу не выдал себя. Слушать слушает, как будто хочет вникнуть в музыку чужой речи. А потом все переспрашивает по-немецки. Он здорово играл свою роль. Впрочем, так же, как и я. За год оккупации я пополнил свои знания в немецком языке, как не пополнил бы, окончив три института. Но в этой компании употреблял десяток ходовых коверканных слов — не больше.

Гвоздик, видно, надеясь на поддержку Лотке, заскулил:

«Он самогонку будет дуть, а я за него дежурь. Не стану!»

Лотке спросил у Хинделя, о чем спор. Тот объяснил, не слишком вежливо, но с немецкой обстоятельностью. Я никак не мог тогда понять их взаимоотношений. Да и до сих пор не понимаю: неужто Хиндель не догадывался, кто такой Лотке, и не знал, что механик говорит по-русски не хуже его, «фольксдойче»?

«Чья очередь дежурить?» — спросил Лотке.

Минуту назад Хиндель склонялся к тому, что дежурить должен Гвоздик. А тут вдруг твердо заявил:

«Дежурить будет Клещ!» И строго приказал мне по-русски: «Дежурить пойдешь ты!»

Я взмолился:

«Пан начальник,— в присутствии Лотке все мы твердо придерживались субординации, дисциплины,— вы же сами слышали, что меня только что пригласили на именины и я дал согласие. Что подумает человек? Лучший друг. Прошу вас».

«Отпустите его»,— бросил Лотке, не глядя ни на меня, ни на Хинделя.

Начальник взорвался.

«Это не пожарная команда»,— выдавил он по-немецки, потом крикнул по-русски: — «А банда пьяниц! То ли было...» — Он верно хотел сказать «то ли было при Советах», но осекся.

Лотке процедил:

«Вы старый осел, Хиндель».

«Ладно, ладно, пусть будет Гвоздик. Гвоздик!»

Тот вскочил, будто его подменили:

«Слушаю, пан начальник!»

А Лотке опять сказал спокойно, без злости, без нажима:

«Вы старый баран, Хиндель»,— и вышел из дежурки.

Гвоздик матюкнулся. Хиндель суммировал по-немецки: «Я старый осел и старый баран»,— и выругался по-русски.

Я смолчал, потому что мне заступничество механика не нравилось больше, чем кому бы то ни было.

Странные профессии пришлось перебрать мне за время оккупации! Первая, по собственному выбору,— грузчиком: надо было работать, чтоб жить. Там я связался с подпольщиками. После взрыва эшелона с авиабомбами пришлось скрываться. Спрятали меня ребята остроумно: устроили в немецкий госпиталь сторожем при покойницкой. «Начальник морга», как в насмешку называли меня сами немцы. С мертвыми фашистами я обращался нежно и любовно. Это забавляло и страшило живых. Они удивлялись моей физической силе

и смеялись над моей глупостью. Я неплохо играл придурковатого здоровяка, которому ничего не стоило выпить два стакана чистого спирта и съесть пять госпитальных обедов. Но даже у меня, студента-медика, будущего хирурга, не выдержали нервы. Нормальный человек не может свыкнуться с покойниками. Я и теперь жалею и в глубине души не люблю людей, работающих в моргах. Я попросил Павла найти мне другую работу. И что ты думаешь, он предложил мне вскоре? Ассенизационный обоз. Не смейся. Я не признаюсь детям, что работал «золотарем». Разумеется, я обиделся. Но Павел убедил меня, что ночные поездки, ночной пропуск, возможность перевозки опасных грузов — это совсем не плохо для моей главной профессии — подпольщика. Действительно, я скоро и сам убедился, что новая работа во многих отношениях удобна. Главное — почти не нужно было появляться на людях днем. Мой рост, моя фигура слишком приметные, а город наш во время оккупации изрядно обезлюдел. Удобно было, наконец, и то, что рядом со мной работали тупые, ограниченные люди, полные кретины. Вряд ли кому-нибудь взбрело бы в голову засылать в такую организацию шпика. А если я делал вылазку днем, в совершенно другой роли (в редакцию, например, получив задание выполнить приговор над Хмарой, я пришел как поэт, принес чужие стихи — любовную лирику), то мог быть уверен, что не столкнусь со своими коллегами по ночной работе. Много было случайных провалов. Встретится добрый человек, ляпнет вслух настоящую фамилию, старый адрес или еще что — готово, провал.

Короче говоря, когда месяца через полтора Павел предложил мне работу «чистую» — в пожарной команде, нельзя сказать, чтоб я обрадовался. Но горком решил (так передал Павел) «приблизить меня к полиции», и я пошел на это «сближение». Я — солдат. Новая работа не понравилась с первых же дней. Не самая работа. А этот Лотке, наш молчаливый механик. Я раскусил его сразу, почуял хитрого врага и поначалу занервничал. За целый год мне нигде еще не приходилось работать под ежедневным наблюдением агента гестапо. Я высказал свою тревогу Павлу. Он усмехнулся и заметил:

«Я считал тебя более опытным. Все мы так работаем. Думаешь, мне в управе легче? Докажи ему свою лояльность».

И я, по молодости, с довольно-таки безрассудной смелостью повел азартную игру: хотел добиться, чтоб Лотке сам себя разоблачил. Из всей команды я один не боялся Лотке. При нем ругал его, называл «немецким козлом», говорил, что механик из него, как из дерьма пуля. Он делал вид, что ничего не понимает. Но когда тот же паршивый Гвоздик, мелкий шпион, передал ему через Хинделя, как я ругаюсь, Лотке отреагировал. Как-то подошел ко мне, постучал пальцами по лбу и сказал беззлобно:

«Большая и глупая голова. Можешь ругать меня, но если оскорбишь немецкую нацию,— глаза его при этом недобро блеснули,— ты узнаешь ее силу».

Хиндель перевел и от себя свирепо предупредил:

«Если ты не заткнешь свой дырявый шланг, я заткну его сам. Так заткну, что ты до смерти не пикнешь».

Тогда я сделал вид, что иду на «примирение»: пригласил Лотке выпить с нами (ребята раздобыли спирта). Но механик вежливо отказался, похлопав себя по худому животу.

«Кранк».

«Ну, хрен с тобой! Нам больше останется»,— махнул рукой я.

Он спросил у машинистки, что я сказал. Она перевела: «Клещ сказал: очень жаль, что пан механик не может с ними выпить чарку вина».

Эта несчастная девчонка боялась в равной мере и Лотке и нас. Переводила она из рук вон плохо, но кичилась своим знанием немецкого языка. Считала, что она здесь единственный культурный человек среди нас, хамов и пьяниц. Я подумал: как была бы она удивлена, если б я вдруг начал «резать» по-немецки в десять раз лучше ее или Лотке так же хорошо по-русски. Меня забавляла эта игра. Лотке почмокал и согласился:

«Да, жаль. Я тоже жалею».

Актер был, сволочь!

Одно обстоятельство смущало меня: ни разу я не заметил, чтоб Лотке шпионил за мной в нерабочее

время. Он вот так неожиданно появлялся в дежурке, на вышке, ходил по пятам во время пожаров. Но не было случая, чтоб он вынырнул на нашей окраине, где я квартировал, или попался на глаза в другом месте. Иногда даже возникала мысль: а не слишком ли я подозрителен?

Однако на встречу с Павлом в тот вечер не пошел. По дороге домой завернул у Сенного рынка к известной спекулянтке самогоном и... «напился». Выпил один стакан, а кренделя выводил потом!.. Хозяйка моя — добрая и тихая, жительница пригорода, из тех, что всю жизнь разводят и продают овощи. Ей тогда было лет сорок, уже сын служил в армии. Но женщина есть женщина... Она привязалась ко мне, ей очень хотелось приручить насовсем такого парня. Кто я в действительности, она, конечно, не знала, но готова была любому глаза за меня выцарапать. Ухаживала за мной и оберегала, как ребенка. Это была единственная женщина, с которой я жил до того как женился. Можешь поверить?

Ярош спросил, и Шикович нарушил свой обет молчания — ответил со свойственной ему шутливой легкостью:

— Передо мной можешь не оправдываться. Перед Галей оправдывайся.

— Перед Галей,— задумчиво повторил Ярош и умолк.

Ему опять стало больно и обидно. Вспомнилась нелепая сцена ревности. Кажется, никогда он не думал о своей жене так неласково, как в ту минуту. Спит, успокоенная. А ему не до сна.

Пока он рассказывал, а Шикович молча слушал, они прошли несколько раз по тропке до ручья и обратно, потом двинулись вдоль ручья, под дубы, стоявшие в ряд. Дальше начинался бор. Здесь, на границе рощи и бора, было у них облюбованное место, где они почти каждый вечер раскладывали костер. Они любили огонь. Все любили — дети, жены. Иногда пекли картошку в золе и жарили сало на прутике. Ярош, человек хозяйственный, даже смастерил здесь скамейку.

На земле чернела куча хвороста. Обычно дети собирали его днем, а вечером жгли костер. Но в тот

вечер костра не разжигали: не было «бога огня» — Ероша.

Антон присел на лавочку, а Шикович опустился на колени и чиркнул спичкой. Весело затрещали сухие ветки. Отсветы побежали по деревьям, позолотили сосны и посеребрили дубы. На землю легли неровные тени. А за светлым кругом еще сильнее сгустилась тьма.

Ночной костер всегда завораживал Яроша. Хотелось смотреть, как играет, переливается пламя, и молчать. Сейчас желание помолчать овладело с особой силой. Он подумал, что напрасно позвал Кирилла. Надо было прийти сюда одному и зажечь этот чудодейственный огонь. И, наверное, к утру «все пришло бы в норму».

Шикович отодвинулся от костра и лег на утоптанной земле. Он угадывал настроение друга и, верный слову, терпеливо ждал.

— Знаешь, эта женщина и теперь здесь живет. Все там же, на Подгорной, в своем доме. Когда после освобождения я пришел к ней, она уже знала, кто я. И у нее уже не было никаких посягательств. Вернулся ее сын, инвалид, без руки. Она жила радостью, что сын остался жив. Знакомя нас, сказала, что я известный руководитель подполья и что она тоже кое-чем помогала подпольщикам. И была счастлива, когда я подтвердил это. Ей хотелось, чтобы сын-фронтовик думал о матери как можно лучше... Я рассказал Гале об этой женщине еще до того как мы поженились. Тогда она уверила меня, что все понимает. А теперь — упреки.

Шикович догадался, что у Антона произошла стычка с женой. Но неужели для того, чтобы излить свою боль и обиду, ему понадобилось такое длинное вступление, такой экскурс в далекое прошлое? Нет. Конечно, он собирался говорить о чем-то более серьезном. Шикович заметил шутя:

— Надо понимать, что это у тебя лирическое отступление от сюжетной линии?

— Да,— сразу согласился Ярош и на минуту задумался, может быть вспоминая, на чем остановился.— Лизавета Петровна, женщина эта, хозяйка моя... она, видно, чуяла что-то и боялась за меня... А потому бывала довольна, когда я приходил домой как пожар-

ник, как служащий солидного учреждения — подвыпивши. Но я никогда еще не являлся таким вот, «пьяным в дым». Она смеялась, раздевая меня, ласково бранила... Напоила квасом... Я это хорошо помню. Мне было неловко и стыдно. Но я играл роль пьяного. Надо было показать, что я не мог пойти на именины. Заодно и проверить хозяйку. Жило во мне подсознательное, неизвестно чем вызванное предчувствие, что именно в этот вечер я разоблачу Лотке, выясню, кто за мной следит. Я «захрапел» на весь дом, а сам внимательно прислушивался. И скоро услышал:

«Можно к вам?»

«Пожалуйста».

«Квартирант дома?»

«Дома».

«Где?»

«Спит».

«Спит? Так рано спит? Ай-ай!..»

«Выпил человек».

«Выпил? Неужто выпил? Так выпил, что свалился с ног? Этакий дуб? Ай-ай!»

«Эта отрава любого свалит с ног».

«Может, может свалить».

И, видно, не поверив хозяйке, обладатель тонкого, деликатного голоска заглянул ко мне в комнату.

«Вот задает храповицкого!»

Я не верил своим ушам. С месяц назад поселился этот пожилой уже, лет под пятьдесят, человек в доме напротив, через улицу. Назар Аверьянович Дымарь. Его многие знали. Закройщик, работал до войны в центральном ателье. А во время оккупации открыл маленькую мастерскую, типа «американки»: «Ремонт верхней одежды. Быстро. Дешево». У него был собственный домик в районе товарной станции. Но он сгорел, когда наши самолеты бомбили скопления немецких эшелонов. При бомбежке погибла жена. Так он рассказывал мне и всем на нашей улице. Мы с ним почти ежедневно встречались. Сидели на лавочке у ворот. До этого пожара он не курил. А теперь начал. Признавался, что и к чарке тянет. Рассказывал о жене, плакал. Но наших не винил. Вздыхал: «Война! Что поделаешь. На войне нет виноватых». Этой философии

он придерживался в рассуждениях на многие темы, связанные с войной, с деятельностью гитлеровцев. Я понимал его: осторожность. А я — человек, близкий к полиции. У меня даже явилась мысль, что он связной какой-то подпольной группы; для этой цели и мастерская организована. И вот этот человек появился сегодня, чтоб проверить, где я. Заглядывает в комнату. Раньше он никогда не заходил ко мне так, запросто. Куда девалась его деликатность! Хозяйка спросила, зачем я ему.

«Табачку хотел призанять».

Неужто он? Или это случайность? Старый человек. Чистенький. Спокойный. Я лежал и вспоминал, анализировал все встречи и разговоры с ним. Всплыло в памяти, что раза два я неожиданно встречал его на далеких окраинных улицах. Но мало ли дел могло быть у портного, который проработал здесь полжизни и знал полгорода. Через часок он снова явился.

«Все еще спит?»

«Спит».

«Ай-ай!.. А я думал, проснулся. У меня соточка спирта есть. Опохмелиться после такого перебора — лучшее лекарство. Особенно чистый спирт. Сразу снимает головную боль».

И опять заглянул ко мне в комнату.

Теперь, пожалуй, можно было не сомневаться. Шпион нервничал: я сбил его с толку. Он явно не выполнил какого-то важного задания. Ох, и разъярился я на него, на этого старого предателя! Руки чесались встать и придушить, как паршивого щенка. Нет ничего более гнусного, чем предатель и шпион. Но я злился вдвойне: как могло случиться, что я с первого взгляда раскусил матерого агента СД Лотке и больше месяца водил за собой такого никчемного «хвоста»! И самое удивительное знаешь что? Хозяйка моя, рассказывая утром, как дважды приходил Назар Аверьянович, неожиданно заключила: «Не нравится мне, Кузя, этот человек».

С Павлом я встретился на следующий день, в воскресенье. Подозревая, что Лотке знает, от кого я получил приглашение на именины, я не пошел к Павлу домой, хотя надлежащим образом застраховал себя

и от портного и от любых других «хвостов». Я отправился на Болотную, к тетке Любе, чтобы она сходила на Каштановую к Павлу и свела нас. И у нее встретил Павла. Он пришел туда с тем же намерением — вызвать меня.

Был он одет под интеллигента — в шляпе, хорошем костюме, при галстуке. Курил сигареты «Overstolz», как и полагается служащему управы. В любых обстоятельствах держался спокойно, уверенно и не слишком осторожно. Иногда даже нарушал правила конспирации, которые сам устанавливал. Однажды на собрании нашей пятерки мы сказали ему об этом. Он ответил, что в подпольной работе нет правил, пригодных на все случаи, что иной раз людей выдает слишком большая осмотрительность.

Павел спросил, почему я не пришел вчера. Я рассказал о непонятном «великодушии» Лотке. Павел улыбнулся, как мне показалось, несколько иронически.

«Осторожный ты человек. Долго проживешь...»

Задетый за живое, я вспыхнул:

«Ты сам нас учил... Не думай, что я струсил».

Он ласково обнял меня за плечи. Мы стояли в сумрачной комнате, окно которой выходило в сад. Большой куст сирени, еще зеленый и густой, заслонял окно. Помню, что день был хмурый и ветреный. Наступала осень.

Павел сказал:

«Чудак! Никто и не думает, что ты трус! Ты правильно сделал. Тем, что не пришел, заставил нас насторожиться. Мы своевременно разошлись. Была облава. В городе начались аресты. Надо еще больше быть начеку».

Тогда я рассказал про портного.

Павел нахмурился.

«Вот это хуже. Если твоя догадка окажется правильной, придется тебе спуститься с пожарной каланчи. Жаль! Удобное место. Хорошо видно, что и когда надо жечь. Портного проверим. Сегодня же поручу ребятам. Сам ничего не делай. Води его за нос. Тебе есть другое задание. Военный совет вынес приговор Лучинскому Луке Федоровичу, начальнику городской полиции, изменнику Родины».

Он так и сказал: полностью фамилию, имя и отчество, должность — как, вероятно, записано было в приговоре. Потом отступил в глубь комнаты, к кровати, и с гневом добавил:

«Пес этот чересчур уж усердствует. Слишком догадлив там, где гестапо своим умом не дошло бы. Обдумай, как сделать это наилучшим образом».

О деятельности Лучинского я сам собирал сведения. Из рассказов пьяных полицаев знал о садизме их начальника и люто ненавидел этого человека. У меня давно чесались руки стукнуть его. Поэтому, получив задание, я сразу задумался: в голове вертелись всевозможные варианты операции, планы ее — как, где...

Я стоял у окна. И вдруг:

«Антон».

Признаюсь, я вздрогнул: давно уже не слышал своего настоящего имени.

Павел сидел на низкой табуретке и, наклонив голову, рассматривал фабричное клеймо на подкладке шляпы.

«Москва,— сказал он, ласково погладив выцветший велюр.— Катя, сестра, покупала»,— и вздохнул. Я подумал, что мне показалось. Но через минуту, не поднимая головы, он повторил:

«Антон! Если случится что со мной и Катей, не оставь Тарасика. Приюти».

У меня перехватило дыхание. Покуда я опомнился, собрался ответить, Павел встал и протянул руку.

«Бывай. У меня много дел сегодня. Выработаешь план, свяжись со мной. Подвернется под руку — действуй самостоятельно. Но без риска. И наверняка!»

Я так и не успел ничего сказать.

Углубившись в воспоминания, Ярош умолк. Кирилл поднялся, собрал головешки и подбросил их в затухающий костер. Снова затрещал веселый огонек. Осветил склоненную фигуру доктора, могучую и соразмерную, как античная скульптура.

Шиковича мучило любопытство: почему вдруг Антону среди ночи вздумалось так подробно рассказывать о своих подпольных годах. Обычно, когда его

просили, он говорил неохотно и скупо. Даже после того как Шикович заинтересовался подпольем и начал собирать материал, друг его еще ни разу не расщедрился на такой рассказ. Лишь изредка обронит несколько фраз, яркую деталь, вспомнит эпизод, и то чаще в разговоре с детьми — Витей, Ирой, Славиком — с педагогической целью: вот как шла борьба за жизнь, которая вам досталась!

Шикович как губка впитывал эти эпизоды, детали. Он умышленно не требовал пока от Яроша связного, подробного рассказа, чтоб не выдвигать на первый план биографию одного человека. Черпал сведения из других источников, а Яроша как бы держал в резерве. Начав собирать материал для повести, Шикович скоро убедился, что о подполье в их городе надо по-новому рассказать прежде всего в документальном очерке. Он немножко досадовал, что Ярош выбрал такое время и место, когда ничего нельзя записать. А на свою память он теперь не так уж надеялся. Однако при всей дружеской близости он не решился сказать что-нибудь по этому поводу даже шутя, чувствуя, что Антон всерьез чем-то взволнован. Чтобы прервать молчание, Шикович предложил:

— Земля совсем теплая. Ложись. Не жалей костюма.

Ярош обошел костер и лег по другую сторону. Вместе с дымом на него пахнуло хорошей папиросой. И ему тоже захотелось курить. Он бросил курить шесть лет назад. Только после тяжелой операции его тянуло к папиросе. В другое время — нет. А тут вдруг даже в груди засосало, пересохло во рту. Но он преодолел это желание. Проглотил горькую слюну.

— Дня через три тетка Люба сообщила мне, что Павел арестован. Если бы ты знал, что я пережил! Какую боль! И страх. И растерянность. Не было Павла. У кого спросить совета, что делать? Гестапо легко могло докопаться, что мы были связаны. Бежать? Но бежать — это наверняка выдать себя. И тогда уже не выполнить мне задания горкома и просьбы Павла.

Тетка Люба сообщила мне об аресте на рынке, когда я покупал у нее пирожки. Оглушенный, испуганный (мне не стыдно признаться — дрогнуло сердце, что

греха таить), я не успел спросить о Кате, Тарасике. Да и нельзя было долго разговаривать. Какая может быть беседа между торговкой и покупателем! Вокруг шпики.

После дежурства я пошел к тетке Любе домой. Она переполошилась.

— В доме рядом — засада. Арестованы сосед-типографщик и его жена.

Люба прослезилась. Эта «женщина-кремень», как мы ее называли, пожаловалась:

«Я два года с соседкой не разговаривала. Она моих кур отравила. Жили, как враги. И не знали, что одно дело делаем. Боже мой! Может, на смерть людей повели. Что они думают обо мне? И теперь... Тяжкая моя доля... Жандарма фрица и «бобика», что там сидят, я самогонкой угостила, пирожками, чтоб отвести им глаза. А как взглянула на меня соседка, что живет напротив? Еще, чего доброго, подумают люди, что это я выдала Романа Тихоновича».

Скажу тебе: страшная вещь в таком деле подозрительность. Мне и сейчас стыдно, что я подумал тогда: «А может быть, и в самом деле эта торговка — провокатор?»

Тетка Люба словно подслушала мою мысль, потому что глаза ее сразу высохли. Поставила на стол бутылку. Я спросил о семье Павла.

«Катю арестовали вместе с братом. Куда девался мальчик — неизвестно. На квартире побывал наш человек — нету. Там все разграблено. Завтра соседей обойдем. Неужто и дитя забрали, ироды?»

Женщина произнесла эти слова так, что подозрений моих как не бывало. Нет, эта не изменит! Ни мужу, ни дому, ни делу. Ни тем более Родине.

Я не спешил с выполнением задания. Пытался разыскать Тарасика, нащупать новые связи. Знал: после такой акции, если останусь жив, мне придется покинуть город. Как же я найду тогда сына Павла? Конечно, были и другие причины. Не с кем было посоветоваться. Не выпадало подходящего случая. А потом Лучинский куда-то уехал. Говорили — в Варшаву. Опыт перенимать, что ли? Исчез и Лотке. Хиндель сказал, что у механика заболела мать и он отправился в Германию. Но дня через два один из пожарников видел

Лотке возле казармы зондеркоманды, располагавшейся в Березках, где теперь туберкулезная больница. Ясно: агент выполнял другое задание. В городе шли аресты. Мне никак не удавалось связаться с кем-нибудь из руководителей подполья, членов горкома. Настроение, скажу тебе, было ужасное. Я пришел к выводу, что при всей необычности заданий, которые мне довелось выполнять, подпольщик я малоопытный и слабо закаленный. Молодому, самоуверенному, мне одно время казалось, что я все могу, что я чуть не главная фигура в подполье. Теперь же понял: все сделанное мною до сих пор — это заслуга тех, кто невидимо, осторожно и мудро руководил такими, как я. И то, что я на воле, тоже их заслуга, хотя сами они, возможно, в когтях гестапо.

За те дни я стал другим человеком. За те две недели. С момента ареста Павла прошло ровно две недели. Когда ждешь чего-нибудь, живешь в непрерывном напряжении, запоминается каждый день. Это произошло восемнадцатого сентября. Я сменился с ночного дежурства на каланче. Ночь и утро были ясные и холодные — по-осеннему. Помню, я сильно прозяб. Никогда не был любителем спиртного, но в то утро захотелось поскорей согреть душу и тело. Зная, что ласковая хозяйка из-под земли добудет для меня чарку, а теплая постель само собой ждет, я торопился домой. Но при выходе из пожарной меня задержали гестаповцы. Нет, не арестовали. А вежливо попросили вернуться назад. Они умели быть вежливыми в такие моменты, эти звери. У тех, кто шел на работу, они проверяли документы, но разрешали пройти. Почему нас не выпускают? Мы насели на Хинделя (он, как всегда, явился на службу первым): пускай пойдет выяснит. Старый немец вернулся испуганный, взволнованный и на наши вопросы отвечал криком и бранью:

«Кто хочет все знать, недолго живет в наше время!..»

Неизвестно, от чего он нас остерегал. Почему не сказал правды? Гестапо не делало из этого секрета. Наоборот, как мы поняли потом, гитлеровцы хотели, чтоб собралось побольше народу. Видно, не надеялись на добровольных зрителей.

Ты помнишь, до войны пожарная часть была на площади. Не только с каланчи, но и из окон второго этажа, где помещалась дежурка, площадь была как на ладони.

И мы увидели... Я первый увидел... Подошли грузовики, длинные, как лесовозы. И солдаты-саперы начали сгружать... Я не сразу понял, что это. Кто-то глянул в окно и ахнул:

«Виселицы!»

Да, это были виселицы. С немецкой аккуратностью сделанные где-то в немецкой мастерской, прочные, даже покрашенные в грязно-серый цвет. Массовое производство! Солдаты быстро, привычными движениями взламывали мостовую и вкапывали их в землю. В один ряд — от входа в парк до церкви. На равном расстоянии. Догадка обожгла мозг: будут вешать подпольщиков... Моих товарищей, руководителей. Может быть, Павла. Что сделать, чтобы их спасти?

Ярош умолк. Остывал серый пепел костра. Шикович дышал часто и шумно. Меж толстых дубовых комлей начали проступать белые пятна покрытого росой луга. Сонно перекликнулись первые пташки. Где-то далеко-далеко за рекой пели петухи.

— Я не люблю рассказывать об этом. У меня нет нужных слов. Обычные слова кажутся мне оскорбительными. Говорить спокойно об этом нельзя. Однако, видишь, говорю. Прошли годы... Я хорошо знаю физиологию, учение Павлова. Но когда один больной как-то стал доказывать мне, что мозг может сгореть от мыслей, я ему поверил. Потому что помню, как стоял те два часа, вцепившись руками в подоконник. Если б там был Лотке, я, безусловно, выдал бы себя. Как только не сгорел мой мозг от тысячи планов спасения осужденных! Они сменяли друг друга с молниеносной быстротой. Иные казались даже реальными. Я умирал, но спасал товарищей. Однако по мере того как разворачивались события на площади, я убеждался, видел: умру — и ничего не сделаю. О, гитлеровцы умели застраховать себя от любых неожиданностей,

когда расправлялись с нашими людьми! Машина их действовала безотказно.

Виселиц поставили четырнадцать. Когда саперы кончили свою работу, в кузов грузовика забрался толстый фашист в форме жандарма. Грузовик плавно подходил к виселице, очень точно останавливался под ней, и палач укреплял веревку. Петли были заранее завязаны с двух концов. Он быстро накидывал меньшую петлю на перекладину, затем, чтоб затянуть и проверить прочность, хватался за большую петлю руками и повисал над кузовом. Все движения палача были рассчитаны, точны — ни одного лишнего, как на конвейерной линии. И это было жутко...

Кадры менялись. Грузовики с саперами ушли. На какое-то время площадь опустела. А потом с улицы, которая называлась при них Парковой, выехал взвод мотоциклистов. Развернувшись за виселицами, они направили пулеметы на парк, на церковь и на Советскую улицу. Через минуту по Торговой пришли два бронетранспортера и стали в противоположных концах площади. Их крупнокалиберные пулеметы угрожали руинам города и нашей пожарной вышке. Пулеметчик смотрел, казалось, прямо на меня. Я видел его глаза, молодые, настороженные, внимательные.

Прогрохотала по мостовой зондеркоманда.

Каратели образовали первую цепь вокруг виселиц. Подальше, тоже цепью, выстроилась полиция внутреннего порядка — «бобики». Они же выполняли и другую позорную миссию — сгоняли народ. Правда, явились и «добровольцы», те, кто хотел выслужиться перед оккупантами. Приходили по одному, по двое, робко оглядываясь, не доверяя друг другу, жались поближе к полиции, но стояли отдельными кучками. Потом полицаи пригнали рабочих станкостроительного завода и типографии. Рабочие сразу слились в одну группу. Стали они у самой пожарной, смело приблизившись к бронетранспортеру. Полиция оттеснила рабочих, а бронетранспортер задним ходом отошел ближе к виселицам, и пулемет, смотревший на меня, был теперь направлен на рабочих. Женщинам, которых полицаи пригнали с другой стороны, не разрешили присоединиться к толпе рабочих, их поставили особо.

Собрали человек пятьсот. Кажется, дурак и подлец Гвоздик крикнул в дежурке: «Хлопцы, лезем на каланчу! Коммунистов будут вешать».

«Да, на каланчу! Оттуда виднее»,— подумал я, не зная, какой очередной проект возникнет там, наверху. Все мои проекты рушились. Что может сделать один человек против мотоциклистов, бронетранспортеров, сотни гестаповцев? Но я все еще надеялся, что придумаю что-нибудь в конце концов. Если б там, на каланче, стоял пулемет, как на вышке у полицейской управы! А у меня не было даже пистолета.

У лестницы меня задержал Хиндель.

«На каланче — гестапо»,— тихо сказал он и, взяв за локоть, повел к себе в кабинет. Мы стояли вдвоем, белорус и немец, у открытого окна и молча смотрели на площадь, на зловещие виселицы, на которых ветер покачивал веревки, на гестаповцев и на толпу. Что чувствовал в это время Хиндель? И вообще, что он был за человек?

Приехало «высокое начальство» — фельдкомендант Шмидт, начальник СД штурмбаннфюрер Бругер, офицеры гестапо и СС. Вслед за ними лакеи — бургомистр Тищенко, начальник полиции Лучинский, другие предатели. Многих из них я хорошо знал. В мои подпольные обязанности входило изучение врага.

И вот где-то внизу, на Советской, пронзительно завыла сирена. Два больших черных фургона, за ними грузовик с эсэсовцами быстро выехали на площадь и, круто развернувшись, остановились у первой виселицы. Эсэсовцы соскочили с машины, открыли двери фургонов, по двое залезли внутрь и стали выталкивать осужденных. Измученные люди не могли удержаться на ногах и падали на мостовую.

Хиндель прошептал по-немецки:

«Нельзя бить осужденных. Сволочи!»

Издалека они были все на одно лицо, наши товарищи. Особенно мужчины. С черными от пыток лицами, всклокоченными волосами, в рваных рубашках, руки связаны за спиной, босые. Но все равно я сразу узнал Павла. Его выволокли из фургона, и он тут же прошел вперед и стал рядом с седым человеком. Этого я тоже узнал. Раза два видел у Павла. Из всех, кого я встре-

чал там, он был, пожалуй, самый старший, за пятьдесят. Но, знакомясь, назвал себя по имени: «Саша». Так к нему обращался и Павел. При встречах человек этот больше молчал и слушал, что говорили другие. Но по тому, как он слушал, я сразу понял, что это один из руководителей подполья. Когда я потом спросил у Павла, кто такой Саша, он ответил с хитрой улыбкой:

«Саша. Пока что просто Саша».

Тогда меня даже немного обидело, что мне, подпольщику, выполнившему уже не одно боевое задание, не доверяют. Но конспирация есть конспирация — это я понимал. И все-таки теперь мне жаль, что я так мало знал Александра Яковлевича Дубецкого — второго секретаря горкома. Да и других тоже... Тогда там, в пожарной, помню, больно было, что мне не известны даже фамилии товарищей. Я все еще лихорадочно придумывал, как помочь им, помешать казни. Лучше бы и я и они, осужденные, погибли от пуль, в борьбе, чем на виселице. Но что я мог сделать? Одно движение — и меня бы уничтожили. Узников было больше, чем четырнадцать. Я посчитал — двадцать три человека. Шесть женщин... Да, женщин было шесть. Они держались вместе, в центре группы.

Фургоны отошли. На их место стал грузовик с откинутыми бортами, с прилаженной сзади лесенкой. По лесенке этой в кузов поднялись толстый гестаповец-палач, который привешивал веревки, и молодой фашист в форме армейского офицера. Юрист. Он крикливым голосом начал читать приговор. Но он плохо знал русский язык, коверкал слова, и только отдельные из них я мог разобрать. Обычное фашистское обвинение в бандитизме, убийствах, диверсиях. И вдруг все это с немецкой пунктуальностью отрепетированное представление было сорвано. Звонкий и чистый женский голос заглушил слова приговора песней. Какой песней. Той, которую я пел до этих пор только однажды, шепотом, на квартире у Павла. И слов даже всех не знал. Но музыка ее жила в моем мозгу, в сердце.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Священная война!

Шикович почувствовал что-то вроде приступа астмы: с шумом выдохнул воздух.

Ярош на миг умолк, поднялся с земли и, уже стоя, повторил слова песни тихо, проникновенно:

— «Идет война народная, священная война». Песню подхватили все осужденные. Загудели, заволновались рабочие. Казалось, они тоже, без слов, повторяют грозный мотив. Начальник СД заорал, отделился от свиты, подбежал к осужденным, угрожая пистолетом. Гестаповцы прикладами автоматов глушили песню. Бронетранспортер двинулся на рабочих, чуть не задавив полицаев. Дал очередь пулемет. Пули просвистели мимо нашего окна. Хиндель испуганно спрятался за стену. А я смотрел... Я смотрел... Исчез из кузова «прокурор». Остался один палач. И вот гестаповцы за руки подняли туда первого осужденного. Они спешили. Они били его. Били Павла. Это был он. Павел не шел покорно. Он так рванулся, что два дюжих гестаповца свалились с грузовика на землю. А Павел крикнул в толпу:

«Товарищи! Братья наши и сестры! Отомстите за нас! Бейте проклятых фашистов! Чтоб духу их не было на нашей земле! Мы умираем с верой в победу! За Родину! За партию нашу! За народ!»

Не все, конечно, удалось ему сказать. Они били, многоголосым шумом заглушали его. Но он крикнул именно эти слова. Я услышал их сердцем. И еще увидел, как к машине подбежал Лучинский, длинный, сутулый. Этот подлый националист всегда ходил с нагайкой. Войт, прислужник. Он ударил нагайкой Павла по лицу. Зашевелилась толпа. Заголосили женщины. Я не помню, что я сделал: застонал, заскрежетал зубами?.. Но Хиндель схватил меня за руку и оттащил от окна.

«Отойди! Дурак! Идиот! Ты слышишь? Заметят». Он ругался по-русски, по-немецки; у него вытянулось, побелело лицо и странно трясся подбородок. Я оттолкнул его. Но за тот миг, что я отвернулся, Павла повесили. Машина отошла, и тело его судорожно затрепетало в воздухе.

Павел! Паша! Друг ты мой дорогой! Никого, кажется, я не любил так, как тебя, веселый, чистый, душев-

ный человек. Все похолодело у меня внутри от ужаса. Казалось, остановилась кровь и оцепенел мозг. Мысли стали трезвые, холодные, жесткие. И сразу пришло непоколебимое решение. Теперь я знал, что делать. Мне уже не спасти вас, товарищи мои, потому что я один, безоружный, перед такой сворой ошалевших от крови собак. Но я буду мстить. Мстить! И первая кара постигнет того, кому вы коллективно вынесли приговор. Лучинский умрет сегодня!

«Сегодня!» — очевидно я закрепил это решение вслух, потому что Хиндель спросил:

«Что сегодня?»

Я не ответил. Его тошнило. Он свалился на письменный стол. Я остался у окна один. Вон уже повесили второго человека. Третьей была девушка. Партизанская связная Надя Кузьменко. Потом я узнал: ее арестовали на дороге, нашли в корзине под грибами мину.

Она выкрикивала проклятья палачам.

Толпа молчала. Толпа, наверно, застыла, как я. Каждый человек в этот миг к чему-то себя готовил, принимал решение.

Казалось, жуткая машина карателей уже действует без помех, по детально продуманному дьявольскому плану. Очередную жертву дюжие гестаповцы хватали под руки, подымали в кузов. Грузовик подходил под виселицу. Палач накидывал петлю на шею. Машина отходила, разворачивалась. Быстро. Ловко. Механизированно. Начальство и стража успокоились. Один из офицеров даже защелкал фотоаппаратом.

И вдруг произошло нечто неожиданное и для нас и для фашистов. В церкви зазвонили колокола. В той самой церкви, что на площади.

Я не сразу понял. Подумал, что организовали они. Да нет! Это не был похоронный звон. Не фарс. Нет! На всю округу звучал грозный набат. Колокола звонили так, как звонили они испокон веков, когда шла беда,— нашествие врага, наводнение, пожар. Колокола звали: «Подымайся, народ! Подымайся, народ!»

И люди подняли головы. Толпа словно выросла. А палачи испуганно заметались. Что-то кричали Бругер и Шмидт. Лучинский бросился к церкви. За ним —

гестаповцы. С бронетранспортера начали бить из пулемета по звоннице.

А колокола все призывали: «Подымайся, народ! Подымайся, народ!»

Не знаю... И теперь не знаю, это ли было причиной или так было задумано. Но казнь остановили. Повесили одиннадцать. Три виселицы остались пустые. Остальных арестованных отвезли обратно в тюрьму. Большинство из них в скором времени расстреляли.

Когда человека, который звонил, убили, колокола долго еще грозно гудели, так сильно он раскачал их. Ему было семьдесят шесть лет. Старый, глухой, одинокий звонарь. Кузьма Егорович Сорока. Как он попал на колокольню? Намеренно? Случайно? Но несомненно одно: увидел он оттуда, как расправляются фашисты с нашими людьми — и не выдержал. Знал, что идет на смерть. Пошел. Без страха. По тому, как стреляли там, на звоннице, как начали стихать колокола, я понял, что человек убит. Но понял и другое, главное — что он сознательно шел на это. Помню, я пожалел, что неведомый борец не втащил туда пулемет. Одних колоколов мало. У меня по крайней мере будет пистолет и граната. Но они спрятаны дома.

Когда площадь опустела, я пошел домой. По всему городу — патрули полиции и гестапо. Трижды меня останавливали и проверяли документы.

Лиза бросилась навстречу, встревоженная и обрадованная.

«Я все глаза проглядела. Почему так поздно? Говорят, людей вешали?»

И тут, впервые за этот день, мной овладела слабость. Подкосились ноги. Я обессиленно опустился на диван, должно быть, побледнел.

«Что с тобой?»

«Повесили Павла»,— сказал я и... заплакал.

Она знала Павла, он заходил как-то, и ей нравилось, что я дружу с таким человеком, интеллигентным, умным, служащим управы.

Трудно сказать, почему я доверился ей в ту минуту. Бывают душевные движения, которые невозможно объяснить.

Женщина в этот момент, видно, многое поняла, зажала рот руками, боясь закричать. Потом глянула в окно, закрыла на крючок дверь. И ни о чем больше не спросила. Пропала ее надежда сделать меня мужем. И она сразу постарела, осунулась, совсем огорчилась, когда я отказался от еды. Я тоже больше ничего ей не объяснял. Надел лучший костюм, достал из тайника пистолет и гранату.

Она спросила:

«Ты больше не вернешься?»

«Не знаю».

Я сказал честно. Разве я мог знать, что со мной будет?

Она поцеловала меня.

«Будь осторожен, Кузя. Знай: тебе есть куда вернуться».

План был прост. Все становится простым, когда человек перестает думать о себе, о своей жизни. Когда главное — достижение цели.

Полиция помещалась в двухэтажном особняке, по соседству с управой. Я мог пойти прямо туда. Но я пошел на площадь, пустую и жуткую в тот день. Ветер, холодный осенний ветер покачивал тела повешенных и веревки на трех виселицах. Для кого они оставлены?.. Нет, меня живым фашисты не возьмут! Я прощался с товарищами. Остановился против Павла, шагах в двадцати. Ближе часовой не подпустил. Павлу на шею была накинута еще одна петля — повешена дощечка с надписью: «Я руководил бандой, которая убивала немецких солдат». Наде Кузьменко прикрепили на грудь надпись: «Я взрывала немецкие эшелоны».

Вообще говоря, они пускали смотреть на повешенных, потому и оставили казненных на виселицах — для устрашения горожан. Но я стоял, должно быть, слишком долго. Часовой вдруг пригрозил мне автоматом и закричал, чтоб я проходил. Еще, чего доброго, выстрелит. Что для них значило убить человека! А мне умирать так нелепо нельзя! Поэтому я послушно ушел, попрощавшись с Павлом, с товарищами, которых я при жизни не знал, но с которыми смерть их сроднила меня.

Я пришел в полицию. Стоявший на часах полицай оказался знакомым. Я сказал, что хочу поступить к ним на службу. Он обрадовался:

«Давай. Такие хлопцы нам сейчас во как нужны!»

«Начальник у себя?»

«Только что прошел».

Но секретарша-переводчица задержала меня. Эту особу я тоже знал: Павел даже раза два ходил с ней в кино, чтобы прощупать, чем она дышит, и пришел к заключению: «Дрянь первостатейная». Она заявила, что «спадар Лучинский» занят, у него совещание, и никого не принимает. Я сказал, что у меня важное дело.

«Какое?»

«Хочу поступить в полицию».

Она посмотрела с интересом и уже приветливее.

«О, тогда подождите».

Предателей радовало, когда их становилось больше. Возможно, каждого из них утешала мысль: «Не я один».

Секретарша была стройная брюнетка лет двадцати пяти, с усталым от бессонных ночей лицом распутницы. Да, видно, доставались ей в последнее время мужчины потрепанные, вроде Лучинского. Потому что, когда она поближе разглядела меня и прикинула, что я буду служить тут же, у нее загорелись глаза. Она стала заигрывать. Мне это было отвратительно. Я думал о мести, шел на смерть, а тут приходилось скалить зубы, говорить черт знает о чем. Хотелось стукнуть ее из пистолета, а потом остальных, всех тех за дверьми, обитыми желтым дерматином. Секретарша сказала мне, что там «заместитель и следователь».

Нет, раньше надо их. У меня не было сил ждать. Я поднялся и подошел к двери. Но она загородила путь. Овчарка бдительно оберегала своего хозяина. «О, да ты нетерпелив. Начальник этого не любит. Имей в виду». Она оттесняла меня от двери. На мое счастье, холуи скоро вышли. Они о чем-то перешептывались и довольно улыбались. Лысый заместитель начальника полиции Левашов ущипнул секретаршу, кивнул на меня:

«Уж не нового ли хахаля нашла, Мура? Ну, этот...»

Они цинично захохотали.

«Нахал»,— сказала она вслед, как бы оправдываясь передо мной, и прошла в кабинет, чтобы доложить обо мне. Вышла она не скоро, или, может, так показалось — каждая минута тянулась бесконечно. Помню, что я вдруг заволновался, услышал, как стучит сердце. Еще миг, один миг — и я отомщу за Павла, за товарищей. Дверь отворилась. Мура сказала: «Проходи»,— и пропустила меня. Я закрыл за собой дверь так осторожно, как будто она была из тончайшего стекла. Переступал по ковровой дорожке на цыпочках, почтительно и тихо. Мял в руках шапку. Лучинский смотрел настороженно, держа руку под столом, возможно на кнопке звонка или на пистолете. Но узнал меня (он инспектировал пожарную команду и несколько раз бывал на пожарах) и успокоился. Положил обе руки на полированный двухметровый стол, как бы обнял этот символ власти. Выпрямился в высоком кресле. Восседал, как на троне. Все они, эти ничтожные, пустые людишки, предатели, националисты, разыгрывали роль фюреров.

Я остановился шагах в трех от стола в почтительной позе. Мысленно приказал: «Не выдать! Ни одним движением не выдать себя!» Хотя и медлить нельзя было: мог зайти кто-нибудь из полицаев.

«Так говоришь, хочешь перейти в полицию? Почему? Пожарная — та же полиция. Нам нужны и там преданные люди».

«Хочу отомстить за родителей, пан начальник».

Кузьма Клещ — сын раскулаченных, в полиции была моя анкета.

Лучинский криво улыбнулся.

«Мы никому не мстим. Мы строим новую Беларусь».

При этих словах он отодвинул нагайку, лежавшую на столе справа.

Я намеревался застрелить его в упор, а потому смотрел только на узкое лицо, на лоб. Я готовился, выбирал момент. И вдруг — нагайка... Та, которой он ударил Павла. Этой мелочи было довольно, чтоб

молниеносно изменился план. Я подскочил к столу. Бросил вперед всю тяжесть своего тела. Чтоб он не успел нажать кнопку, ударил кулаком в переносицу. Ударил так, что у меня было потом воспаление надкостницы пальца. Удар отбросил его к стене, и он сильно стукнулся о нее затылком. Я схватил нагайку, накинул кожаную плетенку ему на шею и что есть силы рванул за концы — за толстый, отполированный, с ремешком, и тонкий — с колючей проволочной кисточкой. Хрустнули шейные позвонки. Я придвинул кресло к столу, чтоб тело не упало и не наделало грохота. Почувствовал омерзение: никогда еще не приходилось мне выполнять приговор таким способом. Но сознание, что отплатил за смерть товарищей в день их казни, придало новые силы, новый импульс к жизни и борьбе. Нет, теперь мне не хотелось умирать! Я подскочил к двери: не идет ли кто? За плотными дверьми приглушенно стучала машинка. Тихо. Вернулся к столу и на каком-то немецком циркуляре размашисто написал:

«Это первый акт мести за повешенных. Дрожите, палачи! Смерть предателям!»

Выйдя, затворил за собой дверь так же тихо и осторожно, как прежде, когда входил в кабинет. Мура улыбнулась.

«Договорился?»

«Ага».

«К нам или на участок?»

«К вам. До завтра».

«До завтра»,— попрощалась довольная Мура.

Но в длинном и пустом коридоре явилось неудержимое желание побежать. Я едва сдержал себя. Дошел до лестницы, вцепился рукой в перила и опять-таки заставил себя сойти со второго этажа не торопясь. Часовой тоже спросил:

«Взял?»

«Да».

«С тебя причитается. Пока что — сигарета».

Я пощупал пистолет и гранату. Сигарет не было.

«Отдал Муре»,— вспомнил, что она курила, когда я выходил.

«Ого, ты времени не теряешь! — заржал часовой.—

Но завтра с пустыми руками не приходи, у нас свои законы».

«Знаю».

А сам ловил каждый звук: нет ли тревоги.

По улице я пошел быстро. Направился на Советскую. Рассчитал, что в центре будут люди и я, затерявшись среди них, сумею перебраться в Залинейный район. А там у меня были явки, оттуда — дорога в лес.

Я успел выйти на Советскую. Но она в тот день была безлюдна. Редкие прохожие, и то, очевидно, большая часть из них агенты в штатском.

И тут меня догнала тревога. Она шла не из полиции — из гестапо, издалека, с Парковой. Заревели сирены и моторы, залаяли овчарки. Улица вмиг еще больше опустела. Даже агенты, должно быть, бросились к телефонам — узнать, что случилось, получить указания. Я не ускорил шага — это могло выдать меня. Но все мои стремления сосредоточились на том, чтобы достигнуть разрушенного бомбардировской квартала, спрятаться в развалинах. И вдруг... бывают же случайности!... Навстречу мне — Лотке. Одет рабочим. Я сделал вид, что не узнал его, и прошел мимо. Но инстинкт опытного агента и к тому же подозрение, которое я в нем вызывал и раньше, заставили его действовать.

«Стой! Руки вверх!» На этот раз он крикнул на чистейшем русском языке.

Я обернулся... Поднял руки. В правой была «лимонка». Я успел увидеть, как Лотке бросился в окно часовой мастерской. Раньше, чем грохнул взрыв, зазвенело витринное стекло. Я спрятался от взрыва в нише заложенной кирпичом двери. А потом кинулся за угол, свернул в первую подворотню и пошел задворками. Я шел назад, мимо двора управы, почти мимо самой полиции, где стоял громкий гомон. По шуму моторов, лаю собак, легко было догадаться, что гестаповцы окружают кварталы по ту сторону Советской, кварталы развалин. И, однако, я жалел, что не успел пересечь главную магистраль. Там был весь город — и разрушенный и целый. А здесь я оказался зажат между центральной улицей, которую уже не перейти, и рекой, за которую тоже не пробраться. По одну сторону — управа, полиция, казармы; по другую, у реки — элева-

тор, пристань со складами; на берегу — сторожевые вышки, огневые точки. И между ними — несколько улочек, до которых не добрался пожар и где остались жить наши люди. Наши... А все ли наши? Ты знаешь, это своеобразный район. Дореволюционные постройки. Жили здесь при царе главным образом чиновники. После революции квартиры стали коммунальными. Большая часть жителей отсюда в начале войны эвакуировалась. Рабочие, советские служащие. А те, кто остался... все ли они наши? Кроме того, мне было известно, что тут квартирует много немцев — офицеров, коммерсантов. Правда, было и одно преимущество: я отлично знал этот район, не только каждый переулок, но каждый дом и сад. Я здесь жил, когда учился в медучилище.

В один миг я взвесил все минусы и плюсы. Тут же обнаружил еще один минус: я был ранен. Осколком собственной гранаты. Ниша не укрыла меня всего, и осколок попал в ногу, вот сюда. Я даже нащупал его. Штанина напиталась кровью. Рана не тяжелая. Но по кровавому следу легко идут овчарки. Поэтому мне пришлось спуститься в погреб разбитого магазина, разорвать нижнюю сорочку и перевязать ногу. Потратил несколько минут. За это время начали окружать район взрыва. Теперь уже не только шум мотоциклов — до меня долетала и немецкая команда.

В редких развалинах этой части города не спрячешься — я это хорошо понимал. Надо выходить. По Пушкинской направился к реке. Укрыть могут только люди, советские люди. Я заглядывал в окна деревянных домов. Я знал эти дома, но не знал людей. Еврейская семья, где я квартировал, эвакуировалась. Других знакомых не было. Какие знакомые у студента!

Прошла мимо хорошо одетая женщина, с любопытством посмотрела на меня. Что привлекло ее внимание? Я старался не хромать, прикрыл рукой пробитую полу пиджака. Со двора выбежал офицер, на ходу застегивая пуговицы. Я сжал рукоятку пистолета. Но немец равнодушно взглянул и побежал в сторону центра. Очевидно, его вызвали по тревоге.

Я свернул в узкий безыменный переулок, по которому когда-то ходил купаться. Может быть, и сейчас

спуститься к реке и попробовать переплыть ее? Нет, на том берегу открытый луг. Каждый, кто появится там, будет отличной мишенью для пулемета. Спасение может быть только в одном из этих домов. Но в каком? Овчарки лаяли уже где-то возле управы. Если взяли след, они будут здесь через две-три минуты. Медлить нельзя.

Я оглянулся и... увидел дом, куда меня потянуло какое-то непонятное чувство. В такие моменты появляется интуиция, которая редко обманывает. Дом этот стоял не в ряд с другими, а в глубине густого сада. Красивый особняк. Однажды я был там. Приходил сдавать экзамен хозяину его доктору Савичу.

— Савич? Тот Савич? — не сдержал удивления Шикович.

— Да. Тот Савич, о котором вы с Гуканом пишете, как о предателе. Тот Савич, который сотрудничал с немцами, возглавлял отдел управы и которому фашисты устроили пышные похороны. С некрологом на полполосы.

— Тысяча и одна ночь! И ты пошел?

— Да. Сиганул через забор, убедившись, что переулок пуст. Разумеется, я рисковал. Я знал, кто такой Савич. Более того, я знал, что у него квартирует врач немецкого госпиталя. Что ж... умирать, так с музыкой, черт возьми! В тот день я уже один раз шел на смерть. Она дала отсрочку. И когда нет другого выхода, если любой вариант сулит еще меньше шансов... Но кроме всего прочего, было что-то еще... Не мог я поверить, что Степан Савич подлец. Я знал Савича не предателя, а Савича врача — крупнейшего эпидемиолога, бесстрашного, всеми уважаемого человека, который за сорок лет врачебной практики потушил десятки эпидемий. Неужели такой человек мог продаться?

Свалившись, как с неба, в чужой сад, я напугал молодую девушку. Она кормила кроликов. Клетки с кроликами стояли вдоль забора в два этажа. Я ее узнал. Дочка Савича. Когда мы приходили к заболевшему доктору сдавать экзамен по инфекционным болезням, она, подросток, школьница, приносила нам чай. Доктор, знакомя нас с нею, сказал: «Это моя хозяюшка». Но имя ее за три года, я, конечно, забыл.

Она охнула, а потом строго спросила:

«Что вам нужно? Кто вы?»

«Тише! — шикнул я.— Я друг тех, кого сегодня повесили».

«Повесили? А кого повесили?»

Я вскипел. Подумай, идет такая война, каждую минуту гибнут люди, а тут живут себе спокойненько за высоким забором, в прекрасном саду, кормят кроликов!.. Жрут крольчатину... и не знают, что делается вокруг.

«Кого? Людей, которые не согнули спину. Слышите? Облава. Спрячьте меня!» Разъяренный, я не просил — приказывал.

И она поняла. Схватила меня за руку и быстро побежала к дому. В коридоре остановилась, задыхающаяся, взволнованная.

«Куда ж вас спрятать? Под кухней есть погреб. Хотите туда?»

Я почувствовал ее искренность и целиком доверился ей. Но на пороге кухни она передумала.

«Нет, в погреб плохо. На втором этаже — комнаты немецкого врача, господина Грота, он квартирует у нас. Я закрою вас там. Ладно?»

Она сбегала куда-то, вернулась с ключами. Мы поднялись в мансарду, в хорошо обставленные комнаты. Оставляя меня, она улыбнулась ласково и растерянно.

«Ключа у меня нет. Пускай ищут Грота. В той комнате, за шкафом, дверь на чердак. А там у нас черт ногу сломит». Я поблагодарил. Она заперла дверь на ключ. Но через минуту вернулась и прошептала в замочную скважину:

«Слушайте, вы, как вас? Если они все-таки ворвутся сюда, вы будете стрелять?»

«Буду!» — не колеблясь, ответил я.

«У Грота в шкафу стоит автомат».

О, девчонка не из трусливых! Знаешь, я стал ее уважать. Конечно, поступки ее могли быть продиктованы не сознательным убеждением, а жаждой романтики, свойственной этому возрасту. Но одно было бесспорно — человек наш, честный. Интуиция не подвела.

На Пушкинской они показались в тот самый момент, когда я остался один в квартире немецкого офи-

цера. Я увидел их из окна. Гестаповцев с собаками и полицаев. Однако, по-видимому, я преувеличивал способности овчарок. Не такие уж они умные, не такой уж у них тонкий нюх, как об этом рассказывают. Все три почему-то бросились в какой-то двор. Конечно, следом за ними туда ринулась вся фашистская свора. Начался обыск. Поиски заняли минут десять. Потом на улице появилась та модно одетая женщина, которую я встретил. Я узнал ее даже на таком расстоянии. Она показывала гестаповцам в нашу сторону. У меня екнуло сердце. Неужели она видела, как я перескочил через забор?

Гестаповцы кинулись сюда. Я открыл шкаф. Действительно, там стоял автомат. Я не решался подойти к окну, чтобы следить за ними: могли увидеть. Но вот собаки залаяли, завизжали возле того места, где я перемахнул через забор. Значит, напали на след. Я вынул автомат, приготовил пистолет.

И вдруг в саду начался дикий содом: вой, лай, писк, крики! Я ужаснулся. Неужто псы бросились на мою спасительницу? Она ведь прикасалась ко мне, брала за руку. Забыв об осторожности, я приблизился к окну. И увидел: овчарки рвут кроликов.

Ты знаешь, что сделала эта девочка? Не каждый опытный подпольщик додумался бы. Она выпустила кроликов. Более того, убила одного и бросила на дорожке у того места, где я перелез через забор. Собаки, учуяв запах крови, ошалели. Гестаповцы не могли их удержать. Две овчарки перескочили через забор и, увидев кроликов, погнались за ними.

А в калитку ломились немцы.

Хозяйка испуганно кричала с крыльца:

«Я боюсь ваших собак! Я боюсь ваших собак!»

Очевидно, кто-то из фашистов перелез через забор и открыл калитку.

Тогда она закричала возмущенно: «Господа! Господа! Что вы делаете? Это кролики господина Грота! Хирурга госпиталя господина Грота. Его кролики! Боже мой! Что мне скажет господин Грот!»

Собак, наконец, утихомирили. Теперь они только рычали, доедая крольчатину.

Ее вежливо спросили:

«Скажите, фройлейн, сюда никто не заходил?»

Она всхлипнула:

«Кролики господина Грота! Это дом доктора Савича. И у нас квартирует господин Грот, хирург госпиталя».

Гестаповец или, может быть, полицай, повторил вопрос по-русски.

«У нас всегда закрыта калитка. Папе угрожают, что его убьют за то, что он служит у немцев. Я ему говорила: зачем ему служить? Он мог принимать больных дома, как доктор Грайпинер. У Грайпинера скоро будет своя клиника. А папу и в самом деле могут убить. Несчастные кролики!.. Что скажет господин Грот!»

Она играла наивную, глупенькую девчонку. Но гестаповцам некогда было слушать ее болтовню. Старший скомандовал:

«Обыскать!»

Они вошли в дом. Собаки остались во дворе, их интересовали кролики, а не мой след. Да и от следа, как я потом узнал, ничего не осталось. Эта девочка сделала еще один на диво хитрый ход: она успела протереть крыльцо и пол в коридоре раствором формалина.

Из комнат первого этажа до меня долетел гул голосов. Но слов нельзя было разобрать. Потом я услышал шаги на лестнице. И ее голос:

«Там живет господин Грот. Но он не оставляет ключа. Вы можете, конечно, взломать дверь. Вы передушили его кроликов. Но что скажет господин Грот? Знаете что, давайте лучше я ему позвоню, пускай он привезет ключи. Он быстро, у него своя машина. Тогда вы сами ему объясните, что это ваши собаки передушили его кроликов. Чтоб он не думал, что я не уберегла».

«Ну и нашел себе трещотку этот Грот»,— сказал один из гестаповцев, нажимая на ручку двери. Другой, где-то внизу, засмеялся: «А так она ничего. Молоденькая. Ножки стройные».

Должно быть, смотрел, наглец, на ее ноги снизу. Шаги начали удаляться, затихать. И все звенел ее голосок. Она говорила что-то про своего папу, про господина Грота и про кроликов. Я услышал шум машины.

Потом — подробный доклад какому-то начальнику о поисках. Возможно, что это был сам Бругер. Выслушав, он рявкнул:

«Идиоты! Перевернуть вверх дном весь район, но найти этого бандита! Вот его фотография».

Работали они оперативно, ничего не скажешь: меньше часа прошло после происшествия и уже была размножена моя фотография.

Я ждал: будут они «переворачивать» дом Савича или нет? Признаюсь, в ту минуту мне не хотелось стрелять ни из пистолета, ни из автомата. Я понимал, какую беду накликал бы вооруженным сопротивлением на эту милую «трещотку». Как ни суров и беспощаден был тот день, мне до боли стало жаль ее. Она должна жить! Должна жить, чтоб принести кому-то много радости.

Нам повезло: в дом они больше не вернулись. Бругер верил доктору Савичу. «Переворачивали» соседние дома.

Через некоторое время она поднялась ко мне. Тихонько отперла дверь, молча прошла до дивана, устало опустилась на него, вытерла ладонью лоб.

«Ух, кажется, миновало! — Глаза ее блестели радостно и возбужденно.— Как я трусила! Ох, если б вы знали, как я трусила! Теперь я понимаю, что такое «душа в пятках».— Она скинула туфельку, пощупала свою пятку и сама засмеялась: — А здорово я водила их за нос? Вы слышали? Из меня могла бы выйти актриса. До войны я ходила в кружок при Клубе железнодорожников».

Она вздохнула, вспомнив то дорогое довоенное время.

Я спросил, как ее имя.

«Софья... Мама звала — Соня, а папа и тетя — Зося. Мама моя на двадцать лет моложе папы, ее забрали в армию, мама — хирург. В нашу армию,— с гордостью подчеркнула девушка. Лицо ее вдруг омрачилось.— А папа работает у немцев. Парадокс. Правда? Но он ничего дурного не делает, я знаю... Тетя Марина умерла два месяца назад. Поссорилась с папой, а у нее больное сердце. Папа очень тяжело это переживает. Ну что это я — папа, папа. А вы, мо-

жет быть, не знаете, кто мой папа? Доктор Савич. Вы здешний? В городе его многие знают.

Я ответил, что знаю Степана Андреевича. Учился у него.

Это ее ошеломило. Она вскочила, приблизилась и внимательно поглядела мне в лицо.

«Боже мой! Теперь я, кажется, вспомнила. Вы приходили к папе сдавать экзамены, когда его оперировали по поводу тромбофлебита».

И вдруг стала задумчивой, серьезной. Спросила:

«Скажите, вы знали, что папа работает у немцев?»

«Знал».

«Знали — и пришли к нам в дом?»

«Знал — и пришел, потому что уверен, что доктор Савич меня не выдаст».

Она посмотрела на меня долгим взглядом, а потом потянулась и... поцеловала в щеку. По-взрослому серьезно, с благодарностью.

Моя первая подпольная кличка была «Виктор», и я почему-то назвался так, хотя потом понял, что это нелепо, ненужно и нечестно по отношению к Зосе.

«Спасибо вам, Виктор,— сказала она.— Теперь вы мне брат. И я вас спрячу, как брата. Так спрячу, что фрицы за сто лет не найдут. Идемте. А то через час вернется Грот. Он аккуратный».

Тогда я спросил:

«Думаю, в доме, где живут два врача, найдется скальпель и пинцет?»

«Скальпель? Зачем вам скальпель?»

«В бедре у меня сидит осколок гранаты».

Весьма возможно, что только сейчас она осознала всю серьезность опасности, которая теперь угрожала ей, отцу. Кролики, формалин, болтовня с гестаповцами — все это, очевидно, делалось в порыве, в увлечении необычным, все это была почти игра в спасение молодого здорового парня. А тут она поняла. И растерялась.

«Что ж делать? Идемте в папин кабинет, там все есть. Нет, нет... Нельзя... Могут прийти. Давайте сюда, наверх. Автомат поставим на место... Вот так... Кровью не закапали?» — осмотрела пол. Потом открыла неза-

метную дверцу в стене, и мы очутились в чулане, завешанном одеждой. Пальто, костюмы, платья. Что-то зашито в простыни — должно быть, шубы. Пахло нафталином.

«Богато живет доктор Савич. Жалко добра, потому и у немцев остался»,— недоброжелательно подумал я.

Мы пролезли под одеждой и через еще меньшую дверцу выбрались на чердак,— узкий проход между стеной мансарды и крышей. Откуда-то издалека процеживался свет, и можно было разглядеть, что здесь и вправду «черт ногу сломит». Старые стулья, картины, диван, верстаки, мешки, посуда — все это было нагромождено в полном беспорядке. Мы едва протиснулись под выступом окна и перебрались на другую сторону, за глухую стену мансарды, где было просторнее и светлее.

Здесь, на старом матрасе, Зося устроила мне пристанище. Другим ходом, через люк в потолке над кухней, она принесла простыню, подушку, одеяло, инструменты, бинты, вату, йод.

И я сделал себе операцию — вынул осколок. С ее помощью. Перед этим мы поспорили. Я считал себя уже настоящим медиком. Окончил медицинский техникум, прошел один курс института. Во всяком случае, давно уже избавился от ложной стыдливости, когда дело касалось болезней. Но, понимаешь, перед этой девочкой мне почему-то стыдно было. Я попросил ее отойти. Она не согласилась.

«Я никогда не собиралась быть врачом. Но я дочь двух врачей»,— решительно заявила она.

И она изрядно-таки помогла мне. Во всяком случае, крови не испугалась и повязку сделала умело.

А потом пришел Грот. Мы услышали, как хлопнула за стеной дверь. Зося нырнула в люк. Мужские шаги. Их голоса, его и ее. Слова не пробивались сквозь стены. О чем они говорили? Я ненавидел немца и за то, что он офицер гитлеровской армии, и за то, что оторвал от меня Зосю, не дает ей прийти сюда. Мне было тяжело оставаться одному. Вечерело. Поднялся ветер. Старая железная крыша громыхала на тысячу ладов. А мне чудилось, что в городе идет стрельба, кричат женщины, дети. Встали перед глазами повешенные так

явственно, как ни разу еще за этот долгий и страшный день. Ветер раскачивает их тела. Почернелые лица. Почернелое лицо Павла. Его живое, светлое лицо, на котором всегда играла улыбка, то задорная, веселая, то лукавая, то грустная. Он стоял передо мной, живой Павел, и просил: «Антон, если со мной что случится, не оставь Тарасика». Я не разыскал Тарасика. И мне хотелось кричать от обиды и боли.

Донесся глухой баритон Савича. Откуда-то снизу. Туда же спустился немец. Голоса стихли. Наверное, сели ужинать. В светлой столовой, за круглый стол, накрытый белой скатерью. Впервые я вспомнил, что уже сутки ничего не ел. Но есть не хотелось. В голове стоял гул. Кто такой Савич? Зося горячо поблагодарила, когда я сказал, что доктор Савич, я уверен, не выдаст меня. Однако не предложила: придет, мол, папа и сделает вам операцию, не повела в отцовский кабинет. Почему? Скажет ли она ему обо мне?

Тысячи мыслей сразу. Они прожигали мне мозг. Я чувствовал, что начинается лихорадка. Если потеряю сознание, начну бредить — выдам себя, выдам ее. И я напрягал все силы...

Стемнело. А ветер не утихал. Осенний. Холодный. Злой. И я все-таки провалился в темную пропасть. Там, сплетясь в клубок, катались волкодавы. Глядя на них, ржали эсэсовцы, и морды у них были тоже собачьи. Вдруг Лучинский страшной, длинной, как у Вия, рукой показал на меня: «Вот он!» Я бежал. А они гнались за мной. С необычайной легкостью я перепрыгивал через заборы, даже через дома. А они не отставали. У меня колотилось сердце. Вот-вот догонят.

Я пришел в себя от прикосновения к лицу холодной мягкой ладони и шепота над ухом:

«Голубчик! Что ты? Жар? На, выпей вот это. И поешь».

В темноте девушка сунула мне теплую бутылку. Помогла поднять голову. Я пил сладковатую жидкость, от которой пахло смородиной и полынью. Она подбадривала меня:

«Пей, пей. Ты стонал. Не надо стонать. Нельзя. Если б я могла остаться здесь с тобой, я б последила. Съешь вот это».

В руке у меня оказался кусок мяса — должно быть, крольчатины.

«Они сели играть в шахматы, отец и Грот. Оба чем-то взволнованы, что-то скрывают от меня. А я — от них. Если б мне можно было остаться, Виктор! Я присмотрела бы за тобой».

Питье и еда подкрепили. Я постарался успокоить ее:

«Это во сне. Больше стонать не буду. Не позволю себе спать».

Она ушла. Теперь я был спокойней. Я чувствовал ее присутствие, ее заботу. И мне не было страшно в темноте под крышей, которая все гудела и грохотала. Только не слишком бы Зося старалась, а то может нас провалить. Теперь уже я думал не о себе — о нас.

Мне и вправду стало лучше. Во всяком случае сознания я больше не терял.

Среди ночи пошел дождь. Десятки молоточков застучали по железу. Потом по моей голове. Оглушили. И я провалился в пустую яму, где не было ни собак, ни гестаповцев.

Проснулся, когда рассвело. Самочувствие почти как у здорового. Даже нога не очень болела. Больше — палец на руке, и я долго не мог вспомнить — отчего. В мыслях — тишина. И на дворе тихо. Хлопнула калитка. Голоса. Кто-то ушел. Скоро явилась Зося. Принесла завтрак — кашу, молоко, яблоки. Вкусно и много. Была она сосредоточенна, серьезна, не так говорлива, как вчера. Сказала с болью, горестно: «Они повесили одиннадцать человек. На площади. Какое зверство! А наши задушили начальника полиции».

«Собаке — собачья смерть»,— не выдержал я.

Она взглянула на меня и... догадалась:

«Ах! Это вы?!»

Трудно понять, чего больше было в ее возгласе: удивления, восхищения или страха? Я испугался, что теперь она будет меня бояться. Страшно станет ей оставаться один на один с человеком, который может своими руками задушить другого.

«Я выполнил приговор народа. Этому гаду давно был вынесен приговор. У меня не было другого оружия...»

Это звучало как попытка оправдаться. И мне стало неприятно. Почему я оправдываюсь? Нет, она поняла. Вздохнула тяжело и сказала:

«Я хочу ненавидеть их, как вы. И не могу. Грот — добрый человек. Культурный. Вежливый».

Она судила о фашистах по одному немецкому врачу.

«Для того чтоб их так ненавидеть, надо знать то, что знаю я!» И я, волнуясь, стал рассказывать о расстреле военнопленных в карьере кирпичного завода, о пытках, которым подвергают наших людей в застенках гестапо, об ужасах еврейского гетто, о зверском убийстве девятилетнего мальчика, моего соседа, вина которого заключалась в том, что он, выбежав утром во двор, написал струйкой на снегу слово «Гитлер»... И о борьбе, которую ведут армия, народ, партизаны. О подполье в городе, о Павле. Как он крикнул свои последние слова перед казнью! Нет, она жила не так уж изолированно. Кое-что она слышала. Но поведение отца, которого она любила и каждому слову и поступку которого верила с детства?! А потом этот доктор Грот. Он хитро воздействовал на девичий ум. Он осуждал жестокости немецких властей. Однако тут же оправдывал их тем, что якобы с нашей стороны война ведется антигуманно. Факты «фанатического» убийства немецких солдат и чиновников вынуждают власти прибегать к таким жестоким мерам. Война есть война. А вот если б наш народ покорился, они, немцы, только несли бы нам свою высокую культуру. Он часто разглагольствовал о великой культурной миссии германской расы.

Послушав Зосю, я понял, что не такой уж он безобидный, этот хирург Грот. Во многих отношениях он страшнее тех, что стреляют и вешают. Разница лишь в том, что он просто умнее их. Юная, чистая душа рвалась к борьбе, а ее хитро опутывали цепями лживых слов и уговоров. Хотели, чтоб в жизни она знала только три «К»: «Кирхе, кюхе, киндер». Они возложили на нее все хозяйство, чтоб у нее не оставалось времени ни на что другое. В доме мог быть денщик, работница. Нет, она хозяйничала одна. Грот и отец помогали ей. Ну, Грота я понимал. За год

перевидал всяких фашистов. Но Савич... тот Савич, что всю жизнь смело боролся с эпидемиями. Зачем ему завязывать глаза собственной дочери? Хорошо, что она вышла вот такая — воспитанная советской жизнью и школой. Без бунта, без шума, однако рвала все их путы.

«Какая была бы подпольщица!» — подумал я, когда она между прочим рассказала о кроликах и формалине.

Мы с ней проговорили часа два. Потом она спохватилась. «Ой, надо ж обед готовить!» Савич и Грот являлись обедать ровно в час дня. С немецкой пунктуальностью.

После обеда мы опять разговаривали. Шепотом, конечно. Она наклонялась ко мне, я чувствовал ее горячее дыхание. И мне было хорошо...

На третий день, утром, меня навестил сам хозяин.

— Савич? — снова переспросил удивленный Шикович.

— Савич. Он явился неожиданно. Я услышал чужие шаги, схватился за пистолет. Он словно предвидел это. Сказал из-за угла: «Не вздумайте стрелять. У меня мирные намерения». Я спрятал пистолет под одеяло, но не выпускал из рук.

Савич приблизился. Ссутулившийся, старый. Совсем седой. Голова белая-белая. С начала оккупации я старался не попадаться ему на глаза, чтоб он не узнал своего бывшего студента. Изредка только видел издалека. Как он изменился! Куда девался тот стройный, подвижной, жизнерадостный человек, которого мы в техникуме любили, несмотря на его требовательность. «Зачем такому старику работать у немцев да еще возглавлять отдел охраны здоровья? Чье здоровье он охраняет? Свое собственное не мог сохранить»,— саркастически подумал я.

На чердаке стоял полумрак. Но Савич сразу узнал меня.

«Антон Ярош?»

Ну и память!

«Погоди. Погоди. Высокий. Блондин. Так это ты — Лучинского? — болезненно этак поморщился. — Не очень красиво».

Меня взорвало.

«А вешать людей на площади красиво? Что значит какой-то холуй в сравнении с этими людьми?!»

«Тише ты!.. Гром! — прошептал он.— Не одного себя ставишь под удар. Не забывай».

Я сразу прикусил язык.

Он присел на матрас, коснулся сухой ладонью моего лба.

«Ранен? Зося бинты таскает».

«Ранен»,— признался я.

«Покажи».

Разбинтовал. Осмотрел рану.

«Кто оперировал?»

«Сам. Зося помогала».

«Противная девчонка! Кролика убить не может. Крови боится. Ну что ж... Гангрены нет. Через неделю будешь плясать. Когда-нибудь станешь хорошим хирургом».

Напророчил старик.

В тот момент я почувствовал к нему симпатию. Нет, черт возьми, все-таки это тот же Савич, которого я знал! И у меня невольно вырвалось:

«Спасибо, Степан Андреевич!»

«Меня благодарить не за что,— проворчал он.— Зосю благодари.— И, помолчав, сказал сурово, отрывисто бросая слова: «Ты вот что... Лежи... тут... Тихо лежи... Но, упаси боже... тронешь Зосю...»

Я даже не сразу сообразил, что означает «тронешь». А понял — задохнулся от обиды и возмущения.

«Что я, по-вашему,— фашист?»

Он похлопал меня по щеке:

«Ну, ну... Не обижайся. Я сам когда-то был молод».

«Молодость молодости рознь».

Савич незаметно вздохнул.

«Да... Трудная у вас молодость. Ну, будь здоров. Так помните: осторожность...»

И ушел. Еще больше, казалось, сгорбился. А через несколько минут появилась Зося. Счастливая, но в слезах. Порывисто бросилась ко мне, обняла.

«Виктор, дорогой, ты знаешь...— Опять на «ты», как в ту, первую ночь.— Ты знаешь... Он ничего не сказал. Прижал меня к себе, поцеловал. И заплакал. Папа за-

плакал. Боже мой! И только все время повторяет: «Будьте осторожны! Будьте осторожны!»

Они не заметили, как рассвело. Был конец июня, самые короткие ночи. Просыпались птицы, наполнялся гомоном лес. А два человека жили в минувшем, в другой ночи, далекой и страшной. Только когда над дубами со свистом пролетели две утки, громко шлепнулись в старицу и крякнули, Ярош прервал рассказ, поднял голову. Удивился:

— Утро?.. Ну вот, по сути, и все... Об остальном как-нибудь в другой раз.

Шикович молчал — «переваривал» то, что услышал. Готовый сюжет. Готовые образы. Но все-таки, кто же такой Савич?

Усталый Ярош сидел на лавочке и слушал утро.

Наконец Шикович почувствовал, что ему холодно на земле. Затекли нога и рука. Поднялся, потянулся.

— Ну, брат, дал ты работу моему склеротическому мозгу! Но скажи откровенно, Антон, почему ты все это рассказал? Молчал, молчал, а тут бух, сразу, в один присест... Среди ночи...

Ярош задумался на минуту.

— Вчера я встретил Зосю.

— Ту самую? — Кирилл перепрыгнул через потухший костер.— Где? Погоди. Ты же говорил, что дочь Савича погибла.

— Так я думал восемнадцать лет.

— Ну и ну! Где ты ее встретил?

— В больнице.

— Больная? Погоди. Когда убит Савич?

— В мае сорок третьего.

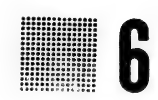
— С сентября до мая она должна была узнать, кто же ее отец. Она ничего не сказала? Надо расспросить.

— Никаких расспросов. До операции. Я оперировать ее буду. Приобретенный порок...

— Сердце? — Кирилл свистнул.— А вдруг зарежешь?

Ярош вздрогнул и ответил зло:

— Я никого не режу. Я лечу.— И, должно быть, желая смягчить резкость ответа, предложил дружески: — Пойдем на луг. Встретим солнце.



6

Славик Шикович стоял на привокзальной площади с двумя девушками, раскрашенными под киноактрис. Пестрые юбки зонтиком, прически «воронье гнездо». Обе рыженькие, подкрашенные хной. Славик вертел в руках цепочку с ключами от автомашины и что-то рассказывал, пытаясь их развлечь, но чувствовал, что источник его остроумия иссякает, и злился. Было жарко и скучно. Хотелось пойти в ресторан. А денег ни гроша. Даже на автобус, чтоб поехать на дачу к родителям. Да и скука там, на даче. Все ахают: «Какой лес! Какой луг! Река!» Ну, ладно, в реке можно искупаться. А дальше что? Зол он на родителей. Сегодня в особенности. Построили дачу, живут в свое удовольствие... А он должен работать и питаться в столовке. И мать теперь заодно с отцом. Ничем ее не разжалобишь.

Скучно.

И вдруг Славик увидел Тараса. Разглядел через площадь. Тот стоял на остановке загородных автобусов, в большой очереди.

— Ша, леди! Вижу одного представителя будущего. Попробую разжиться на сегодняшний день. Подождите.

И он двинулся через площадь, не обращая внимания на машины.

— Хэлло, мистер Гончаров! — шумно приветствовал Славик.

— Здорово, товарищ Шикович.— Тарас улыбнулся, как улыбаются взрослые, глядя на забавы детей.

Колхозницы из очереди с любопытством и насмешкой смотрели на юношу в узеньких брючках, пестрой рубахе, со шнурочком на шее, стянутым бляшкой.

Славика несколько смутили эти взгляды. Неглупый парень, он сразу почувствовал, что тут не место для кривляния и фиглярства. Заговорил просто, грубовато. Показал на туристский мешок, стоявший у ног Тараса.

— Куда с таким «гумном»?

— К своим.

— Заботливый сын почтенных родителей?

Старая женщина не выдержала:

— По тебе, парень, видать, что ты такого «гумна» своим родителям не повезешь.

— Твоего Яроша возит мой бохан на машине. И они не приезжают пустыми.

По очереди прокатился шепот:

«Яроша? Какого Яроша? Того? Доктора? Сын? Который?»

Славик взял Тараса под руку, кивком головы предлагая отойти. Тарас попросил женщин поберечь его мешок и очередь.

Не так уж они были близки, Тарас и Славик. Когда семьи сдружились, Тарас служил в армии. Вернулся — пошел на завод. Славик в это время кончал десятый класс. При всей его бесцеремонности Славику нелегко было попросить денег у этого спокойного, старшего по возрасту парня.

Тарас достал пачку «Беломора», протянул.

— О, гляди ты! Не знал, что члены комбригад курят.

Знал. Все знал. Но за шуточками легче скрыть смущение.

— А что мы — ангелы? — Тарас щелкнул перед Славиком зажигалкой, давая прикурить.

— Скажи по совести, комбригадир, скучно в такой бригаде?

— Странные у тебя представления, работник телестудии. Почему скучно? Скучно хорошо работать?

— Не одной ведь работой жив человек! А этот регламент? Не выпей, не закури, не выругайся, не потискай девчонку... Мы снимали для хроники бригаду на швейной фабрике. Монахини. Ей-богу! В каждой комнате обязательства висят. Посещать техучебу, ходить в кино, в музеи. Какие музеи, когда у нас один-единственный краеведческий? Читать газеты... Образцово прибирать комнаты. Не хватает только — чистить зубы. Тоска!..

— Не знаю, как там на швейной, а у нас бригада что надо!

— Однако же выпить — ни-ни?

— Отчего же? При случае...

— Ну-у? Можно, значит? Прима! А в ресторан можешь пойти?

— Разве в ресторане только пьют? Можно просто пообедать.

— Гениальная мысль! «Пообедать!» Ты знаешь, я голоден, как динозавр. Как с утра напился чаю...

Тарас стоял в нерешительности. Хотелось скорей к своим. За неделю он соскучился по Вите, Наташе, по отцу, по Галине Адамовне. Яроша и теперь, став уже взрослым, Тарас звал отцом. Жену его, как отказался называть мамой в первый день ее появления, шестнадцать лет назад, так никогда и не называл. Однако любил, как мать.

Тарас перевел взгляд с правого крыла вокзала, где помещался ресторан, на очередь.

Славик хмыкнул.

— Боишься?

— Чего?

— Увидит кто-нибудь с завода, распишут завтра на всех стенах. Бригадир Тарас Гончаров...

— Глупости.

— Так чего ты оглядываешься? Нельзя зайти в ресторан, пообедать на честно заработанные деньги? Ох, жизнь!

Тарас прекрасно понимал, что Славик подначивает его, но отнесся к этому добродушно: на какие уловки не пойдет голодный человек!

— Пропущу очередь, когда потом доберусь?

— В этот автобус тебе все равно не попасть. А втиснешься — ребра переломают.

— Ну, ладно. Пошли.

Тарас вернулся к очереди, взял рюкзак. Но уже через минуту пожалел, что согласился. Слава пошел почему-то не к ресторану, а в другую сторону. Сказал:

— Видишь, стоят? Шик! Мои знакомые. Возьмем?

Крикливо одетые девушки не понравились Тарасу. У него вырвалось:

— Ну и фифы!

Славик засмеялся и, не дойдя до девушек, крикнул им:

— Тарас говорит, что вы фифы. Гуд бай! — И повернул к вокзалу.

— Хамло твой Тарас! И ты вместе с ним,— крикнула одна из девушек.

Кровь ударила Тарасу в голову, даже зазвенело в ушах.

А Славик спокойно заметил:

— Откуда выплывает столько дряни?

«А зачем ты водишься с этой дрянью?» Тарас злился, и в то же время его разбирало любопытство. Все-таки чем-то он притягивает к себе, этот Славик. Хочется узнать его получше.

Сели за столик у окна. На первом пути стоял дальний поезд. На перроне — суета, крик. У площадок толпились пассажиры. А в ресторане пусто.

Славик брезгливо смахнул крошки, завернул угол испачканной скатерти.

— Думаешь, тут можно культурно пообедать? Шиш!

Здесь, в ресторане, он преобразился: стал серьезен и важен. Пальцем подозвал официантку и, пока та не спеша подходила, раскрыл тяжелую, замусоленную, с поблеклыми золотыми буквами дерматиновую обложку, в которой лежал листок меню.

— Начнем, Валя...

Девушка, вытащив книжечку и огрызок карандаша, передернула плечами.

— Всем вам снится Валя.

Славик поднял глаза.

— Ах, Маринка? Прости, Марина. Начнем, Марина, с того, что... заменим скатерть! Что это за тряпка? Позор! Ресторан называется! Имей в виду: это — Тарас Гончаров.

Девушка глянула на Тараса и послушно начала собирать со стола бокалы и посуду. Тараса возмутил тон, которым Славик говорил с ней. Скажи, пожалуйста, какой Стива Облонский! А при чем тут его имя? «Нет, не потому что голоден, тащил ты меня в ресторан. Порисоваться хотел. Удивить. Мальчишка».

Когда девушка побежала за чистой скатертью, он сказал сердито:

— Слушай, если ты будешь продолжать в таком тоне, я уйду. Не люблю этих ресторанных штучек.

— А что? — казалось, совершенно искренне удивился Славик.— Пусть думает, что ты чемпион. Они любят чемпионов. Лучше обслужит.

Он изучал меню. Морщился, вертел головой.

— Одна свинина да рыбные консервы.

— А тебе устриц бы хотелось?

— Устриц! Огурца свежего нету. А на рынке их уже полно.

— На рынке есть,— согласился Тарас.— Я вот везу.

— Серьезно? Выкладывай. А то Яроши плюс Шиковичи все слопают. Колхозом живут. И аппетит у них там...

— Неудобно.

— Все удобно. Давай сюда!

Он и в самом деле гипнотизировал своей удивительной непринужденностью. Тарас развязал мешок и вынул полдесятка молоденьких зеленых огурчиков.

Славик передал их официантке, которая постелила чистую скатерть, поставила бокалы, с улыбкой слушая их разговор.

— Марина! Помыть. Но не резать. А то повар половину сожрет. Целенькие. Украсить лучком. Отдельно сметану. Сколько? Стакан сметаны. Директору скажи: пусть посыплет голову пеплом от стыда, что посетители приходят со своими огурцами. Вот так,— презрительным жестом он швырнул на окно меню.— Отбивные.

— Сколько?

— Десять. Восемь съешь сама.— Он шутил грубо, мрачно, без улыбки, и это тоже возмущало Тараса.— Коньяка — триста.

— Только по сто.

— Только? А ты сделай нам триста. Воды добавь. И закон не нарушен, и мы довольны.

Официантка засмеялась и ушла.

Манера Славика держаться и возмущала Тараса и забавляла.

«Вот тип! Хоть бы спросил, есть ли у меня деньги на коньяк».

— Ты слышал? Только по сто.

— И правильно.

— Брось! Все это ханжество дядей, которые пьют дома.

— Ну, знаешь, дай волю таким, как ты... Нализутся.

— Нализутся. Потому что нет культуры пития. В Париже десять тысяч кафе, и нет пьяных.

— Кто тебе сказал?

— Читал. А у нас три ресторана. И нализываются каждый вечер.

— Кто нализывается? Тот, кто на папочкины деньги пьет. Рабочий...

— Брось! Знаю. Ты — рабочий класс, а я — не класс... А кто я? Я так же зарабатываю свои пятьдесят шесть рублей. И отличаюсь от тебя только в одном. Тебе все нравится, ты всем доволен... А я ко всему отношусь критически.

— Вот именно — ко всему!

— Не лови на слове. Гагарин полетел — я на голове ходил у нас в студии. От восторга. Критикую то, что мне не нравится.

— Дурное и я критикую. Только не по ресторанам.

— А где? На собраниях? Не люблю собраний — скучища.

Тарас отбросил деликатность, спросил язвительно:

— А что ты любишь — парижские кафе?

Славик разинул рот. Посмотрел на Тараса так, будто увидел впервые.

— Ты знаешь, за такие слова бьют?

— Заело?

— Но — черт с тобой. Слушай крамольные речи дальше. Не люблю, когда зажиревшие дяди начинают меня поучать...

— Кто это «зажиревшие дяди»? Твой отец, Ярош зажирели?.. Моего отца фашисты повесили. Он тоже не годится тебе в учителя? Смотри, далеко зайдешь с такой философией.

Тарас говорил горячо, взволнованно, хотя и не в полный голос. Но слова его, должно быть, услышали на соседних столиках. На них стали обращать внимание. Славик первый заметил это и примирительно прошептал:

— Тише. На нас смотрят.

Тарас опомнился.

По радио объявили, что до отхода скорого поезда Киев — Ленинград осталась одна минута. Пассажиры торопливо покидали зал ресторана. За окном на перроне женский голос молил: «Боря, пиши! Каждый день пиши!» Другой, мужской: «Мама, поцелуй Аньку за меня!» У окна — двое пьяных мужчин: «Пусть едет. Черт с ней! А мы пойдем возьмем «с прицепом». Такая наша жизнь, брат».

— Слыхал? «Такая наша жизнь» — засмеялся Славик.

Тарас не ответил. Он смотрел в окно, на зеленый вагон с широкими окнами. В одном окне — девичье лицо, красивое и грустное. Тарасу стало жаль девушку:

«Почему она так печальна? Не надо, славная девушка. Жизнь хороша. В ней много радости. Если б я мог подарить тебе эту радость!..»

Вагон тихо поплыл. Девушка встретилась с ним взглядом. Он улыбнулся ей и прощально помахал рукой. Ему тоже стало немножко грустно. Плыли вагоны. Окна. Лица. Много лиц. Все скорее, скорей... А он, завороженный, видел все то же девичье лицо. Он был мечтатель и фантазер. Представлял будущую встречу с незнакомкой.

Когда Тарас обернулся, на столе уже стоял графинчик с коньяком, огурцы, бутылка нарзана.

— О чем задумался, маэстро?

— Да вот стараюсь понять: почему у умных родителей растут такие дети?..

— Глупые, хочешь сказать? И имеешь в виду меня. Ладно. Выпьем и порассуждаем на эту тему.

Славик заученно-красивым движением разлил коньяк, придвинул Тарасу огурцы. Поднял рюмку, прищурился, полюбовался янтарной жидкостью.

— Будь здоров, комбригадир! — И, не чокнувшись, выпил. Огурец взял рукой и аппетитно захрустел.

Все у него получалось на редкость непринужденно. Тарас выпил полрюмки, разрезал огурец тупым ножом, посыпал солью — по-домашнему, основательно. И, однако, сам чувствовал свою неуклюжесть рядом со Славиком. Руки, такие ловкие и умелые на сборке машин,

тут как бы вышли из-под власти. Это выбивало из колеи, лишало обычной находчивости. А Славик продолжал свою легкую болтовню. Он опять налил себе — столько, сколько осталось у Тараса. Но не выпил. Обхватил рюмку ладонью, наклонился над столом. Щеки его зарумянились, глаза стали маслянистыми, открылись шире, а то он все щурился. Голос понизил до шепота:

— Ты считаешь, мои родители умные? А я полагаю: было б это так, сумели бы меня другим вырастить. А то ведь что получилось? Сын журналиста, писателя. Уважаемого в городе человека. Я рос под покровом отцовской славы, как под зонтиком. Бохан приходил в школу, выступал, а я задирал нос: ни у кого нет такого папы!.. Мать изо всех сил старалась, чтоб я как сыр в масле катался. А потом вдруг — ожили бациллы принципиальности. В первую очередь — у бохана.

— Где ты выкопал это дикое слово? — не выдержал Тарас.

Славик иронически улыбнулся.

— Моралисты вы все,— и выплеснул в рот коньяк.— Ну, у отца, у папы. У родителя. Как хочешь... так вот... Другие плевали на принципиальность, на мораль — и устроили свои чада в институты. А мой: «Пойдешь на завод». Не хочу на завод, хочу на телестудию. Буду готовиться в киноинститут. Тут, конечно, мама на помощь: «Может быть, у мальчика талант». И отец отступает. Перед талантом. И устраивает мальчика на телестудию. И вот он — ассистент оператора. Как звучит! А-а? У безграмотных дур головы кружатся! А ассистент переставляет лампы, чистит кинокамеры. Стережет отцовскую квартиру. И питается в столовке. На большее не хватает... А отец не дает. Все те же бациллы принципиальности... И член комбригады Гончаров называет это проявлением большого ума.

— А ты хотел бы, чтоб тебе отваливали по тысяче?

— Чего я хотел бы? — Славик долил Тарасу, налил себе, отрезал кусочек отбивной.— Выпью за тебя. Ты счастливый человек. У тебя много желаний.— Выпил.— Пей до дна. Вся беда в том, что я ничего не хочу. Разве что — в космос куда-нибудь полететь.

— Туда дураков не пускают.

— Спасибо за справку. Мне даже в институт расхотелось. Какой у меня талант! А ремесленников хватает без меня. Из людей, считающихся талантливыми, я уважаю только двоих — твоего приемного и нашего столяра, дядьку Атроха. Ярош может выпотрошить человека, и тот остается жив. Это кое-что значит. А что касается моего папочки... Напускает на себя скромность: сидит на периферии. А считает себя, конечно, лучше столичных. Стал я читать его последнюю повесть и уснул на семнадцатой странице. Колхоз... Доярки.

— О доярках тебе не нравится? А молоко нравится?

— Молоко — да. Но я предпочитаю коньяк.

— Не зубоскаль.

— Хочешь серьезно? Ну, так вот... По-моему, если уж ты берешься писать, то пиши, как... ну, Ремарк, например.

— Что же тебя у Ремарка увлекло?

— Что? — Славик на миг задумался.— Герои живут интересной жизнью.

— Чем же она интересна? Герои, как правило, глубоко несчастны. Трагические. Ты хотел бы такой жизни?

Славик ушел от прямого ответа.

— Они свободны...

— В чем? Ты видишь только внешнюю сторону. Кальвадос...

— Что-о? — не понял Славик.

— В «Триумфальной арке» герои пьют такую водку.

— А-а...— Славик почувствовал, что своей начитанностью ему здесь не блеснуть: Тарас читал не меньше. И, припертый к стенке, рассерженный, со свойственной ему изворотливостью, сделал заход с другой стороны — сказал зло: — Вот оно, ваше ханжество, умники! Сами читаете под одеялом... Смакуете... А потом делаете постные физиономии. «Ремаркизм заражает молодежь». Ты серьезно думаешь, что я могу чем-нибудь заразиться? А ты будешь меня лечить?..

Это было похоже на вызов. Тарас понимал, что,

продолжая разговор, они могут поссориться, и не стал отвечать. Подозвал официантку, чтобы рассчитаться.

— Закажи нашего кальвадоса,— примирительно сказал Славик.

— Нет, мне надо ехать.

— Ну, черт с тобой!

Тарас рассмеялся. Занятный он все-таки паренек, этот Славик! Но в голове у него мусор.

Наташка радостно закричала:

— Мама! Тарас приехал!

Бросилась навстречу брату, повисла на шее. И отскочила, удивленная. Нахмурилась. Тут же выложила:

— Мама! Тарас пьяный!

— Что ты выдумываешь?

— Но ты пил?

— Пил,— признался Тарас, здороваясь с женщинами.

Галина Адамовна ласково и укоризненно покачала головой.

— Тарас!

Валентина Андреевна, любуясь юношей, сказала:

— Что вы опекаете его, как маленького. Ах, какой ужас, чарку выпил рабочий человек!

— Я Славика встретил. И он затащил меня в ресторан.

— Славик затащил? — В голосе Валентины Андреевны прозвучало сомнение: «Как это могло случиться, что мой сын затащил тебя, ведь ты старше на пять лет!»

— Сказал, что голоден, с утра ничего не ел. А по-моему, соврал. В ресторане он частый гость. Всех официанток знает.

— Официанток? — Улыбка сбежала с лица матери. Ни о чем не стала расспрашивать. Сказала: — Отбивается мальчик от рук. Надо им заняться.

Она была хорошим педагогом. Но когда дело касалось ее детей, забывала обо всем. Она всегда любовалась приемным сыном Яроша, ставила его в пример своим детям. А сейчас подумала: «Если уж вместе пили, помолчи».

Валентина Андреевна под каким-то предлогом ушла в дом.

Галина Адамовна, почувствовав эту перемену в настроении приятельницы, с укором сказала Тарасу:

— Нехорошо так... Надо понимать, что матери больно это слышать. Мог бы и помолчать.

— Да нельзя молчать, Галина Адамовна,— возразил Тарас.— Видели бы вы, как он себя вел и какую нес околесицу. Во всем разочаровался, все ему надоело, ничего не нравится. А мы будем смотреть и молчать? У нас так часто делается. От родителей скрывают, от общественности... пока человек не увязнет в болоте. Тогда будем ахать. Нет, я нарочно. Еще Кириллу Васильевичу скажу. Пускай он поинтересуется, чем там занят комсомол на студии.

— А сам пил с ним,— упрекнула Наташа.

— Не суй нос в мужские дела! — оборвал ее Витя.

— Мужчины! — презрительно фыркнула девочка и поскакала на одной ноге к ручью.

Выпив добрых двести граммов коньяка, Славик ходил и искал, за чей бы счет еще поживиться. В парке он встретил знакомого. Этот графоман жаждал напечатать в газете свои стихи. Зная, что судьба его зависит от Шиковича, он настойчиво искал путей к его сердцу. Подвернулся сын Шиковича. Что ж, можно действовать и через сына. После щедрого угощения у Славика начало двоиться в глазах. Он решил на студию не идти.

Работу свою молодой Шикович любил. Но после того как высмеял ее перед Тарасом, должность помощника ассистента и в самом деле показалась ему ничтожной и смешной. Состоится передача и без него.

Мимо открытой площадки летнего ресторана ходили то парами, то целым отрядом дружинники. Славик боялся дружинников больше, чем милиции.

Пришло в голову, что они подстерегают именно его. И в минуту просветления он удрал от «великого поэта», который весь вечер читал ему свои стихи.

Нырнул в кусты, вышел через дальние ворота из парка и с наилучшими намерениями — стеречь квартиру, чтоб не забрались воры, — направился домой. Но на беду дом его находился рядом с гостиницей.

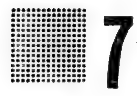
В их город не так часто заглядывали иностранные туристы. Но в тот летний вечер, проездом с юга в Ленинград, остановились английские студенты. Приехали на двух больших старомодных машинах. Машины собрали целую толпу зевак. Славик, конечно, немедленно присоединился к ним. Когда узнал, что здесь английские студенты, захотелось обсудить с ними некоторые международные проблемы. Пошел разыскивать гостей. Они ужинали в ресторане. Славика туда не пустили. Это еще больше разожгло его, придало решимости добраться до туристов любым путем. Он пробрался в ресторан через кухню — знал все ходы и выходы, ведь жил рядом, иной раз по поручению матери брал здесь обеды.

Шумно приветствовал англичан. Те обрадовались случаю познакомиться с советским юношей и пригласили его к столу. Но английский язык Славик учил — только бы вытянуть на тройку. Да и то, что знал, забыл за год. К тому же еще он был пьян. Хотел сказать одно, а выходило совершенно другое. При всей своей сдержанности и чинности англичане не выдержали. Молодежь есть молодежь. Сперва — вежливые улыбки, потом — взрывы хохота. Этот смех оскорбил Славика. Он хочет поговорить серьезно, узнать, например, что они думают о войне и о мире, а они вон как хохочут! Погодите же!.. И Славик перешел на родной язык...

По-английски англичане его не понимали, по-русски поняли. Все вскочили. Не столько от возмущения, сколько от неожиданности, от боязни скандала. Сбежались служащие ресторана. Славика вывели из гостиницы и передали дружинникам.

Проснулся он в вытрезвителе. Болела голова и все тело. Припомнил, что натворил, и сразу представил мать, как она примет все это. И хотелось ему... нет, не умереть, а сбежать на край света. Но его повели в народный суд. Вот тут Славику захотелось умереть. Судья — их знакомая Зоя Тимофеевна. Жи-

ли в одном доме. В гости приходила, в лес вместе ездили. Славик смотрел на нее с надеждой, с мольбой: «Смилуйся, всю жизнь буду тебе благодарен». Но полная, с широким добрым лицом женщина, только задумалась на минуту. А потом без лишних расспросов и нотаций огласила приговор: «Десять суток».



7

Гукану доложил о происшествии с Шиковичем-младшим начальник милиции.

— Приставал, понимаете, к иностранцам. Обозвал шпионами. Молол какую-то чепуху об атомной бомбе.

— Стратеги сопливые! — заметил Гукан беззлобно, как бы между прочим, подписывая бумаги. Вообще он слушал спокойно, как будто без интереса.

Начальник милиции почтительно подождал, когда председатель исполкома выскажет по этому поводу более определенное мнение. Не дождавшись, осторожно спросил:

— Что будем делать, Семен Парфенович?

Гукан вдруг рассердился:

— Я тебе что — прокурор или народный судья? Есть закон, по закону действуй.

Подполковник четверть века прослужил в милиции и научился угадывать мысли начальства. Но с Гуканом это не получалось. Гукана невозможно было понять. Он неожиданно становился добрым и ласковым и столь же неожиданно взрывался.

Пожалуй, вернее всего держаться с ним строго официально. И начальник милиции ответил:

— Понятно, товарищ председатель.

Гукан посмотрел на него и тяжело вздохнул.

Спросил вновь спокойно, в раздумье:

— Скажи мне, Сизоненко, кто виноват, что растут у нас такие экземпляры?

— Все по малости.

— Кто?

— Школа, комсомол, мы.

— Кто — мы?

— Милиция, я имею в виду. Не проводим профилактических мер... Либеральничаем.

— А родители? — Гукан поднял голову.

— Родители — это само собой... В первую очередь, конечно, родители.

— Правильно. В первую очередь, — согласился Гукан.

И больше ни слова об этом. Занялись другими делами.

Но когда начальник милиции ушел, Семен Парфенович встал из-за стола, выйдя на середину кабинета, сладко потянулся и два раза бодро присел, поднимая руки. Он нередко делал такую разминку, но темп ее зависел от настроения: чем выше настроение, тем движения быстрее. Потом подошел к окну, полюбовался каштаном.

Набрал номер секретаря горкома.

— Один? — Они уже виделись сегодня.

— Когда я бываю один! Просвещение вот сидит. Думаем вместе. Сидим и думаем. А работа стоит,— как всегда шутливо, отвечал Тарасов.

— Ты слышал, что натворил сын Шиковича? Черт знает что? Международный скандал.

Тарасову за два часа с начала работы уже третий человек рассказывал об этом случае. Скажи, пожалуйста, какое событие дня! И сейчас в звонке Гукана он уловил какое-то нездоровое смакование. Понял: будь на месте Шиковича любой другой юный шалопай, вряд ли этой истории придали бы такое значение. Но сын Шиковича... Поэтому секретарь ответил все так же шутливо:

— Международный, говоришь? Неужели грозит разрыв дипломатических отношений?

Гукан осекся. Неприязненно подумал: «На шуточки сбивает. Выгораживает».

— Ты не шути. Факт неприятный.

— А я что говорю: радостный?

— Угрожать гостям! Что они подумают о нас?

— Если враги, так они давно уже думают. А если друзья, то один дурак...

— Нет. Надо сукиного сына судить по закону...

— Вот как! — Тарасов, казалось, удивился. — А может, хватит этому «поджигателю» десяти суток? А?

Эта манера секретаря, этот его скрытый юмор не раз уже выводил Семена Парфеновича из себя. На десять лет моложе, а разговаривает с ним, старым человеком, опытным работником, как с мальчишкой.

— Пускай подметает дорожки в парке. А то они замусорены у тебя. Противно смотреть.

«У меня. Все у меня. А у тебя что?» — опять раздраженно подумал Гукан и сказал:

— Нет ответственности у родителей.

— Вот это правильно! — отозвался Тарасов.— Родители у нас воспитанием занимаются плохо.

— Шикович претендует на роль воспитателя масс, а собственного сына распустил. Много имеет... Деньги. Машина. Дача...

А это Тарасову уже не понравилось. Конечно, отец отвечает. Однако когда из отдельных фактов начинали выводить теорию, что, мол, все уродливые явления результат обеспеченности родителей, что всему виной благосостояние, это возмущало Сергея Сергеевича. Выходит, только в бедности, в нищете можно правильно воспитывать. Ерунда!

— Шикович получает в редакции столько же, сколько другие. По штатному расписанию,— холодно ответил секретарь.

Гукан смолчал. Вспомнил, как однажды в разговоре Тарасов сказал все с той же своей лукавинкой:

«Ты же не отказываешься от гонорара за свою книгу, хотя писал ее не ты?»

Теперь Семен Парфенович подумал:

«Ясно. Стоит за Шиковича. Как это я не знал до сих пор, что они так заодно».

Постарался смягчить, чтоб Тарасов не подумал, что он хочет «потопить» своего соавтора:

— Конечно, за такими шалопаями разве уследишь? Хорошо, что мои во время войны выросли. В эвакуации. Узнали и цену хлеба и цену копейки.

Тарасов весело крикнул в трубку:

— Что-то ты, Семен Парфенович, кидаешься сегодня из стороны в сторону. То все валишь на родителей, то совсем снимаешь с них вину. Нет, родителей-коммунистов мы послушаем. На одном из очередных бюро горкома. Прости. У меня — люди.

А родители еще ничего не знали. Валентина Андреевна была на даче, а Кирилл с самого утра забрался в партархив. После рассказа Яроша желание заняться подпольем, во всем объективно разобраться и написать документальную книгу стало еще больше. Бывал он подчас ленив, иной раз работал с прохладцей. Но уж когда загорался темой, то как одержимый сидел по шестнадцати часов в сутки. «Работаю, как Бальзак»,— шутливо хвастался он перед близкими. Так он трудился последнюю неделю. С утра — в архиве, вторую половину дня — в редакции, вечером — дома, приводил в порядок то, что удалось раздобыть утром. А материалов в архиве — непочатый край. Интереснейшие документы. За шестнадцать лет не все даже систематизированы. Штат архива невелик. Начальник — старый коммунист, Сырокваашка Мина Азарович, в прошлом директор музея, больше интересовался эпохой гражданской войны, когда он был молод и сам партизанил на Полесьи. Писал даже какие-то мемуары. В начале Отечественной войны судьба занесла его в далекий Новосибирск, где ему поручено было хранение эвакуированных из Ленинграда архивов.

Появление писателя встряхнуло маленького седого старичка. Мина Азарович будто сбросил со своих семидесяти лет добрых два десятка. Многое из того, что рассказывал о подполье в их городе Шикович, ему, конечно, было известно. Но вопросы, поставленные новым исследователем, вызвали живой интерес старика-архивиста. В самом деле, как важно, например, решить, кто же такой Савич, которого, между прочим, Сырокваашка хорошо знал.

И начальник архива со всем пылом помогал Шиковичу.

За первую неделю Кирилл перечитал гору бумаг, но мало нашел такого, чего не знал раньше. Удалось только одно — расшифровать состав первого подпольного горкома. Списка они не нашли, но при детальном анализе документов того времени и воспоминаний участников, написанных непосредственно после войны, оказалось возможным это установить. Гукан в своей книге явно напутал: назвал имена людей, которых в то время даже в городе не было.

Как-то, просматривая материалы партизанской бригады «Смерть фашизму», с которой подпольщики были теснее всего связаны, Шикович напал на любопытный документ. Странный документ. Листок из ученической тетрадки в косую линейку. На нем размашистым почерком написано:

«Вчера хоронили товарищей, погибших в бою за станцию.

Неудача за неудачей. Настроение в отряде тяжелое. Вести с Большой земли тоже неутешительные. Чем поднять настроение людей?

Сегодня явился товарищ из группы НКВД. Провал в городе. Накрыли рацию, двоих арестовали. Л. спасся случайно. Боюсь за Доктора, они держали с ним связь.

Попроси Марусю, чтоб сходила в город».

И всё. Ни даты, ни подписи. Что это, письмо кому-нибудь или отрывок из дневника? Если слово «попроси» написано правильно — письмо. Но вообще больше похоже на дневниковую запись. Возможно, человек в спешке не дописал «ть» — «попросить». Но это не главное. Не это так сильно заинтересовало и взволновало Шиковича. Таких писем и партизанских дневников он перечитал множество. Одна фраза заставила его выделить этот документ из всех прочих. «Боюсь за Доктора, они держали с ним связь». Доктор с большой буквы. Кто он, этот Доктор? Настоящий доктор или это подпольная кличка? Чтоб установить истину, нужно знать, кто и когда писал письмо или дневник.

Шикович работал в хранилище, которое помещалось в подвалах бывшего банка. Просторные, сухие подвалы. В первый послевоенный год комсомольцы

разобрали развалины и из старого кирпича на месте трехэтажного дома построили небольшой одноэтажный особняк. Реконструкция города не коснулась его, так как расположен он был в глубине двора, в середине квартала. Впереди вырос четырехэтажный дом. А этот белый особнячок стоял, окруженный тополями. Посаженные в сорок пятом году, они разрослись в густой тенистый сад и засыпали все вокруг пухом своего цветения.

Шикович пошел к Сыроквашке. Через окно увидел: тот сидит у стола в белой рубахе и пишет, по-детски высунув кончик языка. Изредка что-то шепчет про себя. Кирилл любил наблюдать людей, когда они остаются наедине с собой. Человек тогда часто превращается в ребенка, даже если занят серьезным делом. Жаль было беспокоить этого доброго старика, тем более, что Шикович за неделю уже изучил его: раньше, чем разрешить войти, Сыроквашка спрячет в ящик свою рукопись, как будто бы что-то предосудительное есть в том, что он пишет. Встретит нахмуренный, недовольный.

Так оно и было.

— Что там у вас еще? — буркнул заведующий архивом, запирая ящик на ключ.

— Мина Азарович, скажите, пожалуйста, какова у вас система расположения документов. Вот тут несколько номеров. А не значится ли где-нибудь в описи, кому принадлежит документ? Почему он попал в эту папку, а не в какую-нибудь другую?

Сыроквашка взял папку, прочитал записку и легонько свистнул. Он сразу понял, почему Шиковича заинтересовала эта маленькая бумажка.

— Тут она, брат, лежала с самого начала, тут мы ее и оставили. А кто ее писал, надо установить.

— Как?

— Самый простой способ — по почерку. Ищи тот же почерк.

Шикович спустился в хранилище и перелистал все документы бригады, переписанные от руки сводки Совинформбюро, приказы, рапорты, радиограммы, донесения связных, боевые листки, письма, даже лич-

ные. Такой почерк больше не встречался. Он ушел из архива разочарованный.

А когда пришел сегодня утром, Сыроквашка встретил его в садике. У старика был таинственный и довольный вид. Но заговорил он только у себя в кабинете:

— А у меня для вас есть подарочек, Кирилл Васильевич. Я, кажется, установил, кто писал тот документ. Прокоп Варава, первый комиссар отряда имени Чапаева.

Шикович понял, что заразил заведующего архивом своим увлечением, что Сыроквашка стал ему лучшим помощником в поисках. Нелегко было в сотнях папок отыскать другую бумажку, написанную тем же почерком. Верно, до поздней ночи сидел старик в хранилище, слепя утомленные глаза. Но когда Шикович горячо поблагодарил его, Мина Азарович отмахнулся.

— Что вы, Кирилл Васильевич! Мой долг.

«Удивительное поколение! — подумал Шикович, любуясь старым коммунистом. — Какая преданность делу! Я вчера вечером купался, ловил рыбу, а он вот сидел, искал...» И ему даже стало неловко.

Вараву Шикович помнил по книге Гукана. Там ему отводилось несколько страничек, как одному из организаторов партизанского отряда имени Чапаева — отряда, выросшего потом в прославленную бригаду. Это был интересный человек. Директор кондитерской фабрики, он еще до оккупации их местности ушел в лес, создал отряд. Командование отрядом Варава позднее передал майору-окруженцу, а сам остался в нем комиссаром. Так вот с кем был связан этот таинственный Доктор! Чапаевцы базировались не близко, километрах в семидесяти от города, в Климовском лесу. В разные стороны и по разным линиям шли связи подпольщиков с партизанами.

Шикович с нетерпением человека, который уже близок к цели, стал просматривать документы этой бригады. Читал, восторгался: какой кладезь сюжетов! Какие характеры вырисовываются из этих скупых сообщений о людях! Но — странно! — о связи с городскими упоминалось часто, однако нет никаких

конкретных документов, ни одного настоящего имени. О Докторе Кирилл нашел еще только одно упоминание. В шифрованной записке той же связной Маруси. Ее рукой было написано:

«Добрый день, тетка Параска!

Сообщаю, что яйца твои, 43 штуки, 4 килограмма смородины, 1 килограмм масла, 2 литра сметаны я продала. Взяла 180 марок, на наши деньги это 1800 рублей. Купила 7 кусков мыла и 3 катушки ниток. Картошку 12 килограммов отдала дядьке Корнею, он пообещал сшить тебе сак. Кланяется он всем нашим низко, а также тетка Настя. Она больная, у нее грыжа. Будут делать операцию. Дядька приедет на той неделе, в среду. Меня с работы не отпускают до 24.

Целую. Твоя племянница Маруся».

Внизу на этой пожелтевшей, измятой бумажке рукой Варавы написаны цифры:

«34, 14, 82, 08, 37, 21, 41 — 17, 9, 81, 93», а под ними:

«Доктор передал: шестнадцать человек выведут за город в среду. Встречайте в лесу у Корнеевки, сопровождает Настя. Разведчиков расстреляли. Вечная слава вам, дорогие хлопчики!»

Такова была борьба, о которой мы начинаем забывать.

Осторожность, хитрые коды, ключи к которым теперь вряд ли найти. И все равно провалы, смерти. Враг был хитер и коварен. Однако ничто не могло сломить таких, как Варава, как Маруся. Погибли разведчики — на их место стала другая Маруся и Настя.

«Непременно напишу о них»,— решил Шикович, сидя в задумчивости над документом.

Однако кто они, эти девушки? Живы или погибли? И кто такой Доктор? Одно цепляется за другое. Но нет ни начала, ни конца. Надо искать! Между тем документы дали в этом отношении немного. Вот еще одна записка Варавы:

«Сергей! Скажи Комаренке, чертову эскулапу, что если он не отдаст Лютикову часть тех немецких лекарств, которые прислал «Хирург», я его расстреляю

за невыполнение приказа. Жила он, индивидуалист, сукин сын!»

Лекарства, которые прислал «Хирург»... Не Доктор, а «Хирург».

Но слово «Доктор» Варава дважды писал без кавычек, «Хирург» же взял в кавычки. А, судя по всему, комиссар отряда был точный и грамотный человек. Как же это понимать, почему он по-разному писал подпольные клички? Очень похоже, что имеется в виду один и тот же человек. Доктор — это для него, Варавы, для Маруси, для узкого круга, кто лично знал и поддерживал с ним связь. «Хирург» — для всех остальных; например, для врача отряда Комаренко. Лекарства мог прислать, разумеется, только врач или аптекарь.

От напряженной работы у Шиковича разболелась голова. Нет, хватит документов! Это не его стихия. Надо искать живых «чапаевцев», от них больше узнаешь. Он выписал десятки фамилий. Где эти люди? Варава погиб в сентябре сорок второго... Красенков, командир отряда, был отозван в Москву. В папке есть радиограмма Центрального партизанского штаба. Где он теперь? Других «чапаевцев» Шикович не знает. Как не знает? А Гукан? Правда, Семен Парфенович пришел туда значительно позже, в начале сорок третьего, когда уже была сформирована бригада. Но комиссару должно быть известно о связях, которые были у отрядов, вошедших в бригаду! Почему же Гукан ничего не рассказал ему, когда они работали вместе, ни о Докторе, ни о «Хирурге», ни о Марусе? И ничего не написал в своей книге. Малозначащие факты? Может быть, только ему, Шиковичу, человеку с фантазией, они кажутся теперь столь существенными? А может быть, тогда, десять лет назад, кое-чего нельзя было касаться? Как бы там ни было, а надо начинать с Гукана. Поговорить откровенно, дружески. Высказать свои сомнения и догадки. В конце концов он сам, наверно, понимает, что в книге его много неточностей, пробелов и что сейчас, после XX съезда партии, можно полнее, более объективно осветить всенародную борьбу с фашизмом.

Человек нетерпеливый, Шикович прямо из архива направился в горисполком. В приемной Гукана, как всегда, было много народу. Работники городских учреждений. Все по неотложным делам. Большинство знало Шиковича, с ним вежливо здоровались. Шикович намеревался с ходу проскочить в кабинет, однако секретарша задержала его.

— У Семена Парфеновича совещание торговых работников.

— Ух, эти торговцы! Только заседают без конца, а торговать не умеют.

Против торговцев, которые совещались уже давно, настроены были все. Кто-то припомнил фельетон Шиковича об одном председателе райпотребсоюза. Директор пивного завода стал подбрасывать фельетонисту факты по городской торговой сети. Но Кирилла это сейчас не интересовало, он жил образами подпольщиков — людей, вставших перед ним из документов.

Девушка, сидевшая на страже у дверей, была совсем юная. Новенькая.

Шикович подумал с неприязнью: «Пристроилась, чтоб отработать свои два года. На завод не пошла, чертова кукла».

И сердито спросил:

— Сколько их там?

— Кого? Товарищей из управления торговли? Трое.

— Пойди, голубка, спроси у мэра, долго нам ждать? Скажи, Шикович спрашивает.

Услышав знакомую фамилию, девушка с любопытством посмотрела на Кирилла и послушно нырнула в будку: кабинет, для того чтобы туда не проникал шум, отгорожен был от приемной причудливым сооружением, напоминавшим кабину на междугородной телефонной станции.

Вскоре один за другим, все с пухлыми папками, вышли руководители городской торговли. Следом за ними появился сам Гукан. Стал в дверях — высокий, в сапогах, галифе, но хорошо скроенном пиджаке, с галстуком. Посетители поднялись: не собирается ли председатель уйти?

— Кирилл Васильевич, у тебя надолго? А то видишь, сколько народу ждет.

— Да я хотел посоветоваться насчет одного дела.

Гукан был уверен, что Шикович пришел по поводу сына. Вызволить из-под ареста не его компетенция. Ага, посоветоваться хочет. Было бы бессердечно в такой момент отказать в дружеском совете или заставить ждать, пока он будет заниматься городскими делами.

— Ну что ж, давай заходи. Простите, товарищи,— обратился председатель к остальным.

— Пожалуйста, Семен Парфенович,— ответил кто-то за всех.

Чтоб придать беседе дружески-интимный характер, Гукан сел не за свой рабочий стол, а у края длинного стола для заседаний, против открытого окна, за которым шептались каштаны. Его несколько удивил вид Шиковича. Не похож на огорченного, расстроенного отца. Взволнован, но как-то совсем иначе, даже глаза блестят.

Кирилл вытащил из бокового кармана листочки — копии, которые снял с архивных документов, разгладил их на столе и, не успев даже присесть, спросил:

— Семен Парфенович, вы хорошо знали Вараву?

Гукан почувствовал себя, как пассажир самолета, попавшего в воздушную яму.

«Что это он? Заходит издалека?»

— Какого Вараву? Того?

— А разве есть еще какой-нибудь?

— Нет. Но фамилия не такая уж редкая. Прокопа я знал. До войны еще.

— Интересный был человек?

Теперь все внимание Гукана сосредоточилось на бумажках, которые Шикович все еще осторожно разглаживал. Нет, это не старые документы. Белая, добротная бумага, стандартные листы, на каких пишут в редакции. Какие-то его заметки, должно быть.

— Интересный. Я ведь рассказывал тебе тогда...

Он хотел сказать: «когда мы писали книгу», но осекся.

— В войну вы встречались с ним?

— Один раз. На заседании обкома.

— Но ведь вы были потом комиссаром бригады, которая выросла из отряда имени Чапаева.

— В бригаду вошло четыре отряда и спецгруппа.

— Однако штаб бригады должен был знать о тех связях, которые наладили отряды. Семен Парфенович, что вы можете сказать об этих вот документах? Я разыскал их в партархиве. Оригиналы написаны Варавой.

Гукан взял бумаги, и они задрожали в его руке.

«Волнуется старик,— отметил Шикович с уважением,— задело за сердце напоминание о погибшем товарище». Гукан встал и подошел к рабочему столу. Взял очки. Вернулся, сел и долго читал три короткие записки.

— Кто такой Доктор, «Хирург», Маруся, Настя? Вот что меня интересует.

Гукан оторвался от бумаг, пытливо посмотрел на писателя сквозь очки, потом поверх них. Покачал головой, вздохнул.

— Не помню, брат. Марусь, связных, у нас был добрый десяток. Которая из них? Видишь ли, что я тебе скажу, Кирилл Васильевич. Варава был интересный человек. Но у него было много чудачеств. Не в укор покойному. Была у него страсть к приключениям, иной раз прямо-таки авантюрного характера. Помню, его еще на обкоме пробирали за какую-то рискованную операцию. Он создал такую сложную агентуру, навыдумывал столько самодеятельных кодов и шифров, что мы потом не могли разобраться, что к чему. И вместе с тем, скажу я тебе, был доверчив, как ребенок. Его агенты потом проваливали наших людей. Да и сам он погиб из-за этой своей чрезмерной доверчивости. Волка хотел приручить. Пошел на встречу с начальником полиции. А тот, гад, вместо трех человек охраны, как договорились, взял тридцать. Устроил засаду. Они уже сошлись, начали беседовать, когда их окружили. И Прокоп, чтоб не попасть к ним в лапы, взорвал гранату. В кармане. Самого насмерть. Начальнику полиции ногу оторвало...

Об этом Шикович знал. И писал. Ничего нового и ничего такого обидного для кого бы то ни было

Гукан не сказал. Объективная, спокойная оценка людей и фактов, которые стали уже историей. Шикович шел сюда, собираясь передать рассказ Яроша, особенно ту часть, которая касалась Савича. Сказать, что жива дочь доктора. Но, должно быть, именно потому, что Гукан говорил о Вараве, о подпольщиках и связных, как о каком-то далеком прошлом, а он, Кирилл, последнюю неделю жил среди них, словно среди близких и дорогих людей, Шиковичу расхотелось рассказывать о Савиче и Зосе. Забирая у Семена Парфеновича бумаги, он тоже вздохнул.

— Нелегко, видно, теперь докопаться до истины.

Гукан снял очки и потер пальцами глаза, как будто очень утомил их, прочитав три записки. Спросил:

— Так, значит, сидишь в архиве?

— Сижу.

— Таких мелких загадок там много. А вообще, Кирилл Васильевич,— Гукан вскинул голову, улыбнулся,— неужто тебя не волнуют проблемы сегодняшнего дня, что ты забрался в погреб к Сырокваш-ке? Такие события! К съезду идем. И к какому съезду! Читаешь — дух захватывает!

— А эти проблемы,— Кирилл хлопнул ладонью по свернутым копиям,— по-вашему, пора похоронить? — В голосе его звучало раздражение.

Гукан вспомнил о происшествии с сыном этого рьяного исследователя партизанских архивов.

«Зачем притворяется, что его больше всего интересует сегодня Варава, доктор и дела подпольщиков?»

— Почему похоронить? Пускай копаются историки, их хлеб. А у нас с тобой достаточно насущных задач. Занялся бы ты сыном лучше. Вот проблема!..

— А почему вдруг сыном?

— Как почему? Ты что, не знаешь? Ай-ай-ай! Вот тебе и на! Видишь, до чего доводят архивы. Дорожки в парке подметает твой сын.

Шикович хотел встать — и не смог: непонятная сила придавила его к стулу. Он мгновенно догадался, что значит «подметает дорожки». В то время как он делает святое дело — воскрешает славу героев, погибших за нынешний светлый мирный день, сын, его любимый сын, учинил что-то грязное, недостой-

ное. В первый момент было ощущение, будто его облили помоями.

Гукан увидел, что попал в самое больное место. Он не злорадствовал, у него тоже есть сыновья, правда, уже самостоятельные люди. Попытался даже смягчить удар:

— Да, преподносят нам дети сюрпризы...

Он встал и отошел к окну. Еще что-то говорил. Шикович не слышал. Вслед за первым ощущением растерянности начала подыматься злоба. Против Славика. Против Гукана. Против себя: безвольный человек, собственного сына не мог воспитать! Гукан извинился и нажал кнопку звонка. Сказал секретарше:

— Кто там на очереди? Проси.

Шикович поднялся и, не прощаясь, направился к двери.

— Заходи, Кирилл Васильевич. Я, может быть, вспомню фамилии связных. Маруся, говоришь? Поищу адрес Ткачука, начштаба нашего. Где-то у меня записан.

На улице Кирилл почувствовал, что его кинуло в пот. Ручьем потекло за воротник, заливало глаза. Никогда этого с ним не было. И день не душный. На солнце то и дело наплывают тучки. Ветерок.

Кирилл достал носовой платок, старательно вытер лицо, лоб, шею. Какой-то прохожий с улыбкой спросил:

— Задали баню, товарищ?

Не сразу дошел до него смысл этих слов. А когда понял, кинулся прочь от дверей горисполкома. Но на перекрестке остановился. Куда идти? Он повернул в парк.

«Погляжу, умеешь ли ты хоть подметать, собачий сын. Рос, не зная забот. А вышел на свет божий и не можешь шагу ступить по-человечески. Как ты посмотришь мне в глаза? Я не скажу тебе ни слова. Стану и буду смотреть. Подметай!.. Подметай!..»

Возле центрального входа ослеплял костер большой клумбы. За ней по цветочному ковру стелется красная дорожка, посыпанная толченым кирпичом. По этой дорожке бабушки почему-то любят катать в колясках детей. Может быть, под шуршание шин по

мелкому кирпичу дети хорошо спят? Или, может быть, и малых и старых опьяняет запах цветов? Молодые матери забираются поглубже, в тень, или сидят у фонтана. До глубин этого большого старого парка городские власти никак не доберутся. Их за это уже продергивали. А Шикович всегда считал, что так лучше. Начнут благоустраивать — испортят всю дикую, неповторимую прелесть. Он особенно любил глухие уголки за прудом. Но вряд ли там станут подметать. Поэтому Шикович сперва обошел все дорожки поближе, в культурной части парка. Играли дети, дремали на скамейках, уронив газеты на колени, пенсионеры. Молоденькие мамы читали толстые романы. Бабушки вязали шерстяные чулки. Неистовство, растерянность прошли, он все остро подмечал, все фиксировал в памяти. Даже злость утихла. Хотелось встретить сына, и рос страх перед этой встречей. На узком мосту через ров он остановился. Подумал: «Что было бы, если б с такой высоты прыгнуть в зеленую воду пруда? Там тускло отражаются небо и старые деревья, перила моста и гордо выгнутые шеи лебедей...»

Шикович любил смотреть с высоты на этих чудесных птиц. Какая стать! Плывут — ни одно перышко не шелохнется, как мраморные. Эта их величавость всегда действовала успокаивающе. Но сегодня волнение все росло. И страх. Он должен был заставить себя двинуться дальше по густо затененной дорожке. Только обойдя и эту половину парка и не встретив никого, кроме двух влюбленных пар, Шикович с облегчением вздохнул. Понял: глупо искать сына здесь. И хорошо, что он не увидел Славика с метлой в руках под надзором милиционера. Неизвестно, сумел ли бы он сдержаться, ничего не сказать. Нельзя в конце концов устраивать из ареста Славика трагедию. Заработал — пусть несет наказание. Что он, однако, натворил? В редакции, наверно, знают.

В новом здании царили прохлада и тишина. Не слышно было даже привычного стука машинок. Бухгалтеры, машинистки и курьеры обедали точно в по-

ложенное время. Но в этот летний день даже секретари редакции не сидели по кабинетам. Когда только делалась газета?

Шикович поднялся на второй этаж, заглянул в приемную редактора, в кабинет заместителя. Пусто. Зашел в свою комнату; заведующий отделом тоже, очевидно, обедал. На его столе лежала рукопись: рецензия на премьеру областного театра, состоявшуюся месяца два назад. «Новый спектакль». Кирилл со злостью зачеркнул название. И начал править текст, хотя это совсем не входило в его обязанности. Живого места не оставил. Работа увлекла. Вместо правильной, но пресной жвачки получалась живая, остроумная, едкая статья о неудачном спектакле. Он был добрый человек, к тому же знал, как нелегко дается в искусстве удача. Никто не ставит себе целью сделать плохо. Он не любил давать отрицательные рецензии. И ненавидел людей, которые радовались неудаче других, смаковали провалы спектаклей и книг. А тут вдруг, вопреки своим взглядам, стал писать совершенно безжалостный отзыв и, может быть, в первый раз делал это с удовольствием.

В дверь заглянул Адам Рагойша, заведующий промышленным отделом, низенький человек с мясистым носом, широким лбом и странной лысиной: суженной впереди и широкой на макушке; сверху эта лысина напоминала по форме и по цвету туз червей.

— Ты здесь? — спросил Рагойша, входя.

— Нет, меня нету.

Шикович не любил этого человека. Не любил прежде всего за завистливость. Рагойша завидовал всем. Ему, Шиковичу, за то, что он имеет право не сидеть в редакции, а писать очерки и фельетоны дома, да еще на даче. «Дай мне такие условия — и я напишу не хуже. Каждый напишет». Завидовал заведующему сельхозотделом Лапицкому, что у того пятеро детей, а он бездетный. Придирчиво, как следователь, осматривал каждое новое платье, блузку корректора Майи Гутор. Подозрительно шептал: «Откуда она это берет? На свои заработки?» Его почему-то многие боялись, даже редактор. Рагойше

хотелось, чтоб и Шикович его побаивался. Но Кирилл как-то в компании сотрудников пригрозил, что выведет Рагойшу в сатирической повести и даже фамилию сохранит. Рагойше это передали, и с тех пор он стал искать дружбы.

Неприязненный ответ на свой нелепый вопрос Рагойша принял как шутку. Засмеялся. Усевшись напротив, взглянул на рукопись, которую правил Шикович, удивленно свистнул:

— Вот автора этого действительно нету. Ни рожек, ни ножек не осталось. Кто писал?

— Я.

— Сам себя так правишь? — удивился Рагойша.— Ну-у? Здорово! — И пошутил: — Толстой. Только не Лев.

Но, должно быть, усомнившись, потянулся к выправленным страничкам, чтобы взглянуть на заглавную. Кирилл прижал странички локтем. Автором рецензии была сотрудница редакции, к которой Рагойша относился не слишком доброжелательно. И Шикович не хотел давать ему лишний козырь против этой женщины. Рука Рагойши застыла на столе, пальцы легли на рукопись. Посинела розовая лысина — обиделся, что Шикович как бы выказывает ему недоверие. Но Рагойша нашел выход из неловкого положения. В левой руке он держал книжку. Теперь он положил ее на стол. Это была повесть Шиковича, недавно вышедшая из печати. Кирилл удивился. Поднял голову от рукописи, с интересом посмотрел в выпуклые, как у больного базедовой болезнью, глаза Рагойши. Глаза были холодные, а лицо расплылось в улыбке.

— Вот, купил. Надпиши на память. Сам подарить не догадаешься.

Кирилл знал, что в придачу ко всем своим качествам, заведующий промышленным отделом еще и скуп, книги покупает редко. И то, что он купил его повесть, приятно удивило и даже пощекотало авторское самолюбие. Кирилл сразу подобрел. Взял книжку, задумался, что написать, чтоб не по шаблону.

— Сколько гонорара отхватил?

— Три.

— На новые? Ого! Куда девать будешь?

— Половину тебе отдам.

И — странное дело! — эта, казалось бы, невинная шутка оскорбила Рагойшу. Он вскочил со стула, толстый нос его и уши побурели. Злобно бросил:

— Сынку своему отдай. Ему на рестораны надо.

Нет, не уязвили и не обидели слова Рагойши, а как-то больно резанули Шиковича. Он вдруг понял, что завистливый и криводушный человек этот зашел вовсе не затем, чтоб получить автограф, что в душе он радуется неприятности со Славиком. Шикович возмутился. Но не закричал, не выругался, что иногда с ним случалось, несмотря на его добродушие. Он сделал нечто совершенно неожиданное и для самого себя и для Рагойши. Спокойно встал из-за стола, подошел, взял за воротник полосатого пиджака и, подтащив ошеломленного Рагойшу к двери, ударом ноги широко открыл ее и выкинул его в коридор. Закрыл дверь и опять-таки довольно спокойно вернулся к столу. Сдерживаемое кипение внутри постепенно стало затихать. Вспомнив лицо Рагойши в тот момент, когда он взял его за шиворот, Кирилл даже рассмеялся.

Вскоре его позвали к редактору. В длинном и узком кабинете, кроме редактора, сидел директор телестудии Алексей Тукало, старый приятель Шиковича: когда-то вместе начинали, вместе работали много лет. Кирилл обрадовался, что разговор будет не с глазу на глаз и что он, наконец, сможет выяснить, в чем сын провинился. Тукало, конечно же, все знает.

Шикович поздоровался. Но то, что Алексей, протягивая руку, с официальной любезностью привстал, заставило его насторожиться.

Неужели Алеша Тукало хочет подчеркнуть расстояние между ними? Смешно!

Умышленно, чтобы посмотреть, как развернутся события, Кирилл напустил на себя виноватый вид: вот я, карайте! Но увидел, что и директор студии и редактор разглядывают его с необычайным интересом.

«Алешу потряс мой новый талант — выкидывать из кабинета дураков»,— смешливо подумал он.

Живицкий — слабый журналист, но хороший организатор, человек принципиальный. Он ценил людей, которые умеют писать, поощрял каждого способного журналиста. Шиковичем же просто гордился — не каждая областная газета может похвастаться таким очеркистом и фельетонистом. Никогда по отношению к нему не проявлял своей редакторской власти. Потому и разговор этот ему начать было нелегко.

— Кирилл Васильевич, скажи, пожалуйста, что у вас произошло. Рагойша тут докричался до сердечного припадка. Врача вызывали. Заявил, что пойдет в горком.

— Пускай идет.

Мягкость и осторожность, с которой начал разговор Живицкий, сразу заставили Кирилла стать серьезным, он разозлился. Разозлился на Рагойшу. Странно, слова редактора нисколько его не задели.

— Нет, ты подожди... Из крика Рагойши я ничего не понял. Растолкуй хоть ты, что у вас произошло.

— Ничего не произошло. Он попрекнул меня сыном. Я не знаю еще, что там натворил мой сын, но колоть мне глаза никому не позволю,— решительно предупредил он, почему-то обращаясь к Тукалу.

Тот поднял голову от бумаги, на которой толстым синим карандашом рисовал коротеньких смешных человечков, внимательно посмотрел через большие зеркальные очки, в которых отражались окна и деревья на улице. Сказал:

— Да, накуролесил твой Владислав.

— Что он сделал?

— Напился. Приставал к английским туристам. Грозил бомбой. Скажи, пожалуйста, какой командующий ракетными войсками!

— И все? — невольно вырвалось у Шиковича, который уже навоображал невесть что и теперь даже почувствовал облегчение, когда, наконец, узнал, что же учинил его сын.

— И все?! — Тукало вскочил, загремев стулом, возмущенно бросил карандаш, и шестигранник покатился по длинному столу с дробным перестуком, но

не упал на пол, задержался на самом краю.— И все! Ты слышишь, Станислав Иванович? Ему этого мало! Тебе хотелось, чтоб он перевернул ресторан вверх дном или убил кого-нибудь?

Шикович проследил взглядом за карандашом и не шутя заинтересовался, что могло задержать его на краю стола. Сказал мягко:

— Не кричи, Алексей.

Но тот уже взволнованно ходил по кабинету, сняв очки и размахивая ими:

— «И все?!» Вот так мы воспитываем молодежь! Пишем, шумим о высоких материях... а собственные дети...

В этот момент, должно быть от шагов Тукалы, карандаш упал.

Шикович перевел взгляд на своего разгневанного товарища, на его моложавое, всегда словно загорелое, худое лицо с родинкой на левой щеке, на красивую волнистую шевелюру. Потом посмотрел на редактора, который слушал с грустным и смущенным выражением на усталом лице, увидел его поредевшие светлые волосы, большие залысины. И почему-то вспомнил, что все они ровесники, редактор даже на год моложе. Но лучше всех выглядит Тукало, кажется, каким был лет двадцать назад, таким и остался, даже ни единой седой паутинки в волосах. Подумал неприязненно: «Умеет себя беречь, гад».

А Тукало все больше распалялся:

— ...Конечно, если отец будет выкидывать из кабинета людей, то сыну есть с кого брать пример... Если отец себе позволяет...

Редактор, добрая душа, поморщился и попросил:

— Алексей Григорьевич, давайте говорить спокойно.

Тукало осекся. Шикович смотрел на него — и будто не узнавал старого друга, с которым съел не один пуд соли. Сказал с глубоко затаенной иронией:

— Значит, ты, Алеша, решил поучить меня, как воспитывать детей? Давай, давай...

Это был намек на то, что Тукало несколько лет назад бросил первую жену с ребенком. Он понял и закипел еще пуще. Однако голос понизил:

— Я не собираюсь тебя учить. Но если тебе мало того, что наделал твой сын, то с меня этого предостаточно. Я не стану держать у себя хулиганов.

Ах, вот оно что! Наконец-то Шиковичу все стало ясно: Тукало не решался сообщить, что увольняет Славика, потому он так и нервничал.

«Трус! Держишься за свое кресло и уже забыл, что существуют простые человеческие отношения».

Вдруг стало жаль сына: нельзя наказывать дважды за одну и ту же провинность. Встал, засунул руки в карманы.

— Страхуешься? — спросил спокойно и язвительно.

— Мне нечего страховаться! — уже без нервов, солидно отвечал Тукало, надевая очки.

— Легче всего выкинуть человека из коллектива,— вздохнул Живицкий.— Никогда не спеши...

— А что ему до человека!..

— Пускай о таком человеке подумает в первую очередь отец! А если отец оправдывает. Если отец показывает пример. А сам ходит просить за сына, подыскивает ему теплое местечко.

Это был подлый удар. Шиковича всего передернуло. Он не верил своим ушам. Неужели это говорит Алеша Тукало, которого еще неделю назад он приглашал к себе в гости? Слизняк!

Холодная ярость охватила Кирилла. Но он сдержался, только грустно покачал головой.

— Столько лет я с тобой дружил и не знал, что ты такая мразь.

Эх, как тут Тукало взвился!

— Слышите?.. Станислав Иванович!

— Ребята, как вам не стыдно,— попытался примирить редактор.

— Теперь я понимаю, кого надо было выкинуть. И не за дверь — в окно. Разреши, Станислав Иванович? — И Кирилл стал обходить длинный стол.

Тукало поспешно отступил в глубь комнаты.

Шиковичу стало смешно. Он хмыкнул и направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, Тукало вынул платок и вытер вспотевшие руки и лоб.

8

Ярош занялся переоборудованием операционной — оснащением ее новейшей аппаратурой. Реконструкции Яроша уже не однажды приводили в ужас отдел охраны здоровья. Но неумолимые стражи финансов не могли устоять перед его хирургическим авторитетом. Патриоты города, они гордились славой хирургического отделения больницы, считавшегося лучшим в республике. Операционная привела в восторг делегацию чешских врачей, которых нелегко удивить медицинской техникой. А Ярош все-таки был недоволен: есть аппаратура и получше. Переоборудование он планировал давно. Многие из необходимых аппаратов были добыты заранее. Но установку их он оттягивал: во-первых, кое-чего не хватало, во-вторых, надеялся, что под конец года главный врач и горздрав будут щедрее.

И вдруг, неожиданно для всех, начал переоборудование сейчас. Сам работал с монтерами и монтажниками вечерами. Платил им премиальные из собственного кармана. За это чудачество ему уже как-то влетело на партбюро. А к тому, что он часто работает вместе с монтерами, со столярами, с паркетчиками, в клинике привыкли. Добрые души говорили, что Ярошу просто некуда девать силу и энергию, злые — что он таким образом завоевывает себе популярность.

Если б ему сказали, что все это делается так срочно ради одной больной, он, наверное, возразил бы, может быть, даже возмутился. Нет, аппаратура модернизируется для всех. Но было бы неверно отрицать, что это входит в подготовку к операции Зоси Савич. Он сделал сотни разных операций, немало уже и на сердце. Но, кажется, ни к одной не готовился с таким старанием и ответственностью. Как к самому серьезному экзамену. Тут все должно быть взвешено и учтено. Никаких случайностей. Его оправдают, что бы ни случилось. Но сам он не простит себе, если эта измученная женщина окончит жизнь на опера-

ционном столе. Как-то ночью он весь похолодел от этой мысли. Приходило в голову: может быть, пригласить кого-нибудь из коллег, московских или киевских хирургов? К нему приедут. Хирург редко берется оперировать близкого человека. Близкого... А эту девушку он знал ровно восемь суток. И может только догадываться, как она прожила последние восемнадцать лет. И все-таки она была близким человеком.

Пока что Ярош передал ее терапевтам, чтобы подлечили, понаблюдали, сделали кардиограммы, снимки и анализы. Сам заходил изредка — раз в три дня, на несколько минут, обращался на «вы», как и полагается врачу. Он сознательно держался несколько официально. В то же время он попросил Машу, чтобы та заглядывала к Зосе:

— В терапии лежит больная Софья Савич. Нам с вами, вероятно, придется оперировать ее. Я хотел бы, чтобы вы наведывались к ней. Не как сестра — как добрый друг. Понимаете? Женщина эта прожила тяжелую жизнь.

Ярош чувствовал, что, обращаясь с такой просьбой, он обязан объяснить Маше, кто же такая Савич. Но что сказать? Что Зося спасла его от смерти? Почему-то не хотелось, чтоб до операции об этом проведали в больнице. Он прекрасно знал, что среди врачей и сестер немало любителей сенсаций.

Он сказал:

— Вы знаете, Маша, я не люблю сказок. Но ей можете рассказывать обо мне любые легенды.

Маша застыла, как манекен, изящная и холодная; она всегда застывала, когда не могла чего-нибудь понять. Он объяснил:

— О моей хирургической славе: психическая подготовка.

Маша улыбнулась просто и тепло.

— Трудно рассказать больше, чем вы заслуживаете, Антон Кузьмич.

— Не будем говорить друг другу комплименты, Маша, нам не нужна психическая подготовка.

Шутка эта смутила девушку.

Дня через два Маша зашла к нему в кабинет в то время, как он отдыхал между двумя сложными опе-

рациями. Она знала, что минуты этого отдыха священны. Как хороший актер настраивает себя на другую тональность в следующем действии, так он настраивал себя на другую операцию. Сидел в мягком кресле, сняв ботинки, положив ноги на стул, курил. Он не любил, когда к нему заходили в это время — мешали отдыху. Об этом в отделении все знали.

На стук в дверь ответил недовольно:

— Кто там? — и смял сигарету.

— Я.

Он удивился, увидев Машу. Она вошла робко, какая-то на редкость неловкая. Куда девались ее артистичные, до ненатуральности рассчитанные движения! Остановилась у двери, держась за ручку, как бы готовая сбежать. Лицо виноватое.

Ярош сунул ноги в ботинки.

— Что случилось, Маша?

— Я негодная сиделка, Антон Кузьмич,— сказала она.— Савич почему-то чуждается меня, относится ко мне с подозрительностью.

— С подозрительностью? — переспросил Ярош.

— Может быть, это не то слово. Но... странная она. Какая-то нелюдимая.

— Нелюдимая? — почти с укором переспросил он и этим совсем смутил девушку. Но тут же мягко сказал: — Садитесь, Маша,— и кивнул на кресло, с которого только что встал.

Она нерешительно села. Ярош не узнавал свою молчаливую, но чрезвычайно уверенную, спокойную операционную сестру.

— Она ничего вам не рассказывала о себе?

— Нет, ничего.

— Вы слышали что-нибудь о докторе Савиче?

Маша покачала головой: нет.

Теперь Ярош понял, почему она пришла: хотела, чтоб он рассказал о больной; только тогда она сможет выполнить его просьбу. Антон Кузьмич оперся о стол всем своим могучим телом, доверительно приблизившись к ней.

— Скажите, Маша, а вы к кому-нибудь относились с подозрительностью?

— Я? Если видела, что передо мной лгун, неискренний человек. Но это не та подозрительность! — Она, видимо, не поняла его.

— Скажите, а вы никогда не боялись людей, Маша?

Она улыбнулась, но улыбка эта не растопила холодного недоумения и не изменила застывшие черты.

— В школе я боялась нашего историка. Мне плохо давалась история.

Ярошу показалось, что про историю она выдумала нарочно: мол, «истории», тем более такие таинственные, мне плохо даются, а потому — просветите. Он не удивился, потому что всегда считал ее умной и сообразительной. Закрыв ладонями глаза, задумался: как рассказать ей о Зосе?

И тут Маша спросила в упор:

— Кто она вам, эта Савич?

Антон Кузьмич быстро отнял ладони.

— Зося Савич в подполье спасла меня от смерти.

— Вас? — Маша удивленно подняла голову и сразу стала такая, как всегда: серьезная, но чуткая, как сейсмограф.

Может быть, она даже не сразу поверила, что эта худенькая, маленькая, изнуренная — кожа да кости,— диковатая женщина могла спасти такого богатыря. Ярош, догадываясь об этом, сказал:

— Она мужественный человек. И у нее тяжелая судьба. Смерть отца, загадочная смерть. Немецкий концлагерь. Сибирь... Болезнь.— Он поднялся, большой, взволнованный, вышел из-за стола.— Мне хотелось, Маша, чтоб вы подружились с ней.

Пытливо глядя на него, Маша продолжала сидеть. Потом вскочила, смущенная: что же это она! Теперь ей было стыдно, что она даже не сумела поговорить с Савич, что так настойчиво домогалась объяснений от Антона Кузьмича. И совсем неожиданно попросила:

— Антон Кузьмич, расскажите об этом у нас на комсомольском собрании.

— О чем?

— О своей работе в подполье. О Савич...

Ярош промолчал.

Когда Маша вышла, Антон Кузьмич снова уселся

в кресло, закурил (вторую сигарету!) и задумался. О судьбе Зоси. О новом поколении, которое не ведает подозрений и ничего не боится. Но что он знает об этом поколении? К нему принадлежат Тарас и Маша. Но есть и Славик Шикович... Как и чем живет Маша? Тарас? Что волнует Славика? Как далеко он, бывший комсомолец, отошел от этой молодой поросли! Когда был в последний раз на комсомольском собрании? Лет десять, не меньше, публично не выступал с рассказом о подполье. Почему? А раньше, когда порой и выступал, рассказал ли хоть раз про Зосю Савич? Нет, только так, между прочим, изредка упоминал о девушке, которая помогла ему спастись. Теперь ему стало стыдно и неловко. Неужели и он боялся? В подполье не трусил сто раз идти на смерть, а тут...

Сразу после войны он считал своим моральным долгом в память о погибших товарищах написать об их борьбе. Не написал. Писал диссертацию. Кандидатскую, теперь докторскую. Этим оправдывался перед своей совестью. А потом подполье вообще стало казаться далеким прошлым. Даже намерение Шиковича вернуться к этому прошлому, распутать то, что было запутано людьми и временем, не всколыхнуло его. Он думал: «Кому это сейчас нужно?» И вот воскресла из мертвых Зося Савич... Уже тогда, в ту ночь, когда рассказывал о ней Шиковичу, он понял, что это нужно людям, нужно новому поколению — Тарасу, Славику, Вите, Наташе. После разговора с Машей и ее неожиданной просьбы рассказать о подполье комсомольцам Ярош убедился в этом окончательно.

Основные работы в операционной были закончены. Последние дни возились с телевизионной аппаратурой. Яроша долго не удовлетворяло качество изображения на экране, и он согнал с инженера, рабочих и с самого себя семь потов, пока не добился, чтобы дорогая новинка эта давала надлежащий эффект.

Когда техники ушли «спрыснуть доброе дело» на полученные от него премиальные, Ярош еще раз оглядел свое хозяйство, которым втайне гордился. Везде никелированная сталь: множество блестящих инстру-

ментов в стеклянных шкафах, детали аппаратов. Сталь, которая в умных руках хирурга приносит людям спасение и жизнь. О, он знал цену стали!

Но не только для того, чтоб лишний раз полюбоваться операционной, остался он сейчас. Хотелось самому, без специалистов проверить телеаппаратуру. Он должен все уметь делать сам.

Положил на операционный стол раскрытый учебник анатомии, навел на страницу телевизионную пушку, которая была вмонтирована в бестеневую лампу. Нажал кнопки. Засветился экран, задрожали на миг извилистые нити кадра. А потом застыло увеличенное изображение коленного сустава. Он перелистывал странички и видел на экране свои руки. Человеку постороннему могло бы показаться, что он забавляется, как ребенок тешится новой игрушкой, неизвестно зачем попавшей в операционную. На экране появилось сердце. Ярош выпрямился и начал внимательно разглядывать изображение, словно видел это диво первый раз в жизни. Он подумал о Зосе. И его собственное сердце дало о себе знать. Такие неожиданные толчки он чувствовал уже несколько раз. Неужели это страх перед будущей операцией?

Ярош выключил установку, отошел к широченному — во всю стену — окну. Вечерело. На сад легла тень. Солнце заходило по другую сторону, за больничными корпусами. Один луч его пробился между стен и осветил верхушки тополей, молодых, но самых высоких здесь деревьев. Ярош вспомнил, что тополевую аллею посадили в год победы. И вон какие вымахали красавцы! В саду гуляли больные. Санитарка баюкала ребенка, завернутого в серый больничный халат, такой же, какие были и на взрослых. Ярош ненавидел фасон и цвет этих халатов и уже несколько лет воевал, чтоб заменить их. С ним соглашались, а за глаза, он знал, посмеивались над его чудачествами.

Почти против самого окна операционной под яблоней сидело трое молодых людей: один в больничном халате, с подвязанной рукой, двое — в майках. Парни разливали вино. Больной был из отделения Яроша — рабочий-строитель с переломом руки. Но как попали сюда в такой час посетители?

«Хоть бы поукромнее где-нибудь. А то расселись на виду. Вот бездельники!» — с беззлобным укором подумал хирург. Он мог открыть окно и отчитать парней. Но вместо этого отступил в глубь операционной, чтобы не смутить их. Захотелось самому поскорей оказаться на даче и сесть не за стол, нет, а вот так на траву, возле своего любимого костра, выпить стопку водки, закусить салом, поджаренным на самодельном вертеле, пахучей корочкой хлеба, на которую накапает жир, и луковкой. А потом лежать, глядеть в небо и слушать немного путаные, но любопытные рассуждения Шиковича на политические, моральные и литературные темы. Об одном только подумал с тяжелым чувством: «Опять надо будет объяснять Галине, почему задержался. Ей, бедняге, самой нелегко».

Повернулся, чтоб уйти, и в открытых стеклянных дверях увидел... Машу. Стало неприятно от мысли, что сестра, может быть, давно наблюдает за ним. Он спросил почти грубо:

— Что вы делаете тут в такой час?

— Я была у Зоси.— Глаза ее блеснули.— Она рассказывала мне, как спасала вас... И о себе.

Ярош подумал: правильно ли он делает, что ни о чем не спрашивает Зосю? А вдруг... Нет, нет! Он решительно отогнал эту мысль. Потому и не расспрашивает и редко пока навещает, что хочет убедить, в первую очередь ее (да и себя тоже!), что операция эта самая обыкновенная и все кончится наилучшим образом.

«Что она рассказывала о себе?» — хотелось ему спросить у Маши. Но что-то удерживало его.

— Она уже не относится к вам с подозрением?

— Мне кажется, мы подружились.

— Спасибо, Маша.

— Не за что, Антон Кузьмич.— Она опустила глаза, сказала: — Зося спрашивала, знакома ли я с Тарасом,— и вдруг попросила: — Познакомьте меня с ним.

Эта просьба Ярошу пришлась по душе.

— Приезжайте в воскресенье к нам на дачу. Позвоните накануне доктору Майзису, у него своя машина. Он к нам собирался.

— Спасибо, Антон Кузьмич. Я могу идти?

— Пожалуйста, Маша.

Он стоял в операционной, прислушиваясь, как где-то далеко хлопают двери. Потом двинулся по коридору, на ходу развязывая тесемки на рукавах халата. Перед своим кабинетом остановился, минутку постоял в задумчивости и быстро зашагал дальше, снова завязывая тесемки.

В терапевтическом отделении он услышал, как одна дежурная сестра испуганно крикнула другой: «Ярош!» — и забегали, засуетились. Он никогда не мог понять, почему в других отделениях и клиниках его так боятся.

Зося в одной сорочке, длинной, пожелтевшей от времени и стирки, сидела у окна и ела черешни, выплевывая косточки на газету. Увидев его, она ойкнула, застеснялась, прикрыла руками грудь. От ее смущения и ему стало неловко. Лет пятнадцать уже он не испытывал подобных чувств, заходя к больным и заставая их в любом виде.

«Что ты закрываешься? — подумал он, глядя на Зосю.— Сколько раз я тебя осматривал, выслушивал... Буду держать в руках твое сердце».

Поздоровался с больными. Отметил, что и другие женщины натягивают одеяла, застегивают халаты, приводят в порядок волосы. Их было в палате шесть человек. Удивительная женская психология! Все потому, что он зашел в неурочное время.

Ярош спросил у Зоси, как спрашивают все врачи у своих пациентов:

— Как мы себя чувствуем?

— Хорошо,— неуверенно ответила она, все еще закрывая грудь и пряча под табурет босые ноги.

Он взял с постели пестрый халат и подал ей. Она поспешно накинула его, застегнулась.

— Ложитесь,— сказал он.

Обрадованная, она довольно живо нырнула под одеяло. Он придвинул табурет, на котором она сидела у окна, сел рядом.

— Гуляем?

— Мне разрешили вставать,— испуганным голосом ответила Зося.

— Ей разрешили,— подтвердила соседка.

Ярош откинул одеяло и осмотрел ноги больной, пощупал их. Отек прошел. Нога как нога, цвет нормальный. Лицо тоже изменилось за те две недели, что Зося находится в их больнице. Помолодело, похорошело. Теперь Ярош легко узнавал черты той Зоси, которая когда-то так отважно укрыла его. Но ему хотелось увидеть также черты того характера. Пусть блеснула бы хоть искра ее дерзости, решительности, лукавства. Нет, все задушено. Разве что одно светилось в ее глазах — восхищение им, Ярошем. Но и оно было совсем иное, чем тогда,— какое-то покорное.

Ходячие больные из деликатности одна за другой покидали палату: они о многом уже проведали. Только новая, старуха, услышав, что это «важный доктор», попросила:

— Доктор, посмотрите и меня.

Да осталась еще девушка с врожденным пороком сердца, которую Ярош тоже собирался оперировать; хотя у нее еще не спрашивали согласия, она, видно, что-то чувствовала или слышала какие-то разговоры и смотрела на него, хирурга-великана, с паническим страхом.

Очевидно, сообщили дежурному врачу. Она появилась уже заспанная.

— Я вам не нужна, Антон Кузьмич?

— Нет. Только не укладывайтесь, пожалуйста, так рано спать. Неловко, знаете... Десять часов.

Молодая женщина чуть не сгорела от стыда.

— Так как самочувствие, Софья Степановна? — уже совсем не как врач, хотя и считал в это время ее пульс, а как добрый друг, заботливо спросил Ярош.

Эта заботливость тронула Зосю.

— С мая сорок третьего я никогда не чувствовала себя лучше,— сказала она почти шепотом, но так, что у Яроша сжалось горло.

Восемнадцать лет физических и душевных мук! В порыве нежности и сочувствия он легонько сжал ее руку, сухую и горячую. От этой маленькой ласки глаза ее увлажнились. Он глядел в их бездонную глубину через крошечные шарики плафонов. Ему не хотелось, чтоб она заплакала, и он подбодрил ее доброй улыбкой и словами, которые говорил многим больным, с той

только разницей, что опять обратился к ней на «ты», как к близкому человеку:

— Ты будешь чувствовать себя совсем хорошо. Как все здоровые люди. Можешь мне поверить.

— Я сто раз умирала... И, видите, не умерла... Потому что хочу жить. Я верю вам.

Она так произнесла «хочу жить» — протяжно, с ударением, что Яроша всего перевернуло. Странно, но именно в этих словах он почувствовал характер той Зоси, хотя та Зося никогда не сказала бы таких слов.

Та сказала: «Если они все-таки ворвутся сюда, вы будете стрелять?»

«Буду».

«В шкафу у Грота стоит автомат».

И хоть бы дрогнул голос. Будто сообщила, что в шкафу стоит варенье.

Неизвестно почему в памяти Яроша всплыли этот эпизод и эти слова. И непонятно, по каким логическим законам он связал их с тем, что она сказала сейчас — после восемнадцати лет мучительного существования, на грани жизни и смерти.

Она спросила:

— Вы тоже дежурите?

— Нет. Я работал.

— Операция?

— Ремонтировал один прибор.

— Сами?

— С электромонтерами.

— Вы все умеете! — И — о, чудо! — он узнал ее взгляд: в нем было восхищение, но уже иное, как в те давние времена.

— Все уметь в наше время невозможно.

— А я ничего не умею,— вздохнула она.

— Вам это только кажется. Прожить такую жизнь...

— Разве я жила!

— Профессию можно еще приобрести.

— В тридцать шесть лет?

— Не так уж это много.

— Я немножко умею шить. Там я шила. Но не люблю. Это утомительно и неинтересно. Если б вы

знали, что за мука быть приемщицей в швейной артели. Люди порой так жестоки и грубы.

— Людей плохо обслуживают. Я не думаю, чтоб в вашем ателье хорошо шили.

— Отвратительно. Но поднимать крик из-за неправильно пришитой пуговицы...

— Пуговица может испортить человеку настроение.

Она нерешительно улыбнулась.

— Тогда,— он понял ее: в подполье,— вам могла испортить настроение пуговица?

— У каждого времени свои законы и нормы.

— Люди теперь требуют к себе чересчур много внимания.

— По-моему, это естественно. Беда в другом — что его мало еще у нас, взаимного внимания. В обществе, где человек человеку брат...

— Брат? — Зося скептически улыбнулась и тут же, как бы испугавшись, сказала мягко: — У вас доброе сердце, Антон Кузьмич.

Ярош понимал ее. Слишком много пришлось ей испытать горя и страданий. Счастье еще, что она не утратила вовсе веры в жизнь и в людей, в то, что рядом с дурными есть и хорошие.

Помолчали. Ярош, может быть, впервые за всю свою врачебную практику ощущал какую-то неловкость у постели больной. Вероятно, потому, что без определенной цели он никогда так долго не засиживался. У него и теперь была цель, но совсем не профессиональная.

Расследования и догадки Шиковича, неожиданная встреча с Зосей не только разожгли его интерес к делу доктора Савича, но он почувствовал себя виноватым в том, что ничего не предпринял до сих пор. Теперь ему хотелось всячески помочь Кириллу. Тот, нетерпеливый, горячий в работе, добивался встречи с Зосей. Ярош щадил больное сердце пациентки и оберегал ее от тяжелых воспоминаний. Поэтому и сейчас ему нелегко было подойти к разговору об ее отце.

Зося, видно, сама почувствовала неловкость затянувшейся паузы. Она сказала:

— От меня только что ушла Маша. Мы долго разговаривали.

— Я рад, что вы подружились.

— Она хорошая. Сперва мне показалось, что она разыгрывает роль... А в жизни нельзя играть! Когда-то, еще в школе, мне хотелось стать актрисой! И я играла. Дома, на улице, в гостях — всюду... смешно и наивно.

— Почему смешно? В юности все романтики. Вот мои дети: Тарас, Витя... Какие у них мечты и желания!

— Где он был тогда, Тарас?

— Его спрятали добрые люди. Соседи.

— Я искала его.

— Знаю. Мне говорила тетка Люба.

— Она не поверила мне.

— Не обижайтесь на нее. Она была золотой человек и отличный конспиратор.

— Она погибла?

— Нет, умерла в прошлом году.

Зося помолчала, как бы желая почтить память человека, с которым судьба свела ее на короткий миг.

— Как мне хотелось найти этого мальчика! Я не просто помнила вашу просьбу. Я долго жила ею. Для меня это было первое боевое задание подполья. И я должна была как можно скорее выполнить его. Но отец... Вы знаете, как он оберегал меня. Удивительный человек!.. Тайком от него я пошла к тетке Любе. Произнесла пароль. Все, как вы говорили. Она ответила не совсем так, однако впустила в дом. Я сказала, что вы просили узнать, не известно ли ей что-нибудь о сыне Павла Гончарова. Она ответила как-то непонятно: «Передайте Вите, что дядька Рыгор приглашает на обручение Веты. В субботу под вечер». Я объяснила, что передать ничего не могу, потому что вас переправили в лес. «К кому?» — спросила тетка Люба. Я не знала, к кому. Тогда, очевидно, у нее возникли подозрения. Она больше ничего не спрашивала о вас. Но когда я повторила свой вопрос относительно Тараса, ответила, что ей ничего не известно. Меня обидело, что она так равнодушно относится и к судьбе ребенка и вообще... Хоть бы спросила, кто я и что я. Правда, вела я себя глупо. Тетка Люба все-таки захотела узнать мое имя. Я назвалась Ольгой. Почему Ольга

и зачем мне было чужое имя, сама не понимаю. Может быть, разыгрывала роль подпольщицы.

На следующий день я пошла на Каштановую, где жил Павел. Там тоже начудила. Знаете, что выкинула? Я — будто бы сестра Павловой жены, разыскиваю их. Люди, которые поселились в том доме, растерянно пожимают плечами: они тут недавно и никого не знают. Заплаканная, я показывала письмо, которое сама же написала. «Они жили здесь, вот адрес. Что ж мне делать? Я приехала издалека, из Харькова». Ходила по соседям. Одни делали вид, что им ничего не известно; другие не скрывали своего недоверия. Но потом две старые женщины, должно быть, поверили мне и рассказали страшную правду. Я плакала от всего сердца. «А мальчик? Где мальчик? Тарасик».— «Говорят люди — в немецком детском доме»,— ответили старухи. В тот же вечер я спросила у отца, есть ли детские дома в городе. «Зачем тебе?» Я рассказала ему о вашей просьбе и как искала малыша. Отца это испугало. Он сердито сказал, что я погублю и себя и его своими неразумными поступками. Тогда я заявила, что больше не буду стеречь дом и жарить Гроту крольчатину. «Надо жить и бороться, как он»,— кивнула я вверх, имея в виду вас, Антон Кузьмич. «Он — солдат,— сказал отец,— а мы с тобой штатские люди, я — старый врач, ты — девочка, ребенок». Я тогда выложила ему все, что услышала от вас. Отец вынужден был сдаться. Только попросил, чтоб я сама ничего не делала, обо всем разузнает он.

Через неделю, вероятно, точно не помню, отец сказал, что можно, если я хочу, съездить в детский дом в Высокой Буде, это километрах в пятнадцати от города.

— Я знаю. Там и теперь детский дом,— кивнул Ярош.

— Жена бургомистра Тищенки, старая богомольная баба, замаливая грехи своего мужа, занималась благотворительностью — опекала сирот. Мы поехали с ней на машине бургомистра. День, помню, был холодный и дождливый. Ведь стояла уже поздняя осень. А дети, худые, посиневшие, почти все без верхнего,

в одних рваных рубашонках, обступили нашу машину. Маленькая девчушка потянула меня за рукав и попросила: «Тетечка, дайте кусочек хлеба». У меня не было хлеба, я ничего не взяла, я не думала, что дети там такие голодные. В детском доме! Бургомистерша привезла пряники, поношенную одежду — возможно, отнятую у других таких же детей.

«Дайте им, Анисья Павловна»,— попросила я.

Старая ханжа, обычно слезливая и сентиментальная, там держалась важной дамой. «Во всем следует соблюдать порядок, милая, все делать организованно!» Не сразу дети нашли своего «пана шефа». Старый, небритый, какой-то мятый и пьяненький человек, директор или начальник, не знаю, как он у них назывался, встретил нас не слишком приветливо. Странно, что и дети только вначале проявили любопытство; старшие потом пошли в лес по дрова. Я отстала от патронессы и начальника и спросила женщину — работницу дома, нет ли у них мальчика Тараса Гончарова. «Нет, у нас есть Костя Гончаров. Ваня, позови Костю». Явился худой долговязый мальчик лет девяти. Нет, Тараса у них не было. И вообще дети такого возраста к ним больше не поступали. Только старшие. Должно быть, эта женщина успела передать наш разговор директору. И он почему-то доверился мне. Пока бургомистерша раздавала свои гостинцы, он стоял рядом и шептал:

«Слушайте, не надо нам благотворителей. Ничего нам не надо. Нас кормит население. Мы сами себя прокормим. Только пускай они не забирают детей. Зачем они забирают детей? Вчера пять мальчиков и пять девочек. Куда? Для усыновления. Кто их усыновляет? Где? Я должен знать. Я отвечаю за детей!»

Директор явно подозревал что-то недоброе. Когда я рассказала обо всем отцу, он тоже встревожился. Потом я узнала: у детей брали кровь... их вывозили в Германию и онемечивали...

— Ах, боженька! Чтоб не умели говорить по-нашему? — ужаснулась старушка больная, до сих пор слушавшая молча. Неумение «говорить по-нашему» казалось ей таким несчастьем, что она не выдержала.

— Я там, у них, все про Тараса думала: где он? Что с ним?

— И не нашли хлопчика? — Бабушка, видно, не все поняла из их разговора.

— Нашелся,— ответил старухе Ярош.

— Где ж он теперь? — Любопытство говорливой старухи росло, она как бы вознаграждала себя за долгие минуты почтительного молчания.

— Это мой сын.

— Правда? Ах, боженька! — удивилась и от души обрадовалась старушка.— Дай же ему бог здоровьечка! Большой уже?

— В армии отслужил. Я завтра вас посмотрю, бабушка. Хорошо? — привычным движением развязывая тесемки на рукавах халата, сказал Ярош.

— Хорошо, доктор. Теперь вы частым гостем будете у нас.

Зося устала и виновато улыбалась.

Девушка на койке у окна, казалось Ярошу, впервые смотрела на него без страха.

Он встал. Слишком засиделся. Утомил, разволновал больную. Вон как блестят глаза.

Ему не хотелось напоминать ей о прошлом. А Шикович не давал покоя. В конце концов она сама несколько раз упоминала отца.

Ярош нерешительно спросил:

— Скажите, Софья Степановна, вы не помните кого-нибудь из инфекционной больницы, с кем работал ваш отец... Кто ходил к вам...

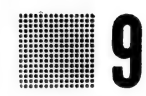
Она задумалась.

— Я помню сестру... Клавдию... Ивановну, кажется. Еще была врач Вакулова. И врач Либерман. Но Либермана они угнали в гетто. Во время оккупации заходила к нам только эта сестра. Как же ее фамилия? — Зося наморщила лоб, сжала ладонями виски.

— Не надо вспоминать. Потом,— мягко попросил Ярош.— Спасибо вам.

— За что? — удивилась она.

— Доброй ночи,— пожелал он больным и направился к двери.



Майзис с женой и Маша приехали рано утром. Еще в тени под ольхами не просохла роса. Еще спали дети и Шикович, проработавший до света. Но хозяйки уже возились в летней кухне под навесом. Им помогал Тарас. Разжег огонь под самодельной плитой, принес стол, дрова, продукты.

Утро выдалось на диво — солнечное, звонкое, с луга тянуло сыроватой прохладой, а бор дышал еще сохранившимся со вчера теплом. Торжественная неподвижность сосен предвещала снова зной, а может быть, грозу. Дождя просили и люди и деревья. Но что бы ни ждало впереди в этот долгий летний день, такое утро — все равно что дитя: приносит улыбку и радость.

Женщины были в хорошем настроении. Правда, посетовали на свою нелегкую дачную судьбу: опять гости!

— Шикович мой что-то поостыл, уже мало кого приглашает,— заметила Валентина Андреевна.

— Зато Антон старается.

— Сегодня, Галина Адамовна, больше всего гостей моих,— отозвался Тарас.— Но своих я могу принять на лугу. Кроме воды и солнца, им ничего не нужно.

— Как не стыдно, Тарас! Твоим гостям мы всегда рады.

Галина Адамовна говорила совершенно искренне. Ее больше тревожили гости мужа — вернее, одна гостья: Маша. Она видела девушку раза два мельком в больнице. Почему вдруг Антону вздумалось пригласить ее? Разве мало коллег врачей? Майзис, например, это понятно.

Но тревога исчезла, когда Майзисы подкатили на своем красном запыленном «Москвиче» и из машины вышла Маша. Девушка показалась Галине Адамовне не только неинтересной, но даже вульгарной. До неестественности рыжая, огненная, она, как бы бросая вызов людям обычным, и платье надела необычное по

расцветке и по фасону: красно-желтая в кленовых листьях легкая ткань словно не кроилась, не шилась, а прихвачена была на самой девушке по ее фигуре. Галина Адамовна улыбнулась, заметив, что Тарас разглядывает гостью, как некое диво.

Вышел Ярош, еще в пижаме, стал извиняться. Маленькая, черненькая, накрашенная и завитая, как кукла, Даная Витальевна, оправдываясь, объясняла столь ранний приезд.

— Вы знаете, Михаил Евелевич — он же фанатик. Если он что-нибудь вбил себе в голову, уж не даст покоя ни себе, ни другим. Захотелось, видите ли, человеку стать рыболовом.

— Какой из него рыболов? Договаривались — в шесть, а сейчас девять. Соня!

Ярош шутил, а сам посматривал на Машу, которая с детским восторгом озиралась по сторонам.

Валентина Андреевна прошептала подруге:

— Оригинальная особа.

Ярош позвал:

— Тарас! Где Тарас? Маша приехала, чтоб с тобой познакомиться.

Тарас вышел к гостям босой, в майке, мятых парусиновых штанах. Нет, не собственный вид привел его в замешательство. Другое. Майзис пожал ему руку просто, по-мужски; его жена равнодушно, не проявив интереса. А Маша вдруг застыла, словно в недоумении, а потом произнесла, как показалось Тарасу, разочарованно:

— Вот вы какой! А я думала — вы как Антон Кузьмич.

Это заставило насторожиться Галину Адамовну: зачем ей надо, чтоб он был похож на Антона Кузьмича?

Через некоторое время собрались на речку поудить, Ярош спросил:

— Тарас, идешь с нами?

— Нет, помогу на кухне.

Тогда и Маша обратилась к хозяйкам:

— Можно, и я останусь помочь?

— Ну что ж, пожалуйста,— согласилась Валентина Андреевна.

Маша надела фартучек, ловко и красиво повязала косынку и сразу преобразилась — стала домашней и простой. А когда зашла речь, какие закуски можно приготовить из тех продуктов, которые Тарас притащил из погреба, Валентина Андреевна подивилась ее кулинарным познаниям. Как ни настраивала себя Галина Адамовна против девушки, та все больше нравилась ей. Когда присмотрелась, и цвет платья не показался уже вульгарным, он отлично шел к красным волосам. Да и фасон не такой уж вызывающий — просто со вкусом скроено.

— Кто вам шил платье, Маша?

— Не поверите, совсем молодая портниха. Я ходила во Дворец железнодорожников на курсы кройки и шитья и там познакомилась с одной девушкой. Горбатенькая, знаете, а такая способная. Наша преподавательница чуть не лопнула от зависти, когда Геня сшила дипломное платье.

Маша засмеялась. И Валентина Андреевна засмеялась. И Тарас. Весело, дружелюбно.

Галина Адамовна неодобрительно промолчала, но и сама невольно залюбовалась, глядя, как Маша готовит салат. Во-первых, по своему, особому рецепту. А во-вторых, так ловко владеет ножом, что твой повар, да еще высшего класса. Кажется, не огурцы крошит, а играет на каком-то инструменте. И кубики огурцов, картофеля, моркови у нее ровненькие, один в один. Даже у них, опытных хозяек, не всегда такие получаются.

«Если она так же работает в операционной — не зря Антон ее хвалит»,— подумала Галина Адамовна, но сердце неприятно екнуло. Спросила:

— Где вы научились так кулинарничать?

— А я до курсов медсестер служила домашней работницей. У полковника.

— Вы — домашней работницей?

— Да. А что? Нас у мамы пятеро осталось, когда отец погиб. Двое младше меня. А колхоз тогда у нас был...

Ее тон ясно говорил о том, какой у них был колхоз. А она словно смутилась от этого признания, как будто в том, что колхоз был бедный, есть и ее вина.

Взглянула на Галину Адамовну, потом на жену Шиковича, которая готовила фарш для котлет, а сказала Тарасу, поправляя косынку:

— Теперь у нас совхоз. Тарас, вам нечего делать. Наточите нож. Тупой.

Тарас, покраснев, бросился искать оселок.

Валентина Андреевна улыбнулась. Ей по душе пришлась эта девушка. Она любила людей настойчивых в достижении жизненных целей. Маша тоже почувствовала симпатию к этой полной, по всему видно, доброй женщине. Почуяла Маша и настороженность, с какой отнеслась к ней жена Антона Кузьмича. И причину поняла. Не обиделась, но с удивлением отметила и в себе некоторый ответный холодок.

Завязалась непринужденная беседа. Маша в юмористических тонах рассказывала о своей службе в семье полковника, о его жене, деревенской женщине со смешными претензиями на аристократизм.

В халате, с полотенцем, заспанная и хмурая, вышла из комнат Ира. Удивилась, увидев неизвестную ей девушку. Их познакомили. Ира смотрела сквозь очки угрюмо, свысока. Это задело Машу.

«Ну пускай жена Яроша косится. Она старше вдвое. А ты чего?» Она демонстративно повернулась к Тарасу.

— А я знаю, как вас спасали во время войны. Как разыскивали...

— Меня?

Ира хмыкнула:

— В войну он пешком под стол ходил.

Маша не ответила. Обратилась к удивленному Тарасу:

— Вы не помните? Ничегошеньки? А я помню, как провожали папу на войну. Мне шел тогда четвертый год. Перед глазами стоит, как папа плакал. Лица́ не помню, а что плакал — помню. Держал меня на руках и плакал. А я вытирала ему слезы.

Раскрасневшийся Тарас сидел на земле и разбивал кочергой головешки в печи. Пылающие угли бросали золотистый отсвет на его светлые волосы. Ира улыбнулась, подумала: «И Тарас порыжел от этой рыжей. В самом деле, откуда она взялась? — И тут

же вспомнила: — А, Ярош рассказывал про «золотую сестру»,— и снова хмыкнула: «Золотая!»

Может быть, Ира что-нибудь и сказала бы, но мать строго взглянула на нее.

Валентина Андреевна лепила пирог, и руки у нее были в тесте, а на правом виске — мука. Ира подумала, что и седой мама будет хороша. В ней росла неприязнь к этой рыжей. Как вольно держит она себя на их импровизированной кухне! Хозяйкой! А как разговаривает.

— Тарас, дрова слишком сухие. Не нужен такой огонь. Все сожжет. Найдите посырее.

И тут Ира неожиданно для самой себя предложила:

— Тарас, пошли купаться!

Валентина Андреевна изумилась: Ира даже с женщинами ходила купаться неохотно. Все больше одна. А при мужчинах никогда не оставалась в купальном костюме.

Мать не раз сетовала, с болью говорила мужу:

«Боязно мне за Ирку. Какая-то она замкнутая, нелюдимая. Двадцать лет, а все как ребенок. Боюсь, не выйти ей замуж. Еще эта близорукость».

«Выйдет»,— отвечал оптимист Шикович. Жена упрекала:

«Не думаешь ты о детях».

А тут вдруг приглашает парня. Вдвоем! Что произошло?

— Я уже купался,— ответил, тоже удивившись, Тарас.

— Тогда сходи за водой,— попросила Галина Адамовна.

Воду для питья и стряпни брали в лесничестве.

— Давайте я принесу,— откликнулась Ира. Схватила ведра и побежала.

Редко она проявляла такую готовность, когда дело касалось физической работы. Мать непонимающе смотрела ей вслед. И вдруг сверкнула мысль: Ира, ее Ира, влюблена в Тараса! Это так очевидно. Она умела таить свою любовь, пока ей ничто не угрожало. А увидела Машу — угадала соперницу. И куда девались стыдливость, замкнутость. Валентине Андреевне стало

и радостно, и больно, и страшно за дочку. Первая любовь. Первые страдания. А что он, Тарас? Как он относится к Ире? Валентина Андреевна почла бы за счастье, если бы такой парень, умный, сдержанный, рассудительный, полюбил ее дочь. Почему она открыла Ирину любовь только сегодня? Зачем явилась эта рыжая девушка? Отчего Тарас торчит возле них? Пошел бы и правда на луг, купаться или удить рыбу.

Ира принесла воду.

— Что мне делать, мама?

Что ей делать? Ей захотелось работы — только бы остаться здесь. У Валентины Андреевны сжалось сердце. Какое бы дать ей дело, чтоб она выполнила его с таким же умением, ловкостью, как эта чужая девушка, на первый взгляд некрасивая, а по сути, обаятельная именно благодаря своему умению работать и держаться.

— Идем дров напилим,— позвал Иру Тарас.

— Дров? — испуганно переспросила она, но тут же согласилась.

Валентина Андреевна знала, что не умеет ее дочка пилить, потому что ни разу в жизни не брала пилы в руки. Но обрадовалась, что она пошла с Тарасом. Тяжело ей, матери, смотреть и сравнивать Иру с этой золотой мастерицей на все руки. На миг отступило восхищение девушкой, возникла неприязнь. Низкое чувство. Ей стало стыдно. Нет, она должна быть честна и объективна.

А другая женщина, Галина Адамовна, в это время думала:

«Пусть бы Тарас влюбился в эту рыжую, он бы заслонил от нее Антона. Антон — благородный человек, но он слаб, как все мужчины. Если он привез ее, чтоб познакомить с Тарасом, значит, ничего между ними не было, она хорошая девушка, и мне следует приласкать ее».

Поднялось над лесом солнце — и проснулся ветер. Зашумел бор, как далекий морской прибой. Исчезла утренняя дымка на небе, будто ветер старательно протер огромное голубое стекло. Не было душно, как

несколько последних дней. Однако солнце палило жестоко. Долго поджидали рыболовов с завтраком. Они не пришли.

Завтракали под дубами.

Шикович проснулся с головной болью, не мог найти лезвий для бритвы, хотя отлично помнил, что привез их из города, злился, ворчал на жену, на дочку. А увидел Машу — и сразу растаял. Валентине Андреевне, рассудительной, спокойной, никогда не ревновавшей без причины, стало смешно и грустно. С иронией наблюдала за мужем, с тревогой за Тарасом и Ирой. Боялась: не произвела бы Маша такого же впечатления на юношу, как на этого лысеющего романтика, ее мужа. Кажется, Тарас ведет себя более разумно.

А у Галины Адамовны, когда она заметила, как оживился Шикович при виде Маши, снова засосало в груди. У нее была своя грубая философия: мужчины — что коты, сразу нюхом чуют кошку. И она уже почти ненавидела девушку.

Однако за столом было весело.

Шумели дубы. На стол, в тарелки и стаканы падали тонкие сухие веточки, изредка слетал раньше времени пожелтевший листок. С луга тянуло густым ароматом сухого сена.

У всех был отличный аппетит. Маша ела со вкусом, много и по-детски привлекательно. Шикович любил такую здоровую, «красивую», как он говорил, еду. Наташа, несмотря на запрещение матери, за завтраком читала — не могла оторваться от «Записок школьницы». Поминутно заливалась таким заразительным смехом, что и взрослые начинали смеяться, хотя и не знали, в чем там у нее дело.

— Ох, не могу! Помру! — дрыгала Наташа под столом ногами.— Всё, как у нас в классе.

— Наташка, не паясничай.

— Что ты, мама! Если б ты прочитала, ты сама умерла бы от смеха. Вы не читали, дядя Кирилл?

— Нет.

— Вы ничего не читаете. Сами пишете, а сами ничего не читаете.

— Наташа!

— Правильно, Наташа. Не в бровь, а в глаз,— поддержала Валентина Андреевна.

— А я читала — и ничего там смешного.

— Потому что ты, Ирка, как наша англичанка, смеешься раз в месяц, да и то в праздничный день.

— Наташа! Я тебе язык пришью, негодница,— рассердилась Галина Адамовна.

— Не сердись, Галя,— сказал Шикович.— Все люди должны говорить то, что думают. Вот была бы красота!

— Был бы полный хаос, папа.

— А я читаю мало,— вздохнула Маша.

— Почему? — спросил Шикович.

— Не знаю. А вы почему?

— Я? — Он засмеялся.— Дитя мое, я мало читаю таких книг, как Наташа. Но сколько я читаю других, над которыми Наташа заснула бы на второй страничке. А рукописей! Я ослеп от рукописей. А теперь еще — от архивных документов. У меня трудный жанр — документальный. Приходится быть не только писателем, но и историком.— Он вздохнул.

Валентина Андреевна прятала улыбку. Она уважала труд мужа, его творческое горение. Но кому он говорит все это сейчас, жалуясь на нелегкую судьбу? Незнакомой девушке, чтоб хоть чем-нибудь ее привлечь. Смешной старый дурень! Постыдился бы дочки.

Шикович помог Тарасу расставить под дубами почти все столы, какие были на даче, и пошел дописывать статью. Тарас и Наташа понесли завтрак рыболовам.

Женщины занялись той мелкой надоедливой работой, которая почти не видна, но отнимает массу сил и в конце концов так изматывает, что приводит к апатии, безразличию. Придут гости, а усталую хозяйку уже ничто не радует — она выдохлась. Сегодня Галина Адамовна очень быстро дошла до такого состояния: ее утомила не столько работа, сколько волнение, тревожные мысли о муже и Маше. Она прилегла под дубами на одеяло и... уснула.

Валентина Андреевна и девушки оберегали ее сон, говорили вполголоса.

Маша и Ира как будто бы сдружились. Валентина Андреевна наблюдала за ними и видела, как легко и открыто шла к сближению Маша и как осторожно, хитро, дипломатично подходила к новой знакомой ее дочь. Матери стало неприятно. Откуда это у Иры? Казалось бы, простые родители, простые, хорошие отношения в семье — и вдруг такие дети, совсем разные, и оба с какими-то странными отклонениями от норм, выработанных педагогикой, которой она, Валентина Андреевна, отдала всю сознательную жизнь. Впервые она подумала об этой науке без должного уважения, со скептической улыбкой.

«Может быть, Кирилл потому легче относится к поведению детей, что над ним не тяготеют педагогические догмы. Он легко вспыхивает, легко и потухает. Как-то он встретит Славика? Ах, Славик, Славик! Знал бы ты, как все это мне больно! Когда ты, наконец, поумнеешь?!»

Только подумала о сыне, а он тут как тут.

Она сидела под навесом на низком чурбачке и, задумавшись, перемывала в тазу тарелки, вилки и ножи. И вдруг увидела не его — тень. Вздрогнула, подняла голову. Славик опустился перед ней на колени.

— Мама, твой блудный сын явился под этот мирный дачный кров и покаянно склоняет насильственно остриженную голову. Посыпь ее горячим пеплом.

Обычный его ход — сразу все обернуть в шутку. Она уверена, что не так весело у него на душе, но он шутит, все равно шутит. Его давно не стригли наголо. И, глядя на круглую, стриженую, чуть смешную милую голову, она увидела маленького Славика, доброго, ласкового, который, проснувшись, перебирался к ней в постель и стриженой головой терся о ее щеку.

Ей стало до боли жаль его. Нестерпимо захотелось взять мокрыми руками глупую родную голову, прижать к груди, поцеловать, а потом надрать эти розовые уши. Все-таки они покраснели, его уши. Сладко ныло сердце, но в горле застряла горечь. Мгновенно вспомнилось, каким приехал в тот день, когда Славика посадили, отец — туча черная. Она решила, что

он опять с кем-нибудь поссорился в редакции и, чтоб отвлечь его, спросила, видел ли он Славика? Кирилл взвился:

«Дорожки в парке подметает твой Славик! Поцелуйся иди с ним! Вырастила бандита, педагог несчастный!»

Она даже не сразу поняла, в чем дело. А с Ирой чуть не истерика была. Дочь кричала:

«Вот он, ваш сынок, ваш любимчик! Я давно говорила, что он опозорит всех нас. Боже мой, какой стыд. Теперь нельзя в городе показаться. А всему виной вы. Вы оба. Родители! Потакали, нянчились...»

Валентину Андреевну тогда обидели слова дочери: как будто с ней нянчились меньше.

А сейчас Ира стояла, смотрела на коленопреклоненного Славика и едва сдерживалась, чтоб не захохотать. И Маша перестала накрывать стол, уставилась в изумлении.

Валентина Андреевна очнулась, строго сказала сыну:

— Не юродствуй. Встань!

Славик поднялся, не забыв отряхнуть колени, и поправил концы красной веревочки, которая заменяла галстук.

Валентина Андреевна рассердилась:

— И чтоб я не видела у тебя на шее этой дурацкой веревки. Выбрось!

Он послушно сорвал бляшку, вытащил веревочку, размахнулся, чтоб швырнуть ее в кусты у ручья, и тут увидел сестру и... Машу. На лице отразилось удивление. Потом отступил шага на два в сторону, повертел головой, как бы отгоняя мираж. Быстро приблизился к девушкам.

— Послушайте,— сказал он Маше,— вы же мне снились. Мне снились марсианки. И все они похожи на вас. Ей-богу, правда! Нет, скажите откровенно, вы оттуда? — Он показал пальцем на небо и захохотал.

— Славик! — сурово остановила мать.— Веди себя прилично.

— А разве я сказал что-нибудь неприличное? Это правда, на Земле я таких не встречал.

— А я таких встречаю каждый вечер. В парке. И всегда под хмельком,— сухо сказала Маша, задетая его бесцеремонностью.

Славик галантно поклонился, шаркнув ногой по сухой траве:

— Благодарю за высокую аттестацию.

Ира поспешила смягчить обстановку:

— Познакомьтесь. Мой брат. Владислав. Он неплохой, только кривляка.

— Ура! — крикнул Славик.— Моя дорогая сестра признает меня неплохим. В такой день! Прогресс.

— А это — Маша.

— Маша? — удивился Славик.— Такое простое имя!

Видно, ему и в самом деле казалось, что у девушки все должно быть необыкновенным. Перестав паясничать, протянул ей руку. Маша заколебалась. Это испугало Валентину Андреевну: какая нечуткость, жестокость!

Но Маша подала руку, открыто улыбнулась. И Валентина Андреевна облегченно вздохнула, благодарная девушке.

— Кто вы, Маша? — задерживая ее руку, серьезно спросил Славик.

— Сестра.

— Чья?

— Операционная.

— Операционная? — Видно, он не сразу сообразил, что это такое.— Из больницы? — Славик присвистнул, невесело пошутил: — Умеет Ярош выбирать себе сестер.

Мать уловила этот переход от кривляния к серьезности, поняла, как нелегко было Славику прийти, и снова пожалела его: «Какой он худой, одни уши торчат. И под глазами тени».

— Ты голоден?

— Как волк.

Они подавали ему все трое — мать, Ира, Маша — лучшее, что готовили для гостей, как самому главному гостю.

Валентина Андреевна оценила чуткость девушек; ее даже не задевало, что сын, словно забыв про мать,

следит за каждым движением Маши, ловит каждое слово и взгляд.

«Увлекается совсем по-детски»,— с умилением подумала Валентина Андреевна.

Хороший завтрак и заботливость женщин сделали Славика снова болтливым.

— Маша, хотите я вас удивлю?

Ира испуганно приказывала взглядом: молчи! Ей казалось стыдом, позором такое признание. Но Славик объявил:

— Я только вчера из тюрьмы.

Ни одна черточка не дрогнула на Машином лице.

— И долго вас там держали?

— Десять суток.

— О-о!

Что значило это «о-о», трудно было понять.

— Я в пьяном виде надебоширил, кажется, погрозил каким-то туристам бомбой. Как будто она лежала у меня в кармане. И — пожалуйста, моралисты влепили мне... А вчера я просматривал газеты. Я редко их читаю. Так, со скуки. И — боже мой! — что я там вычитал. Если мне дали десять суток, то многим мистерам и сэрам надо дать по десять лет. Как они размахивают этими бомбами! Жуть!

Валентина Андреевна насторожилась: никогда еще сын не говорил о таких серьезных вещах.

— Машут надо мной. Над тобой! Над тобой, мама. А ты хочешь, чтоб я был в восторге от этого мира! Шмякнут в такое вот волшебное утро...— Он нервно рассмеялся.

— Не будь пессимистом, Владислав,— сказала мать, огорченная тем, как сын повернул свою речь.— Ты все смешал в кучу. Свою маленькую обиду ты ставишь в один ряд с проблемой, которая действительно волнует все человечество.

— Мама, не надо морали! — Он бросил вилку, зажал руками уши, потом провел ладонью по горлу.— Я сыт во как!

— Нет, ты послушай! Люди борются и побеждают. Войну. Страх. Голод. Деспотизм. Тупость...

— Ничего этого люди не победили! Не тешьте себя!

— Неправда! — возразила Ира.— Может быть, не все, но многое победили.

— Покончили с одной войной, а уже готовится другая. Такая, где не будет ни побежденных, ни победителей. Останется один пепел.

— Ты просто трус! Паникер! Ты всегда был трусом! — раздраженно крикнула Ира.

— Вы сами боитесь. Все, кроме разве мамы...

— Нет, Слава, я тоже боюсь,— перебила сына Валентина Андреевна.— Боюсь, может быть, больше, чем вы все. Но я верю в человеческий разум.

Маша поддержала ее.

— Люди не собираются себя хоронить. Люди живут. И будут жить! Вот!

Это прозвучало почти наивно, но ударение, с которым она произнесла слово «живут» и «будут жить» и это детское «вот» придало им неотразимую убедительность. Славик ответил ей улыбкой, как бы сдаваясь.

Возможно, что спор все-таки еще продолжался бы. Но вышел Шикович.

Славик приподнялся из-за стола, отсалютовал:

— Приветствую тебя, старик!

Отец не ответил. Валентина Андреевна испугалась: как бы муж не вспылил, не накричал на сына. После всего, что мальчик пережил... Но, очевидно, присутствие Маши удержало Шиковича. Он спросил с сарказмом:

— Ну как, герой... нашего времени?

Славик сунул руки в карманы узеньких брючек, бодро обошел стол, приблизился к отцу, как бы демонстрируя, что он ничего не боится и что вообще с отцом у него отношения именно такие — панибратские.

— Ты знаешь, творец, чертовски интересно! Для тебя особенно. Если б ты увидел, какие там типы, помер бы со смеху. А потом попросил бы туда творческую командировку.

Засмеялась Ира. Улыбнулась Валентина Андреевна. Шикович сказал смягчаясь:

— Болтун несчастный.— И обращаясь к жене: — И в кого он таким удался, черт этакий?

— В тебя, отец,— ответил Славик.— Когда у меня

будет такая лысина и такой животик, я буду вылитый Шикович-старший.

— Если из тебя выбьют дурь.

— Выбьют! Если не выбьют дух. Не превратят в космическую пыль.

Шикович нахмурился:

— Не пори чушь. Политик липовый!

Маша подумала: как бы она говорила со своим отцом? Ей стало грустно, и она незаметно отошла за дубы, спустилась к ручью...

Через минуту Славик окликнул ее:

— Маша!

10

Товарищи Тараса — члены его бригады, хотя и испытывали некоторую неловкость в обществе писателя, докторов, их жен, но возбужденные прогулкой по реке, лугу, купанием, уселись за обед шумные и веселые. Бурно реагировали на тосты Шиковича, на откровенные и наивные замечания Наташи, даже на не совсем уместные шутки Славика.

А когда выпили и подзакусили, то утихли, присмирели. Странное дело! Произошло это, вероятно, потому, что ребята пили очень осторожно. Было у них такое правило. Не записывали его ни в какие обязательства, но договорились между собой: не надо быть аскетами, но при любых обстоятельствах, в любой компании, на любой вечеринке каждый должен помнить о своем высоком звании.

Славик умудрился хлебнуть коньяка еще до того, как сели за стол. Должно быть, отец и мать догадывались и теперь зорко следили за ним. Юноша все время чувствовал на себе предупреждающий и грозный взгляд: «старый конь», как он в компании друзей иногда называл отца, сидел на председательском месте и хорошо видел весь стол. Бутылка с водкой обошла Славика один раз и другой. Сосед слева — длинный

сутулый слесарь-сборщик с забавными в сочетании именем и фамилией — Генрих Вареник — налил ему яблочного вина, которое ребята привезли с собой. Славик выпил, сморщился, точно уксуса глотнул.

— Дрянь.— И попросил Машу, сидевшую по другую сторону, чтоб передала водку.— Давай, сосед, лучше этой божьей слезы...

Маша потянулась за бутылкой, но Ира перехватила и передала Тарасу — подальше от брата. Славик понял, что против него заговор. Жестами показал Тарасу: «Дай нам с Генрихом».

Но этот «сутулый вареник» возразил:

— Не надо. Я не пью.

Славик разозлился. Зашипел ему в ухо:

— Нет, пьешь.

— Нет.

— Врешь. Я же вижу, как ты слюнки глотаешь. Кривляки вы все! Кричите о высокой морали, а у самих честности — ни-ни, одно ханжество.

Генрих смутился, покраснел, как девушка. Его выручил добродушный на вид Иван Ходас. Наклонился к Славику за спиной Генриха и сердито прошептал:

— Мы таких умников видали. И знаем, чего стоит твоя «честность».

— Чего? — ощетинился Славик.

— Я лично ломаной гайки за нее не дам.

— А мне плевать на твое мнение.

— Ты где вырос такой? На Бродвее?

— Хлопцы! Хлопцы! — уговаривал Генрих.

Валентина Андреевна незаметно подошла, положила руку на плечо сыну, другой коснулась Ивана.

— Что случилось, мальчики? Может, чего не хватает?

— Нет. Спасибо, Валентина Андреевна. Все в порядке,— успокоил ее Иван.— Из-за футбола поспорили. Какая команда сегодня выиграет.

«Издевается, гад»,— прямо передернуло Славика. Он налил себе все того же плохонького вина и демонстративно, назло всем, опрокинул рюмку.

Маша сказала тихо:

— Ты — петух задиристый.

— А ты — рыжая курица,— огрызнулся Славик.

Она беззлобно рассмеялась. Славика это несколько обескуражило. Он надулся и замолчал.

— ...Мы можем воспитывать человека у себя в бригаде,— толковал Тарасу его сосед Василь Лопатин.— А воспитывать начальника смены, инженера — нам, рабочим! Его институт не воспитал.

Василь, самый старший в бригаде, приехал с женой. Славик заметил, что полная, кажется беременная, женщина сама ела мало, застенчиво, а мужу подкладывала самые вкусные большие куски и все время подливала вина. Он выпивал втихую, как воду. Славика это развеселило.

«Вон ваши праведники, как действуют»,— хотелось ему сказать Генриху. Но тот разговаривал с Иваном.

— Толстовская философия у тебя. Иной раз надо и по морде дать,— кипятился Иван.

«Обо мне, гады. Попробуй дай...» — подумал Славик, но задираться ему больше не хотелось.

— Я Волгу переплывал.

— Где? У истоков?

Костя и Виктор болтают, смеются на другом конце стола, у них свои темы: спорт, рекорды, голуби.

«Неинтересно. Я уже вырос из этих штанишек».

— Наташка, поела? Беги гуляй.

— Что ты, папа? Я люблю, когда гости. Ты разве не знаешь?

— Гостеприимная особа! — усмехнулся Ярош.

— Однажды на именины она пригласила два класса — свой и параллельный. Помнишь, Антон?

— У нас Славик был такой.

«Был... Будто меня уже похоронили».

— Мальчики, ешьте. Все, что на столе, должно быть съедено. Кирилл, предлагай тост.

— Правда, Костя интересный? Настоящий цыган. Смотри, какие глаза. Как угли. А зубы какие!

«О, моя сестрица начала заглядываться на парней. Пора, пора, старая монашка!»

Славик заскучал и стал искать, чем бы позабавиться. Подвинулся ближе к Маше, коснулся ногой ее ноги. Она строго глянула на него и отодвинулась к Ире.

Ярош с любопытством присматривался к своим молодым гостям. После недавнего разговора с Машей его по-новому заинтересовала молодежь: молодые врачи, сестры, санитарки. Но товарищи Тараса в особенности. Рабочий класс. Творцы материальных ценностей.

Перед обедом Ярош гонял с ребятами мяч на выкошенном лугу, соревновался в плавании, загорал. Слушал их разговоры. Но на отдыхе слова и мысли были легкие, как тот мяч, который они гоняли. Он постучал вилкой по стакану.

— Минуточку, друзья. Скучновато становится за нашим столом. Сепаратные разговоры, перешептывания... Давайте попробуем поговорить сообща. О чем? Ответим, например, на такую анкету: мои мечты, мои представления о будущем — чего я хочу, к чему стремлюсь. Тихо! Не скрою: хотелось бы выпытать, чем вы дышите. Мы с Кириллом Васильевичем часто спорим насчет идеалов молодого поколения. Только уговор: отвечать честно, можно в шутку, но упаси боже — по-газетному. Корреспондентов тут нет.

— А Кирилл Васильевич?

— У него принцип: «когда я ем...»

— «То глух и нем». Только мурлыкаю, как кот.

Засмеялись, зашевелились немножко озадаченные неожиданным предложением.

Славик хмыкнул. И осуществил намерение, появившееся у него несколько минут назад: опустил руку под стол, дотронулся до Машиного голого колена. Она вздрогнула, дернулась, крепко ущипнула его за руку. Сказала спокойно:

— Славик, схватишь пощечину.

Ира догадалась, что он сделал, и глаза ее под стеклами очков стали желтыми от гнева.

— Славик! Дрянь! Я маме скажу.

— Закричи, ябеда. Ты всю жизнь ябедничала.

Родители уже обратили внимание на их злой шепот. Валентина Андреевна снова подошла к сыну, мягко попросила:

— Принеси, сына, пива из погреба.

— Подожди, послушаю людей будущего.

— Так кто начнет, ребята? — приглашал Ярош.

— Костя! — подсказала жена Лопатина.

Тот самый Костя, которым восхищалась Ира,— маленький, подвижный, смешливый, самый младший в бригаде, вскочил, как школьник.

— Садитесь, Костя, что вы! — запротестовала Валентина Андреевна.— Этак получится не дружеская беседа, а какой-то экзамен. Ты сам начни, Антон Кузьмич.

— Нет, я потом скажу, о чем мечтал, когда мне было столько же лет. Сравним...

— Я? — отозвался Костя, снова садясь.— Я думаю обо всем. К примеру, о девчатах...

— Вот это честно! — засмеялся Славик.

Но его не поддержали — может быть, потому, что Костя тут же принялся горячо объяснять:

— Я хорошо думаю о девчатах... Женщина дает жизнь и красит ее, все красивое — от женщины. Еще я много думаю о космических полетах. Но знаете,— немножко помолчав, признался Костя,— самому мне почему-то не хочется туда лететь.

— Трусишь? — насмешливо перебил Славик и обрадовался, что на этот раз все засмеялись.

— Нет, не трушу,— не смутился Костя.— Просто люблю землю... Деревья и цветы. Для меня самая большая радость побродить по лесу. Я так полагаю, что при коммунизме все люди должны жить среди деревьев и цветов. Тогда все будут добрые, веселые...

— Правильно! Я тоже за то, чтоб все стали дачниками.

— Слава! Вылетишь из-за стола, как пробка из бутылки,— не выдержал, наконец, Шикович-старший.

— Молчу, как фаршированная рыба.— Славик зажал рот ладонью.

— Короче говоря, я хотел бы жить в обществе, где не будет людей злых, несправедливых, дурных, нечестных...

— Это же христианские идеалы! — возмутился Иван Ходас.— Костя думает, что такое общество поднесут ему на блюдечке: пожалуйста, Костя, живи, сажай цветочки, расти деток. А для меня радость — в борьбе. И я считаю, что коммунизм — это высшая форма борьбы.

— Против кого?

— За что?

— Против дураков, бюрократов, дармоедов. Я не говорю уже о внешних врагах, империалистах разных...

— А когда их не станет? Ведь уничтожим.

— Ну да!

— Я не заглядываю так далеко! И в царство всеобщих поцелуев не верю. И среди ангелов жить не желаю! Скучно. Я сам злой и, возможно, бываю несправедливым. Мал был — маму обижал. Так что, ты и меня уничтожишь? — горячо наседал Ходас на Костю.

— Разошелся! — укорила его Вера, жена Лопатина.

Иван осекся, повернулся к хозяевам: как они на это? Ярош одобрительно кивнул головой. Шикович сказал:

— Я согласен, Иван. Коммунизм построят не святые, а мы с вами, каждый со своим характером, подчас весьма противоречивым и сложным. Однако бесспорно и то, что мы должны стать лучше, чем есть. Избавиться от пережитков. Как этого добиться скорее? Что, по-вашему, имеет первостепенное значение в воспитании чувств, новой морали?

Иван задумался. И все примолкли.

— Коллектив,— первым отозвался Тарас.

— Труд,— почти одновременно с ним сказал Лопатин, принимаясь за кусок пирога, который подсунула ему заботливая женушка.

— Борьба! — не отступал Ходас от своего.

— Правда! — Славик сказал это серьезно, убежденно.— Покуда будет ханжество, обман...

Кирилл Васильевич переглянулся с женой и, должно быть, хотел что-то ответить сыну. Но опередил Костя.

— Любовь! — крикнул он.

Вся молодежь засмеялась, кроме Славика.

— Тебя все-таки клонит к Иисусу Христу,— поддел дружка Иван.

— Почему любовь, Костя? Объясни!

— Любовь не в узком понимании. А вообще — Любовь с большой буквы. К Родине, к труду, к людям, близким и далеким...

— Какая щедрая душа! — с доброй улыбкой сказала Галина Адамовна так, что услышали только свои — Майзисы и Шиковичи.— Его, верно, никто никогда не обижал.

Ярош тихо сказал Кириллу:

— Представитель поколения, которое не знает, что такое ненависть.— И уже в полный голос, обращаясь к Косте и остальным: — По-моему, Костя, такая любовь — это цель, а не средство. То же самое и твоя правда, Славик. К такой правде и к такой любви мы придем, безусловно, Иван, через борьбу с собственными недостатками и со всеми теми, кто будет мешать. И, наверно, правы Тарас, Василь Петрович, что труд... труд в коллективе... общественно полезный — главный фактор. Раз уж Кирилл Васильевич свернул на теорию, пускай он и подводит итоги. А мне хотелось услышать от вас более простые ответы. Чтоб каждый о с е б е. И я скажу о себе. Планы, мечты, желания... Вот Генрих молчит...

Генрих, который и в самом деле не произнес ни слова, смущенно улыбнулся. Взгляды друзей обратились к нему — они ждали с явным любопытством. Он пригладил ладонями волосы и задержал руки на затылке.

— Мечты — они ведь меняются, Антон Кузьмич. Когда я был школьником, я очень любил читать романы. Ну Вальтера Скотта, Дюма... И мне страшно хотелось быть рыцарем, спасти принцессу — обязательно принцессу — не ниже! — и... жениться на ней.

Молодежь сдержанно засмеялась.

— А теперь я еженощно сижу над теорией машиностроения, сопроматом, мечтаю, как бы скорее сдать экзамены, стать инженером и... жениться на Зое Крахмаловой.

Грохнул такой хохот, что из-под стола испуганно выскочила кошка.

Вера, утирая слезы, объяснила хозяевам:

— Он всегда так: молчит, молчит, а потом как скажет...

А Генрих повернулся к Славику:

— Твоя очередь. По порядку.

— Я? — удивился Славик, ткнув себя пальцем

в грудь.— Почему я? О чем мечтаю? Ни о чем! Хочу? — Он обвел дерзким взглядом всех сидящих за столом, потом повернулся к Маше и сказал как будто ей одной: — Хочу улететь в космос. В пустоту. Где никто не будет приставать с вопросами и читать нотаций.

Все затихли — стало неловко, потому что знали, что Славик только что отсидел за свои художества. Из деликатности никто не поминал об этом: щадили родителей.

Видели, как больно поразили их раздраженные слова сына. Особенно мать. Валентина Андреевна, пряча глаза, сжала руку мужа, умоляя его молчать.

Маша, чтоб отвлечь внимание от Славика, сказала задорно:

— А я, знаете, о чем мечтаю? Выйти замуж за доброго, умного человека и народить добрых, умных детей.

Хотела, чтоб это приняли, как шутку, но встретилась глазами с серьезным и удивленным взглядом двенадцатилетней Наташки и... смутилась, покраснела. Показалось, что сказала при ребенке что-то неприличное. Верно, из-за этого смущения никто не стал шутить над ее признанием. Однако Маша это восприняла как всеобщее осуждение. Почему они такие серьезные? Почему жена Яроша так сверлит ее взглядом? Правда, сам Антон Кузьмич улыбался.

— Вот это земная мечта! — И еще что-то добавил.

Но Маша не услышала. В ухо ей жарко дохнул Славик.

— Хочешь от меня ребенка? Я — умный.— И снова дотронулся рукой до колена.

Циничный шепот его и прикосновение возмутили девушку, и она ударила его по лицу. Не сильно. При других обстоятельствах это могло бы сойти за шутку. Но в тот момент пощечина прозвучала, как пушечный выстрел. Оглушила и взрослых и молодых. На миг все застыли. Первая опомнилась Ира. Крикнула брату: «Хам!» — и выскочила из-за стола.

Угрожающе медленно поднялся Шикович. Жена попыталась удержать его. Он выдернул руку. Сказал спокойно, почти весело:

— Пойдем, Владислав, поговорим,— и направился к даче.

Не оглядывался, идет ли за ним Славик, не слышал, как тот, дерзко подмигнув ребятам, бросил: «Иду на эшафот»,— не видел дома, леса, неба и солнца: все кипело у него в груди.

Только в комнате Кирилл обернулся. Славик стоял на пороге в развязной позе, засунув руки в карманы штанов.

— Подойди ближе! — процедил Шикович сквозь зубы.

Славик, иронически улыбаясь, не шагнул, а казалось, медленно проплыл эти три шага, как на лыжах. Может быть, если б не эта его улыбка, все было бы как много раз до сих пор: вспыхнул бы фейерверк гневных слов и... погас. Никогда еще Кирилл не поднимал на сына руку. Не мог — слишком любил его. Но тут переполнилась мера терпения. Не выдержали нервы.

— Вынь руки! — заорал он и, не дождавшись, пока сын выполнит приказание, схватил за ворот тенниски, рванул к себе.— Ты! — И со всего размаха ударил по лицу.

Славик отлетел к двери, стукнулся о косяк, охнул, сполз на пол, схватился за щеку.

В тот же миг в дверях появилась мать. Загородила собой сына, взмолилась:

— Что ты делаешь? Постыдись!.. Культурный человек!

— Замолчи! — в безудержном гневе закричал Кирилл.— Защитница! Ты видишь, до чего довела твоя защита? Щенок! Долго ты будешь позорить доброе имя отца, матери, сестры? Кто тебя вырастил такого?

— Не кричи! Люди,— поморщилась Валентина Андреевна, озабоченно склоняясь над Славиком, который сидел неподвижно, закрыв руками лицо.

— Тебе стыдно людей, когда я кричу? А за него тебе не стыдно? Пожалей, пожалей его, вытри сопли — ты от него еще не одну пилюлю получишь. Герой! На что ты годен? Что ты умеешь? Только и способен, что пакостить, как шелудивый кот.

— А сам ты что умеешь? Драться? — проскулил тонким голосом Славик.— Старый конь!

Глупый вопрос и еще более глупая кличка прозвучали совсем по-детски — вырвались от бессильной злости и обиды. Сердце Шиковича дрогнуло. Никого в жизни он не бил, даже когда был мальчишкой, избегал драк, чаще били его. А тут вышвырнул из кабинета Рагойшу, ударил сына... Что с ним? Нервы? Однако, чтобы не «раскиснуть», он пригрозил:

— Я тебе покажу «конь»!.. Идиотский жаргон! Щенки распущенные! — И со злостью бросил жене: — На ручки его возьми! Побаюкай. Соску дай. Пе-да-го-ог!..

И вышел. На веранде почувствовал, как дрожат руки, ноги, «подает сигналы» сердце. Подумал: «Так инфаркт недолго схватить».

А Славик, услышав, что отец вышел, уткнулся лицом в руки матери, которая пыталась поднять его с пола, и... расплакался. Совсем по-детски, громко всхлипывая.

Ребята лежали на берегу реки на песчаной косе, грели спины под усталым ласковым солнцем. Слушали, как сзади тихо плещется и журчит вода, а впереди, на склоне, шелестит лозняк. Ветер стих — и все стихло, смягчилось, успокоилось: и вода, и лес, и птицы. Даже ласточки, гнездившиеся в обрыве, летали без обычной своей суетливости. Ребята лениво подгребали под себя теплый, промытый рекой до белизны песок и следили, как в чистом небе над лугом плавает ястреб. Так же лениво и спокойно. Не охотится — отдыхает. Когда ястреб вдруг пулей упал вниз, в кусты, они, как по команде, опустили головы на руки; сквозь сухой песок проникали влажные запахи реки. Потом их внимание привлекла маленькая, в золотой манишке и голубом фартучке птичка; она села в полушаге от Костиной головы, помахивая зелёным хвостиком, проскакала мимо всех, как бы проверяя, живы ли эти голые неподвижные тела. Ее не испугал даже голос Генриха:

— Хлопцы, кто знает, как называется эта хорошенькая пичужка?

Молчание.

— Никто не знает? Костя?

— Щурок.

— Точно? Молчишь? Как мало мы знаем!

— Напрасно ты, Тарас, потащил нас на эту куркульскую дачу,— проворчал Иван Ходас.

Тарас молчал. Он думал о Маше. Удивлялся: «Почему я о ней думаю? Странно! Потому, что закатила оплеуху тому шалопаю. Он заслужил. Но не стоило. Не к месту. Испортила обед, настроение всем... И себе».

Как задрожали у нее губы, когда Шиковичи один за другим ушли в дом, а Ира и Ярош стали перед ней извиняться. Галина Адамовна морщилась, ей, видно, не нравилось, что муж просит у своей подчиненной прощения. Майзисы сразу начали собираться домой. Ребята поблагодарили Ярошей и, встав из-за стола, тут же ушли на реку. Жена Лопатина уехала в город с Майзисами.

«За что она ударила его? Что он такое сказал?»

— Куда он думает податься теперь?

— Кто?

— Этот... «атомщик».

— Славик? Не знаю.

— А зачем ему куда-нибудь подаваться? У батьки денег хватает.

— Не думай дурно про Шиковича. Это человек правильный.

— А сынок?

— Черт их знает, откуда они берутся, такие сынки!

— Смотрите, опять ястреб. Что он высматривает?

— Жаль, не успели послушать Яроша. О чем он хотел рассказать?

— Хлопцы, а давайте возьмем его в свою бригаду!

Костя подтянулся на руках и сел лицом к ребятам, чтоб видеть всех.

Тарас поднял голову: серьезно это он? Маленький, но крепко сбитый, загорелый, чернявый, Костя сидел на песке, как буддийский божок; глаза горели — верный признак того, что он готов до конца защищать свою идею. Иван Ходас глянул на него одним глазом и свистнул в песок, выдув ямку.

— Не хватает тебе дерьма?

— А что? Если мы такая бригада, то почему не помочь человеку?

— Завод не школа-интернат.

— Друзья, любопытная штука — сопротивление материалов.

— Генрих, перестань бредить. А захочет ли он сам? — спросил Лопатин и повернулся на спину, лицом к солнцу.

Тарас сел. Костино предложение ему нравилось. В самом деле, почему бы им не взяться за этого неуравновешенного юнца?

Генрих писал пальцем на песке длинную формулу.

— Я с ним поговорю.

— Ты соглашаешься, Тарас? — Иван так дунул на песок, что засыпал формулу Генриха.— Ошалели! Не берите на себя все на свете — это уже позерство. Я «против».

— Говоришь, что коммунизм — это борьба, а сам не хочешь шевельнуть лишний раз рукой и мозгами. Как же ты думаешь бороться за таких?

— Гнать в шею!

— Куда?

— На все четыре.

— Ну и логика у тебя!

— Логика железная. А почему я должен подбирать всякий мусор и преподавать элементарные нормы поведения? Я, может быть, сам еще не воспитан.

— Вот, вот, правильно!

— Он боится, чтоб этот стиляга не обратил его в свою веру.

— Пиши свои формулы, конструктор недопеченный!

— Ребята, не ссориться! — Лопатин хлопнул в ладоши.— Всех вас воспитают жены. Только же́нитесь...

— Тебя воспитала?

— А что ты думаешь, я тоже любил гульнуть, как желторотик этот. Даже когда в бригаде уже был. А попробовал бы теперь!

— То-то, вишь, волосы у тебя начали редеть.

Захохотали. Шутка лучше всего примиряет людей. Тарас почувствовал, что настроение поднялось.

Лопатин брыкнул Ивана ногой. Тот поймал ногу и потащил Василя к воде. Тарас вскочил, засыпав все формулы Генриха, и подхватил Лопатина под мышки. На подмогу бросился Костя. Втроем они раскачали своего солидного друга и кинули в реку, зная, что он плохо плавает и боится воды. Сами плюхнулись следом за ним. Брызги засверкали на солнце радужными переливами. Волны покатились на песок, лизнули Генриху ноги. Он встал, картинно потянулся, бросил на одежду очки и, разогнавшись, ракетой ушел под воду. Он был отличный пловец. И его друзья, дурачившиеся в воде, затихли, с интересом ожидая, когда и где Вареник вынырнет. Он вынырнул почти на середине реки. Поплыл быстро, ловко, выбрасывая из воды все тело. Не плыл, а летел.

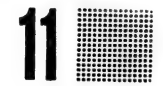
Тарас и Костя кинулись вдогонку. Плыли рядом. Костя сказал:

— А эта рыжая сидела с ним, а глазами стреляла в тебя.

Тарас смутился.

— Да ну тебя, Костя! Выдумаешь!..— Но ему было приятно, и он похвалил дружка: — А насчет Славика это ты хорошо придумал. Надо убедить хлопцев.

11



Ярош перед операцией ночевал в городе. Шикович мчался на своем «Москвиче» один, рискуя свалиться под откос. У самого города, на железнодорожном переезде, был закрыт шлагбаум. Старенький закоптелый паровозик с одной платформой, груженной досками, маневрировал, будто назло шоферам. Шикович, машина которого, уткнувшись в шлагбаум, стояла первой, выходил из себя: что-то кричал сторожихе, грозил кулаком машинисту, проклинал все железнодорожные порядки.

А в больнице на его пути встала другая сторожиха — в белом халате. Напрасно он доказывал, что

приглашен самим Ярошем присутствовать при операции, что он корреспондент, потом выдумал, что ассистент и без него не будут оперировать и вообще все полетит вверх тормашками.

— Ничего не знаю. Никто ничего не говорил,— флегматично отвечала пожилая женщина, не без любопытства, однако, поглядывая сквозь оконце, как нервничает этот полный, лысоватый мужчина в мятом парусиновом костюме.

Шикович заскрипел зубами. Вспомнил, что Антон не очень-то охотно согласился допустить его на операцию. Неужели передумал? Не пустит? Пошутил? Однако за такие шутки... Кирилл ходил взад-вперед, вертел в руке ключ от машины и придумывал другу самые страшные кары.

Но вдруг открылась дверь, и юное существо во всем белом приветливо пригласило:

— Кирилл Васильевич? Пожалуйста, проходите.

И куда девались его злость и возмущение! Идя больничным двором, он взял сестру за локоть. Она глянула на него, смущенно улыбнулась, высвободила руку. Но от этого прикосновения к юности он почувствовал себя тоже молодым, бодрым, свежим, как нынешнее июльское утро.

На втором этаже, в специальной комнате, сестра помогла ему надеть стерильный халат, шапочку, повязку и полотняные бахилы — выше колен. Он пошутил, что в первый раз в жизни выглядит профессором. Она не ответила на его шутку. Провела по коридору, показала:

— Сюда.

В предоперационной было много людей в белых халатах, со сдвинутыми на подбородок повязками. Никто ничего не делал. Все ждали. Шикович понял, что все это такие же, как и он, зрители,— молодые врачи, практиканты.

Он стал разглядывать инструменты в стеклянных шкафах, будку для стерилизации, с оконцем, открытым в операционную. Он думал, как нелегко запомнить названия и назначение всех этих иструментов — их тысячи. Захотелось послушать, что врачи говорят о сегодняшней операции. Но рядом с ним высокий

молодой человек шептал полной черненькой девушке:

— Клава, махнем после обеда в Полянки? На катере.

— На Будаев луг. Там пляж лучше.

Шикович возмутился: вот-вот решится судьба человека — жизнь или смерть! — а они, черти, про пляж думают.

На него не обращали внимания.

«Как в бане, все равны».

Женщина, сидевшая за столом — она что-то записывала в журнал,— поднялась и широко открыла дверь операционной.

Кирилл увидел Яроша. Тот стоял в углу большого зала, выставив перед собой голые до локтей руки, словно взвешивая растопыренные пальцы. Белоснежная его шапочка так и сияла в утреннем свете. А света этого, ровного, чуть подзелененного отсветом деревьев, вливалось море: вся стена — стекло.

Необычный в этой позе и в этом одеянии великан рядом с низеньким Майзисом, которому сестра, как ребенку, вытирала салфеткой руки, главный хирург казался сверхчеловеком, богом.

Кирилл подумал: «Как может преобразиться человек! Да тот ли это Антон — простой, свойский, душевный парень?»

Тот самый. Увидел друга — и кивнул головой, улыбнулся совсем обыденно. Натянул тонкие резиновые перчатки, подошел ближе к двери. Обратился к ожидающим в предоперационной:

— Товарищи! Не скажу, что операция чрезвычайная. Однако ответственная. Больной — тридцать шесть лет. В таком возрасте с таким диагнозом на этом столе она — первая. Прошу! Никаких комментариев. Полная тишина. Кому я разрешил, садитесь здесь.— Он кивнул на скамью у стены, отгороженную ширмой из стерильных простынь.— Остальные смотрят по телевизору. Пожалуйста,— и отступил в сторону.

Человек семь хирургов-практикантов, бесцеремонно оттерев Шиковича от двери, быстро прошли в операционную, расселись за ширмой.

«Пробивной журналист», может быть впервые, растерялся: что делать ему, откуда смотреть? Но услышал голос Яроша:

— Кирилл Васильевич, заходи!

Шикович несмело вступил в «святая святых». Теперь на него обратили внимание. В операционной тоже было немало народу. Маша, в маске уже (поэтому Кирилл не сразу узнал ее) и в перчатках, перекладывала на маленьком столике инструменты, будто считала, все ли на месте. Она улыбнулась ему глазами. Майзис издали помахал рукой. Присутствующие стали перешептываться: «Кто это? Кто?» Ярош приблизился, дружески подмигнул, спросил тихонько:

— Не боишься?

Кирилл в ответ тайком показал ему кулак. Это было продолжением их дачного разговора. Жена отговаривала его идти на операцию.

«Хлопнешься ты в обморок, Кирилл. Я ведь знаю, как ты боишься крови».

«Ну, глупости, самого меня резали — не хлопался».

Галина Адамовна, наоборот, поддерживала его: «Ничего страшного». Ярош шутил.

Он и теперь засмеялся.

— Все-таки садись с края, на случай чего.

Практиканты потеснились, и Шикович сел.

Его поражало спокойствие друга. Там, в лесу, у костра, рассказывая о плане операции, Антон волновался и не скрывал этого. А тут расхаживает, как уверенный в победе спортсмен. Хоть бы что-нибудь выдавало тревогу!

Кирилл не отрывал от него глаз.

«Нет, не можешь ты быть так спокоен. На чем-нибудь сорвешься, выдашь себя».

Однако ни одна черточка не дрогнет на лице хирурга. Разве только слишком уж пристально следит он за коллегами и помощниками, которые тоже довольно спокойно возятся у аппаратов.

Аппараты... Аппараты... Разные. С экранами. Без экранов. На колесиках. С проводами. Со шлангами.

Вон тот зеленый ящичек с воронкой, стеклянным баллоном, сигнальными лампочками — не то ли это

последнее чудо, за которым Ярош ездил в Киев,— аппарат «сердце-легкие»?

Ярош что-то говорит помощникам. Врачи отвечают непонятными Шиковичу словами.

Неожиданно отворяются другие двери. Санитары быстро и бесшумно подвозят больную и так же до оскорбительности быстро, будто неживую, кладут на операционный стол.

А она живая. Такая же, как все. Даже красивая. Большие глаза, и во взгляде их не страх, а как бы удивление и добрый интерес ко всему, что ее окружает. Зося Савич! Шикович видит ее впервые. А образ ее уже месяц живет в его воображении — с тех пор, как Ярош рассказал о ней. Странно! Именно такой она и представлялась. Маленькая женщина, измученная болезнью... Однако он увидел больше: скрытую, похороненную под бременем страданий красоту, обаяние и... мужество. Все это сейчас — только у нее в глазах, во взгляде.

Кирилл даже приподнялся, чтоб хорошенько рассмотреть лицо женщины. Запомнить! Увидит ли он ее, живую, еще раз?

Ярош, все такой же спокойный и величавый, приветливо кивает ей. В ответ она прикрывает глаза: я, мол, все понимаю, не волнуйтесь, я на все готова. Ничего не сказав, он отходит. Протягивает руки Маше. Она ловко стягивает перчатки и накрывает его большие руки салфеткой. Он садится. Он отдыхает. Может быть, в последний раз продумывает план операции. А его помощники, врачи и сестры, не слишком поспешно подключают к больной датчики аппаратов — под спину, к голове, к руке, к ноге... Провода, шланги свисают под столом. Шиковичу почему-то больше всего запомнился маленький аппаратик, который надели Зосе на левое ухо. (Потом он узнал, что это оксигемометр — прибор, который показывает насыщенность крови кислородом.)

Ярош рассказывал ему о назначении многих аппаратов. Но сейчас в голове у Шиковича все перепуталось. Да приборы и машины его никогда не интересовали. Его интересуют люди. Сейчас больше всех она, Зося. И врачи. Казалось: преступно медленно они все

делают. Разве можно в такой момент быть такими копушами? Хотелось крикнуть Антону: «Чего ты сидишь, как Будда? Подгони их!»

У него самого все чаще и сильнее бьется сердце. Он уже почти дрожит от тревоги и нетерпения: «Скорей, скорей!» Наконец Майзис, первый ассистент, роняет:

— Готово, Антон Кузьмич.

Только в этот миг вспыхивает в широко раскрытых глазах Зоси искра страха. Шикович ловит эту искру. Неизвестно, что делается в ее больном сердце, но его сердце начинает стучать так, что удары отдаются в голове, в руках, во всем теле.

— Наркоз! Вера Павловна! — встает с табурета Ярош.

Минута — и веки больной тяжело опускаются. Она засыпает.

Над столом загорается огромный круг бестеневой лампы. Кто-то откидывает простыню, и Шикович видит груди, залитые ярким светом, совсем девичьи, с кулачок,— холмики с розовыми маячками на вершинах.

Ему становится неловко. Он переводит взгляд на Яроша. Тот подходит к столу, минуту сосредоточенно смотрит на больную — и вдруг проводит пальцем под левой грудью, дугой, от подложечки под мышку.

Вот так он располосует ей грудь? Шиковичу становится страшно. Напрасно он храбрился!

Сосредоточить бы внимание на чем-нибудь другом!

Щелкают аппараты. На одном экранчике бежит голубая ленточка, точно змейка в бажовском сказе. На другом молнии то взлетают, то падают, выписывают ломаную кривую. Нет, не оторваться ему от рук хирурга! А в этих руках уже электроскальпель.

Шикович зажмуривается, представив, как брызнет кровь, зальет халаты врачей, простыни. Да, храбрился он зря, крови он и в самом деле не переносит. Что-то тихо потрескивает, будто рвется ткань. Треск сильнее. Он долго не решается поднять глаза.

Первый позыв к рвоте. Но стыд и страх пересиливают, и Кирилл заставляет себя посмотреть, что делает хирург. Перед тем, что он видит, на какой-то момент

отступает все остальное. Живое человеческое сердце, о котором он так часто писал,— вот оно, перед его глазами в раскрытой груди. Небольшое, трепетное, а главное — живое! Пульсирует, бьется...

Кирилл даже приподымается, тянется, чтоб лучше разглядеть это чудо. Когда еще удастся?!

Совсем изменился ритм работы хирургов и врачей у аппаратов. Теперь все действуют быстро, все — внимание и четкость.

— Давление восемьдесят на пятьдесят.

— Стадия возбуждения...

Цифры. Слова. Шикович не вникает в их суть. Да если б и хотел, не смог бы.

Маша проворно меняет Ярошу перчатки. И вот его пальцы, толстые, но чуткие, ощупывают сердце, уточняют диагноз. Сердце лежит на его широкой ладони. Живое сердце на ладони! И бьется, бьется, словно хочет вырваться.

Но в другой руке хирурга блеснул скальпель. И эта сталь над живым сердцем — она всему виной.

Колыхнулась стена операционной, поплыли куда-то хирурги. Однако Кирилл опять превозмог себя и очень осторожно, чтоб никому не помешать, вдоль стены двинулся к двери. Как она далеко, дверь! В желтом тумане. Все-таки он добрался до нее, открыл. Кто-то сказал:

— Вам дурно?

Он виновато улыбнулся.

— Нет.

Повернул голову туда, куда глядели все,— к экрану телевизора. И снова увидел сердце. И еще нечто совсем ужасное: толстый палец проткнул его, маленькое, казалось уже неподвижное, неживое.

Телевизор подскочил вверх, завертелись плафоны на потолке... Кто-то закричал...

Больше он ничего не помнил.

Очнулся в кабинете главного хирурга. Сестра — та, что встретила его, поднесла к лицу тампон с нашатырным спиртом. Кирилл чихнул. Нашатырь взбодрил его. Но в голове гудело, как в пустом подвале. Отяжелели ноги, и пальцы их шевелились где-то, казалось, за версту. А во рту — точно ваты напихано, она вытяну-

ла всю слюну, и язык прилип к нёбу. Он прислушался к этому странному состоянию.

Сестра склонилась над ним и улыбнулась — почудилось ему, насмешливо.

— Задал я вам хлопот! — Он не то не услышал, не то не узнал своего голоса.

— Ничего, в первый раз это со многими случается.

Тогда всплыла перед ним та картина, которая заставила его потерять сознание, и Кирилл встрепенулся.

— Что там? Она жива?

— Безусловно. Разве стали бы оперировать мертвую.

Он вздохнул полной грудью и сразу почувствовал себя лучше.

— Лежите спокойно,— строго сказала сестра и вышла.

Он смотрел на белый потолок и... видел сердце, живое, трепетное, на ладони, на широкой доброй ладони. Ему не было ни страшно, ни неприятно. Он с любопытством вглядывался в этот маленький и очень сложный аппарат. Но как только большой палец, чужой — казалось, враждебный, приближался, чтоб проткнуть сердце, Кирилл замирал, как будто хотели проткнуть его собственное. Так повторялось несколько раз, и его начала бить дрожь.

Заглянула сестра.

— Как вы себя чувствуете?

— Что там?

— Зашивают сердечную сорочку. Я по телевизору смотрела.

Кирилл чуть не закричал. Черт возьми, как они говорят о таких вещах! «Зашивают сердечную сорочку». Будто ночную сорочку зашивают!

Но вместе с тем это чужое спокойствие вернуло ему привычную, несколько ироническую рассудительность. Подумал, как, наверно, Антон и женщины будут подтрунивать над ним.

«Обо всем берешься писать — о рождении и смерти, а сам не вынес вида операции».

Посмотрел на часы. Было одиннадцать. Около двух часов уже идет борьба за жизнь человека. Нет, он все-таки напишет об этой операции, хотя Ярош не хочет,

чтоб о нем писали. И не только об операции... Непременно напишет об этой женщине, о ее жизни. И об отце ее тоже!

Мысли о работе вернули Кириллу Васильевичу душевное равновесие, и он вспомнил, что к двенадцати его вызывают на бюро горкома.

12

В приемной было немного народа, значительно меньше, чем обычно, когда идет бюро. Двое — знакомые Шиковича: заведующий кафедрой пединститута Леванович и главный архитектор города Гамбицкий.

Кирилл поздоровался с ними и с Ларисой Петровной — секретарем. Гамбицкий как сорвался со стула, чтобы подать руку, так и покатился от окна к двери, от двери к окну. Он напоминал шар, отполированный, блестящий: голова — голая, как бубен, пиджак, залоснившийся на животе от чертежной доски, и такие же лоснящиеся брюки.

Кирилл поинтересовался, зачем вызывают.

Лариса Петровна протянула ему машинописный текст повестки. Красным карандашом было обведено: «О воспитании коммунистами детей». Шикович прочитал это вслух и вопросительно поднял глаза.

— За сыновей будут песочить,— угрюмо разъяснил из угла Леванович, длинный, сутулый, с суровым лицом, и тяжело вздохнул: — Эх, сыны, чертовы сыны!

— Ясно,— дружески улыбнулся секретарше Шикович.

Что ж, ему беспокоиться нечего: Славик на заводе, меры он, отец, принял.

Гамбицкий выхватил из кармана большой платок и стал обмахивать лицо.

— Так у вас хоть сыновья. А у меня дочь... Дочь! — прошипел с гневом.

Было душно. Кирилл снял пиджак, повесил на спинку стула. Гамбицкий следил за Шиковичем с удивлением, потом обрадованно стащил с плеч свой тесный пиджак так, что тот затрещал по всем швам. Считал, наверное, раньше, что снимать пиджак в горкоме неудобно. Подкатился к столику в углу, нажал клапан пустого сифона, вздохнул, налил воды из графина и, напившись, сказал Шиковичу:

— Объясните, чего им не хватает? Почему они растут такими, наши дети?

— Дети как дети.— Кириллу почему-то совсем не хотелось рассуждать на эту тему. Вдруг снова вспомнилась операция.

Оставив машину во дворе редакции, он шел сюда через парк, постоял над обрывом у реки, вглядываясь в затянутую дымкой луговую даль. Это его успокоило, и он начал думать о своем «медицинском эксперименте» уже с юмором.

Когда он уходил из больницы, операция продолжалась — значит, все в порядке.

А тут опять перед глазами сердце. И тревога... Нет, больше чем тревога,— страх за жизнь женщины, которую он впервые увидел на операционном столе, но которая казалась теперь близкой, как сестра, как жена, как дочь... Странно.

Он спросил у секретарши:

— Лариса Петровна, вы видели сердце?

— Чье? — улыбнулась она.

— Человеческое.

— А-а... Видела. В анатомическом музее. Насмотрелась — неделю есть не могла.

Кирилл поморщился: желание рассказать про операцию пропало. Он опять остался, хотя и окруженный людьми, наедине с этим необычным, до боли острым видением, прекрасным и страшным.

Позвонил в больницу. Дозвониться туда было нелегко: то не отвечают, то занято. Наконец отозвались.

— Скажите, пожалуйста, операция кончилась? — спросил он вежливо.

— Какая?

— Которую делал Ярош.

— Да.

— Как там? Что?

— Нормально.

Сестра (или врач) отвечала холодно, бесстрастно. Шикович разозлился.

— Нормально! Черт бы вас!.. Когда вы научитесь отвечать по-человечески? Формалисты в белых халатах! Позовите Яроша!

Голос мгновенно изменился — зажурчал ручейком: очевидно, женщина решила, что говорит кто-то из высокого начальства.

— Антон Кузьмич не может подойти. Он в палате. Возле больной. После такой операции, понимаете... Что передать доктору Ярошу?

— Вот так вот и разговаривайте с каждым, кто вам позвонит.

Шикович положил трубку.

— Кто-нибудь из ваших близких? — участливо спросила Лариса Петровна.

Он кивнул: да!

— Тяжелая операция?

— Сердце. Порок.

Она посмотрела на него сочувственно.

— Я могу сказать Сергею Сергеевичу, что у вас такой день...

— Сказать? Нет, не надо.

— Вас будут критиковать.

— Меня всегда критикуют. Такая уж у меня профессия.

Бесшумно отворилась обитая дерматином дверь кабинета первого секретаря. Вышли работники телестудии: главный режиссер, секретарь партбюро, заведующий редакцией, актеры театра. Видно было, что им не терпится поговорить, обменяться мнениями, поэтому они заспешили поскорей в коридор, на улицу. Только один из актеров задержался, поздоровался с Шиковичем за руку.

— А ты почему не был? Ты ведь тоже член художественного совета?

— Хватает других забот.

Но Шиковича немножко задело, что его не пригласили на обсуждение работы телестудии: он был чуть ли не самым активным членом совета.

«Кто это постарался? Тукало? Или горкомовские «политики»? Чтоб перед персональным делом подержать для острастки в приемной?»

Он не отличался чрезмерным самолюбием, однако его всегда возмущало политиканство или же такая вот игра в важность и строгость.

— Заходите, товарищи,— пригласила Лариса Петровна.

Шикович двинулся первым.

Поздоровался с членами бюро. Все люди знакомые, с которыми приходится встречаться чуть не ежедневно, которые проявляют интерес к его работе неизменным вопросом: «Чем новеньким порадуешь нас?»

Теперь на его «добрый день» отозвался один Тарасов. Гукан погрузился в бумаги и даже не поднял головы. Зато секретарь горкома комсомола Василь Грибок таращил слегка выпуклые бесцветные глаза с нахальным любопытством: так смотрят в суде на преступника.

Шиковича передернуло от этой бесцеремонности. «Чего уставился, как баран на новые ворота?»

Секретарь по пропаганде Тужиков тоже разглядывал Шиковича сквозь большие, в роговой оправе очки, но совсем иначе, необидно. На приветствие он ответил кивком головы, грустно усмехнулся и теперь, казалось, хотел не то подсказать что-то, не то догадаться, загодя, что он, Шикович, будет говорить. Тужикову было неприятно, что большинство тех, кого сегодня слушают по такому необычному вопросу, работники идеологического фронта, его помощники. Зла на них секретарь не имел. Бывший директор школы, он, может быть, лучше, чем кто-либо другой, знал, какая-это сложная вещь — воспитание детей.

Директора машиностроительного завода Лукашенко даже самые из ряда вон выходящие персональные дела мало интересовали, если они не имели отношения к выпуску станков. Лукашенко был конструктор и изобретатель и на таких заседаниях занимался тем, что обдумывал детали новых конструкций, заносил в большую записную книжку схемы и формулы. Он оторвался от своих записей только потому, что среди вошедших был инженер его завода. Директор укоризненно

покачал головой. Пока рассаживались, Гамбицкий подошел к Гукану и стал ему шептать что-то на ухо.

Тарасов подождал, когда они кончат шептаться. Не дождался. Сказал:

— Садитесь, товарищ Гамбицкий. Архитектурные дела обсудите потом,— и обвел взглядом светлых глаз всех: и членов бюро и «подсудимых».— С кого начнем, уважаемые родители?

— Все равно с кого. Но я так полагаю, что писателю нашему надлежало бы больше, чем кому-нибудь, задуматься над этими вопросами,— сказал Гукан, опять-таки даже не посмотрев в сторону Шиковича.

— Ну что ж... Расскажите, товарищ Шикович, как вы воспитываете своих детей.

Кирилл поднялся и... вдруг обнаружил, что не знает, о чем говорить. Ему следовало, покуда сидел в приемной, подготовиться. А он все время думал не о сыне, не о предстоящем заседании, а об операции.

И теперь опять глядел на Тарасова, а видел сердце на ладони. На большой, чуткой, ласковой ладони Яроша. Ему захотелось рассказать об этом членам бюро — о Яроше, Зосе, о человеческом сердце, которое можно починить... Но подумал, что не сумеет сейчас установить логическую связь между всем этим и тем, что происходит здесь, и его, конечно, не поймут, решат, чего доброго, что он нарочно отвлекается, уходит от ответа.

Шикович достал платок и вытер лоб, шею. Теперь уже все присутствующие смотрели на него: одни с любопытством, другие с сочувствием, третьи с тревогой. Он обернулся к Гукану:

— Да, Семен Парфенович, я много думал об этих вещах. Очень много. Не только как отец, но и как член партии, гражданин. Не снимая с себя ответственности за поведение моего сына, я хочу разобраться... проникнуть в суть... с вашей помощью, товарищи, почему среди нашей хорошей в целом молодежи попадаются вот такие...

— Как ваш сын,— бросил Грибок.

— Как мой сын. Хотя сын мой не самое опасное явление, насколько я понимаю. Есть примеры похуже...

— Говорите о себе. По существу.

— Желание разобраться — это разве не по существу? Я не буду оправдываться, но хочу сказать: в том, что мой сын вырос, к сожалению, не таким, каким бы хотелось и мне и обществу, вина не одних родителей... Думается, что все мы допускаем в этом важнейшем деле серьезные промахи... Школа, комсомол...

— Вы не умеете воспитывать, а виноват комсомол! Здорово! — хмыкнул Грибок.

Тарасов постучал карандашом по столу:

— Товарищи, не мешайте.

Грибок послушно умолк. Но Шиковича разозлил наскок этого молодого петуха. Не удержался от язвительного вопроса:

— А вы считаете, товарищ Грибок, что горком комсомола работает идеально?

Грибок смолчал. Ответил Гукан:

— Кирилл Васильевич, горком мы будем слушать отдельно. А сейчас слушаем вас. И у нас вот сколько еще вопросов.— Он похлопал ладонью по стопке бумаг, лежавших перед ним, и отодвинулся от стола, выпрямился в кресле; выше всех ростом, он как бы поднялся над всеми, глядел поверх голов.

— Да,— поддержал первый секретарь неожиданно строго.— Без длинной преамбулы, товарищ Шикович.

— Хорошо, Сергей Сергеевич. Как я воспитываю своих детей? Было бы нелепо утверждать, что абсолютно правильно. Да и кто может это утверждать? Но одно могу сказать: в основном мы — я и жена — никогда не подавали дурного примера...

— В чем — в основном? — спросил Гукан.

— В чем? Я никогда не был дармоедом. Обманывал я общество, партию? Хитрил? Брал взятки? Жил не по средствам? Вы меня знаете, Сергей Сергеевич. И вы, Семен Парфенович. Всю войну я был на фронте. Потом учительствовал. Жена и сейчас учительствует. Может быть, кто-нибудь считает, что труд журналиста — легкий труд?

— Погодите,— перебил его Тарасов.— Почему вы задаете такие вопросы? Никто не сомневается, что вы честно трудитесь.

— Так в чем же заключается воспитание детей? Отношения в семье? Я жил и живу с женой, ей-богу

же, душа в душу. Оба работаем. Уважаем труд друг друга. Скандалов наши дети не слышали. Если спорим, то по принципиальным вопросам. Между прочим, чаще всего именно из-за этого самого воспитания. Она педагог, и, думаю, не плохой. Но, когда дело касается собственных детей, совершает ту же ошибку, что и многие матери. Оберегает детей от физического труда. «Сама сделаю». Но я не сказал бы, что сын мой Владислав лодырь и лежебока. Безусловно, занятые работой, что-то мы проглядели. После десятилетки парень начал отбиваться от рук. За его проступки, и в частности за последний, я беру вину на себя. Вас не виню, товарищ Грибок, хотя мог бы сказать о работе комсомольской организации телестудии. Нет там никакой работы. Но об этом потом. А что касается моего сына, то, думаю, товарищи, что больше ничего дурного вы о нем не услышите. Парень, наконец, попал в хорошие руки — в бригаду Гончарова.

— На станкостроительный? — удивился Тарасов и посмотрел на Лукашенко.

Тот, наконец, оторвался от своих формул.

— К нам? Интересно.— Однако в директорском «интересно» не звучало никакого удивления. У него был свой взгляд на молодежь: повзрослеют — поумнеют. Но зато так и подскочил дотошный Грибок.

— Еще как интересно! Прямо из тюрьмы, без пересадки,— в бригаду коммунистического труда. Куда там смотрит Клетень? Вы видите, Сергей Сергеевич, что делается!

Шикович почувствовал, что по спине его (от окна?) пробежал холодный ветерок, неприятный, колючий.

«Неужели они воспротивятся тому, чтоб Славик работал в бригаде?»

Больше, чем что бы то ни было, испугала его эта мысль. Как доказать, что нельзя гнать мальчика из бригады? Что это не только жестоко, но и несправедливо. Но аргументов, веских, убедительных, в защиту сына не находилось. Кирилл мучительно искал их.

Ему сказали раз и второй: «Садитесь». Смысл этого слова дошел до него только тогда, когда поднялся Гукан. Говорил председатель ровно, не повышая голо-

са, акцентируя наиболее важное пристукиванием карандаша о стол, паузами. Получалось авторитетно, солидно.

Шикович, мысли которого перескакивали с одного на другое, вспомнил, как Кушнер, заместитель председателя горисполкома, забавно изображает манеру Гукана выступать, и не удержался от улыбки.

— ...Вы думаете, что если работаете вы, жена, то этого достаточно? Нет, Кирилл Васильевич. У нас работают все. Дармоедов у нас единицы. Но, кроме работы, существуют еще моральные принципы, общественное поведение человека. И они часто являются решающими в воспитании детей. Вы анализируете других, проанализируйте себя. Вы удивляетесь, почему ваш сын вырос таким? А я не удивляюсь. Бытие определяет сознание. Благосостояние нашего народа растет. И мы не против того, что вы купили машину. Вам машина нужна. Но на ней ездит ваш сын.

— Я запретил ему.

— Ездил. Машина, лишние деньги, компания... Девочки, выпивки... А у родителей между тем другие заботы. Машины им мало, нужна дача. Пробуждаются мелкособственнические тенденции.

Шикович слушал на диво спокойно. Понимал: Гукан «задает тон». Кирилл ненавидел этот метод разбора персональных дел, который так укоренился во времена культа. Но в подобной ситуации, очевидно, иначе нельзя. Надо поговорить с родителями таких сынков со всей строгостью!..

Тарасов тоже не любил «задавания тона». Он, руководитель нового типа, умел и думать и решать по-новому. Но и он сперва воспринял выступление Гукана как совершенно естественное. Очевидно, Гукан понял, что следовало начинать не с Шиковича. Серьезные раздумья, уверенные ответы на замечания членов бюро в какой-то мере сгладили остроту вопроса и подсказали другим, как защищаться. Тарасов видел, что даже Леванович посветлел, а непоседливый, суетливый Гамбицкий стал реже вытирать лысину.

— Зазнался ты, Кирилл Васильевич,— переходя почему-то вдруг на фамильярное «ты», сделал Гукан неожиданный вывод из рассуждений о собственниче-

ских тенденциях.— Отрываешься от жизни. Увяз в архивах.

«При чем тут архивы?» — неприязненно подумал Шикович.

— Считаешь, что тебе все дозволено и все простится. Нет! Дисциплина в партии одна для всех! Одни нормы. Ленинские. А как себя ведет коммунист Шикович? — Вопрос прозвучал сурово, осуждающе, уже без всякой фамильярности.— Машина, дача — одна сторона... А поведение в коллективе?.. Когда коммунист выкидывает из кабинета своего товарища по работе...

«Нажаловался, паршивец»,— со злостью подумал Шикович о Рагойше.

— Комментарии, как говорится, излишни,— и Гукан грозно пристукнул карандашом.

Тарасов насторожился. Нет, Гукан не просто «задает тон».

«Чего это они, соавторы, не поделили?» — подумал он. О случае с Рагойшей ему рассказывал Тужиков, и Тарасов согласился с мнением секретаря по пропаганде: не надо все валить в одну кучу. Рагойша известный интриган, и можно понять, что у Шиковича после такой неприятности с сыном не выдержали нервы. Надо все-таки разобраться. Не из каждого факта следует делать столь далеко идущие выводы.

— А если отец позволяет себе все, то почему сыну отставать? Нет, он хочет быть впереди. У него размах больше. Кулаков ему мало, за шиворот схватить — ерунда, ему атомную бомбу подай...

Шикович видел, как, склонившись над столом, покачал головой Тужиков. Стер ладонью улыбку с широкого лица Тарасов. Должно быть, Гукан заметил, что его слова насчет бомбы не встретили одобрения, и заговорил еще более гневно:

— Как вы думаете, товарищ Шикович, что может вырасти из ребенка, которому родители ни в чем не отказывают? Все подносят на золотой тарелке. Машину, дачу, работу... Не поступил в институт — куда желаешь, сынок? На телестудию? Пожалуйста! Выгнали оттуда — зачем заставлять его думать, мучиться, искать... С помпой, как героя,— на лучший завод, в лучшую бригаду. В бригаду коммунистического тру-

да! Подумайте, товарищи! Не издевательство ли это над тем, что для нас сегодня самое святое? Не вызов ли это...

Теперь слова Гукана глубоко задели. Он мог упрекать родителей. Ничего не скажешь, воспитывать мы не умеем. А он ишь куда гнет!.. Успокаивал только Тарасов, смотрел как будто дружески и даже кивнул: держись!

— Мы ведь прекрасно знаем, что Шикович друг хирурга Яроша. А Гончаров — приемный сын Яроша. Хороший парень, но, к сожалению, не выдержал такого нажима, поддался.

— Эх, черт! — возмутился Грибок.— И здесь блат! Ну, нет! Это не пройдет! На версту не подпустим таких к коммунистическим бригадам!

Флегматичный Тужиков резким движением снял очки, взмахнул ими, готовый заспорить.

Но его опередил Шикович.

— А таких куда? — вскочил он.— В тюрьму, что ли? Так кодекс не позволяет...

— Вы слышали, Сергей Сергеевич! — Грибок тоже вскочил.

— Слышали! — ответил Тужиков.— А правда, где таких воспитывать?

— Где? — смешался Грибок и сник, не сводя, однако, глаз с первого секретаря.

— Я должен заявить, товарищи члены бюро,— продолжал меж тем Шикович,— со всей серьезностью и ответственностью члена партии, что обвинять меня, Яроша и Гончарова в каком-то блате — это, мягко говоря, нелепо. Гончаров и его ребята сами предложили мойму сыну пойти к ним в бригаду. И я считаю, что они поступили правильно. И радуюсь, что сын согласился. Значит, понимает... Слушал я Семена Парфеновича, удивлялся. Но, кажется, понял: трудно ведь пересмотреть взгляды, складывавшиеся годами...

При последних словах Шиковича Гукан изменился в лице: на щеках выступили синие пятна, затылок налился кровью, как-то странно скривились губы. Но голос прозвучал так же ровно:

— Предлагаю вынести Шиковичу строгий выговор.

Переждал, пока стих шум, пояснил:

— За неправильное воспитание детей,— Гукан стукнул карандашом по столу,— раз. За грубое поведение в коллективе, за нарушение партийной этики,— и опять стукнул,— два. За частнособственнические тенденции,— не стукнул.— Между прочим, мне известно, что дача Шиковича и Яроша построена незаконно. Неправильно, опять-таки по блату, я не боюсь повторить это слово, отведен участок. Считаю, что горком должен выяснить все обстоятельства.

«Что это он так взъелся на Шиковича?» — недоумевал Тарасов.

Тарасов любил во время заседаний наблюдать за людьми. Кто как реагирует? Кто кого поддерживает? Это легко было прочитать по лицам. Случается, что человек занимает вначале одну позицию, а в конце — прямо противоположную, изредка бывает и так, что думает он одно, а говорит другое. Таких Тарасов не любил. Молчаливого, упрямого Тужикова уважал за то, что он всегда имел свое мнение. Легкий ветерок его не повернет, только добрая буря. Должно быть, заметив, как по-разному отнеслись члены бюро к словам Гукана, Тужиков настойчиво советовал взглядом: «Скажи ты, Сергей Сергеевич». Тарасов послушался этого совета.

— С дачами мы разберемся,— сказал он и обратился к Шиковичу.— Поведение вашего сына, товарищ Шикович, позорное поведение. И мы вас серьезно предупреждаем. Не только вас. Вообще будем жестко требовать от коммунистов, чтоб они отвечали за своих детей, за воспитание молодежи. Я лично одобряю, что ваш сын пошел на завод. Если правда, что ребята из бригады Гончарова сами его взяли, то хвала им и честь. Думаю, что они правильно понимают свою роль ударников коммунистического труда. Не замыкаются. Борются за каждого человека. Как, товарищи пропагандисты? Верно я толкую, что такое бригада коммунистического труда? — он лукаво покосился на Грибка.

— Верно, Сергей Сергеевич! — моментально согласился Грибок.

«Ну и флюгер!» — уже без злости и возмущения подумал Шикович. Вместе с сознанием, что со Слави-

ком все обошлось, пришла физическая слабость — разрядка после нервного напряжения. Он даже плохо слышал, кто и что говорил дальше. Помнил: Гукан настаивал на своем предложении. С удивлением подумал: «Что имеет против меня этот человек?»

Внутри все горело от жажды. Но он не решался встать и подойти к графину, стоявшему на столе секретаря. Вдруг появился страх упасть — как там, в операционной. Казалось, что он разрядился, как аккумуляторная банка, весь от мозга до кончиков пальцев.

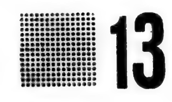
Члены бюро проголосовали за выговор. Шикович не возражал, не оправдывался — только бы скорей. Даже не спросил, какой выговор — без занесения или с занесением в учетную карточку. (Потом узнал — не записали.)

Когда занялись Левановичем, Кирилл спросил:

— Мне можно идти?

— Почему? Послушайте других. Вам будет полезно. И интересно,— сказал Тужиков.

Но Тарасов, внимательно наблюдавший за ним, неожиданно разрешил.



13

Кирилл, пожалуй, не только не «разрядился», как ему, измученному физически и душевно, почудилось, а наоборот, «зарядился».

Он почувствовал это на следующий день. События, отделенные сутками, представились совсем иными. Он раньше всего подумал о Зосе. Жива ли? Позвонил в больницу (ночевал в городе). Ярош к телефону не подошел: он не оставлял больную. Кирилл прорвался в отделение, его запомнили по вчерашнему случаю и дали халат.

Зося лежала в маленькой послеоперационной палате. Как и во время операции, к ней были подключены датчики приборов. Дежурили врачи и сестры. Зосю держали на кислороде. Шикович не решился пересту-

пить порог палаты, где шла борьба между жизнью и смертью.

Ярош вышел в коридор. Может быть, только мешки под глазами выдавали, что он провел бессонную ночь. А больше никаких признаков усталости. Даже побрился, как каждое утро.

— Что? — нетерпеливо спросил Шикович, сжав его руки у локтей и снизу вверх заглядывая в глаза.

— Ты думал, операцией все кончается? Операция только начало борьбы... Были критические минуты. Но, кажется, мы победили...

— Дай я обниму тебя.

Ярош отступил.

— Пожалуйста, без сантиментов.

— Ну, черт с тобой!

— Спасибо. Ты что, выпил вчера?

— А тебе какое дело? Пресный моралист! — повернулся и пошел по длинному коридору.

Можно было подумать, что они поссорились. Но Ярош смотрел вслед другу с доброй улыбкой, как иной раз глядит взрослый умный человек на смешную выходку подростка. Крикнул:

— Передай моим, что я и сегодня не приеду!

Шикович обернулся, отсалютовал рукой. Эта короткая встреча с другом окончательно приободрила. А все пережитое накануне придало энергии.

И Кирилл снова устремился на поиски.

...Недели две назад он заходил в КГБ. Подполковник Вагин, высокий брюнет, совсем молодой («Видно, не так давно из комсомола»,— подумал Шикович), принял его радушно. Сразу заговорил о литературе, о новинках, словно сам радуясь случаю убедиться в своей начитанности.

Выслушав просьбу Шиковича поискать в спецархивах материалы о деятельности патриотов и предателей в их городе во время оккупации, Вагин загорелся. Рассказ про подполье, про первый горком, группы Мельника и Дубецкого, про Вараву, Гончарова, тетку Любу, Яроша и, наконец, про Савича он выслушал с жадным интересом. А дело Савича, так показалось Шиковичу, прямо-таки захватило его. Он вызвал капитана Сербановского. Вошел седой сутулый человек.

— Слушаю, Андрей Астахович.

— Садитесь, Анатолий Борисович,— пригласил подполковник.— Познакомьтесь.

Капитан кивнул Шиковичу, но руки не подал. Сел на стул напротив, неуклюже как-то сел, еще больше сгорбился и, сцепив пальцы, стал разглядывать свои большие, как у дровосека, ладони.

Вагин сам изложил ему суть просьбы писателя. Кирилл отметил про себя, что подполковник безошибочно запомнил все фамилии. «Завидная память».

Капитан, казалось, слушал безучастно. Раза два поднял глаза, в них — ни искры любопытства. Шиковичу рассказывали об этом человеке: капитан работал в их городе еще в тридцать седьмом году, и теперь Кирилл подумал об этом с неприязнью.

Перебив начальника, Шикович сказал:

— Из тех, кто сотрудничал с оккупантами, меня больше всего интересует Савич.

Капитан коротким взглядом опытного следователя как бы насквозь просветил Шиковича:

— В каком смысле?

— Я убежден, что доктор умер честным советским человеком.

— Доказательства, догадки?

— И то и другое. Нужно документальное подтверждение.

— Вы хотите писать роман или заняться посмертной реабилитацией?

— А вы считаете, что это несовместимо? — спросил Шикович.— Я хочу написать документальную повесть, которая была бы правдивым свидетельством... Народ должен знать и героев и предателей.

— Вам известно, что в городе живет дочь Савича? — спросил после паузы капитан.

— Известно.— Кирилл хотел было рассказать, что ей предстоит очень сложная операция, которая может кончиться трагически; даже Ярош не гарантирует жизнь.

Но капитан вдруг встал, обратился к своему начальнику по-военному:

— Будет сделано, товарищ подполковник, все, что можно.

И на прощание опять только кивнул головой. Тут Шикович подумал: если Сербановский столько лет в органах и в определенные времена не дошел до высоких чинов, то, наверное, он один из настоящих чекистов. Неприязнь к нему исчезла.

С тех пор Шикович звонил Сербановскому уже два раза. Тот отвечал, что пока ничего интересного нет.

Сегодня Кирилл не стал звонить, а прямо из больницы направился в комитет.

Капитан сидел один в довольно большой затененной комнате — старые липы заслоняли широкие окна. Когда Шикович вошел, Сербановский спрятал в большой сейф какие-то бумаги, с которыми, видно, работал, и только тогда поздоровался за руку.

Хотя прошло всего каких-нибудь полтора часа с начала рабочего дня, у капитана был усталый вид.

Шиковича он уже начал интересовать сам по себе. Как живет этот человек? Почему у него такие натруженные руки? Чем его расшевелить, вызвать на откровенный разговор? Еще не успев сесть, Кирилл сообщил:

— Вчера Софье Савич сделали операцию. На сердце. Ярош оперировал.

Шиковичу еще не приходилось видеть Сербановского таким заинтересованным: прислонившись впалой грудью к столу, он как-то по-детски подпер кулаком щеку, готовый слушать, и глаза его засветились.

— Я только что из больницы. Они всю ночь боролись за ее жизнь.

— И будет здорова?

— Ярош говорит, что восемьдесят процентов таких операций дают хороший результат.

— Восемьдесят?

— Это не мало, если учесть, что́ оперируется. Сердце!

— Да.

— А знаете, я присутствовал на операции.

— Серьезно?

— Правда, для меня это кончилось глупейшим образом.

— Именно?

— Мне стало дурно.

— Прямо там?

— Нет. Успел выйти в предоперационную.

— Так ничего и не увидели?

— Видел. Как раскрывали грудную клетку. Как Ярош держал ее сердце в руках...

— В руках?

— Да, на ладони. Знаете, оно маленькое, сердце. С женский кулачок. Он взял его на ладонь, а оно билось, испуганно так...

Сербановский безотчетным движением прижал руку к левой стороне груди и задумчиво повторил:

— Маленькое...

— А знаете, что за сутки сердце перегоняет десять тысяч литров крови?

— Десять тысяч?!

— Я вас познакомлю с Ярошем. Он может целую ночь рассказывать о сердце. Приезжайте к нам на дачу. Вы не рыболов?

Капитан тяжело вздохнул.

— У меня больная жена. Тоже сердце. Стенокардия.

Чуть-чуть приподнял человек завесу над своей личной жизнью и сразу весь раскрылся. Теперь Шиковичу многое стало понятно: и его усталый вид, и загрубелые руки, и грустный взгляд. Нелегкая у него работа, нелегкая и жизнь. Кирилл еще сильнее почувствовал расположение к нему, доверие, симпатию. И начал подробно рассказывать, как Зося спасала Яроша. Часа два говорил. О фактах и о своих догадках. Сербановский слушал внимательно, ни разу не прервал его ни вопросом, ни замечанием. А потом вдруг посмотрел на часы и сказал:

— Вы почти убедили меня, что Савич наш человек. Но скажу откровенно: доказать это будет нелегко. Нам прислали из спецархива его дело,— он кивнул на сейф.— Там ни одного документа в его пользу.

— Можно посмотреть?

— Нет! — категорически отказал Сербановский и тут же точно замкнулся на сто замков. Куда девался простой усталый человек, который дома чистит картошку, стирает белье, ухаживает за больной женой!

— Почему?

— Вы для нас пока частное лицо. Кто вас уполномочил?

— Моя партийная совесть. Разве не авторитетный орган?

— Товарищ Шикович, порядок есть порядок. Документы, которые являются государственной тайной...

— А по-моему, никакой это не порядок, а все та же бюрократия. Не верю я в секретность этого дела! Через двадцать лет вы все еще считаете подобные документы государственной тайной? Что там может быть такого, что нельзя показать коммунисту?

Капитан не ответил. Он опять разглядывал свои натруженные руки.

— Ничего там нет! Если вы говорите, что ни одного документа в пользу Савича...— Шикович встал.— Пойду к Вагину.

— Напрасно.

— Что же нужно?

— Отношение партийных органов. Зайдите в горком, вас там хорошо знают.

— Значит, нужна бумажка, и все?

Капитан развел руками и, подняв глаза, улыбнулся открыто, дружески:

— Что поделаешь.

Но улыбка эта не смягчила Шиковича. Он не сердился на Сербановского: рядовой работник, не может поступить иначе. Однако попрощался холодно, разочарованный и разозленный. Про себя ругался: «Пустяка не можете показать без горкома».

Ему невтерпеж было поскорей посмотреть дело — что и как там инкриминируют мертвому Савичу? Но не хотелось идти в горком. После вчерашнего подумают еще, что он выставляет себя этаким деятелем, которого больше волнуют высокие материи, чем судьба сына.

В редакции шла летучка. Когда Шикович появился в кабинете редактора, выступал Рагойша... разносил его фельетон. Оратор на миг смутился. Но, оправившись, принялся критиковать еще пуще.

Фельетон Шиковича не из лучших. Но в том же номере напечатана статья самого Рагойши. Если, по словам Рагойши, фельетон скучный, то от его статьи, наверно, все мухи подохли. Многих подмывало сказать об этом, но никому не хотелось связываться с ним. Надеялись на Шиковича: он не удержится. Но Кирилл проявил неожиданное безразличие. Даже слушал невнимательно — думал о своем. Некоторые сочли, что это своеобразная форма ответа — полное пренебрежение к критику. Василь Поречка, заведующий отделом культуры, шептал в спину:

— Щелкни ты его, Васильевич. Пусть не гавкает.

Но Шикович отмахнулся: после операции, горкома, разговора в КГБ заботило совсем иное. Ему казалось, не на то он часто тратит силы и энергию. В сорок пять лет осознать это не очень приятно.

Выступил Поречка. Сцепились с Рагойшей.

Живицкому пришлось охладить их пыл. Осторожный редактор, добрый человек, он не любил ссор в коллективе. Из-за этой доброты над ним тайком подтрунивали, но вообще уважали.

Молчание Шиковича всех удивило. Обычно он бросал реплики, шутки.

После летучки Кирилл попробовал работать, править материал. Все казалось ему скучным, ненужным — и чужое и свое. В голове вертелись мысли, далекие и от газетных материалов и от дела Савича. Поречка, работавший за соседним столом, вдруг сказал:

— Сейчас бы на реку махнуть, Васильевич! Будет гроза. Люблю грозу в поле! И клев хороший.

Кирилл посмотрел в окно и увидел, что небо, ясное с утра, заволокла бело-пепельная дымка. Однако солнце, до неестественности желтое, «абстрактное» (на него можно было смотреть без очков), обжигало землю по-прежнему. Было тихо и душно. Листва на молодых липах привяла, просила пить.

«Да, будет гроза. И, возможно, начнутся дожди. Всегда, когда в разгаре уборка, начинаются дожди. Прямо-таки не везет,— подумал Кирилл.— А может быть, в самом деле поехать на луг, под стога? И до нитки вымокнуть под дождем».

Но тут же пришло ощущение, что он не сделал че-

го-то очень важного. Не сразу даже понял чего. Вспомнив, вскочил, бросил Поречке:

— Скоро вернусь,— и выбежал за дверь.

«Пусть думают, что хотят, только бы разрешили познакомиться с делом Савича».

Решил поговорить с Тужиковым. Правда, он тугодум, на вопрос, заданный утром, ответит вечером, но зато объективен и умен.

В коридоре горкома Кирилл столкнулся с Тарасовым. Поздоровались.

— Ну как, отдышался? — спросил секретарь, будто и шутя, но без улыбки.

— От чего?

— От головомойки. Не апеллируй. Другим больше досталось.

— А я и не собираюсь апеллировать,— ответил Шикович и подумал: «Ну вот, так я и знал».

Дошли до дверей приемной.

— Заходи — побеседуем,— предложил мягко Тарасов, заметив, что Шикович после его слов замкнулся.

На миг Кирилл застыл в нерешительности, идти ли? О чем беседовать? Опять о сыне?

Тарасов понял, пошутил:

— Не бойся. Нотаций читать не буду.

Уже в кабинете, сбросив пиджак и расслабив галстук, спросил:

— Кого там из твоих близких оперировали? Мне Лариса Петровна сказала.

И Шикович опять начал рассказывать обо всем еще более подробно, чем утром Сербановскому: о Савичах, отце и дочери, о других подпольщиках, имена которых раньше нигде не упоминались, о своих догадках, соображениях, о книге Гукана. «Вот оно что,— подумал Тарасов, вспоминая, как Гукан выступал на бюро.— Понятно. Старику нелегко отказаться от устоявшихся взглядов и представлений. Шикович своей неугомонностью его раздражает».

— Я тут человек новый, Кирилл Васильевич. Но знаю, что после войны горком раза четыре, кажется, занимался подпольем.

— И каждый раз список подпольщиков пополнялся десятками новых имен. Разве это не доказательство

того, какого размаха достигала борьба наших людей? Разве для выяснения и прославления этой борьбы не стоит поработать? — Шиковичу показалось, что Тарасов против того, чтоб еще раз возвращаться к вопросу о подполье, и он говорил горячо, с воинственным пылом.

— Да, ради этого стоит поработать,— задумчиво согласился секретарь горкома, отыскивая в списке под стеклом номер телефона.

— Первоначально даже имя Яроша нигде не упоминалось. А он выполнял спецзадания горкома.

Тарасов повернулся к столику с телефонными аппаратами и набрал короткий номер.

— Алло. Вагин? Здравствуй. Тарасов. Много шпионов поймал? Что? Вывелись, говоришь? Гляди, как бы не притупилась бдительность. То-то! Андрей Астахович, что это у тебя боятся показать документы военного времени нашему писателю? Человек интересное дело задумал. Надо помочь. Что? — Тарасов умолк и слушал довольно длинное объяснение, время от времени бросая краткое «угу».

В какой-то момент он плотнее прижал трубку к уху. Кирилл понял — секрет. Встал и отошел к окну. Небо стало пепельно-серым. Солнечные лучи процеживались сквозь дымчатые высокие облака. Но неподвижный воздух не остывал, он как бы сгущался — даже трудно становилось дышать.

«Да, надо поехать с Поречкой на луг. Под грозу. Станем на берегу и будем перекликаться с громом. О-го-го! Несколько часов первобытного существования. Чтоб ни о чем не думать».

— Ладно. Давай в четыре.— Тарасов положил трубку.

— Дня через два они покажут тебе, Кирилл Васильевич, нужные документы. В таких делах нельзя без некоторых формальностей.

«Два дня, которые, наверно, растянутся в неделю!» Нетерпеливый следопыт разочарованно вздохнул.

На третий день после операции Ярош, наконец, покинул больницу и приехал на дачу. Явился часов в

пять на такси, аккуратно выбритый, в новой чешской тенниске (дома знали, что после удачной операции он всегда делает какие-нибудь покупки), с шампанским, конфетами, подарками. Был ласков, внимателен, будто не видел семью и соседей целый год.

Галина Адамовна умела торжественно встретить мужа. Когда он задерживался в больнице на сутки, на двое после таких вот операций, у нее не возникало никаких дурных мыслей. Ничто не портило настроения, и она сама радовалась, что встречает мужа с чистой душой. Об операциях она обычно не расспрашивала. Но на этот раз случай был особый.

— По твоему лицу вижу, что все хорошо. Поздравляю.

— Не надо поздравлять, Галка. Ты знаешь, я не люблю поздравлений, когда речь идет о жизни человека. Да и не все еще кончено.

Но когда прибежала с луга Наташка и, повиснув на шее, спросила таинственным шепотом: «Ну, как там, папа? Что?» — то он ответил:

— Хорошо, Наталка. Мы с тобой еще раз победили.

— Расскажи.

Она любила слушать, когда отец рассказывал о своей работе, и уже недурно для своего возраста разбиралась в хирургической терминологии. А потому Ярош охотно принялся описывать весь ход операции почти так же подробно, как излагал бы студентам, разве лишь несколько упрощенно, с меньшим количеством специальных слов.

Матери не нравилось это горячее не по возрасту увлечение дочери, но она молчала, делала вид, что тоже слушает с интересом. Однажды сказала мужу:

— Антон, я совсем не хочу, чтоб Наташа стала врачом. Хватит с нас медицины!

Дочь горячо запротестовала:

— Разве плохо быть таким врачом, как папа?

— Таких немного... А быть таким, как я... Возиться с испорченными зубами или выписывать больничные листы...

Антон тогда возмутился, заявил, что категорически запрещает ей так говорить при детях о своей профессии. Дети должны уважать любой полезный труд! С тех

пор она не мешала их медицинским беседам. Только радовалась, что хоть сын совсем не интересуется медициной.

Виктор с независимым видом помогал матери накрывать на стол, но в душе ревновал отца к сестре. Ему хотелось похвастаться, как он перестроил голубятню, рассказать, что случайно познакомился с голубятником из соседней деревни, местным учителем, и выменял у него пару редких почтовиков. Но не может же он вот так, с бухты-барахты, как Наташка, кинуться отцу на шею и предложить: «Лезем скорей на чердак!» При встрече с отцом Витя выложил только одну новость:

— Вчера, знаешь, какая гроза ахнула! Фронтальная. За Студенкой на три километра лес положила. Максим Григорьевич говорит, тысячи две кубометров бурелома.

Про голубей сообщил после обеда, когда вышли во двор. Сдержанно, как бы между прочим.

Ярош все понял. Сказал даже будто бы с обидой: «Что ж ты молчал?» — и сразу полез на крышу веранды. Через несколько минут веселый пронзительный свист разбудил предвечернюю тишину леса и луга.

Вечером приехал из города Шикович. Жгли костер и варили уху: Ярош с сыном успели наловить рыбы.

Еще сырой от вчерашнего ливня хворост горел ровно и нежарко. Уха варилась долго. Ели ее уже поздненько. Накормили детей.

— Наташа и Витя, спать!

— Мама!

— Спать. Спать.

Дети нехотя направились к даче.

— Ты безжалостная, Галя. Виктор собирал дрова и ловил рыбу,— заступился Шикович.

— Галя лучший педагог, чем мы с тобой,— заметила Валентина Андреевна.

— Правильно, жена. Педагоги мы с тобой никудышные.

— Как там Владислав? — спросил Ярош.

— Работает.

— Ты его видел?

— Разве ему до сына! Он весь в подполье.

— Не иронизируй над серьезными вещами. Сын избегает встречаться со мной. Ему стыдно. Приезжал Тарас.

Женщины сидели на лавочке, мужчины по-турецки на влажной земле, друг против друга. На газете лежали хлеб, лук, огурцы. У могучего дуба — бутылочка; в стекле отражался огонь, и бутылка выдавала себя этими пунцовыми отблесками. Шикович протянул к ней руку.

— Старуха, тебе налить?

— Налей, дедуся.

— А тебе, Галя?

— Ты так предлагаешь, что, если бы и хотела, откажешься.

Кирилл захохотал.

— Галя, ты великий психолог! Я таки подумал, что святой водицы этой мало на две такие криницы.

— Ты криница? Кладезь мудрости? — отпив глоток водки, засмеялась Валентина Андреевна.

— Не ценишь ты своего мужа. Грешница! Покарает тебя бог.

Ярош отдыхал. Ему не хотелось ни говорить, ни думать. Он смотрел в огонь, любовался отблесками пламени, углями, янтарными каплями смолы, выступившими на тонком суку. Красивые какие! Жаль, что они сгорят. И в этот миг впервые после того, как уехал из больницы, шевельнулась в душе тревога за Зосю. Но он отогнал ее. Ничего не случится. Еще вчера Зося пришла в себя. Сегодня смотрела на него с благодарностью ясными глазами. Попробовала улыбнуться. Прошептала: «Мне легко дышится!» Да, теперь ей будет легко дышать и легко ходить по земле! Ярош думал об этом с радостью.

Кирилл рассказывал о своих поисках, о разговорах в КГБ и горкоме.

Ярош удивился:

— Есть дело на Савича? На мертвого?

— Ты же сам говорил, что в твои обязанности подпольщика входило собирать сведения о тех, кто сотрудничал с оккупантами. Не из спортивного интереса и не для мемуаров это делалось.

— Да,— задумчиво согласился Ярош.

Галина Адамовна протянула ему мисочку с ухой.

— Благодарю,— сказал отчужденно, пригубил ложку, поставил мисочку на край лавки.— Горячо,— и повернулся к Шиковичу: — Слушай, Кирилл, а стоит ли ворошить эти архивы? Чтобы поднять пыль, от которой кто-нибудь расчихается?

— Кто расчихается? Ты? Я? Я не расчихаюсь от такой пыли! — Шикович даже вскочил от возмущения.

— Погоди, не горячись. Пусть меня простят, но я не верю в объективность дел, которые заводились в то время. Если уж заниматься этим, то позже, когда затянутся раны... Самое драгоценное качество памяти — способность забывать... Если бы ничто не забывалось, человечество погибло бы.

— Странная у тебя философия!

— Я думаю о живых людях, об их сердцах.

— Ты думаешь о Зосе.

«Почему он так волнуется за нее?» — встревожилась Галина.

Ярош взял свою мисочку, начал хлебать уху. Кирилл подкинул в костер веток. Огонь притух, и в темноте лиц не было видно.

— Так вот что я тебе скажу! — прозвучал, казалось издалека, голос Шиковича.— Может быть, ты забыл или хочешь забыть. У тебя работа не менее героическая, чем в подполье. Наука, у которой ты жалеешь оторвать даже минуту на что-нибудь другое. Но имей в виду, что Зося ничего не забыла и никогда не забудет. И миллионы не забудут. И ты не оберегай ее от прошлого.

Сучья с той стороны, где сидел Ярош, разгорелись, и огонь осветил его фигуру. Багровый от бликов пламени, большой и неподвижный, как статуя, с мисочкой в руках, он напоминал вождя неведомого племени, племени необычайно сильных и красивых людей. Галина, взглянув на мужа, почувствовала острый приступ страха от мысли, что может потерять его. Валентина Андреевна смотрела на Яроша с восхищением и тайной женской завистью.

Он шевельнулся и кинул пустую мисочку во тьму.

— Так и я тебе скажу. Слушай. Ты ведь не исследуешь подполье во всем его объеме. Ты как детектив.

Тебя захватила история одного человека, его загадочная смерть, и ты обрадовался случаю, увлекся острым сюжетом...

— Его всегда влекло к детективной литературе,— сказала Валентина Андреевна. Ей было хорошо, весело и хотелось стравить мужчин в споре.

— Но ты ничего этого не найдешь. Теперь я больше чем когда бы то ни было уверен, что Савич не был ни врагом, ни героем. Он обыкновенный старый врач, который хотел помогать людям в любых условиях. Инфекционист, он боялся эпидемий, неизменных спутников войны. Чтобы следить за санитарным состоянием родного города, пошел на службу к оккупантам. Вот тебе твой детективный сюжет.

Огонь охватил весь костер. Свет его вырвал из мрака довольно большой круг, несколько дубов, сосен и удивительно окрасил их: кора сосен покраснела, а мох на старых дубах превратился в иней, седой-седой. Вверху, потревоженная горячим воздухом, зашелестела листва. Стрелял золотыми пульками-угольками костер. Ярош приподнялся на руках и отодвинулся подальше от огня. Шикович стоял по другую сторону костра, широко расставив ноги, заложив руки за спину.

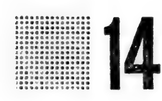
— То, что ты рассказал, доктор, уже отличнейший сюжет. Но я не сюжета ищу, пойми. Савича считают предателем. А ты вот утверждаешь, что он честный человек, пускай и не герой. Так что же, по-твоему? Пальцем не шевельнуть, чтоб доказать его невиновность, реабилитировать еще одно доброе имя?

Шикович ждал возражений. Но Ярош молчал: возразить было нечего. Более того, он не понимал самого себя — почему вдруг ему вздумалось отговаривать друга от такого почетного и благородного дела? Нет, он, пожалуй, понимал почему: он думал об этом еще в больнице. Теперь, когда Зосе сделана, он уверен, удачная операция и она, по сути, начнет новую жизнь, новую во всех отношениях (об этом он позаботится), ему не хочется, чтоб возвращали из забвения ее прошлое. Хорошо, если Шиковичу удастся доказать то, что хотелось бы. Он, Ярош, уверен, что Савич честный человек, честный врач. Но если не будет найдено документов, подтверждающих его связь с подпольщиками,

с партизанами, это останется только его личным убеждением или столь же личными домыслами Кирилла. Зосе вряд ли это поможет.

— Молчишь? — победоносно воскликнул Шикович.— Вспомни, что равнодушие к судьбе людей, которых мы знали, с которыми работали, которые учили нас, принесло в известное время огромный вред. Да, я поставил в центре дело Савича, потому что нельзя охватить все сразу. Но, знакомясь с документами, я обнаруживаю все новых и новых героев. Разве ради этого не стоит почихать от архивной пыли? Разве пыль эта вредная? — наступал Кирилл так рьяно и решительно, что едва не шагнул в огонь. Попятился, завопил весело: — Горю, спасите!

Валентина Андреевна засмеялась. Антон чуть улыбнулся. Галина встревоженно смотрела на него.



14

В папке было немного документов. Кроме них фотография размера открытки. Спокойное, с широким лбом и глубокими залысинами худощавое лицо человека лет шестидесяти. Вот он какой, Савич!

Донесение безыменной разведгруппы о предателях и националистах, занимавших руководящие должности в управе и полиции. Бургомистр Тищенко стоял в этом списке первым, Лучинский — вторым, Савич — девятым, предпоследним. Очевидно, донесение передавалось группой по радио, и потому характеристики были весьма лаконичны: один-два факта, без всяких комментариев.

«Тищенко Никодим Федорович, бургомистр. При организации гетто собственноручно расстреливал евреев, убивал детей.

Лучинский (Склота, Усов Иван Селиванович), начальник полиции, шпион, агент СД. Пытает арестован-

ных. Руководит расстрелами. Повесил девять колхозников села Волотичи, заложников».

Самая развернутая характеристика давалась редактору фашистского листка, националисту Хмаре — на добрый абзац. Против фамилии Савича стояло: «Заведует отделом управы. Заражает людей инфекционными болезнями».

В то суровое военное время, когда каждого работающего у немцев считали врагом, и такое огульное обвинение казалось убедительным. Безусловно, и лейтенант Шикович тогда поверил бы ему: на все способен человек, который пошел на службу к фашистам! Но теперь, зная Савича по рассказам Яроша, Шикович понял, что у разведчиков не было ни одного факта преступной деятельности врача-инфекциониста, кроме того, что он заведует отделом управы, и они явно домыслили это — «Заражает людей инфекционными болезнями». Каких людей? Какими болезнями?

Шикович не утерпел и высказал свои соображения капитану Сербановскому. Тот оторвался от бумаги, которую просматривал, внимательно выслушал, неопределенно хмыкнул, сказал:

— Читайте дальше.

Шикович не просто читал, он изучал документы, обращая внимание на каждую мелочь. Донесение было напечатано на машинке и, несомненно, являлось копией. Однако на нем стояло целых шесть номеров и шифровальных литер. Против фамилии Лучинского и Хмары были поставлены крестики синим карандашом, перед Савичем — красная «птичка».

Второй документ смутил Шиковича — заявление самого Савича на имя немецкого фельдкоменданта оберштурмбаннфюрера Ютнера. В сентябре 1941 года Савич заверял фашиста в своей преданности «новому порядку» и просил принять его на службу. Поклепов на советскую власть не возводил, однако фактами своей биографии доказывал, что таил на большевиков давнюю обиду. Он, Савич, происходит из интеллигентной семьи, отец был преподавателем в гимназии. Он, Степан Савич, был женат на дворянке. Революция лишила его жену всех прав, отняла богатое имение. Это послужило причиной ее преждевременной смерти. Вто-

рая его жена была пролетарского происхождения — из рабочей семьи, но, должно быть из-за него, большевики ее преследовали. Исключали из института, когда она училась. В тридцать седьмом арестовали, а может быть, и расстреляли (никто не знает) ее брата, хотя он был членом партии и занимал ответственный пост на железной дороге. А ее тоже три месяца держали в тюрьме. В начале войны будто бы мобилизовали в армию, но он, Савич, не уверен, так ли это. Одно только удивительно: как не тронули его. Очевидно, большевикам нужны были его знания, его специальность, потому что врачей у них не хватало. Заявление кончалось словами:

«Господин фельдкомендант!

Своей профессией и общественной деятельностью я желаю послужить упрочению в моем родном городе новой цивилизации и новой культуры, которую принесла великая армия фюрера.

Степан Савич. Врач».

Шикович не сдержался и громко выругался, когда прочитал это. Сербановский посмотрел на него с ухмылкой, казалось, насмешливо спрашивал: «Что ты теперь будешь утверждать?» Кровь ударила Кириллу в лицо, он покраснел. Было ощущение, что мертвый Савич жестоко обманул его, живого. Если бы Савич, как другие предатели, голословно и огульно ругал советскую власть и клялся в верности оккупантам, это выглядело бы менее убедительно, чем такая биография. Потому что, если все здесь правда, вполне естественна обида старого интеллигента, которая привела его к врагам.

Но тут же Шикович подумал про Заслонова, про Кузнецова, потом про Яроша: сколько у того было подпольных биографий и какое заявление он писал, когда по заданию горкома поступал в пожарную команду: сын кулака, осужденный, и чего там только не было!

Нет, отступать нельзя! Ярош не хочет, чтоб он поднимал архивную пыль, боится за Зосю, гуманист. Он и Зося уверены, что отец ее честный человек, «не герой, но и не враг». Ярош опасается — вдруг документы

докажут противное. Пока о предательстве Савича написал один человек — Гукан, написал две фразы, на которых вряд ли кто из читателей остановил внимание. Прошло много лет, выросло новое поколение, которому нет дела до какого-то доктора Савича, судьба его никого не интересует. Так зачем же извлекать все это из небытия? Так, наверно, рассуждает Ярош. Но он, Кирилл, придерживается другого мнения. Наконец, это дело его чести и силы воли: завершить начатое!

И Шикович стал изучать этот, пожалуй, главный документ обвинения. Любопытный документ. Он читал перевод, напечатанный на машинке. Но тут же был подшит и оригинал. Савич показывал свое знание немецкого языка. По-видимому, сам комендант с немецкой аккуратностью зелеными чернилами выправил в заявлении все ошибки (их было много), подчеркнул неправильные выражения и внизу, под подписью Савича, наложил резолюцию:

«Господину Тищенко. Рекомендую поручить господину Савичу охрану здоровья гражданского населения». И подписался весьма неразборчиво. В переводе вместо подписи стоял вопросительный знак.

«Охрану здоровья»! Какой цинизм!» — подумал Шикович, еще раз перечитывая заявление.

Следующий документ — постановление управы в связи с эпидемией брюшного тифа, вспыхнувшей в городе летом сорок второго года. Длинный текст на плохом белорусском языке. Да еще в типографии почему-то вместо белорусского «н» часто набирали «п» латинское. Слово «население», например, было напечатано как «паселепие». Подписи Тищенко и Савича. Параграф, где говорится, что каждый нарушивший вышеперечисленные санитарные правила будет осужден по законам военного времени, обведен синим карандашом. Еще одно доказательство вины Савича. Но текст постановления свидетельствовал, что написано оно человеком, знающим, как бороться с эпидемией, и действительно заботящимся об охране здоровья гражданского населения.

— На месте вашего коллеги я не присоединял бы этот документ к делу. Он оправдывает Савича,— сказал Шикович капитану.

Сербановский ответил почти неприязненно, даже не подняв глаз от бумаг:

— Здесь подшиты все документы, какие были обнаружены.

— Судя по заявлению Савича, захвачен архив управы... Верно?

— Не знаю.

— Неужто там больше ничего не нашлось, что характеризовало бы деятельность Савича?

— Не знаю. Почитайте вырезки.

Вырезок из газет было несколько. Из разных — националистических, немецких, партизанских. Фото: в президиуме собрания «белорусской интеллигенции» Савич, над головой его поставлен крестик. Снимок тусклый, неясный, лица расплылись, но все-таки можно узнать, что человек, отмеченный крестиком, тот же самый, что на фотографии, которой открывается дело. Очень уж приметный лоб.

Награждение верных слуг «нового порядка» орденами рейха. В списке награжденных Савича нет. Но на фотографии, сделанной во время церемонии вручения фашистским генералом наград, на заднем плане опять тот же лоб выглядывает из-за других голов.

Наконец, слезливый некролог, который Шикович читал, еще когда работал над книгой Гукана. Соболезнования в националистической и немецкой газетах. Сообщение о похоронах «активного деятеля белорусского освободительного движения», известного доктора медицинских наук Степана Савича, «погибшего от рук бандитов». Короткая информация в газете партизанской бригады «За Родину»: «Подпольщики города привели в исполнение приговор народа над изменником Родины доктором Савичем. Такой конец ожидает каждого фашистского пса!»

— Значит, официальный приговор партизанского командования или подпольного органа найден не был? — спросил Шикович у Сербановского.

— Такие приговоры, видимо, не всегда записывались на бумаге,— ответил тот, не поднимая головы.

— Нет, такие приговоры обычно именно записывались. И это важно. Никем Савич осужден не был.

Шикович закрыл папку, громко хлопнул по ней

ладонью. Настроение у него было такое, что в пору с кем-нибудь поссориться. С Сербановским, что ли? Его разозлило, что капитан никак не реагировал на этот его жест.

— И эти документы вы боялись мне показать? Во всех инстанциях согласовывали? Формалисты!

— Ничего для вас интересного не нашлось? — как бы с сожалением спросил Сербановский, откинувшись на спинку стула и потирая под очками усталые глаза.

— Кроме прошения Савича, все это я читал двенадцать лет назад. Без всякой игры в прятки.

Капитан между тем подумал:

«А следователь ты неважный. Был бы повнимательнее, заметил бы, что папка расшивалась и один документ из нее вынут».

— Если не секрет, что вы собираетесь делать дальше?

— В моей работе секретов нет. Плюну на архивную пыль, как советовал мне мой друг Ярош. Буду искать живых людей, которые знали Савича, работали с ним.— Шикович встал, потянулся, чтоб размять затекшее тело. И вдруг спросил капитана в упор: — Скажите, Сербановский, по-человечески, откровенно: а что вы думаете после того, как познакомились с делом Савича? Что подсказывает вам чутье старого чекиста?

Сербановский поднялся, подошел к сейфу, вынул из кармана ключи, открыл массивную дверцу.

— Я покажу вам маленький документик, который мне удалось отыскать,— и, достав с верхней полочки пожелтевший блокнотный листок, длинный и узкий, протянул Шиковичу. Тот с одного взгляда прочитал:

«Федя!

Я абсолютно уверен, что ограбление аптечного склада не обошлось без Савича. О, ты не знаешь, какая это хитрющая лиса! Гарантируй тысячу марок, и я тебе раскушу этот орех. Имею ключик. Тебе — слава и спасибо гестапо, а мне — деньги. Давай согласие. Не тяни.

Твой Кравец».

Написано карандашом, по-русски, с ошибками.

Шикович прочитал второй раз, третий, удивленный и обрадованный.

Сербановский запер сейф. Вертя на пальце ключи, объяснил:

— Это из дела следователя полиции Федора Швагерова. Его судили в сорок пятом, дали пятнадцать лет. Я вот смотрю судебные материалы. К сожалению, тогда никто не разобрался в этой записке. Кто писал? Когда? По какому поводу? Очевидно, сочли, что намек на Савича недоразумение. Придется разобраться теперь.

Они смотрели друг на друга, смотрели с той прямотой и пониманием, которые сближают людей и делают друзьями.

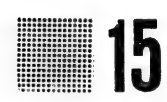
— Слушайте, Анатолий Борисович! — заговорил Шикович.— Будь мы с вами поближе, эх, и выругал бы я вас сейчас! Знаете, есть такие мужские слова, которые иной раз покрепче любой похвалы.

— Не нужно мне похвалы, Кирилл Васильевич. Только, пожалуйста, не думайте, что я и мои коллеги всегда подбирали документы для обвинения. «На месте вашего коллеги...» Эх, Кирилл Васильевич! Поверьте, что для меня нет большей радости, чем доказать, подтвердить честность человека.

Шикович протянул руку. Сербановский крепко сжал ее:

— Помогите нам. А я помогу вам.

— Спасибо, Анатолий Борисович.



15

Многотонная станина медленно плыла в тесном проходе между станками, полусобранными и готовыми, серыми и ярко окрашенными для экспорта. Высоко под крышей цеха двигалась стеклянная будка крана. Девушка в синем чистеньком комбинезоне, пестрой, как весенний луг, косынке внимательно следила за движением станины, за людьми внизу, занятыми своим делом. Сейчас кто-нибудь из сборщиков возьмет эту «детальку», поведет по проходу и покажет место, где ее поставить. Повиснут ослабленные тросы, легко отцепятся крюки. Она подтянет их на без-

опасную для людей высоту, и кран с грохотом и звоном отъедет назад. Иной раз ей долго приходится сидеть без дела, ждать, пока механики и сварщики дадут новую крупную деталь. Она оглядывает цех с высоты и завидует слесарям, у них работа все время, от гудка до гудка. Среди огромных машин люди не больше козявок. Но машины эти, красивые и «умные», собираются их руками. Правда, без ее труда, без крана ничего бы они не собрали, потому что не под силу бы им поднять даже маленький «узелок». Эта мысль всегда утешает Нину: не последний винтик и она в цехе.

Нина позвонила: «Принимайте свою детальку». Из-за станка вынырнула знакомая фигура. Парень в берете остановился в проходе спиной к ней, смотрит куда-то в конец цеха, где работают упаковщики, и словно не видит и не слышит, что на него ползет двухсотпудовая громадина. Нина затормозила кран. Станина грозно качнулась. Крановщица позвонила громко, раздраженно. Парень — ни с места!

Нина высунулась из будки и закричала:

— Эй, ты! Долго ворон будешь ловить? Разиня!

Тогда Славик обернулся. Чумазая физиономия его расплылась, блеснули зубы. Сорвал берет и весело помахал им:

— Ах, это вы, леди?! Рад вас приветствовать! Приятно слышать такое аристократическое обращение!

Но в этот момент кто-то из слесарей застучал молотком так, что зазвенел весь металл в цехе. Нина не разобрала ни одного слова. А Славик услышал, как она бросила сверху, точно камень:

— Пижон!

«Запишем и это на твой счет, дорогой дятлик»,— подумал Славик и, наклонившись, ловко нырнул под станину, что по технике безопасности тоже было запрещено. Вынырнув с другой стороны, надел парусиновую рукавицу и... «повел» станину. Делал он это поначалу с небрежностью опытного в таких делах человека. Однако поставить «детальку» на место, на большую станину — основу станка — не так-то просто. При всем умении и сноровке крановщицы станина покачивалась и отклонялась то в одну, то в другую сторону. После двух-трех попыток Славик понял, что ему не выдер-

жать этого, по сути, первого экзамена, и решил, что во всем виновата чертова «дятлиха». Она там в будке нарочно делает так, чтобы все видели его беспомощность. Издевается. Погоди же!

Он задрал голову и крикнул:

— Эй, ты! Ворона!

Но Нина была так сосредоточена, что не слышала. Острое личико с длинным носиком (за что Славик и окрестил ее «дятлом») еще больше заострилось и вытянулось. Славик обернулся, чтоб позвать Тараса. Гордость не позволяла ему, когда приходилось туго, обращаться за помощью ни к кому, кроме Тараса и Кости. Но в этот момент появился Иван Ходас. Славик выругался про себя: опять Ходас! Всегда этот Иван оказывается рядом, когда он, Славик, попадает в неловкое или трудное положение. Точно следит за ним.

Ходас чуть приметным жестом левой руки показал Нине, в какую сторону отвести станину. Повел ее на себя, скользнул глазом по срезу боковой плиты, словно прицелился, и, дав команду крановщице отъезжать, легко поставил станину на место — паз в паз, щелочка в щелочку.

Когда кран с грохотом отъехал, Ходас, оглядывая основу будущего мощного станка, спросил как бы между прочим:

— Ты работать сюда пришел или в игрушки играть?

— А что? — моментально ощетинился Славик.

— А то, что в цехе работают. А кривляться можешь в парке.

— Если я не сумел поставить эту штуковину, значит я кривляюсь? Хорошенькая помощь!

Глаза Ивана, обычно голубые, как два лесных озерца в ясный день, потемнели, будто на них упала тень грозовой тучи. Славик уже и раньше заметил необычайную изменчивость его глаз.

— Кривлялся под краном. Вытанцовывал перед станиной, как дурак перед покойником.

— Благодарю, маэстро. Вот это совсем по-ком...— Славик проглотил конец слова, потому что Иван схватил его за нагрудник комбинезона и гневно прошептал:

— Ты-ы! Не бросайся этим словом где попало! Для меня оно святое. Понял? Трепло! — И, разжав пальцы, сказал обычным голосом: — Закрепишь основные болты. Привинтишь кронштейны,— и глаза его снова стали голубыми.

Оставшись у станка один с тяжелым ключом в руках, Славик вдруг почувствовал себя униженным и уязвленным. Руки дрожали — ключ срывался с гайки, ему хотелось плакать. И работа показалась ненавистной, принижающей его человеческое достоинство. Какая насмешка судьбы! Столько возвышенных мечтаний, и вдруг — завинчивай гайки. Захотелось послать все к черту, уйти с завода и никогда больше не возвращаться. Пропало самолюбивое желание доказать, что он не хуже других в бригаде, желание, с которым неделю назад он пришел на завод. И любопытно ему было, и в то же время убеждал себя: что в них особенного? Притворщики, изображают высокую сознательность. И даже радовался, если в бригаде что-нибудь не ладилось.

В первый день к нему подошел старый рабочий. Славик сразу отметил его худобу и подумал: «Не больно сытно, видать, живет».

Рабочий спросил, кивнув в ту сторону, где ребята собирали станок:

— В бригаде работаешь?

— Ага.

— Учеником?

— Хотел инженером — не берут.

— Как пролез? По блату?

— Куда?

— В бригаду.

«А-а, значит, и в эту бригаду можно по блату попасть»,— почти обрадовался Славик и ответил:

— По блату. Я свояк Гончарова.

— Ясно. Свояк свояка...

— Вот-вот!

Славику хотелось, чтоб рабочий начал хаять бригаду и даже Тараса, хотя в душе ценил его дружескую поддержку. Но рабочий сказал другое:

— Гончаров человек правильный, но чудак. Лучший сборщик. Пятый разряд. Работай, выгоняй моне-

ту. Так нет, ему охота учить таких сосунков, как ты. Пускай в ФЗУ идут. А он — в бригаду. Не было на сборке бригад, они все переиначили. Дают сто пятьдесят процентов. Но что он с этого имеет, Гончаров? Вот чего я не могу понять. У него пятый разряд, у Кости второй, а прогрессивку делят поровну. Чудак!

— У Тараса батька богатый,— решил подыграть Славик.

— Ярош? Он же не родной.

— А все равно денег дает сколько хочешь.

— Врешь,— не поверил рабочий.— На что ему тогда жилы надрывать на сборке?

— Сознательность.

— Да, есть люди,— вздохнул почему-то старик. Сказал: — Ну, Ярош пускай. Золотые руки у человека.

— А вы сколько выгоняете?

— Да как когда. Полторы-две.

Славик свистнул.

— Что ж это по вас не видно? — И, втянув щеки, сжал их пальцами, разинул рот: мол, почему же такой худой?

Рабочий в ответ мазнул Славика по лицу промасленной ветошью:

— Утри нос.

Обиделся, видно. И Славик тоже. Будь это где-нибудь в другом месте — не посмотрел бы ни на возраст, ни на положение, ни на что. А тут пришлось смолчать.

Вообще в первый день ему не повезло. Как смазали по лицу, этого хоть никто не видел. А вот второй раз свидетелей его унижения нашлось достаточно. Славик стоял и с любопытством разглядывал громадные станки. Вдруг звонок наверху. Он задрал голову — и ужаснулся. На него ползла огромная станина. Он не знал еще тогда, какая послушная машина кран и как ловко и легко может проносить по тесному проходу многотонные детали щуплая беленькая девочка-крановщица. Казалось, никому не остановить махину и она вот-вот раздавит его. Он отскочил, как испуганный заяц. Сильно ударился о станок ногой и едва не распластался на черной промасленной земле. Когда же увидел, что станина повисла неподвижно, а с высоты, из будки вы-

глядывает остроносое, весело смеющееся личико, захотелось провалиться сквозь землю.

В тот момент он возненавидел крановщицу. И вот теперь бравирует смелостью, пренебрегая правилами техники безопасности. За это ему не раз уже доставалось от Тараса, ребят. Всякие поучения раздражали Славика. Зато мастер Галыга сразу убедил: витиевато матюкнулся и пригрозил, что выгонит с завода без лишних слов и наставлений. Славик, сам болтун, уважал людей немногословных и решительных: сказал — сделал. Угроза мастера подействовала, дня два он не выкидывал никаких фокусов.

Вообще взаимоотношения на заводе между людьми ему нравились. Нет той интеллигентной вежливости, какая была на студии, но нет и фальши, саморекламы, игры в работу.

А главное, нравилась продукция. Например, специальный, по особому заказу изготовленный горизонтально-протяжный автомат с тягой в шестьдесят тонн! Или вон другая «штучка» — вертикальный станочек вышиной с добрый дом! Вероятно, должно возникнуть какое-то особое чувство, когда собственными руками соберешь такой станок, электрики вставят ему «душу», придут инженеры и начнутся испытания. Один раз Славик уже присутствовал на испытаниях. Он придирчиво наблюдал за бригадой и неожиданно для себя без привычной насмешки подумал, что не зря пишут в книгах об особой рабочей гордости. Этим чумазым чертям есть чем гордиться! Не станок — целая поточная линия. Хорошо, если б писали где-нибудь в паспорте, кто собрал станок. Глядишь, в недалеком будущем могло бы появиться: Владислав Шикович.

Славик размышлял об этом совершенно серьезно, не иронизируя над собой. Так же серьезно предложил в конце смены:

— За такой станок не мешало бы... — и щелкнул себя по горлу.

Славика будто и не слышали.

Но через минуту нерешительно отозвался Лопатин:

— А может, правда, хлопцы?

— Не искушай меня, родная! — шутливо пропел Костя.

— Как ты легко поддаешься! — со злостью бросил Лопатину Ходас.— Гляди, как бы он не перекрестил тебя в свою веру.

— Кто «он»? — вспыхнул Славик.— В какую веру? Кто «он»? Я? Так я здесь, живой, здоровый. Имя мое Владислав Шикович! — Славика задело, что Ходас сказал «он», будто его, Славика, здесь нет или он им не ровня. Но кричал он так громко нарочно: пусть другие рабочие у проходной слышат, что не такой уж лад и дружба в этой коммунистической бригаде.

Тарас больно сжал его локоть.

— Славик, замолчи!

— А почему он обращается со мной, как с низшим существом?

— Что ты мелешь?

— Если человек ставит себя слишком высоко, ему всегда кажется, что другие хотят унизить его. Это мания,— сказал Генрих, приветливо помахав кому-то рукой.

Славик не нашелся, что ответить, а тут еще Тарас:

— Не будь ты таким петухом. Не придирайся к слову. Свои же хлопцы все.

— Ребята! Компромиссное решение: в железнодорожной столовой пьем пиво,— предложил Вася Лопатин.

...И вот сегодня после новой стычки с Ходасом Славик припомнил все до мелочей, начиная с первой ссоры за столом на даче.

«Чего он цепляется? Что ему надо? Брошу к дьяволу! Ну их!.. Нет, так просто я не брошу. Я вам устрою «сладкую жизнь». А уйду, так с музыкой»,— угрожал он всей бригаде.

Но подошел Тарас. Посмотрел, как он работает, сказал дружески:

— Слава, ты неправильно держишь ключ, потому он у тебя срывается. Вот так нужно,— и показал.

Доброе слово — и пропала злость на бригаду, осталась разве что против одного Ходаса.

Говорят, понедельник — «тяжелый день». Но тот понедельник был необычным — по настроению людей,

по разговорам, которые вели рабочие. Тарас, Генрих и Костя шли на завод с воскресными газетами. Встречали друг друга словами:

— Читал?

— Ага.

— А ты, Костя?

— Все не успел.

— А я, братки, к теще ездил. Голова болит,— откровенно признался Лопатин.

— Да здравствуют тещи и откровенность! — весело крикнул Славик.— Даже я насчет головы не признался бы.— И с озорным видом оглянулся: — Ша! Как бы кто не услышал!

— Не балагань,— обрезал его Иван.

— Да, юноша,— вдруг поддержал Ходаса Генрих,— запомни на всю жизнь: есть вещи, о которых следует говорить только серьезно. Шуточки твои тут ни к чему.

Слова и наставительный тон Генриха, который обычно сам любил пошутить, смутили Славика.

— А я... ничего... Я... насчет Василевой тещи...

— Не прыгай, как заяц, с кочки на кочку. Люди говорят о таких вещах, а ты... Нет у тебя культуры мышления. Учись! Интеллигент!

Возможно, боясь, чтобы в ответ Славик чего-нибудь не сморозил, Костя перебил Генриха:

— В автобусе тетка с бидонами спрашивает: останутся ли приусадебные участки при коммунизме? Сталевар наш Лабун ей в ответ: «А тебе что,— говорит,— хочется всю жизнь молоком торговать?» Смеху было!..

— А я, хлопцы, как прочитал эти слова...— Тарас разгладил на станине, у которой собралась бригада, «Правду»,— как подумал, что они значат... меня, знаете, ну... потрясло... Честное слово... Подумайте, сколько за историю человечества было убито и замучено людей, пролит океан крови, чтобы наконец общество, сотни миллионов людей могли провозгласить своим девизом: «Человек человеку — друг, товарищ и брат!» — Тарас, который, как заметил Славик, избегал громких слов, сказал все это с необычайным жаром, даже сам смутился.

— А я вот думал, какая отрасль машиностроения самая перспективная. Где я буду нужнее, когда стану инженером...

Славик больше не решался прерывать ребят. Ему очень хотелось понять, искренне они так заинтересованы и так близко принимают к сердцу то, что записано в проекте Программы, или по привычке выражают «газетные чувства»?

Еще вчера он наблюдал за отцом и Ярошем. «Классик» (так Славик называл отца заглазно) не вылезал с дачи; если не нужно на работу, его силой не выгонишь в город. А тут вдруг в прекрасное жаркое воскресенье полетел среди дня за газетами. А Ярош даже отказался пойти на реку — так ждал этих газет. Оба они закрылись в комнатах и читали до самого вечера. Потом до поздней ночи спорили у костра.

Под вечер отец сказал Славику довольно категорически и не слишком приветливо:

— Прочитай! Может, поумнеешь.

Славик развернул «Правду» и свистнул: столько читать — десять газетных полос! Однако некоторые разделы прочитал. Удивился — читать было интересно. Понял: представление его о будущей Программе, о которой так много говорили, было довольно примитивное. И еще одно: считал, что он уже все знает, а знаний этих, оказывается, маловато: не все ему ясно в проекте Программы.

Аккуратно сложив газету, Славик сказал матери:

— Не для моего умишка такие высокие материи.

Валентине Андреевне понравилось такое критическое отношение к себе — ведь раньше сын был довольно высокого мнения о своем уме. Она сказала:

— Да, всего сразу не охватишь. Это надо изучать постепенно, вдумчиво...

...Когда Тарас спросил, читал ли он Программу, Славик вспомнил слова матери и тут же перевернул их, как говорится, вверх ногами:

— Зачем? Заставят изучать — тогда прочитаю.

— А без принуждения не можешь? — опять не сдержался Ходас.

Славика вдруг осенило:

— А сам-то ты читал? — Что-то подсказывало ему,

что он попал в точку, а когда Ходас не ответил, отвернулся, будто и не слышал вопроса, окончательно убедился в своей правоте.

«Ах, вот ты каков, моралист, ханжа! — злорадствовал Славик.— Погоди же!»

Во время обеда он нарочно сел за тот же стол, что Ходас и Тарас.

Пока Костя (его очередь) выбивал чеки и носил тарелки с супом, Иван густо намазал хлеб горчицей и с аппетитом ел. Славик искал повода зацепить его как-нибудь, но в голову ничего решительно не приходило.

«Чавкает, как свинья»,— подумал Славик, хоть таким образом изливая свою злость. Тут к ним подошел секретарь парткома завода Горячкин, подсел на свободный стул.

— Ребята, после смены проведем митинг. Скажем наше рабочее слово о Программе. Надо, чтоб кто-нибудь выступил от вашей бригады.

— Тарас.

— Да ну, хлопцы, неудобно! Все я да я.

— Верно. Лучше бы кто-нибудь из членов бригады.

— Тогда Иван. Он прирожденный оратор.

— Значит, договорились — Ходас,— обернулся секретарь к Ивану.

Иван кивнул.

Тогда Славик громко и язвительно хмыкнул.

— А что он скажет, Ходас? Он же газеты в глаза не видел.

Иван подскочил, лицо у него налилось кровью.

— А ты видел?

— Я не только видел. Я читал! А ты? Выступать собираешься! Болтун!

— Сам ты болтун! Большего болтуна, чем ты...

— Ах, я болтун? Тогда скажи честно — читал? Ага, молчишь!.. Моралист!

— Ну, ты...— Иван сжал кулаки.

— Слава!

— Что Слава? Я разоблачаю фальшь и ханжество.

Славик нарочно чуть не кричал, чтоб привлечь внимание сидевших за другими столиками рабочих. Тарас и ребята старались «спустить на тормозах» этот непри-

ятный разговор. Тарас потянул Ивана за полу пиджака, заставил его сесть, сказал секретарю:

— Мы обсудим, Петр Савельевич... Выступление от бригады будет!

Горячкин стоял и молча слушал, пристально разглядывая Славика. Взгляд секретаря и смущал и еще больше раздражал его.

— Что вы заговариваете зубы? — не унимался Славик, еще повысив голос.— Вам хочется быть хорошими? Почему ты молчишь, оратор? Нечего сказать? Демагоги!

Горячкин вдруг сердито хлопнул ладонью:

— Хватит митинговать, Шикович! Обед кончается,— и пошел в другой конец зала.

Славик, как бы показывая, что вынужден подчиниться приказу секретаря, демонстративно стал жевать котлеты. За столом воцарилась тяжкая тишина. Даже ели бесшумно. Не поднимали глаз. Только Генрих, разглядывая стакан с жидким розовым киселем, тихо декламировал:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.

Секретарь парткома вызвал Тараса.

— Ну и экземплярчик ты выкопал. Мне говорили — я не верил. Развалит он тебе всю бригаду.

— Если он может развалить бригаду, то грош нам цена. Чего мы сто́им?

— Ты не чужд самокритики. Но имей в виду, Шикович твой не так прост, как тебе кажется. У него довольно определенные взгляды. Не к Ходасу он обращался, а ко всем, кто был в столовой. Хотел помитинговать заранее... Ходас — зацепка...

Тараса удивил такой неожиданный поворот. Бояться Славика? Смешно.

— Ты слышал, что он кричал? «Демагоги!» Кто демагоги? Те, кто не прочитал? Многие не успели прочитать.

— Но Ходас не имел морального права соглашаться выступить! — возразил Тарас.— Это Шикович правду сказал. Другое дело, ка́к он сказал. Враждуют они — вот что худо.

— Ну, гляди. На твою ответственность. Если что, партком с тебя спросит.

Митинг поразил Славика прежде всего многолюдностью. Обычно после смены рабочие спешат поскорее домой. Особенно женщины. Их трудно задержать и на пять минут. Но сегодня те же самые женщины, наоборот, протискивались поближе к трибуне, используя свое женское право быть впереди. Люди сосредоточенны, серьезны, внимательны — и старики и молодежь. И что удивительно — не было скучных выступлений. Все говорили с таким жаром, что Славик начал верить в искренность этих людей. Только к выступлению Тараса он отнесся недоверчиво. Бригадир говорил о моральном кодексе строителя коммунизма. Славику показалось, что это специально для него. А он терпеть не мог, когда ему начинали читать нотации с целью перевоспитания. Тогда ему хотелось делать все наоборот. Вместе с тем он испытывал удовлетворение, что не дал Ходасу покрасоваться перед народом. Появилось желание поглядеть на физиономию своего врага. Славик стал пробиваться вперед. На него зашикали, чтоб не мешал слушать. И он не отважился больше волновать это притихшее людское море — застыл на месте. Может быть, впервые он ощутил себя частицей этой могучей силы. Однако мысль, что он частица очень маленькая, не показалась ему унижающей человеческое достоинство.

Когда он выходил с завода через широко открытые ворота в огромном потоке рабочих людей, ему вдруг почему-то захотелось, чтобы его сейчас видел отец.

16

Шофер и председатель, видно, все-таки где-то раздавили пол-литра. Шофер гнал по лесной дороге, как ошалелый, того и гляди, разобьет машину. А дороги такой километров двадцать. В нетронутом сосновом бору толстые корни, целые узлы с добрый валун; в дубовых рощах старые гати, на ко-

торых почти не осталось настила, одни ямы, налитые вчерашним дождем. Шофер ни на что не обращал внимания. А рядом с ним в кабине безмятежно спал председатель. Шикович сквозь стекло в задней стенке видел, как из стороны в сторону мотается плешивая голова. Его и двух девчат-колхозниц швыряло в кузове, как арбузы,— от борта к борту. Девчата хохотали, хватались друг за дружку, потом, осмелев, стали хвататься и за него. Кириллу нравилась эта непосредственность и то, что его не считают еще стариком, если вот так шутят с ним. Как-то особенно волновало прикосновение молодых, сильных рук, пахнущих землей и зерном. От мешков, на которых они сидели, шел теплый дух злаков. Но скоро Шикович почувствовал, что от такой «веселой» езды начинают болеть все внутренности. Не те года, чтоб так трястись.

Наконец выехали из лесу на осушенное болото. Дорога через торфяники — что ковер, ровная и мягкая. И — странно! — показалось ли так на равнине, где не на чем задержаться взгляду, или на самом деле шофер повел машину осторожнее и тише. Умолкли девчата, как бы застыдившись своей недавней игривости. Даже председатель проснулся: с его стороны из кабины потянуло папиросным дымком.

Кирилл прилег на мешки и углубился в размышления.

«Надо будет выяснить, сколько служит машина при таких дорогах и такой езде. Стоило бы вставить где-нибудь про тип председателя, как постепенно меняется их внешний вид. Таких, как этот Грак, я давно не встречал. Будто из сорок пятого года вынырнул».

Немолодой, лет под пятьдесят председатель всем своим обликом напоминал колхозных руководителей того далекого времени: небритый, в замасленной, давно, видно, не стиранной гимнастерке из черного грубоватого сукна, в старомодных диагоналевых галифе, в порыжевших сапогах и, главное, с кирзовой сумкой, туго набитой неведомо чем. Эта протертая на углах сумка прямо-таки заворожила Шиковича. «Неужто с военных времен?» — так и подмывало спросить.

Увидев возле склада «Заготзерно» председателя из Загалья, Шикович понял, почему секретарь райкома

старался отговорить его от поездки в эту далекую деревню, куда даже районные работники редко заглядывают.

Березовский, старый знакомый Шиковича, когда-то работал в обкоме комсомола. Молодой энергичный секретарь встретил Шиковича с радостью.

— Наконец-то ты заглянул и в наш забытый творцами район. Теперь я тебя не выпущу.

— Мне нужно прежде всего добраться до Загалья.

Секретарь насторожился.

— Почему сразу в Загалье?

— Да так. Говорят, любопытная деревня,— уклонился от прямого ответа Шикович.

— Деревня за семью лесами, девятью болотами. Этнографический уголок. Этим и любопытна. Но, скажу тебе откровенно, колхоз там не из лучших.

— А мне и нужен не из лучших.

— Значит, собираешься учинять разгром?

— А ты боишься?

— Кто ж не боится? Ваш брат настрочит, а нас — на бюро обкома по сигналу газеты. Уж кому-кому, а тебе известно, что при всей той огромной работе, какую ведем в последние годы, и при определенных успехах хватает и прорех. Многие начинания тонут, как в бездонной бочке. То засушило, то подмочило. Работаешь-работаешь, а результаты...

— Недоволен результатами?

— Как тут быть довольным! Выше девяти центнеров никак не подымемся.

— А кукуруза?

— Кукуруза как раз хороша. На круг центнеров по триста зеленой массы...

— Лучше, чем в прошлом году?

— Лучше!

— А в прошлом году у вас как будто было по шестьсот? — хитро прищурился Шикович.

Березовский засмеялся.

— Это твой друг Романов в кабинете выращивал столько.

— Ты у него был третьим. Имеешь опыт.

— Теперь за такой опыт будешь смотреть на небо вот через что.— Секретарь сложил пальцы решеткой.

— А не кажется ли тебе, Борис Петрович, что нежелание пустить журналиста в слабый колхоз — это сцена из той же оперы «Показуха»?

Березовский обиделся.

— Я хотел тебе помочь написать такой очерк, за который тебя, писаку, похвалили бы, а ты вон как толкуешь. Ну и катись в свое Загалье.

— А как туда докатиться?

— Ладно. Не будем ставить всякое лыко в строку, а то еще поссоримся. Подожди часа два, я проведу совещание директоров школ, а потом отвезу тебя сам.

Но, бродя по райцентру, Шикович подошел к складу, где стояла очередь машин с хлебом, и наткнулся в конторе на загальского председателя.

Грак, когда Шикович к нему обратился, спросил подозрительно:

— Кто?

— Лектор.

Шикович не врал: каждый раз, выезжая в район, он брал в обкоме партии лекторскую путевку. Чаще всего делал доклады о литературе. Но теперь ему хотелось рассказать колхозникам о проекте Программы, послушать, что они об этом думают.

— Лектор — вещь нужная,— снисходительно разрешил ехать с ним успокоенный председатель.

Но, убедившись, что в колхоз едет «птичка-невеличка», никакой не ревизор, он тут же утратил к нему всякий интерес. Шиковича такое определение лектора сперва возмутило, потом рассмешило. Припомнив в машине, что он «вещь нужная», не выдержал — улыбнулся, покачал головой. Девчата смотрели на него, как на чудака.

Снова лес. Снова болото, неосушенное на этот раз, с дедовскими гатями. И вот оно, Загалье, большое село в подкове дубовых лесов.

Не отличаются еще особой современностью наши села. Об этом много говорят и пишут. Писал и Шикович. Но почти везде, где он бывал, наряду со старыми хатами видел и новые строения: то это типовая школа, больница, клуб, то новые дома, светлые, просторные, хотя и не типовые (каждый строил по собственному проекту), зачастую каменные, под гонтом и шифером;

и почти в каждом колхозе новые хозяйственные постройки: коровники, свинарники, над которыми возвышаются водонапорные башни, ветряные двигатели. Все это придает деревне новый вид.

Ничего нового не было в Загалье. Село во время войны не горело. И все тут осталось по-прежнему. Хаты чуть ли не дореволюционные, приземистые, с низкими и маленькими оконцами, с замшелыми соломенными стрехами. Будто и не вырастали тут люди, не женились, не отделялись от родителей, не заводили свой угол, не старались, чтоб он был краше дедовского.

Колхозные нужды, по-видимому, удовлетворялись теми хлевами и амбарами, которые сколочены были после коллективизации из обобществленных гумен.

На длинной заросшей травой улице играли ребята, паслись многочисленные стада гусей. Очевидно, поэтому шофер вел машину с осторожностью ученика; куда девался тот лихач, что несся по лесной дороге как шальной. Больше, чем вид хат, Шиковича поразили понёвы на пожилых женщинах. Давно уж он не видел понёв! Действительно, этнографический уголок. Кирилл почему-то подумал о костюме председателя и его потертой кирзовой сумке. Понёвы хоть красивые, яркие.

Машина остановилась против дома, стоявшего в глубине старого и одичавшего сада: плодов на яблонях и грушах не было. В соседних крестьянских садиках краснощекие яблоки виднелись издалека.

Председатель выскочил из кабины и, не сказав ни слова Шиковичу, не пригласив с собой, быстро зашагал по дорожке к дому, помахивая своей сумкой. Машина отошла, и Шикович остался один на улице. Он даже не успел спросить у девчат, которые вслед за ним выпрыгнули из кузова, что же там, в саду: квартира председателя или колхозная контора? Он только безошибочно определил, что это бывший поповский дом. По другую сторону улицы, или, вернее, центральной площади (тут был перекресток), возвышалась церковь. Шикович попытался отгадать, что сейчас в ней — клуб или склад?

Но тут появился Грак. Без сумки. С приветливой улыбкой во все широкое загорелое лицо.

— Товарищ Шикович?

Кириллу стало ясно, что произошло: пока они ехали, позвонил Березовский. Усмехнулся в ответ.

— Кирилл Васильевич! (Все было выяснено.) Как же так можно? Ай-яй-яй...— Председатель укоризненно качал головой, чмокал языком, словно пеняя ребенку.— Я понимаю, ваш брат инженер наших душ хочет поглядеть на людей так, чтоб они не знали, кто на них глядит. Но мне-то вы должны были сказать. Если надо, я — ни гу-гу.

— Да нет, я таиться не собираюсь. Доклад буду делать. Можно сегодня собрать людей?

— На ваше имя прилетят, как бабочки на огонь.

«Ого,— подумал Шикович,— да он галантный мужчина. Может и комплименты выдавать».

Учтиво отворив перед гостем дверь в контору правления, Грак закричал с порога:

— Тришка! Объявить по всему селу: к нам приехал известный писатель Шикович! В девять часов все, как один,— в клуб, слушать лекцию!

Паренек с очень красивой шевелюрой, светлой, волнистой (лучший парикмахер не сделал бы такой прически, какую создала природа), прежде чем кинуться выполнять приказ председателя, крепко, от всей души пожал Шиковичу руку и сообщил:

— Я читал вашу повесть. И фельетоны.

Женщина-бухгалтер, наоборот, почему-то скептически улыбалась. Сразу можно было догадаться, что это молодая мать: блузочка на кнопках распирала грудь, с белого лица не сошли еще пятна. Лицо это, при полной фигуре, казалось худым, болезненным и, пожалуй, даже некрасивым, если бы не глаза — большие, черные, лукавые и умные. Да еще волосы, тоже черные, свернутые на затылке узлом, украшали женщину.

Неожиданно для Шиковича контора оказалась довольно чистой и уютной, даже цветы на подоконниках. А стены оклеены сельскохозяйственными плакатами, подобранными больше по яркости и расцветке, чем по их пропагандистскому значению. Плакат, где из кукурузного початка сыплются, как из мешка, колбасы, сало, масло, сыр, ткань, резина и другие полезные вещи, оказался где-то в углу, у печки.

Грак открыл дверь с дощечкой «Председатель правления», но Шикович сделал вид, что занят разглядыванием табеля выработки трудодней, и не пошел в кабинет.

Председатель стал шептаться с женщиной.

Шикович догадался о чем и предупредил:

— Товарищ Грак, если вы насчет обеда, то не беспокойтесь. Три часа назад я обедал в районной чайной. За ужин буду признателен. В наши с вами годы и при нашей комплекции много есть — самоубийство.

Грак засмеялся.

— Я думаю, от еды никто еще не помер. Может, помидорчиков, огурчиков малосольных? А?

— С удовольствием. Но попозже. К ужину.

— А полдничек, полдничек должен быть.

— Полдничают косцы. А мы с вами не косили.

Теперь уже засмеялась женщина.

— Энергия тратится при любой работе,— глубокомысленно заметил председатель, чтоб оправдать свое намерение пообедать.

— У меня, знаете, кроме доклада еще одно дело есть. Суходол Клавдия Сидоровна жива-здорова?

— Баптистка эта? Она сто лет проживет! — кинул с раздражением Грак.

— Баптистка? — удивился Шикович.

— Да не баптистка она,— возразила бухгалтерша.

— Ну, не знаю, какому она там идолу поклоняется, но что шаманка, то шаманка. Одним словом, дармоедка. Объявила себя знахаркой. Ворожеей.

— Не ворожит она вовсе. Травами лечит.

— Не защищай, Катерина. Ты и сама туда же. Стыд! Культурная сила!

— А что? Она вылечила меня.

— Вылечила. Лекарка! Профессор! По дурости вашей бабской себе карманы набивает. Хотите написать о ней, товарищ Шикович?

— Да.

— Дайте крепкий фельетончик. Я вам фактиков подкину. Может быть, и прокуратура тогда доберется. А то я сколько раз говорил нашему прокурору, так он все руками разводит: «Нет оснований, надо соблюдать

законность». Я ей, правда, крылышки подрезал — усадебку по самые углы обкорнал.

Да, не такой представлял себе Кирилл эту женщину, когда после долгих поисков с помощью Яроша узнал наконец, куда исчезла из города бывшая сестра инфекционной больницы Клавдия Суходол. Всю войну пробыла в городе и вдруг исчезла. Почему?

«Медсестра — и вдруг знахарка, сектантка какая-то. Черт знает что такое!» — раздумывал он, недовольный, уже почти разочарованный, идя по длинной улице на край села. Вспомнил, как сразу враждебно насупилась бухгалтерша, когда услышала, что он хочет писать про Клавдию. Что писать — объяснять не стал, потому что вдруг потерял уверенность, что вообще что-нибудь придется писать после разговора с этой женщиной.

Найти ее хатенку было легко. Она стояла третьей с краю, у самого леса, и была одна такая в селе: маленькая мазанка, побеленная на украинский лад. Высокий лозовый плетень, которым со всех сторон был огорожен тесный дворик, показался Шиковичу крепостной стеной, за которой кто-то как бы хотел укрыться от людей и мира. Где у соседей были сады и огороды, здесь сразу за плетнем шелестела кукуруза. Шикович вспомнил слова Грака: «Я ей крылышки подрезал»,— и подумал об обиде, которую, верно, затаила женщина на местную власть и — очень может быть — даже на эту кукурузу.

От калитки к хате шла узенькая, посыпанная желтым песком дорожка. Весь дворик был разбит на крошечные аккуратные грядки, засаженные овощами и цветами. Без сомнения, не ходила по этому двору ни корова, ни коза, даже следов кур не было видно, хотя небольшой хлевок, тоже обмазанный и побеленный, ютился в углу за хатой.

Шикович разглядел все это, пока, просунув руку в щель, искал задвижку, чтоб отворить калитку. Да так и не нашел.

И тут появилась сама хозяйка. Наклонившись, она вышла из двери, широкими шагами приблизилась к ограде, через плетень глянула, кто там, отворила калитку, но загородила путь своей крупной фигурой,

окинула непрошенного гостя вопросительным взглядом: что ты за птица?

Шиковича поразил ее вид. Женщина была на добрую голову выше его и значительно старше, чем он думал,— совсем седая уже. По-мужски костлявая, слегка сгорбившаяся, но, видно, довольно сильная еще, она стояла с пучком сухой травы в руке, как часовой с ружьем. Смотрела так, что Шиковичу показалось: вот-вот хлестнет его этим веником по лицу. Он не выдержал ее взгляда и поспешил заговорить:

— Клавдия Сидоровна?

— Чего вам? — сурово спросила она.

— Я хотел узнать...

— О чем? Кто вы?

— Я сейчас объясню... Я из редакции.

Опытный журналист, он почувствовал себя непривычно неловко, знакомясь с новым человеком.

У старухи гневно блеснули глаза.

— Что вам нужно от меня? Я не занимаюсь знахарством, пусть не врут. Я собираю травы. Даю советы людям. Нет такого закона, чтоб запретить мне это... Нет! — Она круто повернулась и... ушла в хату.

Шикович совсем растерялся.

«Черт меня дернул за язык сказать, что я из редакции. Если она запрется и больше не выйдет, тогда хоть кричи под окном, что́ мне от нее нужно».

А из-за соседнего плетня уже глядели чьи-то любопытные глаза. Хлопнуло окно за спиной. Его брали под «перекрестный обстрел». Должно быть, других своих посетителей Суходолиха встречала иначе.

Но поскольку калитка осталась открытой, Кирилл решительно шагнул во двор и остановился под окном: пусть видит, что он не собирается уходить.

Однако женщина через минуту вышла. В вытянутых руках она несла толстую книжку в холщовом переплете.

«Неужто библия? — почти со страхом подумал Кирилл.— Не было печали!»

Чего он не умел, так это вести антирелигиозную пропаганду среди верующих. Утешал себя тем, что этого не умеет делать большинство пропагандистов,

они читают свои лекции не верующим, а тем, кто давно уже не верит ни в бога, ни в черта.

Хозяйка со злостью сунула ему книжку.

— Вот!

Он откинул переплет и с трудом удержался от смеха. На титуле стояло: «Лекарственные растения».

— Вот! — повторила она.— Всего пять лет назад выпущена. Советский институт. Медицинский. Ученые! И все пишут: собирайте травы. Так покажите мне закон, который запрещал бы их собирать! Где такой закон? — наступала она.

Шикович смотрел на нее снизу вверх и не понимал, отчего так изменилось ее суровое лицо, будто помолодела за те минуты, что провела в хате. Ага, женщина успела повязать белую косынку, и повязать на особый лад, не как здешние селянки,— «хаткой», а так, как повязывают косынки сестры и санитарки в больницах.

Шикович не прерывал ее: пускай выскажется.

— Не думайте, что я глупая, темная баба. У меня нет диплома. Но я пятнадцать лет работала сестрой в больнице. Были люди, которые верили мне без бумажек. Теперь не верят. А я больше смыслю, чем эта наша дура фельдшерица, которая заявления на меня пишет. И деньги беру! Беру! А что мне — помирать? Огородишко и тот отрезали...

— Клавдия Сидоровна! — наконец остановил ее Шикович.— Я приехал к вам совсем по другому делу.

Она растерянно умолкла.

— Я хотел расспросить вас о Савиче. Докторе Савиче. Степане Андреевиче.

Как она мгновенно изменилась! Отступила на шаг, точно в испуге. Словно сжалась, даже ростом меньше стала. Но лицо осветилось каким-то внутренним светом. Однако сказала еще довольно сурово:

— Савич уже восемнадцать лет как в земле. Зачем он вам?

— Я хочу написать о нем и о вас.

— Что о нас писать?

— Я хотел бы написать, что Савич был советским человеком. И тогда, когда служил у немцев, тоже. Но для этого мне нужны доказательства. Факты. Свидетели.

Она бросила взгляд на соседний двор и вдруг пригласила приветливо, тихо:

— Идемте в хату.

Из двери пахнуло не кислятиной и плесенью, как во многих крестьянских сенцах, а июльским вечерним лугом — густым ароматом сухих трав. В хате тоже пахло травами, но как-то совсем иначе. Ни сухих пучков, ни россыпи семян нигде не было видно. Разве что в тех мешочках, что висели на жердочке над печью, да в бутылках и банках, стоявших под лавкой в углу. Везде чистота: аккуратно побеленные стены и потолок, до желтизны отмытый пол, застланная цветистым домотканым покрывалом деревянная кровать. На столе под салфеткой — круглый каравай хлеба. Образа в углу, два небольших, украшены вышитым ручником. Самодельная рамка на стене, в ней под стеклом несколько фотографий.

Хозяйка вытерла передником и без того чистую скамейку, придвинула к столу, без слов приглашая гостя присесть. Сама стала посреди хаты, сложив руки на груди. Спросила все еще с тайным недоверием:

— Так вы из редакции?

— Не верите? — усмехнулся Кирилл и достал из кармана удостоверение.— Пожалуйста. Моя фамилия Шикович.

Но женщина не тронулась с места, чтоб посмотреть документ.

— А что вы знаете про Савича? — спросила она.

— Много чего, но пока разноречивое. По некоторым документам, Савич враг. А люди говорят, что до последней минуты он боролся с фашистами...

— Кто говорит?

— Те, кто знал его. В том числе дочь.

— Зося? Женщина подалась вперед, в голосе ее прозвучали удивление, недоверие, радость: — Зося? Зоська жива? Где она?

— В городе,— Шикович умолчал, что дочь Савича еще в больнице после тяжелой операции.

— Зося жива! Боже ты мой! — совсем по-старушечьи не то всхлипнула, не то засмеялась Клавдия Сидоровна и сделала круг по хате, как будто потеряла что-то. Дотронулась рукой до печки, поправила зана-

веску на окне. Потом села по другую сторону стола, подперла ладонью щеку и пытливо посмотрела на Шиковича.

...Собрались, конечно, позднее девяти: летний день, пока люди вернулись с поля, умылись, поужинали, женщины подоили коров, уложили детей. Когда уже изрядно стемнело, потянулись к клубу — бывшей церкви. Народу набилось — не протиснуться.

Шикович сам не заметил, как проговорил два часа — аудитория была на диво внимательная. Опомнился только, когда увидел, что один из подростков, сидевших на полу, все-таки изнемог: захрапел, откинув голову к стене. Шикович взглянул на часы.

— О-о! Кажется, одного я уже доконал.

От хохота зала хлопец проснулся и, застыдившись, вскочил, стал протискиваться сквозь толпу к двери.

Грак, сидевший за столом президиума, широко зевнул, помахал перед ртом ладонью, как бы отгоняя злого духа. Шикович понял, что это сигнал закругляться. И поторопился закончить.

Грак вскочил:

— Разрешите, товарищи, от вашего имени...

— Может быть, вопросы есть? — перебил его Шикович.

— Вопросы у кого-нибудь есть? — повторил председатель, явно недовольный задержкой.

— Расскажите, что вы пишете сейчас! — раздался из толпы молодежи звонкий голос.

— Что я пишу?.. Недавно закончил повесть о людях села. Теперь собираю материал для документальной повести. О борьбе подпольщиков нашего города во время фашистской оккупации. Между прочим, если уж правду говорить, то с этой целью я и к вам приехал. Одна из бывших подпольщиц живет в Загалье.

Зал зашевелился. Зашептались, спрашивая друг у друга:

— Кто?

— Кто? — громко спросило сразу несколько голосов.

Шикович спохватился. Может быть, об этом не следовало говорить, тем более без согласия Клавдии Сидоровны?

«Сказать или не сказать?» — в раздумье Кирилл прошелся по сцене. Нет, не сказать нельзя. Да и все равно догадаются, когда узнают, к кому он пошел сразу, как приехал.

— Суходол, Клавдия Сидоровна.

Зал загудел, как растревоженный улей.

Ночевать его повел к себе незнакомый старик. Шли по ночной улице, молчали. Кирилл подумал, что старик, верно, выполняет «повинность», возложенную на него председателем, и не очень доволен, что ему дали постояльца. Но Шиковича ждала неожиданность: в хате их приветливо встретила та самая бухгалтерша, которая так неприязненно смотрела на него, когда он сказал, что хочет писать про Суходол.

На столе стоял поздний ужин и бутылка вишневой настойки. Перед докладом Шикович так и не успел поесть — просидел у Клавдии Сидоровны.

Хозяин — низенький, худощавый, с бритой бородой, но пышными рыжеватыми усами. Усы эти, однако, не старили, а, наоборот, молодили его. Трудно было сказать, сколько ему лет.

— Садитесь, Кирилл Васильевич,— пригласила молодая хозяйка.

— Простите, но мы даже не познакомились с вами как следует,— смутился Шикович.

— Катерина мое имя. А это мой отец — Филимон Демьянович.

Старик, не теряя времени, наполнял рюмки. А Катерина поливала гостю на руки. Но за перегородкой заплакал ребенок, и она мигом забыла обо всех своих хозяйских обязанностях.

— Давайте сядем, товаришок, ее не дождешься.

Филимон Демьянович точно спешил выпить без дочки. Опрокинув чарочку, заговорил вполголоса:

— Это моя меньшая, Катерина. Два сына, Павел и Демьян, с войны не вернулись. Дюже горевала старуха. Все ждала Демьяна. Не верила, значится... Тут один у нас, годков, может, пять как явился... У него, в плену был... Старуха, царствие ей небесное, три года как преставилась. Еще сын есть, Иван. Так тот после

армии на Донбасс подался. Не хотят, товаришок, в колхозе... Во беда. Я тут сварюсь с которыми. Кто хлеб будет выращивать, чертовы дети?.. Закусывайте. Помидорчики, огурчики. Свои. О, на это я мастер. Еще у пана Печеги огородником служил...

— Сколько же вам лет? — заинтересовался Шикович.

— Отгадайте, — старик, довольный, засмеялся и опять наполнил рюмки.

— Да лет шестьдесят. Может, с маленьким хвостиком.

Хозяин сморщился, будто вот-вот разразится смехом, да сдерживает себя.

— А хвостик этот двенадцать годков.

— Семьдесят два? — искренне удивился гость.

— То-то же. Пожил, товаришок, слава богу, всего на свете повидал, наслушался. Первым колхозником был. Во! — сказал он с гордостью.— А теперь Федор говорит... вчера это мы с ним за чубки схватились... «Тебя,— говорит,— Филимон, посадить надо за такие слова, кабы это в тридцать седьмом ты сказал!» А что я сказал? «Не построим,— говорю,— Федор, мы с тобой коммунизма при такой работе». А как он сказал, что посадить меня надо, так я ему и говорю: «Научись,— говорю,— ты лучше помидоры да бураки сажать, а не людей».— Старик хихикнул, очевидно, довольный своим ответом.

Из боковой комнатки вышла Катерина.

— Что это вы тут городите, папа?

— А что, разве не правду говорю? — вдруг рассердился старик.

— Тише, Павлика разбудите.— Женщина присела у стола и спросила: — Что ж это вы не пьете, Кирилл Васильевич?

Шикович поднял рюмку.

— За вас и вашего сына.

Она налила себе несколько капель настойки.

— А я за Леню выпью. За мужа. Чтоб все было хорошо. Он поехал сдавать в институт. На заочное. Это он бухгалтером у нас в колхозе. А я замещаю.— Она словно знала, что Шиковичу с самого начала хотелось спросить, где отец малыша, но он не решался, чтоб не

оказаться в неловком положении: мало ли какие бывают обстоятельства.

На этот раз старик не допил своей рюмки, настойка перестала его занимать. Больше занимала его возможность высказать свои мысли. Не очень приветливо поглядывая на дочь, должно быть боясь, что она помешает, он продолжал рассуждать:

— Вот, товаришок, слушал я вас... Дюже ладно вы говорили. Красно́. Да не все сказали. У нас, к примеру... Нету у нашего председателя праспективы. Во беда...

— И верно, нет перспективы,— неожиданно перебила Катерина.— Мне Леня объяснял... Да и сама я влезла в эту бухгалтерию, посидела там в правлении... Вы знаете, Кирилл Васильевич, застыли мы на месте. Посмотрите, что делается. Мы не погорели в войну. А потому в первые послевоенные годы наш колхоз был чуть не самый богатый в районе. По килограмму хлеба на трудодень давали. Выполняли все заготовки. Грак лучшим председателем считался. И теперь еще нос задирает. А в прошлом году тоже дали один килограмм. Да и в этом не дадим больше. Какая же может у людей быть перспектива?

— Во-во! — подхватил старик.— Я Федору и говорю: на таком трудодне мы далеко не уедем. А он мне: «За такие слова...»

— Муж мой думает, что нынешняя форма учета пережила уже себя. Безликий он стал, трудодень. Черточка на бумаге. Ставлю я их в табели, и самой мне все это кажется несерьезным каким-то. Ненаучным.

— Так переходят же на денежную оплату. Гарантийную,— сказал Шикович.

— А где их взять, деньги? Хорошо тем, кто близко от города. У нас откормить свинью в полтора раза дороже обходится, чем мы получаем за нее.

— Так что, по-вашему, надо делать?

— Не знаю. Был бы Леня...

— Нужен хозяин с головой! Во что нужно! — твердо объявил Филимон Демьянович.— Не задирал чтоб нос, как говорится... А на землю глядел...

— Что ж вы столько лет держите такого председателя?

Катерина странно глянула на гостя и ничего не ответила, положила ему из глиняной миски свежих огурцов со сметаной: ешь, мол, наивный человек.

А Филимон Демьянович ответил по-своему:

— Вот я ему вчера и выложил: «А не пора ли тебе, Федор, внуков нянчить?» Как он зафыркал, вы бы видели! — Старик опять забавно сморщился, закрыл глаза, повертел головой...

Лежа потом на сеновале, слушая, как внизу тяжело вздыхает корова, Шикович долго еще думал об этом ночном разговоре. Как все переплелось — старое и новое, большое и малое, героическое и будничное, косное и передовое!.. Что же главное для него, литератора,— прославлять или разоблачать? Писать о прошлом или о завтрашнем дне? В голове складывался план статьи о Савиче. И тут же рядом — об этом колхозе, о людях, которых встретил за один только день. Отправляясь после ужина спать, он сказал Катерине:

— А про Клавдию Сидоровну я вовсе не собираюсь писать фельетон. Напротив...

— Я знаю,— улыбнулась она.

Ей уже все было известно, и потому, должно быть, она и пригласила его на ночлег, угощала среди ночи ужином. Но как же так? Жила женщина в селе чуть не двадцать лет — и никому ни слова!..

Обо всем хочется написать.

Вчера он встал вместе с солнцем. Ехал поездом, на автобусе, грузовике. Работал. Однако спать не хотелось. Проснулись ласточки. Скоро им собираться в отлет. Шикович прислушался к их щебету. Сквозь щель в крыше цедился рассвет. Заскрипел первый журавль. Где-то далеко на болоте заржал конь. Корова в хлеву тяжело поднялась, даже застонала. Вот-вот зазвенит о дно подойника струя молока. Он почему-то ждал этого момента почти с нетерпением. Все такое же, как тогда, когда он юношей на заре приходил с гулянки и тишком, чтоб не услышал отец, забирался на сеновал. Все те же звуки.

От этого было и радостно и немного грустно. Недавно он встретил ту, к которой лет тридцать назад бегал

на свидания. Теперь уже довольно пожилую крестьянку. Ему так же вот стало радостно и грустно. Неужто и вчера он встретился со своей молодостью?..

Как зазвенело молоко о подойник, не услышал — уснул под пение петухов.

17

Статья называлась «Кто же такой доктор Савич?». Начиналась она цитатами из книги Гукана в его, Шиковича, литературной записи и из некоторых других документов, официальных и неофициальных. Подкреплял их автор выдержками из заявления самого Савича на имя фельдкоменданта. Может быть, этого довольно, чтобы потомки прокляли и забыли имя этого человека?

Но есть люди, которые, несмотря ни на что, думают о Савиче иначе.

«Кандидат медицинских наук хирург Ярош, хорошо известный в нашем городе...»

Шикович кратко излагал, как после до дерзости смелого убийства начальника полиции молодой подпольщик Ярош очутился в доме доктора.

«Могут сказать, что Савич не выдал подпольщика, опасаясь за дочь. Не было б других фактов — один этот, конечно, не служил бы доказательством патриотической деятельности доктора».

Шикович передал содержание документов, найденных в архиве,— записок Варавы.

Была упомянута в статье и записка, которую показал ему Сербановский... Но чекист почему-то попросил пока ее не оглашать. Шикович не стал спорить. С него достаточно было того, что рассказала Суходол. Рассказ ее занимал больше половины статьи. Приводил его Шикович почти целиком, так, как записал на второй день своего пребывания в Загалье. Там же он прочитал запись Клавдии Сидоровне и выправил по ее замечаниям.

Вот эта часть статьи:

«...В тот день, когда вступили немцы, в больнице оставался он, Степан Андреевич, да я. Все разбежались. Даже больные разбрелись, кто мог ходить. Но у нас было человек двадцать дизентерийных детей. Доктор пытался как-нибудь эвакуировать их. Да кому охота брать в эшелон больных из заразной больницы?! Степан Андреевич сказал мне тогда:

«Останемся, Клавдия Сидоровна, на своем посту. Только трусы бросают пост в трудную минуту».

И назначил меня старшей сестрой. С того дня все больничное хозяйство было на мне.

Вскоре сами немцы начали привозить к нам больных. Очень боялись эпидемий. Приказы писали один за другим. Тогда вернулись некоторые из нашего персонала. Врачей, правда, немного, больше сестры да санитарки. Врач один новый пришел. Молодой, худой, как жердь, в очках. Макейчик его фамилия была. Да я сразу увидела, что в болезнях он ничего не смыслит и очень боится больных — как бы не заразиться. Сказала я об этом Савичу, а он мне в ответ:

«Не обращайте внимания. Назначения его я сам буду проверять. А вам советую: остерегайтесь этого человека, ничего не говорите при нем».

Тогда я раскумекала, что к чему и какая такая глиста у нас завелась.

А как-то, осенью уже, вызывает меня Савич и говорит:

«Вот, Сидоровна, штат ваш пополняю. Видите, какие хлопцы!»

Хлопцы ладные. Двое. Сразу вижу, не окруженцы. Окруженцы бывали уже у нас. Кожа да кости. Которых мы лечили, которых просто подкармливали. А эти оба в теле. Только один, Леша, бороду отпустил. А у другого, Вани, она, верно, и не росла еще. Чего это, думаю, такие хлопцы к нам, в заразную, поперлись? Дурни. Правда, Леша этот как открыл рот, так, может, минута прошла, пока слово вымолвил: заика такой. Его Степан Андреевич назначил ездовым — дрова привозить, умерших отвозить на кладбище. А Ваню санитаром. Он, как девочка, молоденький, беленький и ручки белые, к черной работе не привычные. Жалко

мне его было. Дитятко горемычное, что тебя заставило за заразными прибирать?

Через несколько дней кличет меня Степан Андреевич, закрывает дверь у себя в кабинете и говорит шепотом:

«Сидоровна, есть к вам просьба. Дайте,— говорит,— ключ от вашей кладовой Ване».

Я сразу не поняла, заартачилась.

«Зачем ему ключ? Не дам я никому ключа».

Он главный врач и мог мне приказать, а он просит, ласково так:

«Поймите, Сидоровна. Это очень нужно».

Тогда я и спросила у него:

«Скажите мне, Степан Андреевич, кто такие эти хлопцы?»

«Я не хочу ничего от вас скрывать, Сидоровна,— отвечал он.— Это советские разведчики. Им надо коечто передать по радио нашим. Они облюбовали вашу кладовку».

Бельевая кладовка была на чердаке третьего корпуса, где помещались изоляторы.

Назавтра утром отдает мне ключи не Ваня, а Леша и говорит тихонько, но быстренько, нисколечко не заикаясь: «Спасибо,— говорит,— Клавдия Сидоровна. Уютное у вас местечко там, подходящее. Но мы вас часто не будем беспокоить».

Потом я узнала, что они перевозят и переносят свою рацию в разные места. Чтоб не засекли их.

Степан Андреевич в то время пошел служить в управу. Наши, кто хорошо не знал его, ругались: к немцам подлизывается. Некоторые даже бросили работу. Потому что он оставался главным врачом. Но теперь он не сидел все время в больнице. Приезжал после обеда, редко с утра, на консультации, на обход. Больницей заведовала его заместительница Вакулова Раиса Сергеевна. Она и до войны у нас работала, в детском отделении. Не старая еще была, да в первые дни войны у нее сына убило бомбой, шестнадцать годков хлопчику. Может, от горя такого она вся поседела. Белая-белая. И все молчала. Редко слово от нее услышишь.

Раису Сергеевну гестапо схватило в ту же ночь, когда убили Савича. Тогда много кого из наших аре-

стовали. Аптекарку Надю (фамилии не помню уже), Васю Одинца, шофера санитарной машины. Степан Андреевич, когда пошел в управу, раздобыл эту машину для больницы. Грузовичок с будкой. Снимали будку, возили дрова из лесу, потому что со склада немцы не давали. Хорошо знаю, что и в лес машина пустая не ходила: иной раз поедут по дрова пять человек, а назад вернутся двое. Кто бежал из лагеря — у нас в больнице пристанище находил. Отойдет немного, подкормится человек и — в лес. Я таким одежу доставала, покупала, выменивала. Однажды сама Раиса Сергеевна попросила меня купить десять ватников, деньги дала. Да она не как Степан Андреевич — не с открытой душой. Будто и не доверяла мне, остерегалась. Признаюсь, обидно было. Степан Андреевич вон кого мне доверил — разведчиков! Да и не только разведчиков! Как-то Вася привез в машине «больного» — лысого человека с веселыми глазами. С машины его ссаживали, под ручки вели, как настоящего больного. А позвал меня Степан Андреевич к себе, гляжу, «больной» этот ходит по кабинету, поглаживает лысину и смеется, подмигивает. Доктор тоже улыбается.

«Надо,— говорит,— Клавдия Сидоровна, этого мальчика поместить в бокс, в детское отделение».

А тот хохочет: «Вы меня коклюшем не заразите!»

«Дайте,— говорит мне Степан Андреевич,— на сегодняшний вечер какое-нибудь задание вахтеру. А на проходную поставьте Лешу. Пускай подежурит. То же сделайте с сестрой, найдите предлог. А сами подежурьте за нее».

Я все исполнила как надо. В тот вечер они долго совещались в процедурной. Лысый, Степан Андреевич, Раиса Сергеевна, Вася Одинец и еще трое или четверо незнакомых мужчин, которых пропустил Леша».

Дальше Шикович писал:

«Я хочу прервать рассказ Клавдии Сидоровны, чтобы сообщить читателям, что Прокоп Варава, командир, а потом комиссар отряда имени Чапаева, записки которого я разыскал в архиве, был лысый и веселый человек, как сообщают те, кто знал его лично. Это дает мне основания предполагать, что в совещании с подпольщиками участвовал не кто иной, как Варава.

Размеры газетной статьи не позволяют мне привести рассказ К. С. Суходол во всех подробностях. От нее я узнал, что где-то в начале сорок второго года погибли Леша и Ваня. Фамилия одного из них была Колунов, но которого — женщина, к сожалению, не помнит, да и вряд ли это была настоящая фамилия. Их схватили на кладбище, они вели передачу из часовни. Наверное, это о них писал в своей записке Варава.

Клавдию Сидоровну в тот же день Савич предупредил, чтоб в случае ареста и допроса она говорила одно: попросились хлопцы на работу — взяли их, больше ничего не знает, что они делали, чем занимались. Ее не арестовали. Но через два дня в больнице был обыск. Гестаповцы перевернули все вверх дном. Ничего не нашли. И вот во время обыска врач Макейчик, тот самый, которого считали фашистским агентом, вместо спирта (к спирту он часто прикладывался) выпил стакан кислоты. Нарочно или случайно — неизвестно. Его, умирающего, гестаповцы увезли с собой. После этого, рассказывает Суходол, ей долго не давали никаких поручений. Вообще ей показалось, что и Савич, и Вакулова притихли, даже пленных больше не переправляли из города. Только Вася несколько раз брал у нее простыни и марлю. Потом она опять начала выполнять разные, как скромно говорит эта женщина, мелкие поручения: взять к себе девушку и выдать за племянницу, к кому-то сходить, что-то спрятать, что-то передать и т. д.

После убийства доктора ее не арестовали вместе с другими, но три раза вызывали в СД и настойчиво выспрашивали — больше о Вакуловой и Васе, меньше о Савиче.

Странная судьба постигла эту женщину после войны. В наше время, после Двадцатого съезда, об этом нельзя не сказать. Когда город был освобожден, она зашла в одно учреждение «к высокому начальству» и откровенно рассказала все, что знала о подпольной деятельности Савича и Вакуловой. Ее внимательно выслушали. А через несколько дней она была уволена из больницы «за сотрудничество с фашистами». Теперь живет в далекой деревне, без пенсии, даже без приусадебного участка. Зарабатывает на жизнь тем, что соби-

рает травы и лечит ими больных. За это местные медики объявили ее знахаркой.

Присмотритесь, товарищи, кто живет с вами рядом. Разберитесь в человеке, его делах, его биографии. Сколько на земле нашей безыменных героев, скромных и простых! Мы и дети наши должны знать их имена!

Не все еще нам ясно в истории доктора Савича. Неизвестно, кто его убил. Неизвестно, зачем оккупантам и националистам понадобилась комедия с похоронами доктора. Но имеющиеся факты, документы и свидетельства дают мне право утверждать: в инфекционной больнице активно действовала подпольная группа, о которой пока нет никаких упоминаний в наших официальных документах. Руководил этой группой доктор Савич, поддерживавший связь с командиром партизанского отряда имени Чапаева Прокопом Игнатьевичем Варавой.

Я надеюсь, что на статью эту откликнутся люди, которые смогут дополнить и прояснить то, что неясно в деятельности Савича и других советских патриотов, живых и погибших, героические дела коих будут вдохновлять многие поколения.

К. Шикович».

Статья сразу же вызвала бурю. Прежде всего в редакции.

— Это же приемы желтой прессы! — кричал Рагойша.— Шиковичу хочется завоевать дешевую популярность, пощекотать нервы обывателя. Как член редколлегии я категорически против печатания.

Чутким нюхом своим Рагойша сразу уловил, где искать надежного и авторитетного союзника. Гукан наверняка выскажется против, а он первый авторитет в городе по части партизанских дел. Экземпляр статьи тут же оказался на столе у председателя горисполкома.

Семен Парфенович читал, заперев дверь, чтоб не помешали.

Название он раздраженно подчеркнул толстым коричневым карандашом и поставил против него на полях жирный восклицательный знак, как бы показы-

вая, что для него не составляет вопроса, кто такой доктор Савич.

На цитате из своей книги он сломал карандаш и швырнул его в корзину. Другого не взял. Читал, вдруг утихший, сосредоточенно, внимательно. На лице его не видно было сейчас ни гнева, ни раздражения. Только все больше и больше оплывали худые щеки и отвисала нижняя губа, как бы стремясь дотянуться до бумаги.

Окончив читать, он собрал листы, положил их обратно в редакционный конверт, переломил конверт, сунул в глубокий карман галифе и, широко шагая, вышел из здания горсовета. Так же широко шагал он по кабинету секретаря горкома, пока Тарасов кончал разговор с заведующим отделом. Тарасов тайком наблюдал за ним и удивлялся: давно уже он не видел спокойного Гукана таким взволнованным.

Не успела закрыться дверь за сотрудником, Семен Парфенович нетерпеливо и небрежно бросил конверт на стол.

— Читал?

— Что это? — Тарасов вынул статью, глянул, подумал: «А, вот что тебя...» и почему-то сказал: — Нет, не читал.

А на самом деле читал. Редактор еще вчера прислал статью в горком.

— Почитай. Хотя и читать нечего. Дурацкие фантазии безответственного писаки. Разыскал, понимаешь, какую-то бабу, знахарку, и на основании ее путаного рассказа хочет пересмотреть всю историю подполья...

— Неужто всю? — как бы удивился Тарасов, бегло просматривая статью.

— Хочет обелить того, кто сам себя очернил. Открыватель нашелся! Но не в этом суть... История есть история. Не Шикович ее делал. Не Шиковичу ее и переделывать. Тут опасна сама тенденция. Я тебе должен бросить укор, Сергей Сергеевич. Потакаешь ты ему. А он из тех, кто считает, что если партия развенчала культ Сталина, значит надо все перевернуть вверх ногами, белое сделать черным, а черное белым...

— Тенденция, безусловно, вредная,— спокойно согласился Тарасов, просматривая последнюю страничку

статьи. Потом поднял голову, взглянул на Гукана и сказал: — Но я не вижу логической связи. Какое отношение имеет эта тенденция к тому, что Шикович хочет доказать и почти доказывает, что в больнице была подпольная группа. Ты твердо знаешь, что ее там не было?

Гукан с размаху опустился на стул возле стола, ударил себя ладонью в грудь.

— Да не в этом дело, Сергей Сергеевич! Тут главное метод. При таком методе поисков любой фашистский прислужник может объявить себя подпольным деятелем...

— А здесь кто объявляет? — положил руку на статью Тарасов.

— Да хотя баба эта.

— Суходол? — Голос секретаря вдруг стал жестким.— Где же она служила? В заразной больнице?! — и резко поднялся. Но, видно испугавшись, что может сорваться, достал папиросу, закурил и сказал примирительно: — Не горячись, Семен Парфенович, а то как бы нам не вернуться к старой тенденции, которая тоже немало бед натворила.

Гукан понял, что Тарасов ознакомился со статьей раньше. Не мог он, так бегло просмотрев, запомнить фамилии и обстоятельства.

«Ясно, Шикович согласовал с ним. Теперь он будет поддерживать. С ним не договоришься. Надо идти в обком».

— Ты почитай внимательно. Как он строит статью. Принимает позу объективного исследователя. А по сути, ревизует решения горкома о подполье.

— Серьезно? — опять будто бы удивился Тарасов.— Ну, это мы поправим.

— Ты что, считаешь, что эту муру стоит печатать?

Тарасов снова сел, придвинув кресло поближе к Гукану, чтоб было не так официально, выпустил в сторону дым и, пытливо заглядывая в глубокие черные глаза Гукана, спросил дружески-интимно, вызывая на откровенность:

— А что тебя, Семен Парфенович, так взволновало? Желание Шиковича реабилитировать Савича?

— Сергей Сергеевич, ты далек от наших партизан-

ских дел. Ты был на фронте. А я в самой гуще варился. Ты не представляешь условий, в которых мы вели борьбу. Оккупанты, провокаторы, предатели. Наконец, просто зайцы, которые боялись ушами шевельнуть. А теперь хотят выдать себя за героев. Ну, в отрядах — там ясно, все на виду: кто герой, кто трус. А здесь, в городе... Я семнадцать лет разбираюсь в этих делах...

«Ничего ты не разбираешься. Написал за тебя Шикович книгу, и ты теперь выдаешь ее за непогрешимую истину»,— подумал Тарасов с возмущением. А сказал улыбаясь:

— Перемрут историки, Семен Парфенович, если ты захватишь монополию на все изыскания.

Гукан уловил иронию секретаря, и она так и обожгла его. Он даже отшатнулся. Но сделал вид, что просто переменил позу, пригладил редкие волосы, отпарировал почти весело:

— Ну, из Шиковича историк, как из меня... поэт.

Тарасов потушил в пепельнице папиросу и отодвинулся с креслом от стола. Как будто обоим захотелось рассмотреть друг друга на некотором расстоянии.

— Так как с этим? — небрежно кивнул Гукан на стол, где лежала статья.

— Почитаем. Подумаем. Порассудим.

— Живицкому позвони, а то, чего доброго, под нажимом напористого автора...

— Не бойся. Без нас не дадут.

Оставшись один, Тарасов долго задумчиво курил у открытого окна, разглядывая улицу, машины, прохожих. Потом достал из сейфа какой-то документ, стал читать его, все так же стоя. Зашла сотрудница горкома выяснить какой-то вопрос — он убрал документ в ящик стола. Поговорил с ней, подписал бумаги. Вышла — медленно дочитал эти полторы странички на машинке, просмотрел документ еще раз, спрятал его в сейф и снова курил у окна.

Сказал сам себе сердито:

— Этика!.. Хватит такой этики! Эх, Сергей, Сергей, страхуешься. Постыдись! Не бойся шишек.

Решительно подошел к столику с телефонами, набрал номер.

— Живицкий? Привет. Что это ты маринуешь отчет о слете ударников коммунистического труда? Завтра? Ох и оперативность у вас! Шикович в редакции? Попроси его зайти ко мне.

— Что будем делать, Кирилл Васильевич? — спросил Тарасов, как только поздоровались.

— Надо печатать,— убежденно ответил Шикович.— Я уверен, отзовутся десятки людей, молчавшие до сих пор. Не понимаю, Сергей Сергеевич, чего мы боимся.

— Мы ничего не боимся. Но, может быть, стоит еще поискать.

— Такая публикация — довольно распространенный и эффективный метод поисков.

Тарасов на минуту задумался. Открыл сейф, достал листки, которые перечитывал полчаса назад.

— Хочу показать тебе еще один документ. Из той же папки, с которой ты ознакомился у Вагина. Но тогда я посоветовал это вынуть.

Кирилл с непонятным волнением взял протянутые ему стандартные листы, сколотые скрепкой, и сразу посмотрел на вторую страничку, на подпись. Подпись, как и все остальное, напечатана на машинке: «С. Гукан, бывший комиссар партизанской бригады имени Чапаева, секретарь Сталинского райкома партии». Дата: 16.X.1945 года.

Это была копия заявления в органы государственной безопасности. Оно начиналось словами:

«Мне стало известно, что в город из Германии, где она пробыла около двух лет, вернулась дочь врага народа и предателя, фашистского прислужника доктора Савича С. А.— Савич Софья Степановна».

Прочитал это Кирилл и почувствовал, как кровь больно ударила в виски и в темя. Пересохло в горле. Он глотнул воздух.

Тарасов как будто углубился в газету, но незаметно следил за выражением лица Шиковича.

В заявлении давалась характеристика Савичу. Он не только служил в немецкой управе, он еще, оказывается, провокатор. Имел связь с некоторыми под-

польщиками. С одним из партизанских отрядов, с каким — не говорилось. Но в результате его «подпольной деятельности» один за другим проваливались и гибли наши люди, срывались ответственные операции. Подпольная организация вынесла предателю-провокатору Савичу смертный приговор.

Дальше Гукан писал, что дочь жила с отцом, человеком состоятельным, вела его хозяйство и была в «близких отношениях» с гитлеровскими офицерами, которые проживали «в гостеприимном доме Савича».

— Подлость! — возмущенно бросил Кирилл, окончив читать.

— Не кипятись.— Тарасов придвинул ему пачку папирос.— Было время всеобщей сверхбдительности.

— Но ведь можно было выяснить, с каким «комфортом» они вывезли ее в Германию и где там держали.

— Это, пожалуй, можно было выяснить, но, очевидно, не хватало времени. Многовато было таких дел.

Шикович прикурил и жадно затянулся.

— Спасибо, Сергей Сергеевич. Для меня в этом документе важней другое. Почему Гукан раньше ничего не говорил о том, что Савич был связан с подпольщиками? С кем конкретно? И с отрядом... С каким? Не сказал ни тогда, когда мы писали книгу, ни теперь, когда я пришел к нему с записками Варавы. Почему?

— Вот и попробуй выяснить — почему? В психологическом плане,— чуть заметно улыбнулся секретарь горкома.

— Можно сказать ему об этом? — спросил Кирилл, протягивая заявление Гукана.

— Лучше не сразу. Такой лобовой ход вряд ли поможет установить истину.

— Придется ждать, пока Ярош разрешит поговорить с Савич. Может быть, она что-нибудь прояснит.

Ярош широко размахнулся. Застрекотала катушка. Блесна, сверкнув на солнце, шлепнулась на середине реки. Ярош дал блесне потонуть, и течение отнесло ее и леску еще дальше. Наконец он начал кру-

тить катушку, медленно-медленно. Катушка чуть слышно попискивала.

Кирилл стоял шагах в пяти. С обрыва, забрасывая блесну своего спиннинга в мелкую воду, с интересом следил, как серебристо-красный лепесточек то ложится на желтый песок, то выскакивает на поверхность.

«Сейчас зацепится,— думал он, глядя на друга.— Блесна ползет по дну». Почему-то хотелось, чтоб у Яроша зацепилась и оборвалась леска. Ему осточертело это бесконечное забрасывание.

Солнце из-за реки слепило глаза. Легкий ветерок шелестел лозняком. Посидеть бы в тени под стогом и поговорить.

Блесна Яроша, не задев ни одной водоросли, заиграла на мели.

«Черт!» — выругался про себя Шикович.

Ярош опять так же ловко размахнулся, далеко закинул блесну и снова молча вел ее все с той же задумчивой неторопливостью. Кирилл не выдержал.

— Чего ты молчишь?

— Думаю,— ответил, не обернувшись, Антон Кузьмич.— Я, кажется, начинаю видеть смысл в том, что ты делаешь. После твоего рассказа...

— Слава богу, наконец-то дошло до твоих заспиртованных мозгов. Ты должен завтра же разрешить мне побеседовать с Зосей!

— Нет! — Ярош быстрее погнал блесну.— Нет! Ты — как азартный игрок. Тебе только бы скорей выиграть. А у меня жизнь человека. Я не играю жизнью.

— Ты холоден, как эта щука! — кивнул Кирилл назад, где в траве судорожно раздувала жабры, задыхаясь на воздухе, светлая речная щучка, пойманная, как ни странно, Шиковичем.

Неожиданная удача друга разожгла рыбацкий азарт Яроша.

— Не хвастай своей щукой. Дрянь щучка. А главное, все равно дома не поверят, если я не подтвержу.

— Пошел ты... Эскулап! Коновал!

— Мыло, ошень мыло,— беззлобно бубнил Ярош, снова закидывая блесну.— А ты знаешь, что коновал весьма тонкая профессия?

— Антон, ты меня своим дурацким спокойствием доведешь до того, что я сегодня напьюсь.

— Попей водички.

— А-а, черт! Дулю ж ты у меня съешь, а не уху! — И, швырнув в траву спиннинг, Кирилл с воинственным видом направился к щуке.

Ярош кинулся ему наперерез, схватил за руки.

— Э! Что ты дурак, я знаю, но выкинуть такую щуку!

Шикович хотел подставить ему ножку, но Антон Кузьмич легко поднял своего пятипудового друга, потащил к обрыву.

— Остужу я твою горячую голову.

— Погоди. На том берегу люди. Нарочно потону — тебя посадят.

Ярош опустил Кирилла на землю. Они уселись на мягкой траве, свесив ноги с обрыва. И так, уже серьезные, беседуя, просидели, пока с неба не полилось в реку расплавленное золото заката.

18

Маша влетела в палату веселая, возбужденная. Подбежала к постели Зоси, присела, осторожно обняла ее.

— Ура, Софья Степановна! Чудесная кардиограмма! Все эти лысые дяди — консилиум — поздравляют Антона Кузьмича. Блестящая операция. Редкая! Скоро мы с вами будем танцевать. Вы любите танцевать?

Большие Зосины глаза вдруг наполнились слезами.

— Что вы? — испугалась Маша.

— Ничего,— Зося вытерла слезы уголком простыни.— Это я так. Я любила танцевать. Но я была школьница. Меня не пускали на вечера. Только в драмкружок.— Она печально улыбнулась.

«Боже мой! Ведь эти двадцать лет она как будто и не жила,— ужаснулась Маша.— И сейчас еще у нее

грустные глаза. Если б я знала, чем ее порадовать!»

— С завтрашнего дня за вас возьмется врач лечебной физкультуры.

Зося в знак благодарности чуть заметно кивнула.

До операции она была более разговорчивой и любопытной. А теперь точно боится заговорить, потерять медленно возвращающееся к ней ощущение здоровья.

Действительно, Зося с каждым днем чувствовала прилив новой силы, давно уже забытой, и ей было хорошо и... страшно. Никогда, ни в гестапо, ни в лагере, ни перед операцией, у нее не было таких приступов страха, какие приходят иной раз теперь. Часто снилось, что у нее опять больное сердце, что ей опять не хватает воздуха, и она просыпалась в холодном поту и прислушивалась к себе. Ну вот, сердце снова лихорадочно колотится. Но проходят минуты, и оно начинает биться ровнее, спокойней. Ей хочется рассказать про свой страх Антону Кузьмичу или Маше, но она не решается, суеверно боится — не спугнуть бы словами эту чудесную силу.

С благодарностью Зося глядит на Машу, любуется ее золотыми ресницами и такими же необыкновенными волосами и едва сдерживается, чтобы не сказать, как полюбила ее. Но почему-то и эти слова она боится произнести. А Маша тоже завороженно, с нежностью, как на ребенка, смотрит на Зосю, ищет, чем бы развеселить ее, и мучается оттого, что ничего не может придумать. Изредка они улыбнутся друг другу глазами, взглядом признáются друг другу в любви.

— Софья Степановна, хотите я вам почитаю стихи? Антон Кузьмич любит Блока, и у него в кабинете лежит томик.

Зося чуть заметно кивнула головой и закрыла глаза.

Обрадованная Маша побежала за книгой. Она не видела, как Зося вздрогнула от этого неожиданного предложения. Блока любил ее отец и читал ей, когда она была маленькой. Мать не очень одобряла это, она предпочитала Маяковского. Они по-разному воспитывали ее, мать и отец. Мать, например, чтоб научить ее плавать, однажды столкнула с лодки на середине

реки и так напугала отца, что у того чуть не сделался сердечный припадок. В девятом классе Зося тоже полюбила Блока.

После войны она редко думала о матери. А когда Маша сказала о Блоке, почему-то вспомнилась мать, и сердце ее, еще не зажившее, сжалось и защемило забытой болью. Мать погибла в Польше, у жены ее брата есть извещение, в каком городе она похоронена.

Зося подумала: «Когда я совсем поправлюсь, то соберу денег и съезжу на ее могилу». И вдруг снова страх: «Неужели меня не пустят на могилу матери?»

Вспомнила, что, вернувшись из Германии, она не могла разыскать могилы отца, хотя знала, где его похоронили, и ей захотелось плакать. Она пыталась удержаться и не справилась — заплакала по-детски, навзрыд. Соседка, тоже послеоперационная, слабым голосом спросила:

— Чего вы? У вас же все так хорошо! — Сама она догадывалась, что ей вырезали раковую опухоль, и с ужасом думала, что это не избавление.

— Пожалуйста, не обращайте внимания.— Зося всхлипывала и утиралась простыней.

Вот и этого никогда не бывало до операции, больное сердце ее оставалось ко всему безучастным.

Маша, вернувшись и увидев подругу в слезах, испугалась. Но та успокоила ее.

— Да нет, ничего, Маша, славная вы моя. Я просто вспомнила... Мой отец любил Блока.

Об ее отце Ярош запретил говорить, и Маша, чтоб избежать этой темы, наугад раскрыла томик и начала читать:

В сыром ночном тумане
Все лес, да лес, да лес...
В глухом сыром бурьяне
Огонь блеснул — исчез...
Опять блеснул в тумане,
И показалось мне:
Изба, окно, герани
Алеют на окне...

Одно стихотворение, второе, и вдруг заметила, как озарилось Зосино лицо. Не видела она еще у нее такой улыбки. Невеселые стихи, а грусть из глаз ушла.

Из больницы Маша выбежала в приподнятом настроении. Светило нежаркое уже августовское предвечернее солнце. Шли по улице люди, одни медленно, другие торопливо. Проносились автобусы, «Волги» и «Москвичи».

Маша любила свой город. Любила гулять в парке, который считается лучшим в республике. Но одной все-таки скучно. Встретить бы кого-нибудь веселого! Она вспомнила о Славике. Она думала о нем и раньше. И о Тарасе. Об обоих. Втайне ждала, что они захотят продлить знакомство.

Но ребята не проявляли инициативы. Славик, конечно, несерьезный субъект. Балаболка и нахал. Но Маша не могла забыть, как он с первого взгляда пришел от нее в восторг. Никто еще так не восхищался ею. Чаще ей приходилось слышать: «Гляди, какая рыжая пошла!» А она обыкновенная девушка из полесской деревни, и ей, как всякой девушке, приятно было услышать его пылкий комплимент. Кроме того, она чувствовала себя виноватой за пощечину. Не такая уж она кисейная барышня, чтоб так отвечать на глупую болтовню. Да, она не прочь была бы встретиться с ним. Но девичья гордость не позволяла сделать первый шаг. А тут ей вдруг захотелось выкинуть что-нибудь сумасбродное, озорное.

Пообедав в кафе, она пошла в парк. Разменяла у продавщицы газированной воды пятикопеечную монету, попросила «две по две». Плотно закрыла дверцы будки автомата. Узнала по 09 телефон Шиковича.

— Алло! — прозвучало в трубке. Она не ответила.— Алло! — крикнул Славик.— Что? Проверяешь, есть ли кто дома? К сожалению, браток, есть — я. Верный сторож отцовских миллионов. И имей в виду, вооруженный атомной пушкой. Но если ты одолжишь мне пять рублей, меня здесь не будет. Залезай, грабь. Хрен с ними, с миллионами!

Маша едва удержалась, чтоб не расхохотаться от этой тирады, обращенной к неведомому абоненту. Проглотив смех, она пискнула:

— Владислав Кириллович!

— О-о! — Видно, его удивил женский голос и такое неожиданное обращение.— Хм... действительно,

это, кажется, я Владислав Кириллович. Я слушаю вас.

— Одна ошоба ждет ваш у входа в парк,— прошамкала Маша.

— Сколько ей лет, ошобе этой?

— Шестьдешят.

— Самый мой любимый возраст! — засмеялся юноша.

— Если вы не будете через пятнадцать минут, много потеряете,— сказала Маша обычным голосом и повесила трубку.

Славик был уверен, что это кто-нибудь из знакомых девушек решил над ним подшутить. Но он никогда не боялся оказаться в смешном положении. Он скучал в пустой квартире, без денег и обрадовался случаю хоть чем-нибудь развлечься. Через десять минут Маша увидела его на площадке у входа в парк. Она стояла по ту сторону ограды за книжным киоском и тайком наблюдала. Он шел медленно, засунув руки в карманы голубых брюк. Несколько настороженно озирался. Прошел до ворот и обратно, заглядывая в лица девушек, потом пожилых женщин, наконец и старушек не стал пропускать.

Машу это смешило. На нее поглядывали с любопытством. Одна, а такое лукавое выражение лица, такие чертики в глазах.

Так она помучила его минут пятнадцать. И только увидев, что терпение его истощилось и он решительно направился в парк, пошла навстречу — к входу. Шла торопливо, смотрела по сторонам — на портреты передовиков производства. Была уверена, что он мимо не пройдет. Действительно, услышала его радостный возглас:

— Маша!

Она остановилась, сделала удивленный вид, словно не узнавая его. Он протянул руку. Она не подала своей. Но Славик не смутился.

— Это ты звонила мне?

— Я звонила вам? И не думала! Много вы о себе воображаете, товарищ Шикович.

— Какая-то старушенция назначила мне свидание.

— Вот и дожидайтесь вашей старушенции.

— На какого дьявола она мне сдалась? Я рад, что встретил... вас,— Славик вдруг утратил смелость и перешел на «вы». Сейчас Маша казалась ему красивее, чем там, на даче. Хорошо бы, Маша осталась с ним, пошла в парк! Пусть бы увидели его прежние друзья и позавидовали: какая девушка!

Но Маша взглянула на часы, как бы давая понять, что спешит. Он несмело взял ее за руку.

— Вы все еще обижаетесь на меня? Я прошу прощения. А я не в обиде на вас за пощечину. Готов получать по пощечине каждый день, только бы быть с вами. Пойдем погуляем.

— Чтобы вы опять сказали какую-нибудь гадость?

— Клянусь. Я откушу себе язык, если с него сорвется хоть одно непристойное слово.

Маша улыбнулась. Все-таки он забавный. С ним не соскучишься. Это как раз тот человек, с которым ей хотелось встретиться в сегодняшнем ее настроении.

— Грести умеете? Покатаете на лодке? — неожиданно для Славика весело и просто спросила Маша.

Славик уже не рад был, что она согласилась: у него в кармане оставалась только какая-то жалкая мелочь. О, какими эпитетами награждал он в тот миг отца, который не давал ему ни копейки. Да и товарищей по бригаде припомнил: «Сами, гады, по две сотни выколачивают, а мне дали аванса ученических пятнадцать рублей. Вот тебе равенство и братство!..»

Он хлопнул ладонью по нагрудному карману своей модной, навыпуск, желто-голубой рубашки.

— Черт, забыл захватить деньги. И документ.

Маша спрятала улыбку, вспомнив его признание по телефону, адресованное воображаемому грабителю.

— У меня есть деньги,— она показала на сумочку и пошутила, неожиданно переходя на «ты»: — Я буду тебя эксплуатировать.

— О, с вами я согласен плыть хоть до Черного моря. Вы будете моим солнцем и маяком.

— Пошли,— сказала она.— А то на нас обращают внимание.

Славик только теперь заметил, что они стоят на самом проходе к воротам парка, что вокруг много народу и что он говорит, пожалуй, слишком громко.

Лодки были в разгоне. Пришлось ждать. Маша попросила подержать сумочку, сбросила босоножки и пошла по отмели. Зайдя поглубже, она чуть приподняла платье, и Славик любовался ее ногами в золотых каплях родинок. Он стоял на берегу притихший, с сумочкой в руках и с каким-то сладким страхом ощущал, как из головы его уходят те скептически-насмешливые слова, которые он держал в запасе на все случаи и которыми очень ловко умел отгородиться и от серьезного и от смешного. Он подумал, что друзья, наверное, посмеялись бы над ним, если б увидели сейчас в роли сторожа дамской сумочки, словно он верный муж строгой жены. Но знал, что если б Маша сунула ему еще и босоножки, он с радостью держал бы и их, не боясь никаких насмешек. Чего не сделаешь для такой девушки!

Она брызнула на него водой. Он отскочил.

— Снимай ботинки!.. Закатай свои модные брюки и лезь в воду. Так приятно!

— Мы на лугу искупаемся. Ладно?

— У меня нет с собой купальника.

Любой другой девушке он, наверно, сказал бы: «Тем лучше». Или что-нибудь в этом роде — об условностях и пережитках. А Маше не решился. Нет, не из-за пощечины. Сдерживало что-то другое. Он уже даже начал злиться на себя: рассиропился! С нетерпением ждал лодки, проклиная тех, кто проплывал мимо.

«Какого черта ездят! Ишь, тумба какая! Еще за весла села. Чтоб ты перевернулась!»

Прошла моторка, и волны, облизав Машины ноги, покатились на песок. Девушка повернулась лицом к солнцу, подняла руки, поправляя волосы.

— Посмотри, как хорош отсюда железнодорожный мост. И легкий-легкий. Кажется, можно взять его на руки и понести. Тебе не хочется?

— Нет, мне хочется тебя взять на руки.

Она погрозила пальцем.

— Договорились, что ты не будешь балаганить. Я не люблю.

А он вовсе не балаганил. Ему действительно в этот миг нестерпимо захотелось подхватить ее на руки и

унести прочь от глаз людских в неведомую даль, где они могли бы остаться одни.

Наконец они получили лодку...

Славик, обрадовавшись и желая показать свою силу, сразу от мостка так лихо заработал веслами, что чуть не врезался в другую лодку.

— Осторожно! — крикнула Маша — она сидела на корме.— И не туда. Туда,— показала вверх по течению.— Я же сказала, что буду эксплуатировать тебя.

— А я хотел до самого Черного моря.

— Нет, лучше уж до Балтийского. Верст триста волоком по суше. Так делали предки. Они были истинными рыцарями. Не то, что теперь.

Славик, не слишком тренированный гребец, скоро почувствовал, как нелегко грести против незаметного, а на деле довольно сильного течения реки. Медленно проплыли заросшие кустами черемухи и калины обрывистые берега, строения и дебаркадеры пристани с закопченными усталыми пароходиками у причалов. На высокой круче над пристанью за старыми тополями белели дома новостроек.

Модная рубашка Славика взмокла и измялась. Пот заливал глаза, но он не бросал весел. Все больше злился на себя: никогда еще ему не приходилось выступать перед девушкой в таком глупом виде. На какое-то мгновение вспыхнуло желание отомстить этой рыжей чертовке за свое унижение.

«Вытри пот, дурачок!» — весело и ласково думала Маша. Настроение у нее стало еще лучше. Не пропал зря вечер. Будет что вспомнить. И рассказать. Кому? А может быть, завтра Софье Степановне?

— Слава, спой что-нибудь.

Это звучало уже почти издевательски: петь еще не хватало!

— Я пою только пьяный,— прохрипел юноша без улыбки.

Она поняла, что терпение его на исходе, и скомандовала:

— Право руля. К тем кустам. Отдохнем.

Славик оглянулся и поднял левое весло. Лодка круто повернула к берегу, ткнулась носом в травянис-

тую кочку. Он, сложив весла, выскочил первым, втащив нос лодки на берег. Она, сходя, подала ему руку. Он резко потянул ее к себе, подхватил на руки, часто дыша, пытался поцеловать, не обращая внимания на то, что мимо проплывали другие лодки.

Маша отталкивала его голову, губы. Он поцеловал холодную, сухую от частого мытья спиртом и эфиром ладонь. Девушка выскользнула из его объятий. Отскочила. С недобрым взглядом Славик шагнул к ней. Она не отступила. Стояла в воинственной позе, заложив руки за спину.

— Ну!.. Попробуй! Получишь такую оплеуху, что полетишь в воду. Мальчишка! Когда-нибудь тебе крепко попадет за твои глупые шуточки.

Она с опаской обошла его, вскочила в лодку, села за весла.

— Оттолкни.

Лодка закачалась. Славик стоял позади, удерживая равновесие, дышал ей в затылок, в золотые косы. Как ему хотелось поцеловать их! Что за дьявольщина! Никогда еще ему так не хотелось поцеловать девушку, хотя целовался он со многими. Она как бы отгадала его намерения.

— Проходи на корму. Но ко мне не прикасайся, а то будешь за бортом,— подвинулась на лавочке, наклонилась в сторону.

Но когда лодка, которую кружило течение, покачнулась, схватила его за руку, поддержала.

Она направила лодку не вниз, а тоже вверх и гребла легко, ровно, споро. Славик надулся, уже всерьез раздумывая, как бы ей насолить.

Но она сказала просто, дружески:

— Ты, дурень, чуть не испортил мне настроение. А у меня сегодня так хорошо на душе!

— Отчего это?

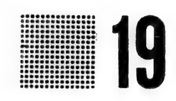
— Не знаю. Был консилиум у Савич. Замечательная операция! Антона Кузьмича поздравляли.

— А кто этот Савич?

— Этот! Софья Савич, а не этот! Неужели ты ничего не знаешь? — удивилась Маша.— Тебе Ярош не рассказывал?

— Ты думаешь, я с Ярошем каждый день чай пью?

— А отец твой?
— Отец озабочен только моим перевоспитанием.
— О, я тебе расскажу.
Она повернула лодку вниз по течению и, почти не двигая веслами, только направляя, чтоб не сносило, начала рассказывать, что знала, о Зосе, об ее отце, о Ярошe. Славик слушал задумчиво, забыв о своей обиде. Когда она дошла до операции, он недоверчиво спросил:
— Ты сама видела, как он добрался до сердца?
— Чудак! Я операционная сестра. Ты знаешь, что делает операционная сестра?
Ему стало стыдно своего вопроса.
Ее рассказ не только заинтересовал его, а как-то совсем с новой стороны открыл ему Машу. Раньше он смотрел на нее как на необычную, по-особому интересную девушку, красивую и веселую, с которой приятно провести время. Теперь явилось уважение к ней — такое же, как к Ярошу, Тарасу, ко всем, кто делал полезное для людей дело, имел твердые взгляды на жизнь.
Машу удивило и, кажется, немножко разочаровало, что Славика вдруг будто подменили. Он стал серьезен, кроток и вежлив. Может быть, поэтому поздно вечером возле ее дома она не вырвала руки и не рассердилась, когда он на прощание сжал ее пальцы, наклонился и поцеловал их.
Ей был приятен этот поцелуй.



19

А на следующий день ей позвонил Тарас. В больницу. Она только что кончила с хирургом Лопатиной операцию. Дежурная по отделению сестра позвала ее к телефону, с таинственным видом сообщив:
— Третий раз звонит.
Маша подумала, что это Славик, и пошла, не-

довольная, сердитая, собираясь хорошенько пробрать его.

И вдруг совсем другой голос, невнятный от волнения:

— Маша? Маша! Я прошу меня извинить. Может быть, оторвал вас от работы? Простите. Это Тарас... Маша... Помните? Ну, Гончаров.

Она сдержанно поздоровалась:

— Здравствуйте, Тарас.

Он даже засмеялся от радости, что она помнит его.

— Здравствуйте, здравствуйте... Маша! Вы простите,— и вдруг выпалил на одном дыхании: — Я приглашаю вас на концерт Государственной капеллы в клуб Ленина. Сегодня в восемь.

Она онемела от неожиданности. Вспомнила, что обещала Славику встретиться с ним. Она вовсе не была такой ветреницей, чтоб водить за нос двоих сразу. Правда, за ней раньше не очень-то и ухаживали. «Этакая рыжуха!» А тут два таких парня! Кого же выбрать? Отказаться от встречи с Тарасом, да еще и от концерта, на который невозможно достать билет? Нет, нет, нет! Тарас занимал ее мысли больше, чем кто-либо другой. Славику можно позвонить. Нет, не надо и звонить. Пускай побродит по парку. Он слишком самоуверен. Пусть не воображает. Ей стало смешно, когда она представила, как Славик будет ее искать.

Ответила весело, громко:

— Спасибо, Тарас. Я с удовольствием пойду с вами. Где мы встретимся?

— Где хотите.

— На пешеходном мосту. В половине восьмого. Ладно?

Она положила трубку и веселыми глазами оглядела своих коллег — молодого врача и двух сестер.

— Кто этот Тарас? — спросила одна из них.

— Сын Яроша.

— Антона Кузьмича? О-о!

— Ничего себе!

Маша засмеялась. Она, наверно, смеялась бы еще больше, если б знала, что произошло на заводе.

Славик явился на работу такой счастливый, будто за ночь освоил все тайны сборки и занял место бригадира или даже начальника цеха. До гудка угощал ребят «Казбеком».

— Ого! Не получил ли ты наследство? — пошутил Костя.

Славик, между прочим, бросил Тарасу:

— Тебе привет.

— От кого?

— Отгадай.

— Что мне гадать!

— От Маши.

— От той?

— От той.

— Где ты ее видел?

— Встретил на улице. Она спрашивала о тебе.

Он не соврал, Маша и в самом деле спрашивала у него о Тарасе.

Костя сразу же, как только Славик отошел, накинулся на своего бригадира:

— Ну что, не говорил я тебе? А ты — во! — Он крепко и сердито постучал себя кулаком по лбу.— Я ж видел, что она глаз с тебя не спускала. До сих пор не встретиться! Голова с ушами! А еще в армии служил. Помрешь ты холостяком.

Тарас не обижался и не возражал. Он думал о Маше. Ему очень хотелось увидеться с ней. Но как это сделать?

— Знаешь что,— предложил между тем Костя.— Я отдаю тебе свой билет на сегодняшний концерт. Пригласи ее.

— Как?

— В двадцатом веке существует телефон, мой мальчик. Если ты боишься, я позвоню от твоего имени.

Редко случалось, чтоб Тарас отрывался от работы. А тут вдруг исчез перед обедом на добрых полчаса.

В цех вернулся сияющий. Шепнул Косте:

— Пригласил.

— Пойдет?

— Ага.

— Ну что, не говорил я тебе? Заяц! Будешь неделю поить меня пивом.

Но самое смешное, что Косте не пришлось жертвовать во имя дружбы билетом. От концерта отказался Славик. С постным видом сказал:

— Мать просила зачем-то приехать на дачу. Хлопцы, кому нужен билет?

— Дай мне,— подскочил Костя.— У меня сестра гостит. Сама в колхозном хоре поет. Давно рвется послушать капеллу.

Перед концертом Маша отправилась в лучшую парикмахерскую города, первый раз в жизни сделала прическу. С волнением ждала вечера, встречи с Тарасом. Они смущенно поздоровались, молча дошли до театра, где их ждали ребята — все в хороших костюмах, крахмальных рубашках, совсем непохожие на тех, которых Маша видела на даче у Яроша. Ее встретили шумно, как старую знакомую, а она никак не могла отделаться от непонятного смущения.

Только усевшись в кресло между Тарасом и женой Лопатина, перестав ощущать на себе любопытные взгляды, успокоилась.

Сперва Маше показалось, что поет не хор, что поют где-то там, за сценой, на улице, в поле — ей не приходилось прежде слушать капеллу. Но вот песня разрослась, приблизилась, и стало видно, что поют хористы. Маша слушала, завороженная, но мысли проносились, как искры, то в одиночку, то роем, угасали одни, вспыхивали другие. Веселые — вспомнила Славика. Грустные — и она уже не видит сцены, хора; перед затуманенным взором встает мать: вот она, вернувшись с колхозного поля, гнет спину на огороде. Вечно в труде! На мгновение девушке становится стыдно: мать ужаснулась бы, если б узнала, сколько она потратила на такую ерунду, как прическа. Важная барыня! «Рыжуха этакая!»

«Завтра пошлю вам денег, родные вы мои,— обращалась она к матери и младшим сестре и брату.— Не обижайтесь на меня, я не такая плохая. Я люблю вас».

Потом подумала, что она понимает каждый жест дирижера. Они, как у Яроша. Такие же точные. Одно

неправильное движение, одна ошибка — и смерть: там — человеку, здесь — песне.

В антракте она вышла из зала грустная, задумчивая, молчаливая. Ребята неустанно вертелись вокруг, всячески стараясь помочь Тарасу развеселить ее. Вера даже приревновала своего Лопатина и увела.

В буфете ее угощали шампанским, мороженым и шоколадными конфетами.

Она спросила:

— Это вся ваша бригада, Тарас?

— Нет. Еще Славик.

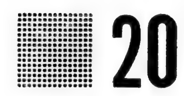
— Какой Славик? Тот? — удивилась она.— Он разве у вас?

— Взяли учеником. Хотим сделать из него человека,— усмехнулся Ходас.

— А где он сейчас?

— Мать позвонила. Поехал на дачу.

Маша расхохоталась, даже шампанское пролила. Они не знали, чему она смеется, но сами тоже засмеялись.



20

Гукан испытал что-то похожее на испуг, когда секретарша сообщила, что к нему пришли Ярош и Шикович. Зачем-то поднялся с кресла, стал перебирать бумаги, как бы отыскивая срочно необходимую.

— Скажите, что я занят.

Это была правда: неотложные дела, совещания шли в тот день одно за другим. Но он тут же сообразил, что не принять Яроша, депутата горсовета, председателя комиссии, и Шиковича, тоже депутата, было бы неприлично. Можно отложить разговор, если он у них долгий, но не впустить в кабинет...

Он остановил секретаршу:

— Нет, нет... Пускай войдут. Пожалуйста, — сказал торопливо, растерянно, а сам думал: «Вдвоем. Без звонка. Не предупредив. Что им надо?»

Заместитель его, Кушнер, с которым они работали над письмом в Госплан, встал, чтоб уйти. Гукан и его остановил:

— Останься.

Направился к двери, широко раскинув руки, словно торопясь обнять еще не вошедших гостей.

— Кого я вижу! —воскликнул он, когда в дверях появилась могучая фигура Яроша.— Прошу, прошу. А то вы, Антон Кузьмич, председатель комиссии, а в горсовет заглядываете редко. Да и ты, Кирилл, давно уже не был,— пожимая руку Шиковичу, улыбался Гукан.— Все ездишь? Ищешь героев?

— Ищу,— почуяв скрытую иронию в этих словах, подчеркнуто серьезно ответил Шикович.

— Прошу, прошу,— показал на мягкие кресла у рабочего стола Гукан.

Ярош и Шикович поздоровались с Кушнером, сели друг против друга в кресла. Гукан, переждав, посмотрел на большие часы, стоявшие в углу, словно давая понять, что на длинные разговоры у него времени нет. Спросил полушутя:

— Какие заботы свели вместе медицину и литературу?

Ярош сказал прямо, без предисловий:

— Семен Парфенович, надо помочь одному человеку.

— Надо — поможем. Если ходатайствуют два депутата...

— Женщине,— сказал Шикович, глядя председателю в глаза.

Гукан все время, с самого их прихода, чувствовал, что Шикович не сводит с него глаз, и этот пристальный взгляд — «Чего он уставился?» — нервировал его.

— Тем более необходимо помочь.

— Нужна небольшая, однокомнатная, но отдельная квартира.

Гукан тихо свистнул.

— Товарищи дорогие, депутаты мои, вы не в курсе наших квартирных дел.

— Женщина в больнице. После тяжелой операции...

— На сердце,— подсказал Шикович, разглядывая на этот раз руки Гукана, в которых тот вертел толстый зеленый карандаш.

— Еще одна операция на сердце? — заинтересовавшись, спросил Кушнер.— Что у нее, никого нет родных?

— Нет.

— А где она жила до операции?

— Снимала угол. На окраине. А теперь ей необходимо медицинское наблюдение.

— Конечно,— согласился Кушнер и покачал головой: — Случай тяжелый. Надо нам подумать, Семен Парфенович.

Гукан придвинул к себе большой настольный календарь, нацелился в него карандашом.

— Как ее фамилия?

— Савич, Софья Степановна,— быстро проговорил Шикович, в упор глядя на председателя.

Карандаш дрогнул. Набрякло узкое лицо и тут же опало — щеки отвисли. Отхлынула кровь от глубоких залысин. Гукан слишком долго не поднимал глаз. А потом опомнился: что-то вроде печальной усмешки искривило его губы.

— Это не того Савича?

— Того,— жестко ответил Кирилл.

— Она прописана у нас в городе? — Голос Гукана звучал бесстрастно.

— Четыре года живет. И работает.

Гукан поднялся, выпрямился во весь рост, будто взобрался на пьедестал, засунул руки глубоко в карманы брюк. Сказал официально:

— Что ж... Посмотрим. Может быть, поставим на очередь.

— Не будь бюрократом! — почти угрожающе сказал Шикович.

Гукана оскорбили не столько слова, сколько тон: как «писака этот» разговаривает с ним!

— Дней через десять Савич можно выписать,— спокойно произнес Ярош и наступил другу на ногу, чтоб тот держал себя в руках.

— Через десять дней, Антон Кузьмич, и речи быть не может.— Гукан обращался теперь только к хи-

ургу.— Что вы! Да еще отдельная... И квартир таких нет — на одного человека. Существуют государственные нормы.

— Тогда она займет свой дом. Судебного решения о конфискации имущества нет. Дом принадлежит ей,— сказал Шикович, глядя на этот раз не на Гукана, а на Яроша.

— Ясли? — на миг остолбенел председатель, а потом широко взмахнул руками, точно журавль на взлете крыльями, и закричал, казалось, даже обрадованно: — Чудесно! Чудесно! — И обращаясь к Кушнеру: — Ты слышал? Выбросим на улицу детей! Сотню детей! И отдадим дом, в котором, кстати, почти ничего не осталось от прежнего, он перестроен и надстроен нами с тобой. Отдадим этот дом — кому? Дочери...

— Вина Савича не доказана,— со злостью перебил его Кирилл.

Гукан вышел из-за стола и остановился перед Шиковичем.

— Нет, товарищ Шикович, доказана! Очень даже доказана! Всеми органами. И не думайте, что если вы нашли какую-то знахарку и она наплела вам сказок, так вы уже совершили переворот в истории подполья. Вы наивный человек, Шикович. Для меня теперь ясно, ради чего написана ваша статья. Как только появилась эта особа...

— Про особу эту ты помолчи.— Кирилл хотел сказать: «Кто, как не ты, загнал ее в Сибирь?», но Ярош снова толкнул его ногой.

Сейчас главная цель — квартира. Ярош дал себе слово любым способом вырвать для Зоси комнату, и ссориться с Гуканом совсем не входило в его планы.

— Не претендует она на дом,— сказал он.— Зачем ей этот дом!

— А вот коммунист, работник редакции, претендует.— Гукан отступил от Шиковича, повернулся к своему заместителю.— Ради этого он готов выбросить детей... Кого хочешь... Только бы доказать свое...

«Ох и демагог, собачий сын! Выдал бы я тебе»,— думал Шикович, но под выразительным взглядом Яроша молчал.

— А почему, собственно, мы не можем дать квар-

тиру этой женщине? — неожиданно для Гукана спросил Кушнер. Он не все понял в этом споре, но, человек честный, простой и принципиальный, почувствовал, что правда на стороне Яроша и Шиковича, что женщина эта имеет все права на квартиру.

— Ты можешь дать? — иронически полюбопытствовал Гукан.

— Могу,— с доброй улыбкой отвечал Кушнер.— Ровно через неделю речники сдают дом на Элеваторной. Напишем гарантийное письмо, они дадут, а мы им возместим. Такой случай!

— Ну, знаешь, я не могу идти на подобные шахер-махеры. Есть партийный и общественный контроль.

— Какие же тут шахер-махеры? Вынесем на исполком. Попросим товарища Яроша доложить. А я тем временем договорюсь с речниками. Они ребята хорошие, поймут.

Спокойная рассудительность Кушнера как-то сразу утихомирила всех. Даже Гукана. Но тут, забывшись, Кушнер высунулся в открытое окно и сорвал зеленый колючий каштан. И тогда Семен Парфенович закричал визгливым голосом:

— Не рви каштанов! Ободрал все дерево!



21

Ярош с Шиковичем стояли у широко открытого окна пустой комнаты, в которой пахло краской и цементом. Комната была на втором этаже. Но и отсюда за садами виднелась излучина реки и заречные сперва луговые, а дальше полевые и лесные просторы.

— Чудесно! — произнес Шикович после того, как они добрых пять минут молча любовались далями.

— Молодчина Кушнер! — отозвался Ярош.— Он выдержал главный бой.

— А ты молчал?

— Не молчал. Но когда началась борьба между

председателем и заместителем за голоса членов исполкома, трудно уже было вставить слово...

— Не было меня!

— Ты б только испортил дело. Я думал, ты флегматик, а ты африканец.

Маша, стоявшая в сторонке, повернула свою золотую голову, улыбнулась Шиковичу, как бы одобряя, что он такой — беспокойный.

— Нет, ты объясни, Антон... Кажется, все понимаю, а его поведения понять не могу. Ладно, допускаю: он убежден, что Савич враг... Хотя опять-таки, откуда такое нежелание серьезно разобраться в новых фактах? Такое упорство! А еще больше меня возмущает другое: что он имеет против этой несчастной женщины? Уж кому-кому, а ему-то вбивалась формула, что дети не отвечают за отца.

— Формула! Ты скажи, зачем она нужна, такая формула? Почему, собственно, не отвечают? Тогда по логике надо идти дальше: и отец не отвечает за сына. Никто ни за кого не отвечает. А вот я, наивный человек, хочу отвечать за всех. И хочу, чтоб все отвечали за меня. И радуюсь, что это теперь записано в таком документе.

Маша не все понимала в этом разговоре. Ей была известна история Зоси и ее отца, но она не догадывалась, что история эта еще не окончена. Почему они так возмущены Гуканом? Особенно Шикович. Не хотел давать квартиру? А кому вот так, сразу, дают? Что-что, а о квартирных делах, пожив в городе, она достаточно знала, ежедневно слышала разговоры на эту тему, в которых часто упоминалось имя Гукана: одни его хвалили, другие ругали. Маша умела быть объективной. Думала, что если бы она добивалась квартиры и ей бы не дали, она не стала бы делать из этого такую трагедию, как иные. Поэтому и возмущение Кирилла Васильевича сперва ей не совсем было понятно. И только в последних его словах нашла разгадку. Главное — не квартира, главное — отношение к человеку.

Смотреть и устраивать Зосину квартиру Маша напросилась сама. Квартирка ей понравилась. Довольно просторная комната, маленькая, но уютная кухня,

где все под рукой: двухконфорочная газовая плитка, беленькая раковина, блестящий кран; повернул — и полилась вода.

Шикович, входя, сказал:

— Чуть повыше бы. Все-таки низко. Пора уже отказаться от таких габаритов.

Ярош достал рукой до потолка и засмеялся.

Ничего удивительного! С его-то ростом! А Маше все казалось превосходным. Она обрадовалась, когда мужчины похвалили вид из окна. Прошлась по комнате. Каблуки прилипали к свежей краске и, отлипая, потрескивали. Оставались чуть заметные следы.

— Пол надо бы помыть холодной водой,— и пожалела, что нет ведра и тряпки.

Потом они полдня ездили по городу, искали мебель. В сберегательной кассе, когда брали деньги, Кирилл признался:

— Ты знаешь, Антон, я ведь скупой. Но для нее мне почему-то ничего не жалко.

Машину он вел с веселым удальством. Ярош шутливо предупредил:

— Кирилл, моя жизнь не застрахована.

— Я где-то читал, что хирурги самые большие трусы. Больше всего боятся попасть под нож своего коллеги.

— Неправда! — серьезно и энергично запротестовала Маша.

Они объехали все мебельные магазины. И отовсюду выходили разочарованные.

Маша оказалась удивительно разборчивой. Ей никогда в жизни еще не приходилось покупать мебель. Но то, что они видели в магазинах, она отвергала решительно, с первого взгляда. Столы, шкафы, стулья были большие, неуклюжие, непривлекательные.

Ярош хмуро молчал. Шикович ругался с директорами.

— Не мы выпускаем, товарищ.

— Так не берите то, что не идет. Требуйте!

— А план?

— Да не живите вы сегодняшним днем. Один месяц не выполните, на следующий перевыполните, если получите то, что нужно.

Директора снисходительно и скептически улыбались: ничего, мол, ты не понимаешь, дорогой покупатель, в торговых делах.

Наконец один молодой продавец, которому, возможно, приглянулась Маша, потихоньку в тесном проходе между шкафами-бегемотами посоветовал ей:

— Съездите к Грабарю. На складе вы найдете то, что вам надо.

— А кто это Грабарь?

— «Гормебельторг».

Шикович сразу же загорелся.

— Идея! Стану лучшим доставалой из всех наших доставал!

— Ненавижу покупки по блату, через черный ход.

— Антон — идеалист! — засмеялся Шикович, разворачивая своего «Москвича». — Будет мебель. Будет и материал для фельетона.

В коридоре торгового управления Кирилл со смехом толкнул представительного Яроша к обитой дерматином двери.

— Заходи смело, солидно. Чтоб произвести впечатление.

Но ни смелость, ни солидность не оказали должного воздействия на «всемогущего Грабаря», маленького лысого человечка. Он не ответил даже на их приветствие и продолжал разговор с двумя своими работниками. Наконец недовольным тоном обратился к посетителям:

— Вам что, товарищи?

— Я Шикович,— сказал Кирилл и убедился, что фамилия его никакого впечатления не произвела. Беззлобно подумал: «Газет чертов торгаш не читает». Однако продолжал: — А это Ярош, наш знаменитый хирург.

Антон Кузьмич кинул на него сердитый взгляд.

Но — о чудо! — при имени Яроша маленький Грабарь почтительно встал, протянул руку.

— Знаю, знаю. Кто у нас не знает товарища Яроша! Приятно, очень приятно.

«Клюнуло»,— подумал Кирилл, подставляя другу стул. Сам сел рядом и тут же ринулся в наступление:

— Дело такое, товарищ Грабарь... У Антона

Кузьмича женился сын. (Ярош вздрогнул от неожиданности.) Парень возглавляет бригаду коммунистического труда на станкостроительном. Ему дают квартиру. Отец в подарок хочет обставить ее. Но, знаете, нужно приличное что-нибудь... Современное. Стиль. Чтоб не стыдно было.

— Понимаю. Все сделаю,— почему-то радостно пообещал Грабарь.

Яроша не раз уже удивляли выдумки Шиковича. Но эта его просто ошеломила. Он изо всех сил сдерживал смех, чтоб не показаться этим людям чудаком.

В тесном коридоре он дал другу тумака.

— А что ты ему будешь объяснять? Ищем стильную мебель для пациентки? Басни!

Они позвали Машу. И сам Грабарь повел их на склад. По дороге, кивнув на Машу, понимающе спросил:

— Невестка, товарищ Ярош?

Девушка от удивления раскрыла глаза.

Но Шикович так выразительно подмигивал ей, что она сообразила: что-то он сочинил.

На складе Маша сразу обратила внимание на гарнитур работы латышской фабрики, простой, красивый, как раз для одной комнаты: диван-кровать, низкий стол, разборная книжная полка, удобные стулья.

— О, у вас есть вкус! — одобрил Грабарь.— Я взял бы вас товароведом,— и почесал затылок.— Мы оставляли это для выставки-продажи. Но если уж такой случай, берите.

Выйдя на улицу, довольные покупкой, которую Грабарь обещал через час прислать, они расхохотались. Особенно смешило, что «мебельный начальник» счел Шиковича завхозом Яроша. Потом Машу пронзила мысль: может быть, этот хитрый и веселый Шикович знает, что она встречалась с Тарасом, а потому и выдумал такую историю? Нет, не похоже. И она успокоилась.

— Ну, Софья Степановна, пора домой,— весело сказал Ярош.

Зося ждала этого часа, а тут вдруг опять ее охва-

тил непонятный страх. Действительно, чего ей бояться?..

Пришло столько хорошего... Ярош еще несколько дней назад сообщил, что получили для нее квартиру почти в центре города. И Маша добавила весело: «Такая симпатичная квартирка. Сюрприз для вас». Вернулось здоровье. Встретились хорошие люди, она обрела друзей — чего же бояться? Однако страх не проходил.

Собирала вещи, переодевалась, и у нее дрожали руки, ноги.

— Слабенькая ты еще. Чего он тебя выписывает? — посочувствовала старушка санитарка.

Зося сама с радостью не уходила бы из больницы. Тут она со всеми и всем свыклась. А что ждет там?..

Лежа в больнице, она часто и подолгу размышляла о своем будущем. Понимала, чувствовала, что в жизни ее теперь многое изменится. Но какой она станет, ее жизнь — это представить было трудно. Часто пугала мысль: а сможет ли она жить по-иному?

Ей вспомнился разговор с Ярошем до операции.

Нет, она никогда не вернется в ателье, где работа казалась ей безрадостной, постылой. А что она умеет делать еще? «Профессию можно приобрести»,— сказал Антон Кузьмич.

Какую?

Зосе очень хотелось научиться делать то же, что и он, добрый, сильный, умный,— избавлять людей от страданий, спасать от смерти. Да, очень... Но, отрешившись от ночных грез, она, познавшая всю суровость жизни, прекрасно понимала, что у нее не хватит ни здоровья, ни средств, чтобы стать даже маленьким врачом. Ей тридцать шесть лет! А сколько надо учиться!.. Нет, ей хотелось сразу делать что-то полезное, нужное!

Иногда она думала о том, что страдания физические не самые страшные. Если бы научиться избавлять людей от страданий более тяжких — душевных!

Но такой профессии Зося не знала...

Проводить ее вышли врачи, сестры, санитарки, ходячие больные. Они знали о ее судьбе, об операции.

Некоторых, правда, привлекало другое: больную выписывает и забирает сам Ярош.

«Сколько хороших людей!» — подумала Зося и, растроганная, заплакала: давно уже не приходилось ей так расставаться с людьми, с которыми сводила судьба.

Маша взяла ее за руку, сказала провожающим строго:

— Хватит! — А Зосе: — Вам нельзя волноваться,— и повела к центральной аллее, где их ожидал синий «Москвич».

Ярош стоял возле машины. В хорошо сшитом, отутюженном сером костюме он был совсем не тот богатырь-волшебник в белом халате, которого в больнице все любили и боялись. Он даже показался не таким высоким и сильным и улыбался не так, как в палате,— проще, теплее.

Она вдруг отчетливее, чем когда-либо прежде, увидела сейчас в нем того до дерзости смелого, веселого Виктора, которого прятала на чердаке много лет назад. И улыбался он, как тогда, и почти так же немного смутился. Она тоже улыбнулась, и — удивительно! — страх ее как рукой сняло. Антон Кузьмич взял из ее рук узелок, сказал опять-таки совсем не так, как в палате:

— Поздравляю. Больница у нас хорошая, но лучше в нее не попадать.— Он открыл заднюю дверцу, а сам пошел садиться за руль.

— Разве Кирилла Васильевича нет? — оглянулась Маша.

— У него вчера отняли права за превышение скорости. Сегодня отправился объясняться с инспекцией.

Маша засмеялась.

— Это я накаркала. Помните, сказала: «Отнимут у вас права». А он: «Типун вам на язык!»

Почему-то хорошо стало Зосе от этого их шутливого разговора о человеке, которого она знала только по рассказам Маши: как он упал в обморок на операции.

Машина развернулась и выехала за ворота. Зося бросила последний взгляд на больницу, но уже без

сожаления, без желания остаться там. Ярош вел машину осторожно, медленно. Зося залюбовалась городом, почти незнакомым, новым. Хотя жила она здесь уже четыре года, но редко ездила со своей далекой окраины в центр... Она смотрела на молодые липы, каштаны, сердце ее полнилось здоровой, незнакомой или давно забытой радостью. И она улыбалась, не подозревая, что Ярош видит ее улыбку в зеркальце.

Шикович ждал их у подъезда. Машина еще не успела остановиться, а Зося уже догадалась, что это он.

— Кирилл Васильевич? — спросила она у Маши.

— Видно, права ему вернули — лысина блестит, как масленый блин,— пошутил Ярош.

Зося вышла из машины и первая протянула Шиковичу руку.

Он осторожно сжал ее тонкие сухие горячие пальцы и долго не выпускал — разглядывал женщину с бесцеремонным любопытством. Его приятно поразило, что лицо у нее совсем не измученное, как ему представлялось, немного бледное, но, пожалуй, даже красивое. Все пережитое оставило след разве что в глазах, больших, голубых, слишком много говорящих, как это бывает после тяжелой болезни, да в мелких морщинках в уголках глаз, да в глубокой складке, прорезающей высокий белый лоб. Зося смутилась от его взгляда, опустила глаза, но справилась с собой, улыбнулась и спросила:

— Вернули вам права?

— О! — удивился Шикович.— Вы уже знаете? Вернули, но заменили, черти, талон. Однако поздравляю вас. Поверьте, я так за вас рад! Этому кудеснику надо при жизни памятник поставить. Верно? — кивнул он в сторону Яроша, запиравшего машину.

И Зося и Маша любовно улыбнулись кудеснику. А сам кудесник сердито нахмурился:

— Пошли. От Кирилла Васильевича вы немало сказок услышите.

— Погоди,— остановил его Шикович.— Софью Степановну веду в квартиру я. Прошу! — Он шутливо подставил ей локоть.

И она непринужденно оперлась на его руку. Пошла быстро, смело. Машу это приятно удивило: еще утром в больничном саду Зося прогуливалась медленно, боязливо.

На площадке второго этажа Кирилл остановился, достал из кармана плоский ключик от английского замка, торжественно вручил его Зосе.

Все увидели, как задрожала ее рука.

— Открывайте.

Она никак не могла попасть ключом в замочную скважину.

Потом, как бы обрадовавшись, что дверь наконец открылась, быстро вошла в темноватый тесный коридорчик и остановилась в дверях комнаты ослепленная: широкое окно, новая мебель, цветы, фрукты... Оглянувшись, она словно позвала на помощь:

— Антон Кузьмич!

Ярош прошел мимо нее и сказал смущенно, а потому, казалось, сердито:

— Ну, ну... без всяких... ничего особенного. Потом, потом... Все это ваше. Живите. А мы сейчас выпьем за ваше здоровье... За новоселье, Маша!

— Погоди, испортишь всю церемонию! — Шикович любил внешние эффекты.

Они все трое засуетились вокруг стола, на какое-то время, должно быть, забыв о хозяйке, которая все еще, ослепленная и оглушенная, стояла у порога. Вдруг она шагнула вперед и правда, как слепая, выставив перед собой руки, подошла к Ярошу. Маленькая, тоненькая, как девочка, в измятом штапельном платьице, она заглянула снизу в глаза ему, порывисто прижалась лицом к его широкой груди и... зарыдала.

Он, растерявшись, стоял, широко расставив руки, держа в одной бутылку. Словно боялся прикоснуться к ней, оторвать ее от себя. Повторял:

— Не надо... Не надо... Что вы?.. Пожалуйста... Зося... Софья Степановна...

Маша мигом слетала на кухню и вернулась со стаканом воды. Но Шикович взглядом остановил ее: «Не нужно, не трогайте»,— и осторожно забрал у Яроша бутылку с шампанским.

22

Товарищи Маши по работе, наверное, очень удивились бы, если б узнали, что она, Маша Литвин, серьезная, рассудительная, способна на легкомысленные поступки. Но как иначе назвать то, что она попеременно встречалась то со Славиком, то с Тарасом?..

Тарас показался ей сначала скучноватым. Не очень разговорчивый, замкнутый, он не сразу открылся ей. Только после двух-трех свиданий она увидела, как много он знает,— так много, что ей стало боязно. Он чаще всего говорил о серьезных вещах и, оказалось, умел говорить интересно.

А в Славике, наоборот, ей нравились его несерьезность, легкость и беззаботность. И ирония.

Над всем он смеялся. Разойдется — не даст пощады никому: ни отцу, ни сестре, ни друзьям, ни даже себе.

Правда, над одними, как, например, над Ходасом, он иронизирует зло, над другими — безобидно-снисходительно. Лишь мать, заметила Маша, он никогда не трогал. Может быть, поэтому Маша и прощала ему насмешки над всеми, даже над Ярошем.

С Тарасом было интересно, со Славиком весело.

При третьей или четвертой встрече Тарас отважился поцеловать ее, и она не протестовала, не оттолкнула, как Славика, с которым в конце концов поссорилась, когда однажды он полез целоваться. Рассердилась, ушла домой, не назначив встречи. Клала трубку, когда он назавтра, на третий, на четвертый день звонил в больницу.

Славик затосковал. Все ему надоело: пижонистые друзья, модные девчонки, «липси», пластинки с мексиканскими песнями, «Поплавок». Ему хорошо было только с Машей. Вечерами он слонялся около ее дома в надежде встретить.

Однажды, когда уже стемнело, наконец увидел ее: она вышла из дому, свернула на соседнюю, такую

же тихую, обсаженную липами улицу. Славик двинулся следом. Машу ждал парень. Она поспешно подошла к нему, и они поцеловались.

Словно молотки застучали у Славика в висках. Измена! Черная измена! Он сжал кулаки, готовый броситься на соперника. Но остолбенел, узнав голос Тараса. Это не было возмущение, даже удивлением нельзя было это назвать. Он не мог бы объяснить словами то, что испытал.

Опомнился, только когда заметил, что они идут прямо на него. Стало отчего-то очень страшно встретиться с ними, и он бросился прочь...

Всю ночь Славик блуждал по улицам. Под утро задремал на скамье в сквере. Оттуда явился на завод в своем модном вечернем костюме. Рабочие в проходной скептически оглядывали его. Тарас встретил в цеховой раздевалке, удивился:

— Ты где это был, что не успел переодеться?

— Где? — Славик уставился на него красными от бессонницы глазами.

Тарас улыбался.

«Улыбаешься? Радуешься? Погоди же! Я тебе покажу радость!»

С холодной яростью искал он способ утолить свою жажду мести. Хотелось придумать что-нибудь такое, чтоб развалить бригаду, чтоб скомпрометировать Тараса и вообще наделать шуму на весь город. Но вместе с тем ему все-таки жалко было бросать завод. Это его удерживало от слишком решительных действий. Просто нахулиганить — посадят. Садиться ему больше не хотелось. И он снова лез под кран. Снова ссорился с Ниной. Запустил ключом в Костю, который попытался подтрунить над ним. Покрыл матом Галыгу, когда тот матюкнул его.

Это наделало-таки шуму. Начальник смены сам всех ругал. Но чтоб его, да еще ученик!.. Побледнел, затопал ногами:

— Щенок! Молокосос! Выгоню! Сегодня же расчет.

Ребята еле отстояли его. Они должны были согласиться с Костей, что мало занимаются Славиком. Немного было приутих — и вот опять!

Была как раз суббота, короткий рабочий день. Ре-

шили все вместе пойти в кино, потащить Славика с собой. Надо, чтобы он больше времени проводил с ними.

— Что ты думаешь делать сегодня? — спросил у него Костя.

Но он спутал им все карты:

— Поеду на дачу. Поброжу по лесу. Может быть, последние теплые дни — и вдруг обратился к Тарасу: — Поедем вместе! — За день он так ничего и не придумал, а тут внезапно блеснула идея.

Костя мигал: соглашайся!

— Едем,— сказал Тарас.

— Будьте осторожны, мальчики,— ласково сказала Валентина Андреевна, когда они вышли с дачи, оба с ружьями за спиной. Мать радовало, что Славик подружился с Тарасом, с заводскими ребятами и, кажется, берется за ум.

Валентина Андреевна долго с нежностью смотрела им вслед.

Они вышли на луг. Был тихий, но уже по-сентябрьски бодрящий ранний вечер. Небо обложили кучевые облака. Словно некая центробежная сила разогнала их в стороны, к горизонту: в зените ясно, а ниже лазурь закрыли доисторические косматые звери, паруса, как бы обессиленно повисшие после бури. Солнце заслонил огромный одногорбый верблюд. Но лучи пробились поверх горба и позолотили облако-крыло.

От луговых взгорков, выжженных солнцем до пепельного цвета, веяло осенней грустью. Глаз ласкала отава в лощинах, но и ее тон не напоминал о весне: ни одного цветочка — только темная, как зацветшая вода в болоте, зелень.

На одном из пригорков стояла молодая осина, почти вся уже красная. Они прошли мимо. Тарас погладил осинку рукой и засмеялся — золотом своей листвы она напомнила ему Машу. Славик взглянул на осинку и все понял.

«Смеешься? Радуешься? Скоро ты у меня заплачешь». Он выплюнул окурок сигареты и зажег новую.

Они подошли к густой заросли высокого лозняка. За лозняком небольшая старица, на которой любят ночевать утки.

Вдруг Славик остановился, обернулся к Тарасу, который шел, чуть отставая. Оскорбительно плюнул мимо него окурком. Снял с плеча ружье, поставил прикладом на песок. Глаза его гневно блеснули и потемнели.

— Один из нас сегодня должен умереть,— сказал он зло и серьезно.

Тарас, хотя и почуял что-то недоброе, улыбнулся, как-бы заинтересованный игрой.

— Условия: расходимся и сходимся в лозняке. Кто увидит первый... Случайный выстрел... Несчастный случай. Больше двух лет не дадут... не бойся!

Если б не блестели так глаза, не подергивались губы и пальцы лихорадочно не перебегали по граненым стволам двустволки, это можно было бы принять за очередную шутку Славика, пускай неуместную, детскую, но шутку.

Но сейчас Тарас разозлился:

— Для этой игры ты позвал бы Витю. И не ружья вам нужны — деревянные пистолеты. А я перерос. Да и тебе пора...

— Ты гад! — закричал Славик, брызгая слюной.— Ты... Ты... Ты подлец! Я ненавижу тебя.

— За что?

— За что?! Она моя девушка. Я первый познакомился!.. Я первый!..

— Фью!..— свистнул Тарас.— Погоди, ты о ком это?

— Идем, а то я тебя прикончу на месте! — выходил из себя Славик.

Тарас, наконец, все понял. Маша как-то рассказала ему, что она встречалась со Славиком. Не призналась только, что встречи эти продолжались и потом. Он не придал этому значения. Мало ли кто с кем раньше встречался! А оно вон как обернулось! Однако что это за метод решать такие вопросы? Скажи, пожалуйста, какой средневековый рыцарь!

— Дурак! Она что, твоя частная собственность? Ты откупил ее? Идиот! У нее своя голова на плечах.

И не такая пустая, как твоя. Она сама может выбирать, с кем ей встречаться. Пошел ты...— Тарас выругался, повернулся и, поправив за спиной ружье, быстро зашагал прочь.

В глубине души Славик, пожалуй, был рад такому исходу. Он даже подсознательно надеялся на него еще там, на заводе, когда в голову пришла сумасшедшая мысль о «ковбойской дуэли»: он знал, что Тарас стреляет лучше.

Тарас отказался, сдрейфил, удирает — это почти его, Славика, победа. А победу надо закрепить. Тем более что злость не остыла, все еще кипела в нем.

— Стой! Буду стрелять! — Славик вскинул двустволку и выпалил вверх.

Тарас вздрогнул. Он шел с незаряженным ружьем, а этот тип, выходит, зарядил еще дома. «От такого шалого всего можно ждать».

Он повернулся:

— Стреляй!

Славик с поднятым ружьем двинулся к нему.

— Кто в тебя будет стрелять! Дрожишь? Побелел?

Действительно, Тарас побледнел и дрожал. Он был из тех людей, кого почти невозможно заставить потерять над собой власть. Но пусть остерегается тот, кто доведет его до такого состояния! Славику, очевидно, казалось, что он и впрямь втоптал своего соперника в грязь — напугал, унизил, уничтожил. Что ему еще добавить? И он со всего размаха дал Тарасу кулаком в челюсть. Тот чуть покачнулся, сделал шаг в сторону, шире расставил ноги. На лице застыла кривая улыбка.

— Разве так бьют?..

Кажется, и не замахнулся вовсе, а Славик отлетел, как мяч, хлопнулся на колючую сухую траву. Ружье вывалилось из рук.

Вскочил и петухом налетел на Тараса. Тот снова будто бы и несильным ударом опытного боксера отбросил его еще дальше. Славик завыл, пополз к ружью. Тарас поднял Славика, увидел, как заплывает подбитый глаз, спросил:

— Хватит или еще?

Славик до крови прокусил ему руку. Тарас «от-

благодарил» его двумя легкими пощечинами и толкнул в лозняк. Схватил его ружье и ушел. Славик сидел в кустах, закрыв ладонью подбитый глаз, и тихо скулил от злобы, обиды и боли.

Валентина Андреевна ужаснулась, увидев Тараса с двумя ружьями.

— А Славик?

— Лежит там.

— Как лежит?

— Я набил ему морду. Не умеет обращаться с ружьем. Чуть не подстрелил меня.

— Что у вас случилось, Тарас?

— Ничего. Он расскажет,— уклонился от ответа Тарас, передавая Валентине Андреевне ружье.

Но разговор услышала Наташа. Вскочила в комнату, сообщила родителям с восторгом:

— Тарас набил Славику морду.

— Что ты плетешь?! — возмутилась Галина Адамовна.

Девочка встретила брата на пороге, повисла на шее.

— Тарасок-голубок, расскажи, как ты учил его стрелять?

— Кого?

— Кого? Славика!

— Боже мой! — всплеснула руками Галина Адамовна.— Да у тебя распухла щека. Что случилось?

Встал с качалки Антон Кузьмич, подошел, повернул сына к окну, тихо свистнул — удивился.

— Ничего, силенка есть. Больно? В понедельник сделаем снимок, как бы трещины не было.

Отец ни о чем не расспрашивал, как всегда. Он ждал, надеялся, что сын расскажет сам. И Тарас действительно предложил:

— Пойдем, папа, пройдемся.

— А, секретики! — закричала возмущенная Наташка.— Ну и уходите! Ну и гуляйте! Зазнаваки вы. У меня тоже есть секрет, в сто раз интереснее, чем ваш, и никогда вам не расскажу.— Она чуть не плакала от досады.

...Ярош несколько раз присвистнул, один раз засмеялся. Больше всего его удивила Маша. Вот так тихоня!

Потом они помолчали. Зашло солнце. По-осеннему быстро сгустился мрак. Под соснами стало почти темно.

Антона Кузьмича тронуло доверие сына.

— Ты любишь ее?

— Она мне нравится...

— Она долго с ним встречалась?

— Не знаю. Она сказала, что встречалась, а много ли раз, я не спрашивал.

— Ему она тоже рассказала?

— Вряд ли.

— Ты сильно побил его?

— Нет. Нормально.

— Знаю я твое «нормально»! Нельзя было без мордобоя?

— Я не толстовец. Он ударил первый.

— Надо рассказать Валентине Андреевне.

— Зачем?

— Мне же ты рассказал.

Валентина Андреевна давно уже волновалась, что Славик не идет. Мать есть мать. Она вдруг представила сына: маленький, беспомощный, избитый до полусмерти взрослым и сильным парнем. В ней зашевелилось недоброе чувство к Тарасу, хотя ее трезвый ум говорил, что разумнее, чем поступил Тарас, сделать было нельзя.

Они втроем искали Славика. Мать звала его. Откликалось эхо.

Низины затягивал туман. Холодело.

Тревога матери росла. Ярош успокаивал ее:

— Уверен, Валя, что он драпанул в город. Ему стыдно показаться на глаза. Давайте поедем, и он окажется дома.

Она попросила:

— Антон, не рассказывай Кириллу. Боюсь, он не поймет.

Нелепо, что писатель, которому положено понимать все движения человеческой души, вдруг не поймет собственного сына.

Шикович сидел у себя, читал новый роман своего столичного друга.

Ярош сказал, что забыл сделать важное назначение тяжелому послеоперационному больному.

— Что ты забыл — это, верно, врешь, ты никогда ничего не забываешь. Вот здесь,— Кирилл хлопнул рукой по журналу,— один умный герой говорит: «Лучшему другу не доверяй двух вещей — машины и жены».

— Не слишком умен твой герой.

— А я тебе очень часто доверяю и машину и жену.

— Валя поедет со мной, между прочим.

— А она что забыла?

— Не бойся, едет и Галина. Пускай прокатятся.

— Жмите на все педали. Хоть мешать не будете.

Валентина Андреевна успокоилась только возле дома, когда увидела, что окна квартиры освещены.

У нее был свой ключ. Она неслышно вошла. Заглянула сквозь застекленную дверь в комнату. Славик лежал на диване без рубашки, мокрое полотенце прикрывало левый глаз и щеку. На полу стояла раскупоренная бутылка дорогого коньяка. Был включен приемник. Далекая певица приятным меццо-сопрано на чужом языке пела грустную песню.

Славик создавал себе настроение. Ему хотелось вызвать отчаяние, душевную депрессию, хотелось ненавидеть весь мир. Но настроение не приходило. Была, правда, злость, оставалась боль. Однако где-то в глубине шевелилась мысль, что все кончилось для него не так уж плохо. Все же рядом со злобой жило уважение к Тарасу. Вместе с тем хотелось убедить себя, что он поставил его в более неловкое положение, чем то, в каком оказался сам. «Пусть попробует объяснить мой невыход на работу».

Но тут же снова закипала злость и на Тараса и на Машу. Опять напряженно начинал работать разгоряченный мозг: как им отомстить? Потом подумалось, что поступок его наивен — больше всего он боялся наивности и сентиментальности, — и сердце стало больно покалывать от стыда. Это было, пожалуй, самое мучительное чувство.

Он заглушал его глотками коньяка.

Не раскрывая глаз, протянул руку за бутылкой. И вдруг почувствовал, что кто-то забрал бутылку из-под его руки. Он вскочил.

Возле дивана стояла мать.

— Мама?! — и опять упал на подушку.

Валентина Андреевна поставила бутылку на стол. Придвинула стул, села рядом, как возле больного. Посмотрела в глаза. Молча приподняла полотенце, оглядела синяк.

— Не смотри так, мама,— попросил Славик.

— Боже мой! Какой ты маленький еще и глупый! Когда ты у меня поумнеешь?

Юный забияка, он не так еще давно кричал в ответ на упреки матери: «А чего они лезут?» Теперь он крикнул почти так же:

— А почему они не дают мне жить?

— Кто тебе не дает жить?

— Все!

— Кто все? Тебе желают только добра.

— И бьют по морде?

— А ты хотел, чтоб стреляли? Дурак! Скажи спасибо! — Она сердито встала и вышла на кухню, захватив коньяк.

Славик понял, что мать все знает. Тарас рассказал. Это его страшно поразило: выходит, Тарас мог вот так прямо рассказать обо всем. Может быть, даже смеялся? Смеялись все: Ярош, отец, мать, Наташка?.. Дуэль показалась теперь до дикости нелепой. Стыд обжег жарким пламенем. Славик закрыл лицо мокрым полотенцем.

23

Шикович не любил осени. Осенью ему плохо работалось. Даже летом лучше. Странно! Большинство писателей прошлого, судя по воспоминаниям, считали лучшим временем для творчества осенние месяцы.

Раньше Кирилл объяснял это тем, что в начале учебного года и дети и жена месяц-два после каникул не могли войти в колею — в доме было шумно, все столы завалены учебниками и тетрадями, в лучшие рабочие часы дети готовили уроки и вытесняли его, это выбивало из «творческого состояния».

Всю жизнь он страдал от тесноты и мечтал о тишине и покое.

И вот есть у него тихий уголок: он остался на даче один.

Вокруг ни души. А день осенний: небо затянуто низкими и тяжелыми тучами с самого утра. Пошел дождь, мелкий, спорый, но теплый — грибной, как говорят в народе. Дождь шуршал в не тронутой еще огнем осени дубовой листве, сеялся, как песок, по шиферной крыше. Это был единственный шум, нарушавший тишину.

Кирилл жарил себе на керогазе яичницу, варил крепкий черный кофе и радовался дождю и одиночеству. Думал, с каким наслаждением и подъемом он поработает. Он писал об организации подполья, первом горкоме, твердом и мужественном Дубецком, о группах Гончарова, Мурыгина, о Яроше — о всех, кто первыми начинали борьбу и деятельность которых была полностью ясна и для него и для тех, кто должен дать книге путевку в жизнь.

Он пока обходил «белые пятна». Их немало, и самое большое — группа инфекционной больницы, которую покуда никто не признает. Статью его не печатают. А новые документальные доказательства обнаружить не удается. Это злило, потому что мешало последовательному развертыванию событий в повести. Но в последние дни он нашел такой композиционный ход, который позволял историю Савича и всей больничной группы написать и вставить позднее. Работа сдвинулась с места.

Он рвался к столу. А сел — и почувствовал, что не может писать. Пожалуй, слишком уж тихо и одиноко. Непривычно. А главное — слишком много мыслей сразу. Они, как морские волны, набегают друг на друга, разбиваются о берег — его стремление сосредоточиться, и в результате остается одна пена да слу-

чайные, ненужные для работы обломки — клочки каких-то воспоминаний.

Всплыло в памяти вчерашнее партийное собрание в редакции. Новая вылазка Рагойши. Вдруг под конец, когда была исчерпана повестка дня, он поднял вопрос об идейных позициях Шиковича. Почему не пошли обе его статьи — о Савиче и о колхозе в Загалье?

«О чем пишет Шикович? Народ обсуждает программу строительства коммунизма, а Шикович в это время — обратите внимание! — какой показывает колхоз, что говорит о трудодне, о культуре села? Сквозь какие очки он смотрит на мир? Вот что должны мы спросить у коммуниста Шиковича».

Рагойшу не поддержали. Кирилл отнесся там, на собрании, к этому очередному наскоку Рагойши с иронией, зная, как того бесит его спокойствие.

А сегодня, вспомнив, разозлился.

«Нет, черт возьми, я добьюсь, что статьи будут напечатаны! И одна и другая. Потому что это как раз то, о чем говорится в Программе. В обком пойду. В ЦК пошлю. Не может считаться хорошим такой колхоз, как в Загалье, и такой председатель, как Грак! Да и такой журналист, как ты, чурбан!»

Взволнованный, он начал шагать взад-вперед по своей мансарде. Одна половица попискивала, и это еще больше раздражало и злило. Он беспощадно «разносил» своих противников. Рагойшу «уничтожил» сразу, легко. «Ударил» по Тукало — «дураков надо бить». Дураков! А кто такой Гукан? Он было замахнулся и на него, но... Нет, этот не дурак. Но кто? Вспомнил, как несколько дней назад звонил ему по телефону.

Из издательства прислали письмо с предложением переиздать книжку Гукана, но просили сделать некоторые поправки. Шикович разозлился: в издательстве считают, что поправки должен делать он, «литературный писарь». Нет, хватит! Не нужен ему легкий гонорар! Да, наконец, никакие поправки не спасут книги, пропитанной духом культа личности. Кирилл как-то просматривал ее, и ему гадко становилось, что десять лет назад он мог это писать.

Он сказал Гукану по телефону:

— Я отвечаю в издательство: книга требует коренной переработки, а потому о переиздании ее в ближайшее время не может быть и речи. Согласен, Семен Парфенович?

Гукан долго не отвечал, но в трубке было слышно его тяжелое дыхание. Наконец он сказал далеким осипшим голосом:

— Я вас прошу зайти ко мне. Нам надо поговорить.

Шикович не пошел: «Тебе надо — приходи сам».

Теперь он думал, что ему следует все-таки пойти и вызвать Гукана на откровенный разговор. Однако знал, что после письма, которое показал ему Тарасов, и особенно после истории с квартирой для Зоси ему трудно будет говорить с этим человеком. Он испытывал к Гукану не только неприязнь, но и нечто похуже. Однако исследователь в любых условиях должен оставаться объективным. Возьмут чувства верх над разумом — до истины не докопаешься.

«Надо сходить»,— решил он, стоя у застекленной двери, выходившей на маленький балкончик мансарды.

По желтому покатому полу балкона катились дождевые слезы. Простор луга, старица, лозняки тонули в туманной мгле. «Нет, сперва надо расспросить Зосю. Чертов Ярош! Как он оберегает ее!»

Потом вспомнил о том, что рассказала ему жена: Ира влюблена в Тараса, а тот увлекся этой рыжей сестрой. Валя говорила о Маше не очень доброжелательно, а Кирилл подумал тогда, да и сейчас думает, что Тарас сделал правильный выбор. Если б должен был выбирать он, Кирилл Шикович, он тоже выбрал бы Машу. Он не сказал этого жене. А теперь почувствовал себя виноватым перед собственной дочерью. Попробовал отогнать все эти мысли, заставить себя работать.

«Я возьму тебя, Кирилл, за шиворот и посажу за стол. Ты просто лодырь. Ты чудовищный лодырь, таких надо выгонять из того общества, которое мы построим,— безжалостно корил он себя и тут же придрался к собственным словам: — А куда ты его выго-

нишь? Гони прочь самого себя. Под дождь его, собачьего сына!»

И он вышел под дождь, стоял, пока не намокли волосы и не потекли струйки по лицу, по шее, за воротник куртки.

Нет, в такой дожджливой тишине работать невозможно! Взглянул на часы. Спрятал их под газетой, когда садился работать, чтобы не посматривать, не отвлекаться. Часа два уже вертело его бесконечное течение мыслей. Мозг устал, просил отдыха. После легкого завтрака захотелось поесть основательнее. Но он решил держать себя на полуголодном пайке и не захватил ни колбасы, ни ветчины, ни сала — ничего солидного. Все помыслы сосредоточились на еде. Ужас! Не может справиться с собой.

Кончилось тем, что он завел машину и укатил в город. По дороге решил назло Ярошу заехать прямо к Зосе, наконец попросить ее рассказать об отце все, что ей известно.

Кирилл знал, что Ярош вчера улетел в дальний район на срочную операцию. А потому удивился, когда на безлюдной Пушкинской увидел одинокую могучую фигуру в элегантном черном плаще, который Ярош купил в Брюсселе, когда ездил на конгресс хирургов. Почему он здесь? Куда идет? Гуляет под дождем?

Шикович добрую минуту ехал с ним рядом, и Ярош не обратил внимания на машину. Кирилл обогнал его, остановился, вылез на тротуар.

Ярош шел на него, точно слепой. Вот-вот собьет с ног, раздавит, как тяжелый танк. Приблизившись, посмотрел, как будто его внезапно разбудили. Произнес:

— А-а?

Кирилл засмеялся.

— Ты что, с похмелья? Накачали в районе?

Ярош провел мокрой ладонью по лицу и сказал со злостью:

— Дурак!

У Кирилла дрогнуло сердце: неужто несчастье с Зосей?

— Идем в машину. Дождь.

Ярош послушно опустился на переднее сиденье. Машина под его тяжестью осела.

Ярош повернул к другу мокрое лицо.

— Я давно уже, Кирилл, ничего подобного не переживал,— сказал он с доверием и глубокой печалью.

— Что случилось?

— Они скончались у меня на столе.

— Кто?

— Дети. Оба. Два мальчика. Братья. Одному девять, другому семь. Если бы мне удалось прилететь хотя бы часа на два раньше! Одного, безусловно, удалось бы спасти. Неповоротливые идиоты и там, в районе, и здесь, в облздраве! Два часа организовывали вылет. Я из них души вытрясу за этих детей!

— А что с детьми?

— Мина. Вытащили из речки. И как водится, стали разбирать. Знаешь, старший, Миша, был в сознании. Все спрашивал: «Дети целы? Как Алешка?» Там были младшие, и они отгоняли их от себя, чувствуя опасность. Ему разорвало живот. Диме осколком пробило шею. Засыпая под наркозом, он сказал, Миша: «Ох, попадет мне от мамы!» — Ярош закрыл ладонями глаза, покачал головой, повторил: — «Ох, попадет мне от мамы!» Ужасно, Кирилл! Никогда еще я не был так бессилен перед смертью.

Шикович молчал. Что говорить? Его потрясли и сама трагедия и то, как ее переживает человек, тысячу раз видевший смерть. Они долго сидели молча.

Дождь барабанил по кузову. Изредка пробегали с зонтиками и в плащах одинокие прохожие. Ярош повертел головой, как бы стряхивая что-то.

— Напиться, что ли? Обидно! В клинике я мог бы спасти обоих. А там, в участковой больнице, пришлось делать все дедовским способом. Ассистентка — районный хирург, молодая, неопытная, ее лихорадило. Да и у меня самого — стыдно признаться — дрожали руки. Ужасно! Может быть, двадцать лет пролежала она на дне реки, эта проклятая мина. Представляешь? И вот новые жертвы войны. Дети! Дети! Ух-х! Поедем куда-нибудь.

— Куда?

— Куда хочешь.

— Может быть, заедем к Зосе? — осторожно предложил Шикович.

— Да, да... К Зосе,— сразу согласился Ярош.

Они снова замолчали. Возле самого дома Ярош сказал:

— Только не будем рассказывать ей об этом.

Хозяйка обрадовалась гостям. А Маша, которая теперь жила у Зоси, перепугалась. Она лучше, чем даже Шикович, знала Яроша, и ее встревожил его вид.

Вообще она стала бояться его после недавнего разговора. Как-то он позвал ее в кабинет. Когда она вошла, он сидел за столом и читал Блока. Она остановилась у двери, удивленная тем, что он даже не поднял глаз. Это не в его привычке. Он каждого, будь то главврач или санитарка, всегда встречал добрым взглядом, приветливым словом.

Маша ждала, стараясь догадаться, зачем ее вызвали.

Он сказал, не отрываясь от книги:

— Они подрались из-за вас.

— Кто? — хотя она сразу же поняла кто и едва удержалась от смеха.

«Неужто в самом деле подрались? — подумала с веселым озорством.— Кто кого побил?»

— Они работают в одной бригаде. Семьи наши дружат, вместе летом живем. Зачем вам понадобилось столкнуть их лбами?

— Чтоб сделать правильный выбор, надо экспериментировать, Антон Кузьмич,— ответила она его словами и не выдержала, рассмеялась.

Тогда он поднял глаза от книги и посмотрел на нее... Странно очень посмотрел, как будто на ее месте каким-то чудом оказался совсем другой человек — не та сестра, которую он знал два года, любил, ценил, уважал, с которой даже сблизился до известной степени, когда появилась Зося.

— Странный эксперимент,— хмыкнул он, покачал головой.— Можно вас попросить, чтобы вы с нашими сыновьями таких экспериментов не производили?

От этой его просьбы, подчеркнуто вежливой, официально-холодной, она страшно смутилась. Как она глупо держала себя — засмеялась, сболтнула чушь! Ей хотелось сквозь землю провалиться. Хорошо, что он опять углубился в книгу.

Но она не знала, как уйти, и все стояла перед столом, онемевшая, наказанная самым жестоким образом. Очевидно, он понял, что с ней происходит, потому что сказал:

— Попросите, пожалуйста, Добровольскую зайти ко мне.

Потому она и перепугалась, увидев обоих отцов. А если они пришли из-за нее?

Успокоил Шикович.

Вышел за ней на кухню, спросил приветливо, дружески:

— Маша, вы умеете варить кофе? Черный?

— Умею.

— Вы все умеете. Из вас выйдет чудесная жена.

Он дал ей денег на кофе и коньяк. Она обрадовалась поручению.

Зося заволновалась было, хотела переодеться, чтоб принять гостей как положено хозяйке. Но Ярош стал расспрашивать ее о самочувствии, профессионально, подробно, по-больничному. И она снова забралась на широкий диван с ногами. Сидела в уголке, закутавшись в халатик.

Ярош умолк. Ему было трудно вести пустой разговор — обо всем и ни о чем.

Шикович курил на кухне, пуская дым в форточку, прислушивался и сразу отметил затянувшуюся паузу.

Зося сказала что-то про дождь. Ярош другими словами повторил то же.

— У вас усталый вид, Антон Кузьмич.

— Я сегодня прилетел из района.

— Командировка?

— Да.

Зося помолчала и вдруг смущенно спросила:

— Антон Кузьмич, а мне можно будет когда-нибудь полететь на самолете?

— Почему же нет? Даже сейчас можно.

Она обрадовалась, щеки ее зарделись.

Шикович кинулся на помощь другу.

— Отлично, Софья Степановна! Если человеку хочется подняться в небо — это верный признак силы и здоровья. Но, может, это оттого, что вам скучно одной в этом доме? — спросил он шутливым тоном, усаживаясь в удобное низкое кресло.

— О нет! Я читаю. У меня приятные соседи. Они наведываются. А потом — Маша... С ней не соскучишься...

Поговорили о том, о сем. Наконец Кирилл подошел к главному, осторожно, деликатно:

— Софья Степановна, скажите, пожалуйста, вас не очень разволнует разговор о прошлом?

Она настороженно переспросила:

— О каком прошлом?

— Ну, например, о войне. О смерти отца...

— А что вас интересует?

— Что меня интересует?..— Он полез во внутренний карман пиджака и достал несколько сложенных листов.— Прочитайте вот это, и вы поймете.

Ярош глянул на друга с укором, однако промолчал.

Зося развернула сколотые листы, прочитала заголовок, посмотрела на Шиковича с удивлением, страхом и надеждой. Взгляд ее говорил: «Что ты готовишь мне? Горе? Разве мало мне его досталось? Радость? Неужто радость?..»

Начала читать жадно, нетерпеливо, быстро переворачивая страницы. Побледнели, потом вспыхнули щеки. Оба они не сводили с нее глаз. Но вот она, перевернув страничку, с облегчением вздохнула. Стала читать медленнее. Под конец, видно было, совсем успокоилась и казалась даже несколько разочарованной. Задумалась глубоко. Они терпеливо ждали, когда она вернется из прошлого.

Быстро-быстро, словно куда-то торопясь,— «тик-так, тик-так!» — уносили в небытие секунды часы на книжной полке. За окном в листьях топтался, шумел дождь.

Наконец Шикович не выдержал:

— О чем вы думаете?

Она не шевельнулась, посмотрела сухими, полными светлой благодарности глазами, спокойно ответила:

— Я думаю, как хорошо, что есть на свете такие люди, как Антон Кузьмич, как вы!.. Спасибо вам...

— Благодарности потом. И не мне они должны быть адресованы. Антон — дело другое. А за то, что в наши дни восстанавливается везде справедливость, вы знаете, кого благодарить. Теперь вы понимаете, что меня интересует. Как погиб доктор Савич? Кто его убил? Вы были при этом?

Зося покачала головой: не была. Потом сказала:

— Я думаю, папа застрелился...

— Сам?

РАССКАЗ ЗОСИ САВИЧ

— Вы помните, Антон Кузьмич, я рассказывала вам: отец очень оберегал меня. Я, по сути, была в стороне от внешнего мира. Только ваше появление... Да когда искала Тараса. А больше мне ничего не пришлось сделать. Мне никто ничего не поручал... Я знала: отец — честный человек. Однако просто ли честный врач или борец? Я догадывалась, что он каким-то образом помогает нашим. Но как? Пробовала говорить с ним об этом. Он переводил разговор на другое. Однажды рассердился и потребовал, чтоб я не совала нос куда не надо. «Мала еще! — сказал он.— Не нам с тобой заниматься политикой. Это совсем не так романтично, как в книжках. Ты у меня одна». Еще папа часто говорил, чтоб я не думала, что он служит немцам, он лечил и лечит наших людей. А люди — это самое ценное. Будут живы люди — будут живы страна и та власть, которой народ дорожит. Так он говорил. Я не соглашалась: «Кто же будет бороться?» Он сердился: «Не много пользы, если пойдут воевать дети, как ты, или такие старики, как я». Лишь позже я поняла, что отец просто оберегал меня, всячески оберегал, только бы я была подальше от того, что творилось кругом. И вдруг... Это было перед Первым мая, дня за два. Как раз наши взорвали электростанцию средь бела дня. Так грохнуло, что даже у нас — а это же вон где! — вылетело стекло

в мансарде, в комнате Грота. Немецкий врач у нас жил. Говорили, что бросили мину в топку и взорвался котел...

— Группа Шилова,— сказал Шикович.— Я пишу о них.

— Что? — не поняла Зося.

— О тех, кто взорвал станцию. Комсомольская группа. Погибли ребята. Володя Шилов заперся в трансформаторной будке и отстреливался до последнего патрона. Живым не сдался. Безрассудно-смело и рискованно действовали, и это их погубило.

Зося помолчала, как бы вспоминая, на чем остановилась.

— Отец приехал поздно, когда стемнело уже. На санитарной машине. Заехали во двор. Он никогда не заезжал во двор. Я выскочила навстречу. Папа попросил меня помочь шоферу отнести на кухню мешок картошки и мешок муки. Мы отнесли.

Грот был дома. Хорошо помню, он встретил отца словами:

«Вот, пожалуйста, господин Савич... Вы как-то сказали, что мы бываем слишком жестоки. Нет, мы мягки. Мы, немцы, все время страдаем из-за своей мягкости и добросердечия. А жестокость там. Жестокость и дикость! Кому мешала электростанция! Давала свет вашей больнице, моему госпиталю, нашему дому...»

Он так и сказал — «нашему».

«А теперь будем жечь... как это вы говорили, Софа? — обратился он ко мне.— Лучину? О, лучину! Свечей и тех нет. Я едва раздобыл десяток. Боже мой, какая дикость, какой фанатизм! Сегодня у нас арестовали сестру. Вашу. Мы ей дали работу. Хорошую работу с хорошей оплатой. Она могла жить культурно, красиво. А она шпионила, пользуясь тем, что знает наш язык. Ужасно!»

«Сегодня многих арестовали,— сказал отец и тоже повторил: — Ужасно! Ужасно!..»

«Я рад, господин Савич, что вы это понимаете,— очень довольный, сказал Грот.— Нет, мы не жестоки. Мы добры и снисходительны».

Он жил у нас год и изо дня в день трубил о доброте немецкого характера. Я иной раз не выдерживала и говорила о тех фашистских зверствах, о которых случайно узнавала. Тогда он начинал читать целые лекции, приводил примеры из истории, декламировал Гёте и Шиллера.

Как-то мне попался в отцовской библиотеке томик Гейне. Вечером я процитировала Гроту, что писал о немецком характере Гейне. Грот понимал немножко по-русски, я — по-немецки. Обычно спокойный, он вышел из себя. Сказал, что Гейне — еврей, а все евреи — злейшие враги немецкой нации. Забрал книжку и, наверное, сжег. А весь следующий вечер рылся в нашей библиотеке — искал крамолу.

Да что я рассказываю вам об этом немце? Я потом перевидала их тысячи. Разных — и добрых и зверей. О, если бы вы знали, что такое эсэсовцы!

Зося закрыла глаза, прижалась к подушке дивана, запахнула плотнее халатик, как будто ей стало холодно. И тут же виновато улыбнулась, словно извиняясь.

— Когда Грот, поужинав, поднялся к себе, отец пришел на кухню, где я мыла тарелки, обнял за плечи, прошептал: «Зося, дитя мое, у нас в саду прячется человек. Я пойду к немцу играть в шахматы. Ты отодвинь свою кровать, постели для него на полу. Открой окно. В твою комнату Грот никогда не заходит».

О, если б вы знали, что я почувствовала! Когда я спрятала вас, Антон Кузьмич, я скрыла это от отца, потому что не знала, как он отнесется, что сделает, если дознается. Это очень тяжело — любить и не верить. А как легко, когда близкие люди делают одно дело, когда они единомышленники! Понимаете? Я нескладно рассказываю, но вы поймете... Когда вы у нас были и когда искала Тарасика, я заставляла отца действовать, зная, что для меня он готов на все, выполнит и серьезную просьбу и каприз. А тут вдруг такая перемена. Он давал мне задание, как старший, как руководитель. Доверял такое дело...

«Кто этот человек?» — думала я, пока отодвигала кровать и стелила на пол пуховое одеяло, простыни. Пусть это по-детски, но мне захотелось, чтоб это опять были вы, Антон Кузьмич... Простите. Дверь в мою комнату — под лестницей на мансарду. Я оставила в комнате свечу, поднялась по лестнице, не видна ли кровать? Сколько прожила, сколько ходила — с малых лет, а никогда не заглядывала сверху в открытую дверь, чтобы увидеть, что видно в комнате.

Грот, который бесцеремонно совал нос даже в кухонные кастрюли, в бочки в погребе, ни разу не открыл двери моей комнаты. Это правда. В этом он был джентльмен.

С радостью и страхом отворяла я окно. А потом стояла в коридоре и слушала. Ждала, когда он заберется... И боялась, как бы в темноте не наделал шума. Он влез очень осторожно. Я услышала только, как скрипнула нечаянно задетая кровать. Потом я долго еще стояла, затем сидела на кухне — думала: что делать дальше? Отец не сказал, можно мне заходить в комнату или нельзя. Может быть, человека надо накормить? В конце концов я решительно вошла. Увидела, что одеяло и простыни лежат на моей кровати. Заглянула за нее.

Человек был длинный, худой, бородатый. Такой длинный, что, если бы он вытянулся, ноги его, наверное, выглядывали бы из-за кровати. Поэтому он согнул их, и острые колени поднимались чуть ли не выше моей постели. Глаза его блеснули настороженно и подозрительно. Он лежал в ватнике, в сапогах и держал руку за пазухой. Я спросила шепотом:

«Принести вам поужинать?»

Он прикрыл ладонью губы и покачал головой: нет.

Но я все-таки принесла ему кусок хлеба с маслом, чаю и еще что-то. Я нарочно ходила шумно, как обычно, хлопала дверьми. Может быть, из-за этого он сердито посмотрел на меня и опять прикрыл рот рукой.

Когда ровно без четверти одиннадцать (даже самая интересная партия откладывалась, так был пунктуален Грот) отец спустился сверху, я сообщила, что он здесь. Отец ответил на диво спокойно, как будто речь шла о самых обыкновенных вещах: «Хорошо,

дочка». Я спросила, где мне спать. «Где хочешь, только бы Грот ничего не заметил».

Пока немец чистил зубы, умывался, я у себя в комнате перекладывала белье, нарочно оставив дверь слегка приоткрытой.

Я легла в маминой спальне. Но не могла уснуть чуть не до утра. Все думала, думала... Радовалась. И боялась за отца. За этого человека. Кто он такой? Откуда? Может быть, только что прилетел из Москвы? А больше всего я думала об отце. И, ей-богу, никогда так его не любила, как в ту ночь. Показался он мне таким героем, таким мужественным, умным, самым главным подпольщиком в нашем городе. Наивно! Но мне казалось, что про папу знают в Москве... Сам Сталин знает... Может быть, и человек этот от Сталина? Я думала о маме. Если б она увидела, что мы с папой делаем, она больше не попрекала бы: «Мягкотелый интеллигент дореволюционной закваски! Не порти мне дочери своим слащавым гуманизмом! Не те времена!» Мама у меня была решительная. Она еще в гражданскую на бронепоезд ушла. Сердилась, что я боюсь крови. Заставляла меня делать самую черную работу. Из-за этого они даже ссорились иногда, папа и мама... Много я передумала... Хорошо мне запомнилась та ночь. Есть такие дни и ночи, которые стоят в памяти и светят, как маяки. Правда? Все остальные сливаются в один поток и плывут, как мутная река...

Спала я каких-нибудь два часа. Проснулась раньше всех. Грот ровно в семь спустился в ванную, а я уже «прибирала» свою комнату, громко распевая. За завтраком немец сказал: «У вас хорошее настроение, фройлейн Софа, а у меня дурное. От свечки болит голова».

Папа молчал. Когда уходил на работу, поцеловал меня в лоб: «Опыт у тебя есть. Смотри...»

Пришла Маша с покупками, промокшая, шумная, веселая. Крикнула из коридора:

— Кирилл Васильевич! «Беломора» нет. Купила «Казбек». Ругать не будете?

Заглянула в комнату, увидела их сосредоточенно-внимательные, серьезные лица, притихла.

— Садитесь, Маша, послушайте,— сказал Шикович, быстро занося что-то в записную книжку.

Маша поставила сумку у порога.

— Я сказала ему:

«Вылезайте. В доме никого нет. Будем завтракать».

Он поднялся из-за кровати. Был он высокий, но не такой длинный, как показалось мне, когда лежал. И не такой худой. Так, обыкновенный человек, из тех, что никогда не полнеют, как их ни корми. Прежде всего он посмотрел в окно, потом оглядел комнату и... меня... Может быть, я была слишком чувствительна — «мягкотелая интеллигентка»... Как только потом на меня ни смотрели — и свои, и немцы! — меня это не трогало. А его взгляд... Вы простите, может быть, я рассказываю о мелочах, глупости?.. Но я совсем откровенно...

— Нет, нет! Пожалуйста, как можно подробнее,— попросил Шикович.— Это не мелочи... Для меня это особенно важно.

— Его взгляд меня... оскорбил... Обидел. С какой-то недоброй подозрительностью оглядел он меня. Не знаю, как вам объяснить... Но мне стало обидно. Человек доверил нам свою жизнь... Мы рискуем своей, укрывая его. Почему ж он так смотрит?.. А может быть, мне показалось? Я маленькой была очень обидчива. Мать не так глянет — и я целый день заливаюсь слезами. Больше, правда, он так не смотрел. Был приветлив, хотя и не очень разговорчив.

Тогда, за первым завтраком, он расспрашивал, как я живу, с кем вожу дружбу, куда хожу, кто приходит к нам, что за человек этот Грот. Я понимала, что ему надо все знать, и отвечала обстоятельно. Спросила, как его имя.

«Зачем тебе?» — сказал он спокойно.

«Как-то ведь я должна вас называть».

«Если тебе так хочется, зови меня «Дядя Сажень».

Я догадалась, что это кличка, она показалась мне смешной, и я засмеялась. Он тоже улыбнулся. Тогда я отважилась и спросила, не с Большой ли земли он

прилетел. Сажень нахмурился и ответил: «Много будешь знать, рано состаришься». Эти шутливые слова по-разному можно сказать. Он сказал их так, что мне расхотелось спрашивать его еще о чем-нибудь. Правда, на следующий день я не удержалась и спросила о вас, Антон Кузьмич. Я почему-то думала, что он непременно должен вас знать. Нет, он не знал.

«Что изменник Лучинский казнен, об этом я слышал, а кто это сделал — Виктор, Антон или Павел,— не имеет значения».

Если б он вас знал, я, наверно, рассказала бы, как вы скрывались у нас. Но после его слов, что не имеет значения, кто убил Лучинского, мне опять-таки расхотелось рассказывать ему о вас. Не подумайте, что я затаила на него обиду. Нет. Я очень уважала его. Особенно, когда отец на мой вопрос: «Кто он?» — ответил: — «Партийный руководитель». О, как он вырос в моих глазах!

Я готовила ему завтраки и обеды даже вкуснее, чем отцу. Меня только сперва удивляло одно. И это, очевидно, тоже от моего «интеллигентского» воспитания. Но в нашем доме все говорили друг другу спасибо, желали спокойной ночи. Я ухаживала за ним, как санитарка за больным. Он ни разу не сказал мне спасибо. Нет, удивляло — это не то слово. Мне было немножко обидно. Не за себя — за него. Фашист Грот такой вежливый. На каждом шагу: «Данке, данке, данке...» Мне хотелось, чтобы наш человек, да еще такой, руководитель, был во сто, в тысячу раз культурнее и вежливее. Но на третий день Сажень доказал, что не это главное. Мне даже стыдно стало за такие мысли.

Утром я поздравила его с праздником — с Первомаем. Как радостно заблестели его глаза!

«Спасибо, Зося, спасибо тебе, дорогой товарищ! Тебя тоже поздравляю и желаю дожить до настоящего праздника. Мы с тобой станем рядом и пройдем под знаменами через весь наш город».

Он крепко пожал мне руку, и в глазах у него, почудилось мне, блеснули слезы. Я тоже едва удержалась, чтоб не зареветь от горя и счастья.

Отец в первый день пришел обедать на час рань-

ше. Этот час они разговаривали, закрывшись в моей комнате. Так же они беседовали и на другой день и на третий. Первого мая приехал Вася, шофер санитарной машины. И Сажень полчаса говорил с ним. Вася вышел от него, улыбаясь, увидев меня, высунул язык, будто я маленькая. Потом, кивнув назад, на дверь, поднял большой палец: мол, вó какой человек! Показал на мансарду и провел ладонью по горлу. Я поняла: с такими мы скоро сделаем фашистам чик-чирик! Но меня рассмешил этот разговор жестами — ведь в доме никого больше не было. В ответ на мой смех он приставил большие пальцы к ушам и вот так помахал ладонями. Это, должно быть, значило, что я девчонка, дурочка. Я обиделась и пальцами объяснила, что в голове у него — пусто. Он снял свою замасленную кепчонку и театрально поклонился. Уже с крыльца вернулся, протянул коробочку и сказал серьезно:

«Это вам, Зося. От меня».

В коробочке были мятные конфеты.

На четвертый день все было как обычно. Утром отец и Грот за кофе хвалили какое-то новое немецкое лекарство, не помню какое. Первым похвалил отец. Грот был чрезвычайно доволен. Они вместе вышли из дому.

За обедом Сажень выглядел очень озабоченным и вдруг, удивив неожиданным доверием, рассказал мне, что ему никак не могут достать надежного документа и он не может выйти из города, потому что везде заставы, а в городе все еще идут аресты. Грустно пошутил:

«Даром хлеб ем. Мало на этот раз сделал. И ребята там беспокоятся, что со мной?»

Вечером отец приехал раньше, чем обычно. На той же санитарной машине. В нашем тесном переулке машина долго разворачивалась, буксовала в грязи, и папа все не заходил в дом. Я слышала, как он переговаривался с шофером. Наконец машина ушла. Появился папа — встревоженный, даже испуганный. Таким он не был еще никогда. Я спросила, что случилось. Он успокоил:

«Ничего, ничего, дочка».

А сам сразу пошел к нему. Через несколько минут они вышли, и Сажень впервые осмотрел весь дом, даже поднялся в комнаты Грота.

Вскоре вернулся Вася. Отец отворил ворота. Машина заехала во двор под самое крыльцо. Вася сбросил еще мешок картошки. Сказал отцу:

«Осматривали. Дважды. Отсюда и сюда. Злые как собаки».

«Подготовь ребят. Если до ночи ничего не случится, мы выведем его на Элеваторную».

Еще о чем-то они пошептались.

Когда Вася уехал, я опять спросила у отца, что же все-таки их встревожило.

«Арестованы наши люди. У дома шныряет тайный агент полиции. На Пушкинской проверяют документы. Трижды осматривали машину».

Сажень переселился в погреб. Под домом у нас большой погреб. Спускались туда из кухни. Но во дворе у стены был люк для вентиляции. И картошку осенью через него ссыпали. Он был еще закрыт с зимы. Отец открыл его. Потом велел мне разведать мою тропку. Была у меня потаенная тропка, которой я бегала еще до войны к одной своей подружке-однокласснице. Отодвигала доску в заборе, пролезала в соседний сад, таким же манером из того сада — в Вишневый переулок, потом — на Климовскую и оттуда — на Элеваторную, к реке.

Но тут приехал Грот. Как назло, долго возился во дворе с машиной, ремонтировал, мыл.

Шикович заметил, что, забываясь, Зося начинает рассказывать одному Антону Кузьмичу. На него одного смотрит, к нему одному обращается так, будто он единственный свидетель, который может подтвердить правдивость ее слов.

Спохватившись, она виновато улыбнется и некоторое время рассказывает ему, Шиковичу, с какой-то странной настороженностью следя, как он записывает: то подряд, точно стенографируя каждое слово, то взмахом пера ставит какой-то иероглиф, ему одному понятный.

Маша сняла туфли и босиком на цыпочках вышла на кухню — должно быть, поставить чайник. Вернувшись, стала в коридорчике и слушала оттуда. Шикович умел и слушать и примечать все вокруг. Он знаком пригласил Машу войти и сесть. Та отказалась тоже жестом. Этот их немой разговор сбил Зосю. Она умолкла. Шикович быстро повернулся на стуле, как шалун школьник, пойманный учителем.

— Простите, Софья Степановна. Я весь внимание.

Но она уже обратилась прямо к Ярошу, с улыбкой, как к старому, испытанному другу.

— Вы знаете, Антон Кузьмич, меня еще раз выручили кролики господина Грота. Помните?.. Я сунула одного за ватник и пробралась в соседний сад. Обойдя забор, нашла доску, которую можно было отодвинуть без шума. Вышла хозяйка (не та, что жила до войны), жена какого-то белогвардейца-эмигранта, который вернулся из Германии и занялся коммерцией. Я объяснила ей, что удрал кролик. «Я боялась, чтоб он не испортил вам деревья». Старая дура поцеловала кролика, которого я ей показала.

«Какая милая мордочка!»

Гроту я тоже сказала, что убежал кролик. Он взял его — ловко и безжалостно, меня всегда и пугало и возмущало, как он брал этих несчастных зверушек. Вот так, двумя пальцами, за шкурку.

«О, ты хочешь бежать? — сказал он кролику.— Завтра будешь за это наказан. Мне жаль тебя, но чего не сделаешь во имя науки!»

Как только стемнело и Грот поднялся к себе, отец сказал:

«Выводи, дочка. Счастливо вам! На Климовской встретит Вася. Если же не встретит...»

Он дал адрес на Элеваторной, номера уже не помню, кажется, девятнадцать (мне потом пришлось запоминать много разных номеров), и какой-то хитрый пароль, который я тоже забыла, какая-то поговорка с религиозным оттенком, кажется.

Еще отец сказал: «Назад, дочка, этим путем не возвращайся. Выйди на Пушкинскую. У тебя есть

пропуск. И зайди к Тищенкам. Старуха захворала и очень просила, чтоб ты зашла. Зайди обязательно. Так надо».

Бургомистерша сама мне звонила дня три назад. Но мне было противно идти к этой ополумевшей от страха бабе, которая день и ночь молилась. Однако когда отец сказал, что так надо — для конспирации, показалось мне тогда, я готова была пойти хоть к самому дьяволу. Только позднее... слишком поздно... я догадалась, что мой добрый, умный и наивный папа хотел таким образом спасти свое единственное дитя...

Весь рассказ она вела ровно, тихо, без интонаций, без резких жестов и мимики, если не считать виноватой улыбки. А тут губы ее по-детски скривились и задрожали.

— Два наших офицера, которые допрашивали меня в сорок шестом, стали издеваться, когда я откровенно рассказала им все. Смеялись, перемигивались. «Сила девка! Значит, проводив подпольщика, вы сразу же пошли утешать жену городского головы? Хитрая сказочка! Но оставьте ее для дураков. Мы наслушались сказок и почище!»

Несчастный мой отец!.. А я... глупая какая была! Поверила ему, даже когда он позвонил Тищенкам, поговорил сперва с Олимпиадой Павловной, а потом попросил, чтоб я осталась там ночевать. «В городе неспокойно. Недалеко от нашего дома только что стреляли. Переночуй, дитя мое. Целую тебя, Зосенька».

Это были его последние слова. Он не любил лишних нежностей, сюсюканья, поцелуев по телефону. А тут вдруг — как маленькой. И я, дура, все равно ни о чем не догадалась... Я могла быть рядом с ним! Вероятно, он отстреливался, когда они ворвались! И последнюю пулю... Папа прятал пистолет, прятал даже от меня, но я знала, что он есть. Послушайте, может быть, его застрелил Грот? Немца не было на похоронах. Все были. Из гестапо, отовсюду. Одного его не было.

— А что Сажень, Софья Степановна? Проводили вы его? — спросил Шикович, чтоб вернуть ее к последовательному рассказу.

— А как же! Мы вышли на Вишневый. Было темно. Ни огонька, замаскировано все. Я услышала, что за нами кто-то идет. Мы побежали. На Климовской нас встретил Вася. Вырос как из-под земли. Я сказала ему, что кто-то идет. Он ответил, что это свои. Из-под полы посветил фонариком в один конец улицы, в другой. Ему ответили оттуда и оттуда. Вот как они охраняли этого человека! Вася сказал: «Ты, Зоська, герой!» — и поцеловал меня в щеку. Мне стало стыдно: еще Сажень подумает что-нибудь! А я этого Васю, может быть, раз пять и видела всего. Мне тогда — опять! — очень захотелось, чтоб на прощание Сажень поблагодарил меня. Смешно! Он не сказал обычного спасибо. Сжал мою руку и проговорил:

«Всего доброго тебе, Зося. Кончится война — встретимся».

...Разбудила меня бургомистерша рыданиями. Упала на колени перед моей постелью.

«Мужайся, деточка. Бог милосерд, он все видит. Партизаны убили твоего отца».

Я не закричала. Кажется, даже не заплакала. В один миг я все поняла. И в ту минуту повзрослела, должно быть, на двадцать лет. Шептала себе: «Мужество, только мужество!» Молила бога, в которого не верила, дать мне его, это мужество, чтоб у меня хватило сил все перенести. И молчать. Молчать, молчать!..

Ошалевшая от страха баба уговаривала меня немедленно бежать с ней на край света, в монастырь: она знает такой монастырь. «А то они всех нас убьют». Я молчала.

Два агента гестапо везли меня на извозчике по городу. Выражали сочувствие. Я молчала. Домой меня не повезли. Отец лежал уже в вестибюле городской управы. Когда только они успели перевезти и убрать его? Он лежал в своем парадном костюме, в сорочке, которую я за день до того постирала. Только галстук — чужой, «бабочка». Папа никогда не носил «бабочки». До войны это было не принято, и ма-

ма, наверное, первая посмеялась бы. На лице его застыл покой, ни признака страха, ни страдания. Очевидно, он умер сразу. Только почему-то посинел левый висок. Я спросила у начальника полиции Магнатова, куда попала пуля. Он пожал плечами.

«В сердце. В самое сердце,— ответил тот, что не отходил от меня ни на шаг.— Бандиты стреляли в упор».

Чины местной власти — вся эта продажная сволочь — подходили, выражали соболезнование. Раньше они мне казались смешными и глупыми, эти люди. В тот день я поняла, что такое ненависть. О, как я их ненавидела! Мне хотелось плевать в них, бить по физиономиям. Но я молчала. Я должна была молчать.

Когда явился фельдкомендант, защелкали фотоаппараты. Он не подошел ко мне. Соболезнование принес переводчик. Мне запомнился взгляд офицера-гестаповца. Он все время следил за мной, и я поняла этот его взгляд. Какие у него были глаза! Он все знал и смеялся — злобно, нагло, победоносно. Глаза его смеялись.

Скажите, зачем им понадобилась эта комедия с похоронами?

Зося умолкла и ждала ответа от Шиковича. Ответил Ярош:

— Провокации были разные. В зависимости от фантазии того, кто их организовывал. Бругер отличался фантазией, я знаю.

— В мае сорок третьего Бругера уже не было,— уточнил Шикович.— Начальником гестапо стал Гильберт, штурмбаннфюрер.

— Вы тоже подпольщик? — удивилась Зося.

— Нет. Я пишу книгу, а потому должен все точно знать.

Маша, воспользовавшись паузой, предложила:

— Я принесу кофе.

— Да, да,— поддержала Зося.

— Устала? — ласково спросил Ярош.— Дай руку. Может быть, потому, что он неожиданно сказал ей «ты», она покраснела, застеснялась.

Антон Кузьмич встал с кресла, проверил пульс.

И, видно, остался доволен. А Зося, как бы стремясь доказать, что это ей нетрудно, начала рассказывать дальше, не обращая внимания на то, что Маша ходит, звенит стаканами.

— Я думала, что мне будет все равно, как похоронят, кто похоронит, что будут говорить... Я знала, что это не конец. И готовилась — собирала все силы. Но когда отца несли на кладбище, я увидела, как смотрят люди... рабочие. «Туда ему и дорога!» — вот как они смотрели. Мне стало больно. Очень больно... И обидно. И страх меня охватил. Сердцем я предчувствовала то, что потом случилось. На кладбище я разрыдалась и потеряла сознание.

Три дня лежала у Тищенок, обессиленная, простуженная, разбитая. Те двое — мои «опекуны» — не выходили из квартиры. И они, и Тищенко, и вся свора, добивались, чтоб я подписала письмо в редакцию, где гневно заклеймила бы, как бандитов, партизан, которые убили моего отца, ни в чем не повинного человека, врача, занимавшегося только тем, что спасал людей от тяжелых болезней. «Почему вы не хотите подписать, панна Зося?» — удивлялись они.

«Партизаны убьют меня».

«Мы вас спрячем в таком месте, куда не доберется ни один бандит. Не бойтесь».

А жена Тищенко шептала: «Не подписывай. Убьют»,— и все уговаривала бежать вместе с ней в монастырь. Глупая, она не видела, как меня стерегут.

Они перевели меня в немецкий отель. Поместили вместе с какой-то немкой. По-русски она говорила плохо, но «обрабатывала» меня основательно. Даже следила ночью, не проболтаюсь ли во сне. Потом меня отпустили домой. Они были еще вежливы.

«Не будете бояться одна?»

«Не буду».

Надеялись, что ко мне кто-нибудь придет. Может быть, попытаются вывезти в лес. Немалая у них была забота — стеречь меня. Но никто не приходил, и скоро им это надоело. Те же два «опекуна» отвезли меня в гестапо. Сперва допрос, несколько дней подряд

об одном и том же: кто приходил к отцу, с кем он встречался, как жил и так далее; назавтра то же самое в другом порядке — чтоб запутать. Потом очные ставки. Кого я узнаю из этих людей? Приводили человек пятнадцать. Я узнала только одну женщину, сестру из детской больницы; но она посмотрела на меня очень враждебно, и я не призналась, что знаю ее. Когда привели Васю, я не могла отрицать наше знакомство. Сказала, что это шофер больничной машины. Вася, избитый, весь синий, приветливо кивнул головой: одобрил мое признание.

«Он часто приезжал к вам?» — спросил следователь.

«Не очень часто»,— ответила я.

«Почему в тот день, перед убийством, он приезжал три раза?»

«Привозил отца. Потом картошку. Мешок муки».

«А еще кого?»

«Три мешка партизан»,— засмеялся Вася.

Гестаповец ударил его по лицу. Я заплакала. Вася крикнул:

«Ничего, девушка! Не горюй! Мы еще потанцуем на твоей свадьбе!»

Я начала протестовать. Почему меня держат в гестапо? За что? Это бесчеловечно! Такое горе, а меня допрашивают, как преступницу. Я буду жаловаться!

Тогда появился тот офицер, которого я заметила на похоронах.

«Она не знает, почему ее здесь держат? Бедная девочка! — саркастически бросил он по-немецки. Сел за стол, положил перед собой пистолет. Злобно сказал через переводчика: — Хватит этой дурацкой комедии. Ты отлично знаешь, почему тебя держат. Твой отец был связан с партизанами. Ты помогала ему. У вас скрывался комиссар. Мы поймали его. Он во всем сознался».

«Кто же убил моего отца?»

Он подскочил.

«Жалею, что это сделал не я!»

«А кто?»

«Она что, собирается допрашивать меня?» — рявкнул офицер.

Я заговорила по-немецки:

«Я хочу знать, кто убийца моего отца. А комиссара вы выдумали. Если герр Грот, хирург госпиталя, и есть этот комиссар, тогда верно, он скрывался у нас».

Он подошел ко мне, долго, пронизывающим взглядом смотрел в лицо, в глаза. Потом растер у меня на щеке горящую сигарету. Процедил сквозь зубы:

«Ах, с каким наслаждением я распял бы тебя, сука, на кресте! Но сегодня мне не до тебя. Тобой я займусь позднее. Пораздумай о своей судьбе»,— и два раза с размаху ударил по лицу.

На счастье мое или на несчастье, этот больше мной не занимался. Допрашивал другой офицер. Я все отрицала. Били. Нет, не очень. Один только раз деревянными тисками сжимали пальцы. Это больно. Пальцы и теперь болят.

Зося подняла левую руку, пошевелила пальцами.

— Что же вы не сказали мне? — укоризненно покачал головой Ярош.

— Они болят, когда вспоминаю. А так — ничего. В лагерях тоже били. Плетьми. Резиновыми дубинками. Меня недолго держали в тюрьме — недели две. Оттуда — в лагерь под Барановичами. Затем Майданек... А после... Я уже не помню их, всех лагерей, в которых перебывала. Меня часто переводили почему-то. Последний — женский лагерь под Гиссеном. Нас освободили американцы...

Она, очевидно, все-таки устала и потому торопилась, чтоб скорей кончить рассказ. Маша первая поняла это и громко хлопнула в ладоши, как бы ставя точку:

— Товарищи, стынет кофе. И твое молоко, Зося.

24

Завод взял обязательство выполнить десятимесячный план к открытию съезда. Цехи, смены, бригады стали на предсъездовскую вахту.

Внешне как будто все было по-старому, разве что появились новые лозунги и призывы. Но даже Славик с его двухмесячным стажем заметил новый ритм в работе. Именно ритм, потому что раньше нередки были и авралы. Хорошие и добросовестные работники подчас простаивали из-за того, что где-то кто-то что-то недоделал. Снабженцы, транспортники или конструкторы, литейщики, механики или плановики. Сборщикам, которые, по сути, завершали процесс, это «что-то где-то» больше, чем кому бы то ни было, становилось поперек горла. Славик не однажды слышал, как хлопцы из его бригады крыли механиков. А те, в свою очередь, валили вину на кого-нибудь другого. Но вот уже сколько дней работают с веселым подъемом. Этот подъем захватил и Славика. Его меньше учили, больше поручали операций, которые он мог выполнить самостоятельно. Это ему нравилось, и он старался. Работа сборщика таких уникальных несерийных станков тем и интересна, что она редко повторяется, что каждый день и каждый час приходится делать что-то новое.

Как-то за обедом Славик спросил у ребят:

— Архимеды, растолкуйте мне, почему у нас не могут всегда работать вот так... чтоб не портить людям нервы? А только — перед праздником. Привычка или черта человеческого характера?

— Начинает думать мальчик, — бросил Костя, когда Славик, получив довольно противоречивые ответы, пошел в буфет купить папиросы.

— Только все у него этак.— Ходас правой рукой через голову достал свое левое ухо.

Генрих осторожно, двумя пальцами, поправил золоченые очки. Хмыкнул:

— Однако ж и ортодокс ты, Иван! Быть тебе профсоюзным лидером, уж больно ловко ты умеешь отмахнуться от всего сложного. А Славик задал вопрос, на который не так-то просто ответить.

— Один дурак такое может спросить, что сто умных не ответят.

— Так пускай они шевелят мозгами, умные,— неожиданно зло сказал Тарас.— А то у нас действительно только перед праздниками некоторые запускают

вот эту «кибернетическую машину»,— он постучал пальцами по лбу,— на полный ход.

Генрих своими очками пускал веселых зайчиков на лица друзей.

— Причин аритмичной работы завода — одна тысяча двести сорок четыре и пять десятых. Если б мы их выявили, объяснили и описали, нам можно было бы присвоить звание докторов наук.

— В том-то и беда, что мы их не выявляем,— сказал Тарас уже спокойно, без злости.

— А давайте сделаем почин! — Костя любил вносить неожиданные предложения и сам же подшучивал над собой: «Из сотни хоть одно да окажется толковым?» — Но чтоб не выяснять все тысячу двести причин, выясним одну: почему теперь все пошло нормально?

— Вахта,— коротко ответил Василь Лопатин, подбирая хлебом остатки соуса на тарелке.

— А в словах Кости есть зерно...

— Одно? Целый мешок!

— Не ребячься.

— Он у Славика учится.

— А ведь он прав.— Тарас обращался к Генриху, тот был у них «главный теоретик».— Причины аритмичной работы, может быть, где-то и выясняются, а вот стоит работе наладиться, как сейчас же всякому анализу конец. Начинаем славословить, раздавать премии...

— Любим «ура» кричать,— отозвался Славик, услышав последние слова Тараса. Кинул на стол пачку папирос. Взглянул на табличку «У нас не курят» и чиркнул спичкой.

— «Ура» ведет на штурм,— сказал Лопатин, отставляя, наконец, тарелку.— Нет, Вера все-таки вкусней готовит.

— Потому, видно, и кричим, что часто приходится штурмовать,— засмеялся Генрих.

— Вера готовит вкуснее? — усомнился Костя, озорно подмигнув Генриху.

Тот принял «эстафету», сказал серьезно, с дрожью в голосе, обращаясь к Тарасу:

— Несчастная. Я ей не завидую.

Лопатин, который не чувствовал юмора, опешил:

— Кому? Вере? Почему?

— Попробуй наготовить на такого обжору! — блеснул зубами Костя.

— Ну и пустобрехи!

Славику нравилось, что в бригаде умеют и пошутить и поговорить серьезно и переходы эти от шутки к делу и наоборот всегда неожиданны. Ему все больше нравилась бригада. Вот только с Тарасом сложные отношения.

На другой день после «дуэли» Славик не пошел на работу. С таким глазом стыдно было на улицу показаться, не то что на завод. Все утро ссорился с Ирой, которая зло подсмеивалась над его «фонарем», не веря, что он свалился с мотоцикла. Ушла Ира в институт — искал, куда мать спрятала коньяк. Перевернул всю квартиру. В ящике Ириного стола, под старыми конспектами, нашел ее дневник. Из любопытства стал читать. Девушка писала о своей любви, о своем желании открыться «Е м у» и о том, как ей страшно и стыдно сделать это первой. Славик долго не мог понять, кто «Он». Местоимение, заменявшее имя, Ира писала с большой буквы.

«Обращается, как к богу»,— смеялся Славик, злорадно потирая колени. Теперь он не даст жизни своей дорогой сестричке. Нет, он заставит ее служить, как верную собачонку, если она не хочет, чтоб он выдал ее тайну. Если б еще выяснить его имя!

Наконец он дошел до описания того дня, когда вся бригада и Маша обедали на даче. Тут Ира не скрывала имени. Открытие ошеломило Славика. Пропало желание отомстить сестре, посмеяться над ней. Наоборот, стало ее жалко. Поразила Ирина проницательность: «Я сразу почувствовала в этой рыжей соперницу. Бедная моя любовь! Ты еще не загорелась для Него, а на тебя уже надвигается туча».

Нет, он, Славик, отомстит за себя, за сестру!

Но, прочитав уже без особого интереса еще несколько страничек, рассудил иначе. Может быть, лучше сделать так, чтоб Тарас узнал об Ириной любви? Тогда, может случиться, он откажется от Маши.

Славик ругал сестру:

«Овечка! До двадцати лет дожила, институт скоро кончает, а совсем как семиклассница. Вздыхает, дневничок ведет. Дура!»

Разозлившись, швырнул толстую тетрадку на кровать. Но через минуту, проникшись сочувствием к сестре, спрятал дневник обратно в ящик.

«Все перепуталось. Сам черт ногу сломит! «Старый конь» еще жалуется, что нет интересных сюжетов. Зарылся в каких-то архивах и ничего не видит вокруг. А тут такие «треугольнички» возникают! О любви надо писать, старик, если хочешь, чтоб тебя читали»,— глубокомысленно изрек Славик.

Посетовал на мать: «Одна у нее забота, чтоб лучше поели детки и чтоб ничего не выпили. Жратвы полный холодильник, а хоть бы на компресс где-нибудь капля спиртного хранилась — так нет! Куда она девала коньяк? Не могла же она вылить»,— злился он, не бросая поисков.

В конце концов Славик понял, что все эти поиски коньяка, хотя выпить ему не так уж хотелось, все рассуждения об отце, матери, Ире — тщетная попытка увести мысли от главного: как поступит Тарас? Как они встретятся теперь?

Он, сам себе в этом не признаваясь, страдал от мысли, что Тарас все расскажет в бригаде и возмущенные ребята прогонят его. С удивлением осознал, что ему жалко оставлять бригаду. Куда он пойдет от них?

Когда под вечер к нему заявились Костя и Генрих, Славик испугался: с чем пришли? А когда ребята дружески поздоровались и Генрих сказал: «Ну как? Кости целы? Черт вас понес на этом мотоцикле, могли насмерть разбиться»,— Славик чуть не подскочил от радости. Особенно его удивило и позабавило, что они с Тарасом врут в одно слово: он тоже наплел шоферу, который вез его в город, а потом сестре и отцу, что упал с мотоцикла. То, что Ира и отец, приехавшие с дачи утром, ничего не знают, успокоило его. Значит, Тарас рассказал одной матери. Ну, матери можно, у нее хватит такта молчать.

Услышав, как объяснил происшествие Тарас, он с уважением подумал: «Это по-мужски!»

Знал бы Славик, что историю с мотоциклом придумали коллективно, бригадой!

Сперва Тарас сказал ребятам о синяке просто: «Ударил один пьяный дурак». Но Косте рассказал правду. Этот смешливый романтик обладал необъяснимым свойством: ему доверялись самые сокровенные тайны и мысли. Костя заявил, что ситуация создалась серьезная и потому следует обсудить ее в бригаде. После смены в комнате общежития за запертой дверью шла жаркая беседа.

Ходас доказывал, что Славика надо гнать вон, пока он не опозорил бригаду.

Генриху история с «дуэлью» показалась необычайно забавной. Он шутил:

— Знаете, я все мечтаю, чтоб еще кто-нибудь влюбился в Зою. Вызвал бы соперника на дуэль...

Вася Лопатин признался, что он тоже «заехал одному в морду», когда тот стал слишком увиваться вокруг Веры.

— Ужас, ужас!..— хватался за голову Костя.— Выходит, на всех вас пятна проклятого капитализма. Ивана салом не корми — дай взобраться на высокую трибуну. Тщеславие! Василь боится собственной жены. Трусость! Бригадир наш, вместо того чтобы провести воспитательную работу, сворачивает ученику челюсть. Один я...

— Болтун ты!.. Самый большой порок! Ты любое дело потопишь в словах. Говори, что делать...

— Статус-кво. Все остается, как в Берлине до заключения мирного договора. Вы упали с того мотоцикла, на котором я вчера ездил к родителям.

Всех рассмешило Костино предложение. С ним согласились. Заспорили о другом.

Лопатин потребовал, чтоб Тарас объявил Маше бойкот: пусть не водит за нос двоих сразу. Тарас покраснел, растерялся. Костя сказал, что такие вопросы нельзя решать коллективно.

— Договаривались, что у нас не будет тайн друг от друга,— напомнил прямолинейный Ходас.

— Я не делаю тайны из того, что Маша мне нравится,— ответил Тарас.— Но...

— Но,— подхватил Костя,— это не значит, что

он должен докладывать нам, о чем говорит с девушкой. Так можно дойти до того, что начнем требовать у Василя отчета, о чем он с женкой шепчется по ночам. Это будет уже не дружба, а насилие, принуждение... Можно возненавидеть друг друга!

— Тогда как понимать, что Шикович работает в бригаде, а живет как волк? И поступки волчьи. А мы играем в жмурки. Я против любого индивидуализма! — Ходас не умел так ясно аргументировать свои мысли, как Костя, говорил почти лозунгами и настаивал на своем, хотя не всегда был последователен.

— Никого нельзя заставить силком идти к людям с открытой душой,— подытожил Тарас.— Славик должен сам поверить, что мы ему искренне желаем добра.

Он сказал это — и осекся: а как ему, бригадиру, доказать, что он желает Славику добра после того, что случилось?..

И Славик шел на работу со страхом: как они встретятся? Нет, ничего. Протянули руки друг другу, улыбнулись. Внешне как будто все осталось по-старому. Внешне...

А что творилось у каждого в душе?

Тарас старался преодолеть свою неприязнь, но мучился от ревности. Ему казалось, что Маша встречается с ним редко, неохотно и скучает, когда они бродят по осенним улицам. Ему становилось тоскливо. Тревожила мысль: не продолжает ли она прежнюю игру? Хотя она и уверяла, что давно уже не видела молодого Шиковича, Тарас помнил, как весело и озорно она засмеялась, когда он рассказал, что у них произошло. Конечно, ей нравится этот беззаботный нахал и позер. Так сказала бы! Тарасу было обидно: почему она не хочет быть с ним до конца откровенной? Если нет любви, что ж, он останется добрым другом. Только бы все по правде.

А Маша не лгала.

Славик звонил ей, добивался свидания. Она со смехом ответила, что боится его: «Еще застрелишь».

Ревность его погасла вместе с «фонарем» под глазом, но ее ответ задел самолюбие.

«Вот, собака, рассказал! Погоди же!..» — снова

разозлился он на Тараса. Не верил его хорошему отношению, начал придираться без всякого повода.

— Ты чего так смотришь на меня? — спросил однажды Славик у Тараса, когда они оказались вдвоем в тесном проходе между станками-великанами. Тут бы им и поговорить по душам. Так нет — у каждого гонор.

— А как я смотрю на тебя?

— Как? Как волк на овечку. С такой же нежностью.

— Хочу съесть.

— Зубы сломаешь.

— Глупый ты, Слава.

— Ты больно умен!

Над их головами с грохотом прошел кран. Славик подпрыгнул, ухватился за крюк и вскочил на станок.

Нина остановила кран, высунулась из будки, погрозила кулаком. Славик ответил ей воздушным поцелуем.

За такую мальчишескую выходку надо бы как следует пробрать. А он, бригадир, не может. Не хочет ссориться, чтоб не усложнять отношений. Тут Тарас подумал, что, пожалуй, Ходас и прав: такого не перевоспитаешь. Может быть, все и наладилось, если б не Маша. Встала она между ними.

Нина чуть не кубарем слетела из своей будки, закричала на весь цех:

— Если вы коммунистическая бригада, так и ведите себя по-коммунистически! Я не желаю из-за дураков в тюрьму садиться.

На этот раз Костя и Генрих — добровольные «шефы» Славика — основательно намылили ему шею.

А на следующий день Славик пригласил Нинку в кино. Она долго колебалась: ее еще никогда никто из ребят не приглашал. И не устояла перед искушением. Ведь пишут же в книгах, показывают в кино, что нередко любовь начинается ссорой.

25

Конец сентября выдался на диво теплый. Казалось, вернулось лето, настоящее, не бабье. Зацветали вторично вишни. В лесу небывалый урожай грибов. Любители-грибники хлынули за город. Переполненные ходили автобусы, поезда. Началась прямо-таки «грибная лихорадка» — кто соберет больше. Но если многих привлекала только пожива, то для такого заядлого грибника, как Ярош, это было истинным наслаждением, лучшим отдыхом. Пользуясь машиной Шиковича, он уезжал в лес дважды на день; чуть свет, до работы, и под вечер, после работы. Обычно сдержанный во всем, что касалось его личных дел, тут он с мальчишеской радостью хвастался перед персоналом и даже больными своими грибными успехами. Уже в коридоре, когда он аккуратно без десяти девять появлялся в больнице, помолодевший, сияющий, пропахший хвоей и грибами, его спрашивали:

— Сколько сегодня, Антон Кузьмич?

— Сто двадцать три! Да видели бы вы какие!

И начинал расписывать, как сидела семья грибов — двадцать семь штук! — вокруг молодого дубка. Невиданный случай! Стоило бы написать в «Огонек». И тут же ругал браконьеров, которые берут гриб с корнем. Даже написал в газету: «Как надо собирать грибы». Возмущался, что в газете выбросили из его заметки все о зарождении и росте гриба и оставили одни голые советы. Чуть не дрался с Шиковичем из-за того, что тот, сидя на даче, целыми днями писал. Вокруг дома, у самого крыльца, растут грибы, а не вытащишь его. Пока выполнит норму, им самим установленную,— глядишь, и вечер.

— Голова дубовая! Куда ты торопишься? Кто тебя гонит в шею? Успеется. А грибы — одна неделя, и не будет их. Какой ты к черту писатель, если не чувствуешь такой красоты?

— О, ты даже не представляешь, какой я грибник! Но мне здорово работается эти дни. Походолает —

опять наступит кризис, я знаю. Приходится выбирать.— И, побродив с другом часок, Кирилл снова спешил к рабочему столу.

Однажды, когда Ярош рассказывал о своем очередном удачном сборе, Маша нерешительно попросила:

— Антон Кузьмич, возьмите нас с Зосей как-нибудь.

Взять Зосю? Ну что ж! Это даже входило в его план лечения — понаблюдать, как ведет себя «отремонтированное» сердце в разных условиях. К тому же Зося наверняка давно не бывала в лесу. Захотелось доставить ей эту маленькую радость — в жизни у нее было их так мало!

Тут же мелькнула мысль о жене: если прослышит, не миновать неприятностей. Взять и ее с собой? Из гордости не поедет, а все равно будет волноваться, нервничать, подозревать. «Лучше пусть не знает!» — решил, устыдясь своих колебаний, и сказал Маше:

— Ладно. Давайте поедем. Сегодня же.

Зося села рядом с Антоном Кузьмичом впереди. Предложение поехать в лес она встретила со сдержанной, однако нескрываемой радостью. А села в машину — и вдруг разволновалась. Почему-то начало казаться, что эта поездка что-то изменит в ее жизни. Но ей было хорошо, легко, и она не хотела больше никаких перемен. Она съежилась, прижалась к сиденью.

— Зося, тебе холодно? — спросила Маша.— Возьми мою куртку.

— Нет, нет. Спасибо.

— Подымем стекло,— сказал Ярош, поворачивая ручку.— Простужаться вам нельзя ни в коем случае.

— Мне не холодно. Я просто почему-то волнуюсь,— призналась она виновато.

Что ж, в конце концов не так уж трудно понять душевное состояние человека, который вернулся к жизни и впервые после болезни и такой операции выезжает на природу. Ярош пошутил:

— Видите, собраться по грибы тоже нужно мужество.

Подъехали к даче. Шиковича не было: видно, все-таки отправился в лес.

Маша, у которой с грибами были связаны и радост-

ные и горькие воспоминания — в послевоенные годы грибами и на вырученные за грибы деньги она кормила всю семью,— сразу же ринулась в чащу. Проворная, быстрая, она шарила под каждым кустом и деревом, кружила, делала петли, быстро теряла направление.

Ярош не любил так петлять. Он ходил почти по прямой. Но у него было необычайное чутье — всегда угадывал, где в этот день мог вырасти боровик. Он шел на гриб или грибную семью, как на радиомаяк.

— Заглянем-ка мы сюда, под наши дубы,— сказал он Зосе, как только они отошли от дачи.

Она поняла его слова как предложение ходить вместе с ним. Действительно, Ярош хотел, чтоб она была рядом и он мог наблюдать за ней.

Она шла шагах в десяти от него. У самого огнища, где все лето жгли костер, на стежке под дубом Ярош увидел первый боровик. Неопытный грибник никогда не стал бы искать его на таком вытоптанном месте. Боровик был на диво хорош — будто выращен напоказ. На толстой белой ножке — ядреная, тяжелая на вид, шапка, светлый янтарь, что позолотил снизу кромку, постепенно темнел и переходил в маслянистый темно-коричневый цвет; только самую макушку пересекала тонкая ломаная светлая полоска,— видно, лежала веточка, которую гриб долго не мог с себя сбросить.

Ярош остановился в двух шагах и с видом волшебника молча пальцем поманил Зосю, Таинственно прошептал:

— Вот он! Видите?

Она разглядела, удивилась.

— Ах! — И попросила, как маленькая: — Можно, я?..

— Только, чур, подрезать! — предупредил он.

Она присела, осторожно подрезала гриб, подняла и, любуясь, засмеялась. И Ярошу стало необыкновенно хорошо от ее наивной радости.

Он огляделся и увидел второй гриб. Наклонился, подрезал.

— А вот еще один.

Третий, казалось, сам пошел в руки.

— А вот еще!

— Ах! — уже с завистью воскликнула Зося.

И еще больше обрадовалась, когда, наконец, сама увидела гриб. Подняла его, показала:

— Смотрите какой! Совсем как мальчуган.

И верно, боровичок был маленький и веселый, похожий на милого сорванца в шапке набекрень.

«Как мальчуган». Ярош подумал о том, что, помимо всего прочего, эта не молодая уже женщина не знала радости материнства.

«Надо будет как-нибудь показать ее Левину и Шуваловой (его коллеги — лучшие в городе терапевт-сердечник и гинеколог). Пусть скажут, можно ли ей рожать?»

Он подумал об этом с отцовской озабоченностью, как о взрослой дочери.

Зося нашла еще три или четыре гриба. Потом Ярош, верный своему методу, двинулся напрямик, задерживаясь только на тех местах, где интуиция подсказывала ему: здесь есть грибы. И почти не ошибался. Зося шла в стороне, в нескольких шагах. Случилось почему-то так, что ей все чаще и чаще стали попадаться боровики. Пожалуй, даже больше, чем Ярошу. Он пошутил:

— Да вы завзятый грибник.

Где-то далеко сзади аукнула Маша. Ярош подождал, не ответит ли Зося. Она не отвечала. Он откликнулся в шутку пискливым женским голосом. Маша, не узнав, стала звать настойчиво:

— ...о-о-ся-а! ...то-он... ...ми-ич!..

Ярош ответил обычным голосом, и девушка умолкла.

Они шли чистым бором. Место тут, вдоль луга, холмистое. Может быть, некогда, в доисторические времена, река во сто раз более могучая, чем эта, намыла здесь высокие песчаные дюны, на которых потом умные люди посадили лес. На гребне росли сосны, не очень старые, ровные, высокие красавицы, одна в одну. Предвечернее солнце золотило их медные стволы. Легкий ветер покачивал гибкие вершины, за которые, казалось, зацепились прозрачные облачка, плывущие на восток — от солнца навстречу ночи. На земле, покрытой сухой хвоей, стелилось прихотливое кружево света и тени.

А в низине рядом с соснами росли дубы, изредка — березы. Они делали лес гуще, и там лежала глубокая тень.

Опьянев от аромата хвои и грибов, от солнца и счастья, Зося вдруг остановилась, поставила на землю сумку и оперлась спиной о сосну. Вероятно, Ярош, на несколько минут забыв о здоровье своей напарницы, шел слишком быстро.

Он встревожился: не худо ли ей? Но она закрыла глаза и засмеялась, разводя руками:

— Грибы! Сколько вокруг грибов!..

Они стояли под самой кручей. Сосны, казалось, карабкались прямо в небо. Можно было повернуть назад, обойти по низине. Но Ярошу хотелось пройти напрямик, взобраться на эту лесистую гору. Однако не давать же такую нагрузку ее сердцу!

— Я подыму вас туда, а назад мы пойдем лугом. Там ровно.

Не успела Зося возразить, как он легко подхватил ее на руки.

Она ахнула, но не стала вырываться. Притихла. Никогда еще не держал ее на руках мужчина — здоровую, счастливую. Боже мой! Оказывается, женщинам дано еще и такое счастье — близость любимого человека. А она не имела этого счастья и вряд ли будет иметь.

Зачем он делает это?.. Чтоб вместо прежних, физических, вызвать новые, душевные страдания, может быть, не менее тяжкие?

Она думала об этом, прислушиваясь ко все более частым и громким ударам его сердца. Он шел в гору легко и быстро. Она откинула голову и увидела, что вершины сосен кружатся. И облачко кружит на одном месте. Может, это кружится у нее голова?..

Доктор Ярош знал все тайны человеческого тела, да, казалось ему, и души тоже. Он считал, что для него уже нет никаких загадок в человеке. Он взял Зосю на руки как врач, заботясь о ее сердце, которое видел своими глазами, держал на ладони. Но вдруг и у него появилось какое-то странное чувство, незнакомое, неясное. Во всяком случае, сердце стало биться не так, как должно было при таком подъеме. Хороший

спортсмен, он точно умел рассчитать его нагрузку. Что же это оно выходит из повиновения?..

Он осторожно опустил Зосю на землю...

Возле дачи стояла санитарная машина.

Ярош прибавил шагу: неужели что-нибудь стряслось в больнице? Но тут разглядел сидящих на лавочке Шиковича, Гаецкую и незнакомую женщину. Услышав беспечный смех Гаецкой, увидел оживленную физиономию Кирилла и выругался про себя: «Кто ее приглашал сюда?..» Зося уловила перемену в его настроении, спросила:

— Кто это?

— Главврач Третьей больницы. Где ты лежала.

Она помнила эту пышную, красивую женщину, та изредка обходила палаты и устраивала «разнос» сестрам и санитаркам.

Ярош сказал:

— Глупая баба. И подлая.

Тамара Александровна уже шла навстречу, приветливо помахивая косынкой.

— С уловом, Антон Кузьмич! Я не знаю, как полагается говорить... Шикович! Как встречают грибников? Со сбором? С урожаем? С уловом?

Смеялись ее сочные губы, то появлялись, то прятались хорошенькие ямочки на щеках. А глаза, глаза — холодные, злые — разглядывали Зосю. Да так бесцеремонно, что Зосе показалось — раздевают ее. Совсем растерявшись, не знакомясь, не поздоровавшись даже, она чуть не бегом кинулась к сидящей на крыльце Маше, как бы ища защиты.

— Смотри, сколько я нашла боровиков! А ты? О, за тобой ни в чем не угонишься!

— Твоя пациентка? — спросила Гаецкая у Яроша.

Это мог спросить врач у врача просто, профессионально. Она как будто так и спрашивала, но взгляд, которым проводила Зосю, не укрылся от Яроша и возмутил его. Он сдерживал гнев, понимая, что не должен сорваться.

Гаецкая протянула ему руку, подвела к лавочке, познакомила со своей приятельницей.

Перекидывались какими-то пустыми фразами. Смеялись.

— Хозяева, приглашайте в дом. Надо же обмыть ваши новые углы,— сказала Тамара Александровна.

Шикович смешался, посмотрел на своего хмурого друга — не выручит ли? — и сокрушенно вздохнул:

— Когда я работаю, у меня — «сухой закон».

Гаецкая не растерялась.

— А мы ездим со своим вином.

— О, тогда другой разговор! Пожалуйста! Прошу,— галантно поклонился Кирилл, указывая на дверь.

«Не хватает только выпивать с Гаецкой здесь, на даче!» — сердито подумал Ярош и объявил:

— Меня ждут дома.

— У Антона Кузьмича ревнивая жена,— будто бы в шутку заметила Тамара, но нарочно так громко, чтоб услышали Зося и Маша.

Ничего не ответив, Ярош направился к «Москвичу». Завел, рывком подкатил к самому крыльцу, подняв пыль, точно поставил дымовую завесу. Зося первой торопливо юркнула на заднее сиденье.

Из приличия Ярош помахал докторшам рукой, спросил у Кирилла:

— Что передать твоим?

— Пусть привезут масла и хлеба.

Гаецкая, закусив губу, злобно сощурившись, долго смотрела вслед синему «Москвичу».

Ее приятельница спросила:

— Он всегда такой... нелюдим?

— Бывает и похуже,— угрюмо ответил Шикович.

Теперь и он злился на непрошеных гостей. Черт их принес! Не будь их, Антон остался бы. Маша нажарила бы грибов, и они вместе поужинали бы, поболтали. А теперь развлекай посторонних женщин!..

26

Галина Адамо́вна взглянула на часы и обрадовалась — до конца рабочего дня оставалось несколько минут. Она действительно не любила своей работы. Ей больше по душе домашние обязанности — приготовить вкусный обед, скроить, сшить. Мысли ее были уже дома: что бы такое сегодня придумать, чтоб угодить и Антону, и Вите, и Наташе, у которых довольно разные вкусы?

— Два часа не ешьте,— сказала она пациенту, полоскавшему рот содовым раствором.

У нее самой никогда не болели зубы; может быть, поэтому она относилась к своим пациентам с некоторой иронией, не верила их стонам и страданиям; она дважды рожала и ни разу не крикнула, а тут иной так охает, что противно слушать. И к кровавым плевкам она не могла привыкнуть за все пятнадцать лет работы.

Сестра выглянула в коридор, тоже не без удовольствия сообщила, что никого больше нет, и начала протирать инструменты. Галина Адамовна подошла к умывальнику, засучила рукава халата, вооружилась щеткой...

В этот момент распахнулась дверь, и вошла Тамара Александровна.

Сердце Галины сразу точно оборвалось и упало в какую-то гулкую пустоту, так что даже стало больно в животе.

Из открытого крана лилась вода.

Леденящие ручейки поползли по спине. Подумала, что эта женщина с наглыми глазами, которые она, Галина, много лет ненавидела, принесла ей горе. Галина Адамовна была убеждена, что с добрыми намерениями Гаецкая не придет.

Тамара Александровна, поздоровавшись, сразу похозяйски расположилась в зубоврачебном кресле.

Галина Адамовна упустила в раковину щетку, похолодевшей рукой закрыла кран. Подумала: «Если

у нее зубы — черт с ней! Не обязательно ради такой мыть руки».

Никогда еще и ни о ком она так не думала. Спросила официально-холодно, как у незнакомой, и не совсем профессионально:

— У вас — зубы?

— У меня — зубы,— с подчеркнутой иронией, блеснув золотыми коронками, ответила Гаецкая.

Холод спустился в ноги, до самых ступней, они стали деревянными, непослушными, но Галина Адамовна заставила себя подойти и взять инструмент.

— Сестричка, выйди, погуляй, милая. Мне надо кое-что сказать доктору,— попросила Гаецкая.

Сестра взглянула на Галину Адамовну. Той хотелось закричать: «Не надо! Не уходи!» Но вместо этого она почему-то, как виноватая, смущенно опустила глаза. И деликатная сестра мигом исчезла.

— Галя, дорогая моя,— сразу заговорила Гаецкая, мягко, ласково, чем еще больше встревожила Галину Адамовну,— я знаю: ты ненавидишь меня.

«Почему она говорит мне «ты»? Не в таких мы с ней отношениях!»

— Но... ты ошибалась. Никогда я не посягала на твое счастье. Никогда не желала тебе зла. Это завистники наплели тебе, хотели поссорить нас. Поверь мне, Галечка, я тебе друг. Потому и пришла. Потому и решила сказать. Не люблю сплетничать. Но когда задета наша женская честь...

Галина Адамовна обхватила пальцами штангу бормашины, до боли сжала ее. Вдруг возникло желание ударить Тамару Александровну. Очень уж близко были ее глаза, лицо.

«Надо отойти. Надо отойти»,— твердила она себе, но не тронулась с места.

— ...Если б кто-нибудь другой сказал, не поверила б. А то ведь видела собственными глазами. На даче вашей. И поняла: частые гости они там. Рыжая сестра и она... пациентка его... Может, ничего между ними нет. Но что подумают люди? Это же знаешь кто? Дочь того Савича. Предателя. Ты мне не веришь?

Тамара Александровна ждала, что Галина закатит истерику, наделает шуму, и она потешит свою

душу этим зрелищем. По крайней мере отомстит за то, что Галина когда-то перехватила Антона, за ее многолетнюю ненависть.

Но Галина Адамовна молчала. Ни одна черточка не дрогнула на ее застывшем лице.

— Не веришь — спроси у людей. Мне люди рассказали... Да разве ты не знаешь, что он жил у них, у Савичей, еще во время оккупации? Старая любовь... А ты спроси у него, как он со своим неразлучным дружком Шиковичем добивался для нее квартиры? Какую они мебель купили за свой счет? Не веришь?..

Вся беда была в том, что Галина Адамовна верила. Верила всему, каждому слову. От этого у нее мутилось в голове. Был момент, когда заколыхалось и поплыло кресло и уже не одна, а три Тамары злорадно скалились перед ней. Она все время видела этот злорадный оскал, хотя выражение лица нежданной гостьи было то сочувственным, то возмущенным.

Каким-то седьмым или десятым чувством Галина Адамовна разгадала, зачем пришла эта женщина, и ни одним движением не выдала своего горя, боли, муки. Позволила прорваться только старой ненависти. Вдруг процедила сквозь зубы:

— Уходи вон!

Гаецкая отшатнулась.

— Глупая...

— Вон!

Галина Адамовна с грохотом бросила на поднос лопатку и схватила острый пинцет.

С несвойственной ее комплекции живостью Тамара Александровна соскользнула с кресла, чуть не свалив бормашину. Только в дверях злорадно крикнула:

— Что? Дождалась?..

Антон Кузьмич открыл дверь квартиры и по беспорядку в коридоре, по запахам, или, вернее, по отсутствию кухонных запахов, догадался, что что-то случилось. Не что-то. Он ясно знал что. Он отлично понимал, что Гаецкая не смолчит. За эти дни после их встречи на даче несколько раз хотел сам рассказать Галине, чтоб предупредить, и не смог. Не верил, что жена

правильно поймет его поездку в лес с Зосей и Машей,— чего доброго, расценит ее еще хуже, чем Гаецкая. Он думал о детях, очень боялся семейных скандалов и втайне надеялся: а вдруг обойдется? Может быть, Тамара сделает какой-нибудь другой ход? В конце концов он призовет на помощь Шиковича и рассудительную, спокойную Валентину Андреевну, которая не раз уже тушила вспышки Галиной болезненной ревности. Да и, наконец, стоит ли придавать этому такое значение? Он имеет право стать выше всего этого обывательского вздора, который отравляет жизнь и мешает работе.

В пальто и в шляпе Ярош прошел в спальню. Галина сидела за швейной машиной, холодная, неприступная. Вид ее испугал его. Такой она не бывала никогда. Если б в него полетела машина или трюмо, это, пожалуй, меньше бы его поразило.

Она не шила, но, очевидно, пыталась шить: схваченная иголкой ткань свисала на пол.

Антон остановился посреди комнаты. Жена не подняла глаз.

— Что случилось, Галя?

Лицо ее некрасиво передернулось.

— Вы, Антон Кузьмич, не знаете, что случилось? — сказала она с сарказмом и пугающей отчужденностью.

— Галка. Все это вздор!

— Ах, вздор?! — Она откинула материю, выхватила из-под нее сберегательную книжку, подняла, потрясла ею: — И это вздор? Щедро, доктор Ярош, оплачиваешь любовницу! Но не думай, что мне жалко твоих денег. На! — Она швырнула книжку ему под ноги.

При всей своей ревности жена редко контролировала его расходы. Ему случалось одалживать коллегам немалые суммы, некоторые из них не возвращались годами, и Галина, равнодушная к деньгам, даже забывала об этих долгах, а если иной раз спрашивала, то всегда добродушно, обсуждая очередную крупную покупку. А теперь проверила все. Ярош никак не думал, что Гаецкая разведает и использует даже это. Его кинуло в пот от предчувствия, как труден будет путь

к примирению. Он швырнул пальто на кровать, сделал шаг к жене. Она знала его обычный прием: обнять, поднять на руки, целовать... И она, слабая женщина, сдавалась, прощала. Но теперь нет!

— Я тебе все объясню, Галка. Выслушай только.

— Не подходи! — Она вооружилась ножницами, но тут же бросила их на столик.— Не надо мне никаких объяснений! Все. Все! Все! Теперь я не буду плакать... Мы чужие. Ты обставил себе новую квартиру, иди туда. Не уйдешь ты — я ни одного дня, ни одной минуты не останусь здесь! Все! — Она произносила это «все!», словно ставила точки.

Ярош понял, что это больше, чем нервная вспышка,— это решение, и не знал, с какой стороны подступиться, чтоб заставить ее отказаться от него. Он остановился, посмотрел на жену ласково, с болью, укоризненно покачал головой: «Глупая, глупая!» Она не выдержала его взгляда, закрыла лицо руками. Сдерживая рыдания, заговорила сквозь ладони, глухо, чужим голосом:

— Боже мой! Семнадцать лет жила с этим человеком! Отдала ему все. А он... Ему мало было этой толстой распутницы, всех баб, которых имел... Ему понадобилось еще спутаться с пациенткой. Какой позор!..— Она открыла лицо и недобро улыбнулась.— Но что я хочу от того, кто мог убить, задушить человека с большей легкостью, чем я вырываю зуб!..

Это было уже слишком даже для его нервов и рассудительности. И он загремел на всю квартиру:

— Да вы хоть подумали бы, какая она сейчас женщина! А еще врачи!..— И выругался грубо, зло, как не ругался еще при жене никогда.

Он не знал, что дома Наташа. Она сидела в кабинете, где всегда готовила уроки, если отца не было дома. Она видела, в каком состоянии вернулась мать. Когда пришел отец и сразу направился в спальню, девочка насторожилась. Нет, она не подслушивала. С малых лет ее учили, что это нехорошо. Но когда отец закричал, Наташа не выдержала.

Она появилась в дверях спальни в черном фартучке, с бантиками в косах, стройная, высокая (в отца пошла), с ласковой улыбкой на лице.

— Здравствуй, папа. Мы не виделись сегодня,— подбежала, поднялась на цыпочки, чмокнула в щеку.

— Твой папа подлец!

Потеряв власть над собой, Галина Адамовна пустила в мужа самый тяжелый камень. Она не ожидала, что камень этот может обратиться против нее.

Наташа отступила на шаг, оглядела отца, потом мать. И снова кинулась к отцу. Обняла за шею, повторяя:

— Неправда! Неправда! Неправда! Он добрый, он умный. А ты... ты... не хочешь понять..., ты ревнивая. Ты портишь ему жизнь.

— Наташа! Наташка! Разве можно? Замолчи! — Антон Кузьмич сурово выговаривал ей, но прижимал дочку к себе. Гладил худенькие плечи и чувствовал, что у самого навертываются слезы.

Дочка вырвалась, выбежала из комнаты.

Галине Адамовне стало худо, у нее начался сердечный приступ.

Валентина Андреевна получила анонимное письмо. Трудно объяснить, почему Гаецкая женщинам, дружившим между собой, решила «открыть глаза» по-разному: одной напрямик, другой анонимно.

Нельзя сказать, что Валентина Андреевна никогда не ревновала Кирилла. Всякое бывало в жизни, на то и жизнь. Но она никогда не теряла головы и способности рассуждать, анализировать. У нее был опыт и хорошая женская мудрость. Если ни одна из двух женщин-врачей не задумалась о том, сколько нужно времени, чтоб после такой тяжелой операции человек вернулся к нормальной, нет, не только к нормальной — активной физической жизни, то ей прежде всего именно это пришло на ум, и она не поверила связи Яроша с Зосей. Кирилл и Маша?.. Если бы речь шла о любой другой женщине, у Валентины Андреевны, возможно, и возникли бы некоторые сомнения: «Нет дыма без огня»... Но Маша... Она видела девушку один раз и знала, что она нравится Тарасу и Славику. И вдруг Кирилл. Нет, нет, нет! Она с отвращением

отбросила эту грязную сплетню. Ей была по сердцу Маша, она верила в ее ум, в ее честность и девичью чистоту: интуиция, чутье педагога говорили ей, что такая натура не способна на подлость.

Вечером она показала письмо Кириллу. Пока он читал, она пытливо вглядывалась в его лицо. Сперва он покраснел, потом побледнел. Как бы истолковала это Галина Адамовна! Валентина Андреевна увидела иное: удивление и негодование. Дочитав до конца, он растерянно посмотрел на жену.

— Черт знает что такое! Подумать только, какой черной душой надо быть, чтобы из всех этих фактов сделать такие выводы! Вырвали мы ей квартиру, купили мебель, привезли из больницы, были еще раза два. Ты ведь читала ее рассказ. Да, приезжали они с Антоном по грибы... Ну и что? Это Гаецкая. Не зря Антон так не любит эту бабу.

— Вообще-то ты, Кирилл, на каждую хорошенькую женщину глядишь, как кот на сало...

— Валя!..

— Но не бойся. Этому письму я не верю. Не потому, что так уж уверена в тебе. Не обольщайся. Верю им — Зосе, которую знаю по твоим рассказам, и Маше...

Кирилл с облегчением заговорил:

— Знаешь, о чем я подумал? Почему у таких умных родителей, как мы с тобой, такие дети?..

— Что тебе надо от детей! — сразу нахмурилась Валентина Андреевна.— Ум приходит с годами. А у тебя его, видно, и сейчас не слишком много, если ты о нем такого высокого мнения.

О чем угодно она могла говорить рассудительно и спокойно. Но не дай бог затронуть ее детей, даже родному отцу.

Кирилл понял, что сделал неверный шаг, не сумел подольститься к жене.

— Ну ладно, ладно. Не злись. Почему ты думаешь, что я так уж плохо думаю о наших детях? Просто хочу, чтоб они были лучше, чем мы.

Валентина Андреевна тяжело вздохнула.

— Разве можно, Кирилл, подводить всех под один ранжир? Вот Галина Адамовна, ведь неплохой чело-

век. Но представляю, что с ней творится, если и она получила такое подленькое письмо.

— Неужели можно этому поверить?

— Ты же знаешь ее! Надо сейчас же сходить к ним.

На их звонок открыла Наташа. У девочки был такой вид, словно она только что вернулась с похорон близкого человека.

— Папа дома?

Она кивнула головой.

— А мама?

— И мама.

Антон Кузьмич сидел в своем заставленном книжными шкафами кабинете и бездумно листал какой-то художественный альбом.

Галина лежала в спальне. Она не хотела видеть ни мужа, ни дочери — этого «бандитского ярошевского отродья», как она кричала в истерике. Возле нее сидел Витя, деликатный, рассудительный Витя. Галина Адамовна больше любила сына, чем резкую, несдержанную дочь. А Ярошу, наоборот, не очень нравилась в сыне излишняя мягкость характера.

Валентина Андреевна мигом оценила ситуацию и тут же пошла к подруге. Кирилл, увидев, в каком настроении Ярош, сделал попытку пошутить:

— Что? Сполна выдала?

Антон Кузьмич сжал руками виски, на лице его отразилась му́ка.

— Ужас!.. Если это будет повторяться, если так пойдет дальше, невозможно жить, невозможно работать...

Шикович отбросил шутливый тон. Очевидно, дело серьезно, если даже Ярош, такой богатырь, к любым невзгодам относящийся с юмором, так тяжело переживает это. Кирилл плюхнулся в кресло напротив друга. Щелкнул портсигаром.

— Ты мне объясни, в чем ты провинился перед ней, что она так тебе не верит?

— Не хватает внутренней культуры. Обыкновенной интеллигентности. Несчастье наше в том, что мы еще не воспитали в нашей интеллигенции настоящей внутренней культуры.

Прошел добрый час, прежде чем Валентина Андреевна позвала их в спальню.

— Ну вот что, мальчики,— сказала она двум взрослым мужчинам, точно ребятам,— садитесь и рассказывайте. Только не вертеть хвостом, а то уши надеру.

Они рассказывали, дополняя друг друга, до поздней ночи.

Казалось, наступило примирение.

27

Председателем сессии выбрали Гаецкую. Появление ее за столом президиума депутаты встретили веселыми аплодисментами. Раньше председателем всегда выбирали мужчину, секретарем — женщину. На прошлой сессии кто-то из депутатов заметил, что это ущемление прав женщины. И вот впервые сделали наоборот.

Тамара Александровна со скромной улыбкой кивала знакомым в зале. Она умела держаться на людях. Деловито огласила повестку и регламент. Все было расписано, привычно, и никто не ожидал предложений к порядку дня. Но вдруг Ярош заявил, что ему для содоклада нужно не двадцать минут, как предложено, а минимум час — есть что сказать о медицинском обслуживании города.

Зал загудел, оживился: такие вещи случаются редко.

Кто-то громко спросил:

— Почему раньше не договорились?

Гукан встал, чтоб отклонить просьбу Яроша: предстоит большой доклад заведующего отделом, и нет нужды давать так много времени и содокладчику. Но его опередила Гаецкая.

— Я думаю, дадим доктору Ярошу час. Вопрос важный, а он наш лучший специалист. Кто «за», прошу поднять руки.

Работники горсовета и врачи проголосовали, движимые любопытством, остальные — из уважения к известному хирургу.

А сам Ярош вдруг подумал, что, пожалуй, и не нужен ему час. В его содокладе, написанном уже давно, добрый десяток страниц уделялся Третьему клиническому объединению, которым руководила Гаецкая. Как будет истолкована сейчас такая жесткая критика ее работы? Еще до начала сессии, по тому, как здоровались с ним знакомые, он понял, что круги от ее сплетни разошлись широко. Как ему лучше поступить?

Ярош не был слишком опытен в публичных выступлениях. Жаль, что нет рядом Кирилла, тот дока во всем, что касается «психологии собраний». Но хитрец появился, позубоскалил с девушками, регистрировавшими депутатов, получил блокнот и карандаш — и исчез. У него принцип: «На всех собраниях не пересидишь, всех докладов не переслушаешь». Правда, на выступление Яроша обещал прийти.

Пока заведующий отделом охраны здоровья до тошноты монотонно читал свой доклад, Ярош безжалостно черкал, выправлял свой.

После доклада, который сильно затянулся, потребовали перерыва.

Гукан и Тарасов сели в буфете за один столик.

— Что, Семен Парфенович, рубанем по поросенку? Тебе как, заливного? — весело предложил Тарасов.

— Нет, я — кефирчик.

— Боишься холестерина? Моя дочка говорит: холерастерин. А меня никакая холера не возьмет.

— В твои годы и я ничего не боялся.

— Да ну?! Так-таки ничего? — как будто удивился Сергей Сергеевич, отправляя в рот солидный кусок поросятины.— А я так всю жизнь кого-нибудь или чего-нибудь боялся. Маленьким — отца, у меня строгий отец, в армии — командира. Когда ранили — знаешь, как боялся, чтоб эти эскулапы не отчекрыжили ногу...

Гукан, слушая, постукивал кулаком по дну бутылки, чтоб вылить застывший кефир.

— Заметил, какие анархические замашки у Яроша? — вдруг перебил он секретаря и так тряхнул

бутылку, что кефир выплеснулся через край стакана на стол.

— Почему анархические? А если ему и в самом деле есть что сказать.

— Ох, уж эти мне светила! — Семен Парфенович разрезал лимон, выжал половину в стакан с кефиром.

— Крепко ты витаминизируешься,— улыбнулся Тарасов.

Гукан наклонился над столом, спросил шепотом:

— Слышал об его интимной жизни?

Да, Тарасов слышал. Даже до его жены, работавшей в библиотеке, каким-то образом дошла эта новость. Сперва он поверил: что ж, все может быть, такому мужчине, как Ярош, любая кинется в объятия. Он не любил подобных историй, особенно когда дело доходило до партийного разбирательства, а потому обозлился на Яроша: только его не хватало! Но когда об этом начали говорить направо и налево, секретарь почуял, что тут что-то не то, что кто-то старается разнести сплетню по городу. Кто и с какой целью, хотелось бы знать. Поэтому он весь обратился в слух, когда об этом заговорил и Гукан.

— Старая любовь с дочкой Савича. Откуда тянется, а? Теперь тебе понятна «принципиальная» подоплека статьи Шиковича?

Тарасов уже ознакомился со вторым вариантом статьи, дополненной рассказом Зоси. Шикович приходил посоветоваться. Все факты, по мнению Тарасова, заслуживали самого серьезного внимания, хотя для публикации нужны были еще дополнительные розыски. А тут, оказывается, вот как поворачивают, вот к чему сводят! До сих пор он относился к председателю довольно дружелюбно, хотя видел и понимал его слабости и ошибки, часть которых объяснялась его личными человеческими качествами, а другая — была связана с эпохой, когда формировался его характер руководителя. Он прощал Гукану многие его недостатки: идеальных людей нет. Но от последних слов Гукана его передернуло. Тарасов вдруг увидел, понял: человек этот враждебен ему по духу, по складу мышления, по отношению к людям — ко всему. И нельзя

относиться к нему снисходительно, прощать! Его надо разоблачать, и безжалостно!

Сергей Сергеевич сказал спокойно, но непримиримо, с затаенным гневом:

— Ух, с какой радостью ты сделал бы их провокаторами и агентами гестапо. Всех, даже Шиковича, который был на фронте.

Гукан поперхнулся кефиром.

А в это время Ярош в фойе советовался с Кириллом, который выполнил обещание — явился послушать содоклад друга. Антон Кузьмич опасался, как бы коллеги не сочли его критику Гаецкой местью. Он не хотел бы путать личные дела с общественными. Шикович, который час прогулял по парку — любовался золотой осенью и обдумывал интересный композиционный ход для очередной главы своей книги,— был в приподнятом настроении. Он заметил, что Ярош нервничал, и ему доставило некоторое удовольствие хоть раз увидеть друга взволнованным. Кирилл слушал его с иронической улыбкой. Перебил неожиданно для Яроша — сказал с веселой издевкой:

— По-моему, ты становишься толстовцем.

Ярош удивился:

— Что ты хочешь сказать?

— Вот это самое и хочу. Ты меня удивляешь, подпольщик, диверсант Ярош. Наука явно портит тебя. Вот случай, когда интеллигентности слишком много, а это тоже вредно. Да если она дала тебе пощечину, дай ей в ответ пять. Тресни так, чтоб искры из глаз посыпались...

— Ты думаешь?

— Я сделал бы так. Тут незачем отделять личное от общественного.

Розыски фактов, касающихся подполья, разбудили в Шиковиче воинственно-наступательный пыл. Прежде покладистый, даже несколько мягкотелый, с ленцой, он сам себе теперь удивлялся: откуда только берутся энергия, напор и решительность.

...Ярош не успел еще раз перестроить свой доклад и потому говорил, почти не заглядывая в написанный

текст. Но это придало выступлению живость, пафос, в нем звучало искреннее негодование против того бюрократизма, тех непорядков, которые имелись в медицинском обслуживании. Никто в зале больше не читал газет, никто не клевал носом. Несколько раз Яроша прерывали аплодисментами.

Тамара Александровна кляла ту минуту, когда согласилась занять председательское место. Сотни глаз сверлили ее насквозь. Она видела улыбки — всех оттенков, от злорадных до сочувственных.

Досталось и исполкому горсовета.

Гукан не смотрел на Яроша. Он все время то явно, то тайком следил за Тарасовым: хотел понять по его реакции, не согласовывался ли содоклад с ним. Если согласовывался, тогда все ясно. Но похоже было, что о многих фактах секретарь горкома слышит впервые. Это несколько успокаивало Семена Парфеновича.

Раскрасневшаяся, возбужденная Гаецкая во время следующего перерыва поймала Яроша в фойе. Сказала ехидно, но опять-таки подчеркивая перед случайными слушателями свою близость с ним:

— Знаешь, Антоша, поговорку: «Хорошо смеется тот, кто смеется последний»?

— Представь себе, Тамара, знаю,— в тон ей ответил Ярош.

28

Митинг на станкостроительном состоялся в последний день работы съезда, когда уже принято было постановление о выносе тела Сталина из Мавзолея Владимира Ильича. Горком поручил Гукану присутствовать на митинге.

Заводской двор — море замасленных кепок и линялых косынок. Трибуна — грузовик с откинутыми бортами — была устроена в глубине двора, возле механического цеха. А против ворот все еще возвышался золоченый монумент.

...Решения Двадцатого съезда Гукан принял сравнительно спокойно. Был момент растерянности, но никак не испуг. Возможно, что все остальные чувства отступили тогда перед потрясшей умы правдой.

За пять лет, прошедших с тех пор, укрепилось убеждение в том, что культ Сталина действительно принес вред, и он, Гукан, совершенно искренне говорил об этом в своих докладах и выступлениях. И, казалось ему, так же искренне боролся за восстановление ленинских норм руководства и жизни. Решение Двадцать второго съезда о выносе тела Сталина из Мавзолея он также принял, как явление закономерное. Но когда на митинге первый же после секретаря парткома выступающий — Тарас Гончаров — неожиданно предложил снести заводской памятник — вот этот, золоченый,— и просить городские власти снять монумент на Парковой площади, Семен Парфенович как-то болезненно вздрогнул.

Зная, что Гончаров — приемный сын Яроша, он подумал: «Анархисты».

Но волна — нет, вал, девятый вал! — рукоплесканий тысячной толпы разбила его мысли и что-то еще разбила, сломала в нем самом. Когда Гончарова поддержали все, кто выступал после него, молодые и старые, рабочие и инженеры, когда на митинге с подъемом проголосовали за его предложение, Гукану стало совсем не по себе. Он собирался выступить и не выступил — не знал, что сказать.

Отпустив машину, пошел пешком по улицам, которые застраивались под его руководством. Он так и подумал, что почти весь новый город строился под его руководством, при его участии. Он всегда чувствовал себя хозяином города. Это придавало ему уверенность, силу. И вдруг сейчас понял, что никакой он здесь не хозяин. Это сознание словно придавило его. Впервые он не радовался решениям партии, а ведь он же всегда считал себя верным ее сыном. Что ж произошло, Семен Парфенович? Что изменилось? Он почему-то подумал о Шиковиче и Яроше. И позавидовал им. Легко им живется! Если что и неясно, непонятно, то в других, а в себе все у них ясно и все просто. А вот он, Семен Гукан, в самом себе не может разобраться. Кто

он и что, маленький человек, рядовой работник? (Он вдруг начал думать о себе, как о совсем мелкой сошке.) «С какой радостью ты сделал бы их провокаторами». «Неправда, товарищ Тарасов! Я никого не собираюсь делать провокатором!» — хотелось крикнуть ему.

Он остановился, снял шапку, вытер платком лоб. К нему подошла женщина, поздоровалась, попросила, чтоб он зашел посмотреть, как она живет. В последние годы он нередко заглядывал в квартиры горожан — главное, подбодрить человека, тогда он терпеливее ждет. Но сейчас ему не хотелось ничего и никого видеть.

— Простите... Завтра, завтра. Заходите ко мне.

— Да не попаду я к вам завтра... товарищ председатель!

Семен Парфенович отмахнулся от женщины и пошел дальше.

«Что она подумает? Пусть думает, что хочет. Не это главное. Не это главное!» Домой он пришел разбитый, с головной болью. Хотелось лечь в постель, вызвать врача.

Жена его, Ольга Романовна, старая работница сберегательной кассы, обычно газеты только просматривала и читала главным образом фельетоны или те статьи, которые кто-нибудь посоветовал. А тут сидит за большим столом, обложенная кипами газет. Гукан заглянул через плечо жены, выхватил взглядом абзац, второй. Захотелось ему откровенно, по-семейному, без свидетелей поговорить с женой. За тридцать лет она хорошо изучила его, не однажды утешала в тяжелую минуту — может, и сейчас поймет, как ему нелегко.

— Как тебе, Оля, все это нравится?

— Что?

— Ну, с культом...

— А что? Правильно! Не так надо служить народу, чтоб лежать в Мавзолее рядом с Лениным,— не поднимая головы, отвечала жена.

Семена Парфеновича почему-то разозлил ее ответ и то, что она не оторвалась от газеты.

— Умные какие все вы стали! Задним числом. Политики доморощенные! Давай обедать! Зачиталась!..

Бывало и раньше, что он кричал на нее, в молодости. Но выросли и разъехались дети, а у них поседели головы. Много лет он уже не позволял себе такого тона.

Ольга Романовна удивилась. Внимательно посмотрела на мужа. Почему он так раздражен? Мягко спросила:

— Что случилось, отец? Неприятности?

Ему стало неловко, он сказал примирительно:

— Никаких неприятностей нет. Устал. В сердце колет.

— Прими валидол. Полежи, пока я сготовлю что-нибудь. Я и в самом деле зачиталась.

Но в постели Семен Парфенович не улежал. Поднялся, походил по комнатам, почитал газеты, посмотрел по телевизору конец какого-то заграничного фильма — ничего не понял. Рассердился, что показывают такую чушь.

Мысль возвращалась к одному и тому же — к решениям съезда.

Гукан с возмущением отверг бы даже намек, что он не согласен с этими решениями. Нет, он согласен. Но все-таки, казалось ему, что-то делалось не так.

Вот хотя бы с памятником... Вспомнилось, что памятник на площади воздвигли в первый год его председательства. Он, хозяин города, вкладывал в это дело всю свою энергию. Торжественное открытие. Праздник. Он произнес речь, и речь эта была лучше всех. Правда, написать ее помог Шикович. Гукан позвонил, и тот сразу явился. Был порядок. А теперь? Тот же Шикович, средненький журналист, а ведет себя бог знает как. Все хочет перевернуть вверх ногами.

Сильно кольнуло в сердце. Семен Парфенович инстинктивно прижал руку к груди, будто желая поддержать его, свое растревоженное сердце.

29

Шикович писал документальную повесть о подполье. Но «белое пятно» — группа инфекционной больницы — сильно мешало завершению работы. Собственно, никакого «белого пятна» не было. Об этой группе он знал теперь больше, чем о любой другой. Одного только не мог понять: зачем гестапо понадобилась такая провокация с похоронами Савича? Это было непонятно многим и порождало сомнения. Кирилл злился: как трудно выкорчевать недоверие к человеку! Разве живые люди — Суходол, Зося — не самые лучшие документы? Правда, никто, кроме разве Гукана и Рагойши, открыто не говорил, что не верит их свидетельствам. Однако даже у самых объективных и доброжелательных людей Шикович угадывал заднюю мысль: все-таки Зося — дочь, Суходол — какая-то лекарка, не слишком активная подпольщица, к тому же старая женщина, которая могла и напутать.

В конце концов и сам «расследователь» понял, что не хватает ему той ниточки, ухватившись за которую можно распутать весь клубок. И надо было либо искать этот кончик, либо рубить «гордиев узел». Он искал настойчиво, упорно. Ездил в Центральный партизанский архив. Просидел там весь свой отпуск. Пытался найти подпольщиков. Ах, если б ему дали возможность опубликовать статью! Тогда люди, конечно, пришли бы сами. Тарасов обещал, но все почему-то оттягивал.

Шикович ошибался в одном: он считал, что всем этим делом по-настоящему занят только он. Да Ярош помогает ему. И всё. На самом деле подпольем занимались многие люди, по разным линиям. Его поиски, может быть, явились только тем «катализатором», который ускорил «реакцию». Пришло время, и он понял это.

Уже наступил ноябрь и за окном летали белые мухи, когда позвонил Сербановский. Кирилл давно не виделся с капитаном и почти потерял надежду, что

тот сможет чем-нибудь ему помочь. Сербановский просил завтра зайти к нему.

— А сегодня нельзя? — в нетерпении спросил Шикович.

— Нет, завтра. В одиннадцать.

Капитан за это время стал майором. Но, казалось, еще сильнее похудел: глубже запали глаза и как будто больше стали уши — оттопырились, словно он настороженно вслушивался в обманчивую тишину. Пожимая ему руку, Шикович ощутил мозоли на его ладони, вспомнил о больной жене и пожалел этого серьезного и, очевидно, упорного в любом деле человека. Однако Сербановский встретил его неожиданно бодрый и оживленный, с добрым дружеским расположением.

— Что слышно, Кирилл Васильевич?

— По группе железнодорожников нашел гору новых документов, по группе Савича...— Шикович развел руками.— Помимо всего прочего, эти люди здорово умели молчать.

— Да,— согласился чекист.— Не ради славы они боролись. И не думали, что нам с вами придется не спать ночами, чтоб расследовать их деятельность.

Не прерывая беседы, майор набрал номер телефона, кратко приказал:

— Арестованного Дымаря ко мне.

Шикович оживился:

— Что-нибудь новое?

— Сейчас увидите и услышите,— улыбнулся Сербановский. Встал из-за стола, подошел к окну и открыл форточку.— Как ваш друг Ярош поживает?

Шикович насторожился: не дошла ли и сюда, в этот старый особняк, сплетня о связи Антона с Зосей? Ответил шуткой:

— Режет людей без жалости.

— Мне Вагин рассказывал: здорово он выступил на сессии. Молодчина!

— Да, пришлось кое-кому поскрести в затылке.

Постучали в дверь.

— Войдите! — крикнул Сербановский. Быстро взял стоявший у стены стул, поставил к столу со своей стороны. Кивнул Шиковичу: — Сюда, пожалуйста.

Кирилл поспешно пересел.

Он ожидал увидеть громилу с бандитской мордой, а в дверях стоял старик — седой, сухопарый, с покорно-добродетельным выражением лица. За спиной его высилась крепкая фигура солдата с автоматом на груди. Конвоир начал докладывать:

— Товарищ майор...

Сербановский остановил его движением руки:

— Посидите в коридоре.

— Слушаюсь, товарищ майор!

Щелкнули каблуки, бесшумно затворилась дверь.

Старик, как бы вдруг вспомнив, сорвал с головы кепку.

— Здравствуйте, гражданин следователь.

— Здравствуйте,— ответил Сербановский, будто и вежливо, но Шикович уловил нотку брезгливости в его голосе.

Майор стоял у окна, заложив руки за спину. Шикович никогда еще не видел его таким — высоким, стройным, величавым и, может быть, даже гордым своей нелегкой, но пока еще необходимой профессией. Во всяком случае, в этот момент он ничуть не был похож на того сутулого, с усталым лицом капитана, который поначалу не понравился Шиковичу.

— Садитесь,— указал Сербановский арестованному на стул, стоявший поодаль от стола, почти посреди комнаты.

Старик тяжело вздохнул и сел. Майор прошел мимо него и, обойдя стол, сел на свое место.

«Неужели этот старикашка серьезный преступник? — думал Шикович, разглядывая арестованного.— Такая безобидная физиономия. Тонкие кисти, пальцы, как у музыканта. Интеллигент? Нет, есть в нем что-то лакейское. Скорее официант какой-нибудь. Сумел осмотреть меня так, чтобы не встретиться взглядом. Оценил костюм».

Действительно, седой старичок прикинул по платью: кто этот второй — штатский или переодетый чекист?

— Гражданин...— Сербановский, будто бы не помня фамилии, заглянул в бумаги,— Дымарь-Соколов-Березовский... Я все забываю, какая из этих фамилий настоящая?

— Ну, Дымарь, Дымарь, Ды-ы-ма-арь,— раздраженно проскрипел старик.

Сербановский поднял голову, сказал с корректной строгостью:

— Я прошу вас спокойней.

— Да я спокоен, гражданин следователь. Я уже спокоен,— вдруг сник, сгорбился арестованный, опустил руки так, что кепка коснулась пола.

— Чем вы занимались до войны, Дымарь?

— Работал закройщиком в ателье.

— Во время войны?

— Держал свою мастерскую, портновскую. Небольшую.

— А еще чем занимались?

— Эх, гражданин начальник! — хлопнул вдруг старик кепкой по полу, выпрямился и, уже не пряча глаз, посмотрел на Шиковича.— Не надоело вам спрашивать одно и то же по десять раз?

— Отвечайте на вопросы.

— Ну, выполнял некоторые задания полиции,— глухо, в пол, отвечал Дымарь.

— Чьи еще задания выполняли?

— В СД не служил! — визгливо крикнул арестованный.— Чего не было, того не было! Я все вам сказал. Все! Наговаривать на себя меня не заставите!

— Подождите, подождите. Не прикидывайтесь дурачком. Нам отлично известны взаимоотношения СД и полиции. И вам они известны не хуже. Какие конкретные задания вы выполняли?

Фамилия Дымарь ничего не сказала Шиковичу, однако, когда была названа профессия этого человека, Кирилл Васильевич сразу вспомнил рассказ Яроша. Не удержался, спросил Сербановского:

— Простите, Анатолий Борисович. Как имя-отчество арестованного?

— Отвечайте, Дымарь!

— У вас же записано.

— Спрашивают у вас.

— Назар Аверьянович.

— Этот тип шпионил за Ярошем,— сказал Шикович майору.

Дымарь опять выпрямился, непонимающе посмот-

рел на Шиковича: задает вопросы совсем непрофессионально. Значит, не чекист, не более высокое начальство. Кто же? Свидетель?

— Вы знаете Яроша? — спросил у него Сербановский.

— Нет, нет,— быстро, не думая, отвечал предатель.— Такой фамилии не слыхал.

— Кузьма Клещ. Пожарный. Знали такого?

Дымарь на минуту задумался, некрасиво, по-старчески опустив челюсть, отчего рот превратился в какую-то бесформенную щель. Потом словно обрадовался:

— Ах, Клещ? Пожарник? Помню, помню! Признаюсь, имел задание следить за ним. Имел, имел... Да. Гражданин начальник! Прошу это записать. Не выдал. Нет. Не выдал, хотя раскусил что за птица. Оре-ел! — на высокой ноте, как бы в восторге, выкрикнул старый шакал и вдруг хихикнул:— Это ж он Лучинского... Фото его потом размножили. А я не выдал. Хороший человек. Понравился мне. Значит, жив Кузьма Клещ? Хе-хе! Клещ. Вот вам еще факт. Запишите. Не выдавал я хороших людей!

— Запишем,— сказал Сербановский, тщательно фиксируя весь этот разговор; его обрадовало, просто профессионально, что Ярош знает предателя и на процессе сможет выступить такой авторитетный свидетель.

— От кого вы, Дымарь, получили задание шпионить за Клещом?

— Все от того же Швагерова.

— А Лотке вы знали? — спросил Шикович.

— Лотке? Немец? Первый раз слышу.

— В то время, когда вы шпионили за Ярошем, Лотке был механиком в пожарной команде.

— Я пожаров не тушил,— дерзко, с вызовом ответил провокатор.

— Вы их разжигали,— кивнул Сербановский, записывая и этот диалог.

Вынув из папки пожелтевший листок из школьной тетради, Сербановский показал его арестованному.

— Вы писали?

— Ну, я. Я. Я! — снова раздраженно, перекосив лицо и прижав обеими руками кепку к груди, проскрипел Дымарь.

Майор подвинул бумажку Шиковичу. Кирил увидел ту самую записку начальнику следственного отдела полиции о Савиче, которую уже однажды Сербановский показывал ему.

— Он?

— Он. Полмесяца отрицал. Не хотел признавать никаких экспертиз. Пока не вызвали из далеких краев того, кому адресована записка.

Дымарь сидел, понурив голову, будто не слушая и не слыша, о чем говорят следователь и этот другой, незнакомый.

— Гражданин Дымарь, что вы можете сказать о докторе Савиче?

— Что я могу сказать о Степане Андреевиче Савиче? — Он по-бабьи горестно склонил маленькую седую голову набок.— Я могу только сказать, что это был золотой человек. Я пятнадцать лет шил ему костюмы и пальто. Примерял на дому. И никогда, бывало, не отпустит, не угостив во как! — Дымарь провел ладонью по шее; удивительно менялись интонации его голоса: то он скрипел, как старая осина, то горохом сыпал, то вел речь протяжно, с почти лирической задумчивостью.

— И вы так отблагодарили его?..— не выдержал Кирилл.

Старик закатил глаза, как будто намеревался читать покаянную молитву.

— Все зло мира от денег. Хотел выбиться в люди.— Он тяжело вздохнул.

— За счет жизни других?

Сперва Кирилл слушал спокойно. Деловой интерес к этому ископаемому чудовищу, к тому, как он ведет себя, и вообще ко всему процессу допроса отодвинул на второй план чувства возмущения, гнева. Но когда дело дошло до Савича, когда Дымарь с циничным лицемерием стал восхвалять доктора, Кирилла передернуло. У него не было выработанной годами выдержки Сербановского. Его профессия позволяла ему давать волю чувствам. Он слышал, как все громче и громче стучит сердце — даже начало звенеть в ушах. Он снял руки со стола, убрал подальше от тяжелого чернильного прибора. Должно быть, майор почувствовал, что с ним

происходит, потому что строго сказал арестованному:

— Давайте, гражданин Дымарь, без философии. Что дало вам основания написать такую записку?

— Чутье. Я да чтоб не знал Савича! Ха! Как облупленного! Я никогда не верил, что он честно служит немцам. Он заказал у меня костюм. Я на примерках начал прощупывать, чем же он дышит. Доверительно рассказывал ему про зверства гитлеровцев. А он говорит: «Мы сами виноваты». И что-то еще — против партизан... Савич против партизан! Я подумал тогда: «Кого ты хочешь провести, доктор Савич?»

— Ну и гнида!..— бросил Шикович с омерзением.

Предатель вздрогнул, но тут же надулся, как петух, взвизгнул:

— Прошу не оскорблять! Я человек...

— Какой ты человек! Ты хуже тифозной вши!..

— Кирилл Васильевич!..— укоризненно покачал головой Сербановский.

— Если со мной будут так обращаться, я не скажу больше ни слова.— И Дымарь насупился.

Шикович только теперь заметил, что все зубы у него вставные. Стало так противно, что Кирилл боялся, как бы его не стошнило.

— Это вы усвоили,— бросил Сербановский, набирая номер телефона.— Алло! Швагерова ко мне.— Положив трубку, повторил:— Свои права вы усвоили.— Обратился к Шиковичу:— Однажды, когда он вывел меня из терпения вот так, как вас, и я повысил голос, знаете, что сказал этот «законник»? «Может, ударить хотите? Ага, боитесь? Не то время». Никогда, ни в какие времена я не стал бы пачкать о вас руки, Дымарь. Противно.

Шикович спросил уже почти спокойно:

— Все же интересно: что заставило вас продавать людей фашистам? Лучших людей.

Дымарь прищурил глаз с шутовской гримасой и не ответил.

— Расскажите, как вы стали Березовским,— приказал майор.

Портной прищурил второй глаз и опустил седую голову на грудь.

Рассказал сам Сербановский.

— Вам это должно быть интересно, Кирилл Васильевич. Уничтожив документы на Дымаря, он симулировал эпилептический припадок. Упал на улице вечером. В Куйбышеве это было. Так, Дымарь? Естественно, попал в больницу. Пришел в себя — хвать, пусто в карманах! Всего якобы обчистили: документы, деньги, часы. Фамилия? Березовский, Сергей Петрович. По справке из больницы получил новый паспорт. Устроился в Вольске. Лучшим портным считался у рабочих цементного завода.

Дымарь на миг поднял голову, и ехидная улыбочка искривила его бескровные губы.

В комнату, постучавшись, вошел коренастый бородач. В ватнике, в высоких юфтовых сапогах. Фигура его, походка, руки выдавали человека физического труда. Может быть, поэтому неуместными и лишними казались очки на его бородатом широком лице.

Шикович заметил, с какой ненавистью глянул на дородного бородача плюгавый Дымарь.

Швагеров, бывший следователь полиции, поздоровался и дисциплинированно подождал у порога, пока Сербановский не показал ему, куда сесть.

— Ну, чем вы занимаетесь? — спросил майор.

— Осматриваю город. Какой город вырос! Какой город!..— И он глубоко вздохнул.

— Скажите, Швагеров, что доносил вам Дымарь о Кузьме Клеще?

Подследственный настороженно повернул голову к свидетелю. Швагеров задумался.

— Я вам напомню. О том парне, который казнил начальника полиции Лучинского.

— Ах, о Яроше?

— Откуда вы знаете его настоящую фамилию?

— После того случая вскоре установили, что никакой он не Клещ, а студент медтехникума Ярош. Вся полиция была поднята на ноги, чтобы его поймать.

— Хотите знать, у кого он скрывался? У Савича.

Косматые брови Швагерова поднялись от удивления. А Дымарь дернулся на стуле и визгливо крикнул:

— Про Клеща я никому слова не сказал!

Швагеров покачал головой:

— Мне про Яроша он не говорил.

— Швагеров, я не хочу лишний раз напоминать вам, что значат для вас искренность и откровенность.

— Товарищ майор, я за свою вину пятнадцать лет отбыл. Недавно начал жить заново. Почувствовал себя человеком. Вы читали мои характеристики. Так неужто вы думаете, что я буду теперь выгораживать этого... паука?

— Сам ты паук! — злобно огрызнулся Дымарь.

— Был,— спокойно согласился Швагеров.— Но теперь стал человеком.

— Вы знали,— Сербановский заглянул в бумаги,— Лотке? Он был механиком пожарной команды перед казнью Лучинского.

— Лотке? — Швагеров хмыкнул.— Каких только фамилий он не носил! Это Ганс Крафт. Колонист с Украины. Шпион.

— Агент СД?

— Безусловно.

— Дымарь был знаком с Крафтом?

— Нет, не был! Не знаю никакого Крафта! — поспешил отречься подследственный.

— А по-моему, был,— сказал Швагеров.— Что-то мне припоминается, когда ты шил мне костюм, Крафт тоже пришел на примерку. Тогда он был в форме железнодорожника.

— Мало кому я шил! Всех...

— Ясно! — перебил Сербановский.— А теперь повторите кратко свои показания по делу Савича.

Швагеров понял, что повторить надо для этого, другого, незнакомого ему человека в штатском, и, повернувшись к Шиковичу, стал рассказывать:

— Ну, Савича мы считали надежным. Конечно, с позиций «нового порядка». Многие «деятели» вызывали подозрения. Он — нет. И вдруг — его записка,— кивнул на Дымаря, потом на стол,— та, что в деле. Я знал его манеру. Если не совсем уверен, он сообщал устно, там, где уверен,— всегда письменно, чтоб оставить документик, очевидно.

— Врешь! — выкрикнул Дымарь.

— Зачем мне врать? Я даже растерялся. Признаюсь, было желание самому поймать такого сома, как

Савич. Благодарность, деньги, карьера, чтоб им провалиться! Ведь там никто никому не верил, все друг от друга таились, старались перехитрить, вырваться вперед. Однако побоялся я сам... Большая ответственность. Куда мне!.. Начальнику сказал. Тот, помню, тоже растерялся. «Если,— говорит,— Савич с ними — с нашими, значит, с партизанами,— никому,— говорит,— из нас не будет веры у СД. Удерет Савич — труба нам! Взять его без доказательств тоже не легко». Одним словом, ломал голову начальник. Мне ничего не поручил, хотя делом о медикаментах занимался я. Но мы еще раньше договорились вести его как обычное уголовное. Это, знаете, проще: уголовными делами меньше интересовались. Кто из них донес в гестапо, он,— еще один кивок в сторону Дымаря,— или начальник полиции, не знаю.

— Сам ты!.. Сам донес! — вдруг закричал Дымарь.— А теперь хочешь свалить на меня? Хочешь остаться чистеньким?

— Нет, я не чистенький. Но я в сорок четвертом пришел из лесу: «Вот я — судите». А ты где был? Не я начал шпионить за Савичем. Я вообще ни за кем не шпионил. Я вел дела как следователь.

— По существу,— напомнил Сербановский, и Швагеров опять повернулся к Шиковичу.

— Естественно, что Савичем занималось само гестапо. Не успели мы оглянуться — дело было сделано... Позже я узнал, что в день налета и убийства доктора гестапо стало известно, что у него скрывается представитель партизанского штаба. От кого, каким образом они проведали об этом, никто мне не говорил. Но это, безусловно, ускорило развязку. В полиции рассказывали, что Савич отстреливался. Действительно, были убиты два гестаповца и трое или четверо ранены. Убили Савича или сам он застрелился, об этом молчали. Кто мог решиться раскрыть рот, если официально объявили, что доктор убит партизанами? Потом нашему начальнику выболтал пьяный адъютант фельдкоменданта лейтенант Крейман, что во время «операции «Доктор» (это у них называлось «операцией») машины гестапо были обстреляны из соседнего сада из автоматов. Видимо, тогда-то и убили и ранили гестаповцев.

Полагаю, это навело их на мысль объявить, что Савич убит партизанами. Вы спрашивали, зачем нужна была оккупантам подобная провокация? Я так думаю: боялись примера. Если б стало известно, что шестидесятилетний доктор, руководитель отдела городской управы, вел активную борьбу, как бы это подняло дух подпольщиков и всех патриотов! А так, наоборот, можно было деморализовать тех, кто был связан с Савичем. По этому делу я знаю еще, что врач инфекционной больницы Окулова...

— Вакулова,— поправил Шикович.

— Мне помнится, что начальник назвал ее Окулова. А может быть... Столько лет! Так вот, эта женщина в коридоре гестапо, когда ее вели на допрос или с допроса, попыталась вырвать у конвоира автомат. Конечно, была убита на месте. Возможно, она этого и добивалась.

— Швагеров, почему в ваших показаниях на процессе нет ни слова о Савиче?

— Ни следователь, ни судьи, очевидно, не придавали записке значения и не нажимали на этот факт. А кому, гражданин начальник, хочется брать на себя лишнее дело? Чтоб получить «вышку»? Военное время. Военный трибунал. Мое счастье, что я сам явился.

Шикович расспрашивал о других группах, о провалах — кто виноват, кто выдал. Дымарь молчал. Швагеров отвечал охотно и, казалось, искренне, однако не без хитрости: стараясь так подать факты, чтоб нигде не запутать себя. А ведь известно, что «полиция общественного порядка» уголовными делами занималась между прочим и в большинстве случаев убийц, грабителей, воров делала провокаторами, агентами. Основная деятельность полиции, в том числе и следственного отдела, была направлена на выявление советских патриотов, на помощь гестапо и СД. Поэтому бывший следователь с чрезвычайной осторожностью обходил опасные места. Но Шикович и Сербановский знали значительно больше, чем предполагал Швагеров: они имели возможность сопоставить факты, сравнить его показания с другими источниками. Кое-что он все-таки прояснил и уточнил. Раскрыл, например, структуру и методы шпионажа, дав этим Кириллу новый материал

для книги. Когда, наконец, арестованного увели, а свидетель отправился ждать решения своей судьбы: останется он лишь свидетелем или сядет на скамью подсудимых рядом с агентом? — Сербановский сказал:

— Вот теперь, я думаю, никто уже не задержит вашу статью. Вставляйте записку, используйте протокол допроса — и печатайте. Только название придется менять. Думаю, что больше не вопрос, кто же такой доктор Савич?

— Лично для меня это давно уже не вопрос.

— Однако требовались доказательства.

— Спасибо вам.

— Не за что,— смутился Сербановский.— Служба.

— Как вам удалось выкопать этого динозавра?

— Пусть это останется нашей профессиональной тайной.

Они понимающе улыбнулись друг другу, как добрые друзья, общими силами завершившие полезное дело.

— Идем к Зосе. Я люблю приносить людям добрые вести.

Ярош, чрезвычайно взволнованный рассказом Шиковича, ходил по кабинету, припоминая, как вел себя Дымарь, когда следил за ним. Предложение Кирилла застигло его врасплох.

— К Зосе? — Он остановился у окна и вдруг как бы поник: его могучая и статная фигура в черном свитере за одно какое-то мгновение стала громоздкой, неуклюжей. Он сгорбился, согнул шею, точно рассматривал что-то в белой вате между рамами.

— Неужели боишься? — уколол Кирилл.

Ярош круто повернулся к другу. Лицо его исказила страдальческая гримаса.

— Я обещал... Гале.

— Ух, люди добрые! До чего мы дожили!..

— Я никогда не нарушал слова.

Кирилл рассердился. Вскочил с кресла, как резиновый мяч, покатился к книжным полкам, занимавшим всю стену. Загремел во весь голос, забыв, что в соседней комнате Наташа:

— Ты прости... Я уважаю слово... Уважаю Галину... Но если потакать каждому бабскому капризу, ведь жизни не будет!

Ярош обессиленно опустился в то самое мягкое кресло, с которого только что вскочил Шикович, потер ладонями лицо.

— Брось! Я сам знаю. Но когда не хватает ума и — я уже говорил тебе — обыкновенной интеллигентности... Что делать? Скажи, инженер душ.

После примирения Галина вырвала у него эту клятву — никогда не встречаться с Зосей. Он пообещал ей не раздумывая, только бы упрочить мир, потому что видел, как тяжело переживают разлад дети. Позже понял, что такая клятва унижает его. В чем его вина? Может быть, у него и не возникло бы охоты видеться с Зосей. А теперь ему противны собственная слабость и безволие, и частенько хочется зайти к Зосе назло жене. Странно, но желание это усиливалось с каждым днем. Он боролся с ним. Он — честный человек и действительно никогда не нарушал данного слова. Да в конце концов не в слове дело. Он не может позволить, чтоб подлость сплетников и неразумие жены довели их до разрыва, что было бы трагедией и для них обоих и еще больше для Виктора и Наташи.

Так он убеждал себя. Но от этих логических рассуждений не становилось легче. Он многое мог простить другому, но себе не прощал ничего — ни ошибок, ни слабости, ни опрометчивых слов и поступков.

Кирилл вдруг прервал начатые было им рассуждения о роли мужа в воспитании жены. Может быть, почувствовал, что Ярошу неприятно и тяжело выслушивать это. А может быть, пошатнулся пьедестал, на который он возвел друга, постоянно восхищаясь им, но пряча это за шутливо-насмешливым тоном? Еще както летом на даче он сказал: «Такой большой и так мал перед собственной женой!» Это была шутка. Однако подсознательно ему хотелось, чтоб его лучший друг и герой был велик во всем. Застегнув верхнюю пуговку сорочки и подтянув галстук перед черными томами энциклопедии за стеклом шкафа, Шикович грубовато сказал:

— Черт с тобой! Пойду один,— и направился к двери.

В соседней комнате заглянул через Наташкино плечо в книгу, которую девочка читала, коснулся ладонью ее светлых шелковистых волос. Она посмотрела на него и виновато улыбнулась, как бы извиняясь за что-то: то ли, что слышала их разговор, то ли за отцовскую слабость. Кирилл одевался в прихожей, когда вышел Антон и тоже молча стал одеваться.

Сквозь открытую дверь Наташа смотрела на отца с одобрением и страхом, словно несла ответственность за его поступки.

На дворе славно подморозило. В воздухе кружились снежинки. Но асфальт улиц был сух и сер в тусклом свете фонарей, побелели лишь лунки вокруг лип и каштанов.

Шикович давно уже приметил: в их городе самое большое движение на улицах, идущих параллельно центральной, а на тех, что пересекают ее, даже в воскресенье тихо и безлюдно, хотя это, пожалуй, самые красивые улицы, неширокие, зеленые, уютные, в особенности короткие участки от Советской до реки. Шикович любил эти места, любил здесь гулять.

Они шли не торопясь. Обычный «рабочий» шаг у Яроша таков, что рядом с ним надо идти вподбежку, чтоб не отстать. А тут он шел на диво медленно — может быть, все еще колебался. Они как бы умышленно вычеркнули из сознания, к кому и зачем идут.

— Что ты, однако, думаешь делать с дачей?

— Поеду, разложу посреди кабинета костер, порадую глаз... Зрелище на всю жизнь.

— Не мели чепухи, Кирилл.

— А как иначе ты ее снесешь? Куда денешь?

Недели три назад они получили распоряжение облисполкома: им предлагалось в месячный срок снести дачу. Мотивировка — земельный участок отведен райисполкомом неправильно, незаконно. Яроша эта бюрократическая бумажка удивила, обидела и расстроила, у Кирилла — вызвала возмущение.

— Гуканов «ход конем»! — сразу догадался он.

— Но ведь это ж не его сфера!

— Ты наивный человек, доктор.

— Зачем ему?
— Заставить нас побегать по инстанциям, выбить из нормальной колеи, отвлечь внимание, обвинить в частнособственнических тенденциях... Совсем неплохо придумано. Заодно продемонстрировать свою принципиальность и непримиримость к пережиткам.
— Но как могли принять такое решение, даже не поговорив с нами? Будто мы с тобой дармоеды какие-нибудь,— огорчился Ярош.
Они ходили в исполком. Их приняли любезно, выслушали, сочувственно пожимали плечами. Как будто никто ничего и не знал. Только заместитель председателя Мухля почему-то рассердился:
— А вы что хотели, товарищ Шикович? Строить особняки, когда у людей нет еще обыкновенных квартир? Вам дай волю — половину колхозной земли захватите.
Кирилл тоже вспылил.
— Ясно. Значит, мы с тобой хапуги и спекулянты, доктор Ярош! — сказал он другу, который угрюмо молчал, барабаня пальцами по замку портфеля.
Мухле стало неловко.
— Никто так не думает. Не бросайтесь словами, товарищ Шикович. Мы обязаны были поправить райисполком.
— Иным способом это нельзя сделать?
— Подумаем. Постановления иногда отменяются.
Но постановление не было отменено. В тот день они получили напоминание из района, на земле которого стояла дача. Райисполком аннулировал свое, трехлетней давности, решение об отводе им земельного участка. Обжитой дом не имел права стоять на земле.
Помолчав, Кирилл заговорил серьезно:
— На днях бюро горкома занималось вопросом о мастерских для художников. Обязали горсовет подыскать необходимые помещения. А я сам, на честно заработанные деньги, построил себе мастерскую. Мне не дача нужна — мне нужна тишина!
Он говорил громко, размахивая руками. Прохожие оглядывались на него, как на пьяного. Увлекшись, он не заметил, что тот, к кому обращены его слова, ничего не слышит.

Ярош вдруг утратил интерес к дачной проблеме, и ему стало безразлично, что будет дальше. Пусть хоть и в самом деле Кирилл разжигает там костер. Они приблизились к дому, где жила Зося. Антон Кузьмич прислушивался к себе, стараясь понять, что с ним. Откуда это радостное нетерпение — и эта тревога? Что-то знакомое, близкое и в то же время далекое, забытое... Чем нарушено его душевное равновесие?

Он спросил у Кирилла:

— Ты не боишься, что наш визит подкрепит сплетни?

— А ты боишься все-таки?

— Боюсь,— признался Ярош, чтоб хоть как-нибудь объяснить самому себе свое состояние.— Ты знаешь Галину.

— Просто ты плохо воспитал ее. Идеалист — вот ты кто! Хирург-идеалист — уникальное явление. Если бы я описал бывшего подпольщика, знаменитого хирурга, который до такой степени под башмаком у жены...

— Не трепись! Защищай лучше свое право на недвижимую собственность. Но имей в виду, что я собираюсь отдать свою половину нашему профсоюзу под детский сад.

Шикович обогнал Яроша, заглянул снизу вверх другу в лицо, чтоб убедиться, что тот говорит всерьез, не шутит. Ярош смотрел вдаль, в конец улицы, словно пытаясь разглядеть что-то в свете тусклых фонарей.

— У нас разные профсоюзы. Не поладят. Характер у них одинаковый,— Шиковичу понравилась собственная шутка, и он засмеялся.

Ярош тоже хмыкнул.

Им открыла Маша.

— Ах, это вы?! — удивилась она.— Пожалуйста!— Однако стояла в дверях, не пропуская их, словно хотела оттянуть время и дать кому-то спрятаться.

Шикович наклонился и шутливо нырнул под руку, которой она все еще держалась за отворенную створку двери.

«Неужто сплетня дошла и до нее?» — с досадой подумал Ярош.

Маша смущенно отступила, и он нерешительно

вошел в прихожую. Из комнаты вышла Зося. Ярош не видел ее больше месяца. За это время она еще помолодела и похорошела. Как легко женщины меняются!

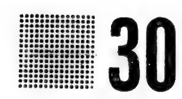
Зося откровенно обрадовалась. Сказала совсем просто:

— Как вы добры, что не забываете нас! Хоть изредка заглядываете на огонек. Раздевайтесь. Будем пить чай.

И тут сквозь открытую дверь Ярош увидел в комнате Тараса. Парень сидел за низким столом, заставленным чайной посудой, прислушивался к голосам и улыбался. Хотя Ярош знал, почему он здесь, и в душе одобрял его выбор (только бы серьезно!), но неожиданная встреча тут, у Зоси, смутила его, может быть, даже больше, чем Машу. Он почувствовал себя словно в чем-то виноватым. Что он скажет Тарасу, когда войдет? Как будет вести себя Тарас? Придется просить его, чтоб не проговорился дома, иначе опять разыграется скандал.

От этой мысли стало гадко. То, что он вынужден делать из своего посещения тайну, оскорбляло, было унизительно.

Ярош пожалел, что пришел.



30

Грохот крана над головой был для Славика теперь что внезапный гром для ждущего расплаты грешника. Он втягивал голову в плечи, испуганно озирался и, когда подплывала тяжелая деталь, отступал, а то и вовсе прятался за высокие станины. Он боялся поднять глаза выше крюка — к стеклянной будке, где сидела крановщица, «дятлик» с остреньким носиком.

Кран понес к упаковочной готовый станок. Его торжественно сопровождали руководители цеха и почти вся бригада сборщиков, кроме Славика и Генриха. Они были заняты другим станком: прилаживали смонтированный электриками программный узел. Эту тон-

кую, сложную и кропотливую работу всегда брал на себя будущий инженер. А у Славика это была последняя ступень ученичества: близился экзамен на разряд, и надо было, хотя бы в основном, знать сборку всех узлов.

Разгруженный кран возвращался с легким гулом. Он летел по длинному пролету цеха с быстротою поезда. Звенели стекла, бренчали незакрепленные детали и ключи на станке.

И вдруг все стихло: кран остановился. Славик уронил гайки, которые подавал Генриху. Всей спиной, не защищенной станком, он почувствовал, что тяжелый крюк повис прямо над ним. Более того, он ощутил взгляд Нины: она высунулась из своей стеклянной будки и глядит... глядит на него.

Славик втиснулся глубже под станину. Хотелось спрятаться, превратиться во что угодно, хоть в электроузел.

Не раз за его недолгую жизнь случалось ему что-нибудь натворить. Бывало, что несколько дней он жил под угрозой возмездия. Но никогда еще не испытывал такого страха. Нет, это не страх, а что-то похуже. Тяжелое, отвратительное чувство! Оно сковывало все его существо.

Станок вздрогнул, как живой, кран медленно двинулся дальше.

Славик тайком перевел дыхание. Генрих сказал:

— Посвети сюда.

Славик поднял повыше «переноску», от яркого света которой слезились глаза.

Генрих бросил на него короткий взгляд и стал закреплять крошечные гаечки. Неискушенному человеку, который видит станок только извне, могло показаться, что такая громадина состоит из одних крупных и тяжелых деталей. Так сперва казалось и Славику. А тут есть детальки не крупнее часовых, особенно в электрооборудовании. Между прочим, эта сложность и привлекала Славика. Если б все было просто и однообразно, как он представлял себе по школьному знакомству с заводами,— одно и то же из часа в час, изо дня в день — наверное, ему все давно надоело бы. А на сборке всегда что-то новое.

— Что у тебя с Ниной? — спросил Генрих, протягивая руку за гайками и прокладками.

Славику что-то словно сдавило грудь. Прокладки прилипли к потной ладони.

— А-а... ничего. Ходим в кино.

— Ты ведь не любишь ее.

— А разве нельзя так?

— Как «так»?

— Ну... вместе работаем — вместе гуляем.

Генрих помолчал.

— С Нинкой нельзя. Имей в виду, она не такая... У нее все серьезно. И планы у нее серьезные и простые: выйти замуж, нарожать детей... Иные модники фыркают: мещанство! Олухи, склоните головы! Это жизнь в ее естественном проявлении. Сами они мещане!

«Почему он говорит это мне? Неужто знает? (Куда девался острый язык, находчивость: ты мне слово — я тебе десять!) Он, очкастый черт, кажется погружен в работу, а все примечает. Разбить «переноску», что ли? Будто нечаянно».

Наконец Славик овладел собой. Осклабился.

— Думал, хоть один человек как человек. А ты — тот же Ходас или Тарас. Моралисты! — И завыл в утробу станка: — Скучно жить, Генрих!

Он не раз уже склонял Вареника на свою сторону такими вот шуточками. Генриху свойственно чувство юмора.

— Думаешь, если испортишь жизнь другому, тебе станет веселей?

— А кому я испортил? Пошли вы все!..

Через несколько минут Тарас отправил его на склад за деталями. Славик напустил на себя такой беззаботный вид, что никому и в голову не могло прийти, как у него гнусно на душе. Он шел между станками, точно по лесу. Насвистывал. И вдруг из-за станка она, Нинка. Носик — красный, глаза — злые.

— Славик!

Он испуганно обернулся.

— Ух, глаза твои бесстыжие! Теперь тебе ничего не надо? Знай же: либо на себя руки наложу, либо тебя придушу станиной. Теперь мне все одно не жить.— Она всхлипнула.

А рядом, за станком,— голоса. Кажется, начальник цеха.

Славик схватил ее за руку.

— Чего ты? Глупая, глупая... У меня просто времени нет. Я на подготовительные курсы в политехнический поступил. Каждый вечер... Ну, ладно. Сегодня...

Шел знакомый рабочий, и Славик, обрадованный, оставил девушку и зашагал с ним рядом. Рассказал новый анекдот. Пытался смеяться. Выжимал из себя смех, а сам был скован страхом, жутким, незнакомым. О, жестокая жизнь! Никакой радости и столько мук! Он проклинал тот час и миг, когда ему пришла в голову глупая мысль — отомстить Нинке за то, что она напугала его в первый день.

Месяц он водил ее в кино, в театр и говорил, говорил, говорил. Заходил за ней прямо в общежитие. Товаркам Нины по комнате он понравился: веселый. Некоторые, правда, предупреждали: «Ой, смотри, Нинка, заговорит он тебя!» Другие подбадривали: «Хватай на лету! Вскружи ему голову. Чего на свете не бывает! Вон Лидка за инженера выскочила. Теперь здороваться не хочет».

Нина знала, что не отличается красотой. Но девичье сердце сильнее ума, оно всегда в плену наивных иллюзий. Разве только красивые нравятся? Славик покорил тем, что не стеснялся показываться с ней на людях — в кино, в театре, знакомил со своими приятелями — хорошо одетыми парнями и девушками. И делал это, казалось ей, с гордостью. Для простой девушки, жившей еще деревенскими представлениями, это служило высшим доказательством его любви. Возможно, было здесь и другое: тяга человека, изведавшего бедность и недостатки, к лучшему, более красивому.

В то воскресенье он явился в общежитие утром и пригласил ее на дневной сеанс. А когда вышли из кино, предложил зайти к нему домой. Нинка на миг заколебалась, но не устояла перед искушением посмотреть, как он живет. Вообще как живет писатель? Разве это не интересно? К тому же мелькнула тайная надежда, что он хочет познакомить ее со своими родителями.

Славик открыл дверь и удивился, что в квартире ни души. Только сейчас он вспомнил, что отец и мать вместе с Ярошами поехали на дачу сажать какой-то особенный декоративный кустарник. Он показал Нине библиотеку, отцовские книги. Потом включил радиолу. Поставил на стол длинную и узкую бутылку, тоже, как и музыка, чужестранную. Вино Нинке не понравилось — кислятина. Но она слыхала, что все интеллигенты пьют почему-то кислое вино вместо вкусного сладкого, а потому выпила два высоких бокала. И ей стало хорошо и весело. Она предложила:

— Давай потанцуем.

Она любила танцевать, а Славик — нет. Он ходил с ней повсюду, а вот на танцы в заводской Дом культуры не повел ни разу.

Они закружили по кабинету вокруг маленького столика, мимо стеклянных шкафов, из которых смотрели на них молчаливые и строгие книги.

Славик поцеловал девушку. Нинка блаженно засмеялась. Она всегда так смеялась, когда он целовал ее. Продолжая кружиться, Славик споткнулся. Они упали на диван, и он стал жадно целовать губы, щеки, шею.

— Славичек... Родненький... не надо, Славичек... Потом, потом... дороженький...— шептала она, так же жадно, до боли целуя его.

...Когда наступило отрезвление, он вместо радости почувствовал стыд, отвращение — к этому, к себе, к ней... Вдруг увидел, какая она некрасивая, Нинка. И сразу вспомнил Машу, которую давно уже не видел, но не забывал. Защемило сердце. И все росла неприязнь к Нине. Почему она так легко сдалась?

— Славичек... Дорогой... Теперь мы связаны с тобой навеки.

Его точно огнем обожгло.

«Связаны... навеки... Всю жизнь с ней? Из-за одной минуты? Что она мелет? Чего ей надо?»

Его пронзил страх, как удар. В голову, в грудь. Даже пот прошиб.

А в этот момент — звонок. Они вскочили. Славик оторопел, растерялся. Бросился к радиоле, выключил. Настойчиво прозвучали три коротких звонка. Ира!

Она так звонит. А если родители? Славик снова включил радиолу. Чересчур резко крутнул регулятор громкости. Музыка заполнила квартиру.

Показалось, что Нина умышленно медлит, приводя себя в порядок. И делает это, ничуть не стесняясь его. Славик возненавидел ее в этот миг. Бросил злобно: «Быстрее!» — и побежал к двери. Прислушался. Долгий звонок. Да, Ира. Он отворил. Сестра хлопнула его по лицу рукавицей, с которой посыпался песок.

— Соня! Не дозвонишься!

В его рыбачьей куртке, в брюках, в очках она похожа была на геолога. Бросила шапку в коридоре на столик и, словно нюхом почуяв присутствие постороннего, заглянула в кабинет. Славик увидел, как Нина некстати (ох, как некстати!) одернула юбку, поздоровалась застенчиво и льстиво. Ира не ответила. Она смотрела на незнакомку почти с ужасом. Казалось, не только глаза, даже очки ее расширились. Потом перевела взгляд на брата — безжалостный, уничтожающе-брезгливый взгляд, круто повернулась и ушла к себе в комнату. Хоть бы слово обронила!

«Кобра!» — мысленно обругал Славик сестру. Однажды, когда они поссорились, он ляпнул это обидное слово. Результат был неожиданный: на него страшно рассердилась мать; никогда он не видел мать такой расстроенной и сердитой. Поэтому он остерегался этого слова. Да и почему он должен ругать сестру? Раздражение его тут же перекинулось на Нинку. Да, во всем виновата она! Не нашла ничего лучше, как одергивать юбку. Ворона!

Растерянная, обиженная девушка как-то съежилась, стала еще невзрачнее. Надевая пальто, пугливо озиралась. Но это еще больше злило Славика. Фу, какая недотепа!

Но только они вышли на лестницу, Нинка, как птичка, оправив перышки, сразу вернула себе прежнюю уверенность.

— Спесивая она какая, сестра твоя! Подумаешь, барыня!

— Что она, целоваться с тобой должна была? — грубо ответил Славик.

— А чем я хуже ее?

У Славика хватило такта смолчать.

Обрадовался, что на лестнице никого не встретил. Но на улице ему начало казаться, что все, особенно женщины, смотрят на них понимающе и насмешливо. До сих пор он демонстративно представлял своим стиляжным друзьям простенькую девушку-работницу и плевал на их подтрунивания. Теперь же холодел от мысли, что может встретить кого-нибудь из этих друзей. Обычно изобретательный и не слишком деликатный, он никак не мог придумать, как избавиться от нее, остаться одному. А она стала, как никогда, болтливой. Рассказывала о своих девчатах, о том, что Верка собирается замуж. Его переполошило это слово — «замуж». Дошли до Дворца спорта, и тут его осенило:

— Я в бассейн. На тренировку.

...Безусловно, вел он себя потом, как последний дурак. Не в силах преодолеть антипатию, перестал заходить в общежитие, ни разу не пригласил Нинку в кино, избегал встречи с глазу на глаз в цехе. Она, однако, через несколько дней подстерегла его, заплакала.

— Я тебе отдала все. А ты... Опозорил, надсмеялся... С дитем хочешь бросить?

«С дитем!» — вот откуда этот страх.

«Неужто она может забеременеть?!» Эта мысль не оставляла его с того дня ни на минуту. Он купил толстую книгу «Акушерство», прочитал в пустом осеннем парке все, относящееся к беременности, и закинул книгу в кусты. Нет, ничего еще не известно. Но забеременеть может.

...Вопрос Генриха встревожил его. Что, если она рассказала подругам, а они — Косте, который живет в общежитии и частый гость у девчат? Тогда, наверное, уже знает вся бригада. Узнает весь цех, завод. Чего доброго, станут разбирать на собрании.

Не дают человеку воли! Тысячи условностей связывают его по рукам и ногам, тысячи страхов подстерегают на каждом шагу. Славик считал, что избавился уже от таких «пережитков» и «предрассудков», как совесть, стыд, любовь, преклонение перед авторитетами и тому подобное. Ни черта не избавился! Он не

только такой, как все, он хуже — сентиментальный слюнтяй. А виноваты родители, это они так воспитали. И в таком окружении стать другим, выходит, прямо-таки невозможно. С туристами поспорил — в каталажку, узкие штаны надел — в «Крокодил», с девушкой связался — женись! Жуть!..

День этот, однако, закончился благополучно: Нина его не придушила, в комитет комсомола не вызвали.

Но Славик не обрадовался гудку. Он пообещал Нинке встретиться с ней вечером. А встречаться совсем не хотелось. И не пойти боязно.

С завода они вышли вместе с Тарасом. Домой Славик не спешил. У него создались сложные отношения с Ирой. На удивление матери, они совсем перестали ссориться. Сестра смотрела на него с брезгливым пренебрежением. А он боялся ответить даже сердитым взглядом. Не затрагивал, почти льстил. Только было бы тихо.

Тарас долго шел молча. У него была своя забота: отношения в семье Ярошей — в его семье. С малых лет он замечал ревность Галины Адамовны и раньше жалел ее. Но с возрастом, разобравшись, стал больше сочувствовать отцу.

О том, что мать снова приревновала Яроша к кому-то, сообщила ему Наташа. А после их встречи у Зоси Антон Кузьмич первый раз в жизни заговорил с сыном о своих отношениях с женой... Тарас с горечью думал: как можно так усложнять простые и ясные вещи, марать грязью чистые человеческие чувства! Желая помочь, он попробовал поговорить с Галиной Адамовной. Но та резко оборвала его: «Я тебя прошу не вмешиваться в наши дела!» Тарас вовсе не считал, что нужно лезть людям в душу. Но нельзя же оставаться в стороне, когда двое хороших людей, проживших вместе много лет, вдруг перестают понимать друг друга.

— Катка нынче, видно, не дождаться. Бр-р! — съежился Славик и поднял воротник своего легкого короткого пальто.

Снег, выпавший неделю назад, таял. Было сыро, скользко и холодно. Тарас в кожаной куртке на меху,

в калошах шагал широко, уверенно. Славик над калошами смеялся — старомодно! — и в длинноносых туфлях скользил на талом снегу, перепрыгивал через лужи, ругал никудышную зиму. И вдруг ляпнул, неожиданно не только для Тараса, но, очень может быть, и для себя самого:

— В тебя по уши втрескалась одна дура.

Тарас промолчал, только недоверчиво глянул на него.

— Не веришь? Даже не интересуешься кто? Моя сестра. Ира.

— Она уполномочила тебя сообщить мне об этом?

— Ну что ты! — засмеялся Славик.— Я прочитал ее дневник.

— Красиво, нечего сказать!..

— А ты не прочитал бы дневника сестры, если б он попался тебе на глаза? Терпеть не могу притворства! Я — так с интересом. Как шпионский роман. Тебя она превозносит! Культ Гончарова.

Тарас понял, что на этот раз Славик говорит правду. Он и сам кое-что замечал. Но с какой целью Славик заговорил о сестре именно сейчас?

Оставив без ответа тираду Славика, Тарас спросил:

— Скажи лучше, что у тебя там с Нинкой?

Славик поскользнулся, обругал городские власти и дворников, которые не чистят тротуары. Это помогло ему справиться с замешательством.

— Что у тебя с Машей, то у меня с ней. Ходим вместе в кино. Вот и сегодня пойдем. Почему это тебя интересует?

— Хлопцы не верят, что у тебя это серьезно.

— О, великие моралисты! Вам хотелось бы, чтоб я, сходив два раза в кино, тут же женился? А сами-то вы не слишком торопитесь с этим делом. Философ наш очкастый три года Зою за нос водит, учебой отговаривается,— Славик зло и громко выругался.— Надоели вы мне, как горькая редька! Все! Автоматы!

Тарас давно уже научился не обращать внимания на болтовню Славика, но эти слова его обидели. Сколько они возятся с ним, сколько раз ему прощали его выходки, а он вот какого мнения о бригаде!

«Пожалуй, секретарь парткома был прав: не будет из него толку, придется распроститься». Однако Тарас вздохнул с огорчением, все-таки жаль было этого шалопая.

31

Маша удивилась, когда выяснилось, что билетов только два.

— Как? Ты не взял для Зоси?

Тарас отчаянно смутился. И Зося тоже.

— Ну, что ты! Я совсем не хочу вам мешать.

— Чем ты можешь помешать, скажи, пожалуйста?

Маша говорила из прихожей, куда вышла переодеться.

Зося сидела на диване в привычной позе, поджав ноги, укрыв их теплым платком. В квартире было даже жарко, но ее все еще не оставляло нервное ощущение, что ноги стынут: так у калеки болит ампутированная нога.

До прихода Тараса они что-то кроили, и по дивану были разбросаны зеленые и красные лоскутки. Точно цветы. Зося собирала их и связывала вместе.

Маша вбежала в комнату с распущенной косой. Стала причесываться перед зеркалом. Тарас залюбовался ее волосами. Зося смотрела на него, улыбаясь, как старшая сестра. Словами он, верно, ничего не сумел бы объяснить, но взглядом просил у Зоси прощения, говорил: «Не думайте обо мне дурно. Просто мне хочется... необходимо побыть с ней вдвоем».

Зося поняла. Но тут же где-то в самом дальнем уголке сердца шевельнулась зависть. И это чувство она позабыла — не испытывала его уже много лет. А потому испуганно прогнала прочь, пускай эта зависть и добрая. Разве имеет она право завидовать? Они молодые, счастливые, у них совсем другая жизнь...

Зося любила Машиных друзей. Они были разные, но все отзывчивые и добрые. А лучшим лекарством

для ее душевных ран была доброта. Она рассеивала остатки ее недоверия к людям и жизни. Тарас же занял в ее сердце, в мыслях особое место. Еще в ссылке она иной раз думала, что, может быть, если б ей тогда удалось найти и приютить мальчика, судьба ее сложилась бы совсем иначе. Да, если б она разыскала его тогда, они бы стали братом и сестрой на всю жизнь.

Подкрашивая перед зеркалом губы, Маша подтрунивала над Тарасом:

— Тугодум ты, Тарас. И вообще медведь. Я удивляюсь... Вырос в городе, в такой интеллигентной семье. Посмотрел бы, где росла я! — Но сказала она это не жалуясь, а с гордостью: росла в беде, а выросла вот какая — полюбуйтесь!

Зося пошутила:

— Да. Трудно поверить, что ты не барское дитя. Если б я не видела твою маму...

— Моя мама.— Маша вздохнула. И вдруг отбросила губную помаду на подоконник, краем платка вытерла краску с губ. Подбежала к Зосе, обняла, поцеловала в щеку: — Прости. И не скучай без нас.

В фойе Тарас и Маша нос к носу столкнулись со Славиком. Рядом с ним стояла Нина.

Славик нарочно купил билеты не в центральный кинотеатр, а в этот новый, в Залинейном районе, где почти исключалась встреча со знакомыми. И вдруг — на тебе! Да с кем!.. Он готов был сбежать на край света, увидев их. Но спрятаться некуда.

Славик давно не встречал Машу. И когда после случая с Ниной она снова завладела его мыслями, он иной раз, чтобы не думать о ней, убеждал себя, что это лишь в его воображении она такая необыкновенная, такая прекрасная, а на деле вся красота ее — плод его взбудораженной фантазии. Но нет! Нет! Сейчас она показалась ему еще красивей, чем в первую встречу на даче, чем даже в его бессонных грезах. Он просто ослеп от сияния ее глаз, оглох от звука ее голоса, несравнимого ни с чьим другим. Она смеялась. Она говорила что-то Тарасу. Славик не слышал. Оглушила и ослепила его ревность.

Не он, а Тарас познакомил девушек. Маша не оглядывала Нину с тем чуть презрительным любопытством,

с которым смотрели на нее некоторые Славины друзья. Воспитанная жизнью и работой в больнице, Маша никогда не разделяла людей на какие-то категории, а тем более не судила о них по одежде, по внешности. Но и она посмотрела на Славика с любопытством. Ее удивила не Нина — удивил Славик. И он это понял. С той минуты он замечал все — каждое ее движение, каждую искорку в глазах.

Ему кричать хотелось от отчаяния, кусать себе пальцы, когда они оказались рядом,— простенький, земной, неказистый «дятлик» с покрасневшим носиком и Маша, в которой все казалось ему необыкновенным.

Все же Славик вернул себе самообладание и привычную развязность. Он пригласил всех в буфет, стал угощать с купеческим размахом. Тарелку эскимо! Гору «мишек»!

Как? Здесь в буфете есть шампанское? Ура Горторгу! Давайте шампанское.

Протестовал Тарас. Застенчиво отказывалась Нинка. Славик силком заставлял их есть и пить. Он был подчеркнуто внимателен ко всем. Но на деле никто для него не существовал, кроме Маши. Все угощение, все шутки, все слова, смех для нее одной, только для нее!

Тарас хмуро молчал. Скоро и Нина начала разбираться, что к чему. Присмотрелась, прислушалась — и прозрела. Глупая, глупая! Как она могла вообразить, что Славик любит ее? Надеялась, верила, мечтала... Разве так любят? И разве такая, как она, простая крановщица, надобна ему? Ему вон какая краля нужна! Модная, накрашенная! Нинка, которую сперва Славины шутки смешили, притихла, замкнулась, отодвинулась от Славика к Тарасу. Пожалела бригадира: переживает! Себя не жалела. Себя казнила: так тебе и надо, овечка! Поманил пальцем, ты и побежала. Хотелось по-бабьи завыть на весь буфет и на весь кинотеатр. Нет, она держалась. Ни одним движением не выдала себя. А вот они... они потеряли всякий стыд.

— Правда. Мне каждую ночь снятся марсианки. Они похожи на тебя.

— Старо. Я уже это слышала. Ты повторяешься.

— Ну и что? Мой мудрый папаша как-то изрек толковую истину: все новое — это давно позабытое старое.

— Ты сам выдумал.

— Если б я мог выдумывать такие вещи, то не завинчивал бы гайки под наблюдением маэстро Гончарова. Я славлю тебя, Тарас! Выпьем! За что? За рыжих.

— За рыжих я выпью. Они несчастные.

— Ты несчастная? Ты — самая счастливая!

— Не трепись, Славик. Ты пьян.

Тарас не выдержал:

— Хоть бы потише — ведь слушают.

— Слушают, потому что интересно. Читал бы я лекцию о сборке станков, никто б и внимания не обратил. Ты, Маша, слушала бы?

— Я все слушаю.

— Влияние Тараса. Раньше ты была разборчивей.

— В чем?

— Во всем. В людях.

«Если б это у нас в деревне, Тарас давно должен был бы дать ему по морде». Нинка пожалела, что все это происходит не у них в деревне, где разговаривают проще, а действуют решительнее. «Но Тарас передовой — ему нельзя». Она вздохнула.

Раздался звонок. Надо было идти в зал.

Они поднимались по крутой лестнице, впереди Славик и Маша. Казалось, они забыли обо всем, даже о том, кто с кем пришел и с кем должен сидеть. Нет, у входа в зал она, рыжая, вспомнила об этом.

Но Славик! Не может оторвать от нее глаз! Все смотрит в ту сторону, где сидят Маша с Тарасом. Когда потух свет и началась картина, Нинке казалось, что он и на экран не глядит, а все туда же.

Несчастья героини растрогали девушку. Она уже не думала о том, чтоб удержать Славика. Слава богу, что хоть все обошлось благополучно, не случилось того, чего она подсознательно хотела и боялась, боялась не меньше, чем Славик. Теперь она считала, что справедливо наказана за свою доверчивость и глупость. «Так тебе и надо! Так тебе и надо!» — безжалостно ко-

рила она себя и... плакала, сморкалась, вытирала платочком глаза.

Славик дивился, что ее так взволновала трагедия героини. Его вся эта киноистория не тронула ничуть. Банальная драма. Было даже как-то неловко перед соседями, что его девушка — такая «деревня».

Маша и Тарас сидели ближе к выходу и, когда сеанс окончился, вышли первыми. Как Славик стремился их догнать! Лез в самую гущу, всех расталкивая. Обиженная Нина осталась позади. Он спохватился, подождал ее у двери. Но явно досадовал, что Маша с Тарасом скрылись. Шел молча. Нина тоже молчала. Улицы скоро опустели. Город засыпал. Но они были недалеко от вокзала, и там, не переставая, устало пыхтели и сердито вскрикивали паровозы.

На пешеходном мосту над железнодорожными путями, узком и высоком, Нинка остановилась и стала смотреть на проходивший внизу длинный товарный состав. Маленькие вагоны с красными крышами, длинные пульманы с белыми люками, платформы с тракторами, с лесом. Поезд прошел. Мимо зеленых и красных огней, неподвижных стрелок и светофоров плыл-покачивался, отдаляясь, красный стоп-сигнал. Нинка проводила его печальным взглядом, словно этот поезд увозил ее счастье, ее надежды. Да, увозил!..

Славик стоял рядом, перегнувшись через перила, и... плевал вниз, ребячливо куда-то целясь.

Не отводя глаз от далеких огней, Нина тихо сказала:

— Теперь мне все понятно. Видела... Ты любишь ее, эту рыжую. Довольно врать. Ты любишь ее!

У Славки будто стопудовый камень свалился с души, полетел вниз, под мост, грохнулся о стальные рельсы и разлетелся в пыль. Стало легко-легко! И смешно: она думает, что он будет отрицать, изворачиваться. Да нет же! Она сама помогла ему.

Он сказал:

— Да, я люблю ее, эту рыжую.

Потом повторил громче:

— Я люблю ее!

И закричал во всю силу легких:

— Я-а лю-у-блю-у е-ео! Слы-ы-шишь?!

Нинка закрыла руками уши и бросилась прочь, как от очумелого. Под ее ногами загудел, загрохотал железный настил моста. Ей казалось, что он все еще кричит ей вслед эти слова — с издевкой и радостью. Нет, он не кричал. Он шел медленно, ведя рукой по мокрым перилам и счастливо улыбаясь.

Зося еще не спала. Читала.

Маша сняла в прихожей пальто, вошла в комнату, провела горячими ладонями по холодному лицу и рассмеялась.

Зося оторвалась от книги:

— Что ты?

— Там, в романе,— кивнула Маша на книжку,— это, наверное, называется: он просил ее руки.

— Кто?

— Тарас — моей.

У Зоси екнуло сердце. Наконец она поняла, почему Тарас вызывал в ней тревогу, беспокойство. Она опасалась именно этого — что он отнимет у нее Машу. Боялась одиночества. Всего несколько месяцев назад она избегала людей. А теперь ее пугала мысль, что она может остаться одна.

— Ты... согласилась?

— Он торопит. «Завтра же,— говорит, — идем в загс». О, нет! Дай мне подумать. Я говорю ему: «Дай мне подумать до Нового года». Расстроился.— Она сбросила туфли, забралась на диван, спрятала озябшие ноги под одеяло.— Ты знаешь, я и правда хочу подумать. Тарас, наверно, будет идеальным мужем. Но он очень уж правильный и серьезный. А у меня ветер в голове. Все почему-то считают меня положительной, а я вовсе не положительная. Вот я сейчас подумала. Посватался бы такой шалый, как Славик Шикович... Хотя какой из него муж — дитя непутевое. А я, наверное, сразу согласилась бы. Замуж так замуж! Как в прорубь. Не раздумывая. С головой. Бултых — и все! А с Тарасом — это очень ответственно. Я должна разобраться в себе: есть ли во мне та любовь, какая ему нужна. Ты понимаешь?

— Да, я понимаю,— ответила Зося. Но думала она

в этот миг о другом — о себе. Скорее бы уже на работу! Маша, Антон Кузьмич, Шикович — золотые люди. Но они ухаживают за ней, как за больной. А ей хочется, чтоб окружающие считали ее здоровой, быть среди всех как все. Как-то они отнесутся к ней? Предстоит еще и это испытание. Скорее бы!

Недавно Шикович сказал, что он советует пойти к ним в редакцию библиотекарем.

Ей это сначала не очень понравилось.

— Вы стараетесь найти мне тихую заводь? А я хочу быть среди людей.

— А мы не люди? — закричал Шикович, притворившись оскорбленным.— Кем вы нас считаете? Может, мы не ахти какие журналисты, но, поверьте мне, большинство из нас люди совсем не плохие. Веселые, дружные...

Зося после подумала: «Если все такие, как Кирилл Васильевич, то работать вместе с ними — счастье».

Она привыкла к мысли о библиотеке и, кажется, уже полюбила свою будущую работу. Часто думала о ней, представляла, как она будет помогать журналистам в их интересном труде; может, кому-то из них подскажет тему, мысль... И статья поможет людям, как работа Шиковича помогла ей.

32

Шикович ожидал, что после появления очерка не будет отбоя от телефонных звонков, от посетителей. Звонки были, но не те, на которые он рассчитывал. Звонили друзья: «Здóрово, старик, написал, поздравляю!» Кирилл сердился: разве соль в том, как написано! Звонили читатели. Чаще всего расспрашивали о Зосе. Где она теперь, как чувствует себя? Просили передать ей добрые пожелания. Другие спрашивали о том, о чем Шикович сам хотел бы узнать. Где же они, те, что боролись вместе с Савичем, Вакуловой и Васей? Живые свидетели? Неужели в городе

никого не осталось? Неумолимое время! Скосило людей, разогнало по свету.

«Если б удалось тиснуть хоть небольшую статейку в центральной газете, может кто-нибудь и откликнулся бы»,— думал Кирилл, сидя в кабинете редактора и в сто первый раз просматривая те три номера, где был помещен его очерк о подполье.

Больше всего по поводу очерка звонили редактору, поэтому Шикович и сидел эти дни в его кабинете. Живицкий болел и в редакцию не являлся: подписывал газету дома. Откровенно говоря, Кирилл сам не понимал, чего он ждет. Все уже ясно. Садись, дописывай повесть, ставь заключительную точку и — в печать. Но в том-то и беда, что в последнее время, когда, казалось бы, все уже стало ясно, у него вдруг пропал весь пыл. Удивительное дело. И очень может быть, что он поджидал чего-то такого, что снова зажгло бы его.

Вот почему, когда отворилась дверь редакторского кабинета и на пороге появился незнакомец, Кирилл сразу подумал: «Это он».

По каким-то неуловимым приметам Шикович умел безошибочно отличать пенсионеров. И об этом человеке сразу подумал: «Пенсионер».

Посетитель не спросил, можно ли войти. Протиснулся в дверь не то что робко, а как-то неуклюже, будто дверь была узка. Нет, он не был толст. Нормальной для своих лет комплекции, несколько отяжелевший. А лицо даже худое. Оно было выдублено ветром, как у рыбака, изрезано глубокими и некрасивыми морщинами (бывают морщины красивые). Хотя из-под высокой каракулевой шапки виднелись совсем седые виски, брови у него были черные, как подкрашенные. Возможно, от этого глаза казались очень уж зоркими и колючими. Он, в свою очередь, оглядел Шиковича. Но если Кирилл встретил его с доброжелательным любопытством, с радостной надеждой, то во взгляде гостя он уловил нечто вроде пренебрежения или насмешки: «Посиживаешь, писака, в кабинетике? Ишь, как обставился!»

Во всяком случае, Кириллу почему-то стало неловко, что он забрался в редакторский кабинет.

Человек, не здороваясь, спросил:

— Вы — Шикович?

— Да. Садитесь, пожалуйста.

Шикович сидел не за рабочим столом редактора, а за длинным, для заседаний, на конце которого лежала стопка газетных подшивок. Человек сел напротив. Шапки не снял. Расстегнул пальто из добротного драпа, но сильно побитое молью — где-то долго лежало.

Глядя Кириллу прямо в глаза (трудно было выдержать этот взгляд!), спросил с кривой усмешкой:

— Что же это ты, друг ситный, сказал «а» и не говоришь «б»? Не хватило духу? Иль замяли?

У Шиковича замерло сердце от предчувствия чего-то чрезвычайного.

— Что вы имеете в виду?

— Что, что!.. Сам ты отлично знаешь что! Почему не раскрыл, кто такой Сажень. Струсил? Ну, конечно, где тебе! Хотел пощекотать нервы читателей, нагнать таинственности. Да вышла промашка.— Он хмыкнул, пристукнул кулаком по столу, точно ставя печать.— Теперь другие скажут...

Казалось, человек этот исходит желчью. Шикович не любил таких: молчат, выжидают случая, чтоб кто-нибудь начал, тогда и они вырываются и бьют из-за угла.

— Отчего же вы первым не сказали это «а»? — уже вовсе неприветливо, с раздражением спросил Кирилл.

— Не имел такого факта. Приводил другие. Не доказал. Дали по морде. Он же, твой Сажень... С его помощью я очутился в краях отдаленных...

Кирилл поднялся.

— Слушайте, я не знаю, кто такой Сажень.

— Не знаешь? — с явной издевкой переспросил человек.— Не знаешь, что это уважаемый Семен Парфенович Гукан?..

— Гукан?!

«Гукан! Гукан!» — загудело, застучало, зашумело у Шиковича в голове, будто заработала там мощная электронно-вычислительная машина; она мгновенно извлекла из глубин памяти все собранные факты, вы-

строила их по-новому, совсем в другом порядке. Где-то на боковых маленьких клавишах выстукивало: «Мы, когда еще на рабфаке вместе учились, прозвали его так. В партизанах, когда ходили на связь в город, он хотел однажды выписать себе паспорт на имя Сажня... Не кто иной, как я, отговаривал его. «С твоим ростом,— говорю,— вызовет подозрение». Он отблагодарил меня потом за все...»

— Как ваша фамилия?

— Знаешь ты мою фамилию. Писал... Расписывал с его слов.— Человек опять угрожающе пристукнул по столу кулаком.

Шикович напрягал память, но вспомнить не мог: в книге названы десятки людей, которых он никогда и в глаза не видал.

По сути, он должен был обрадоваться, высказать этому человеку свое мнение о Гукане, открыть историю с письмом в органы Госбезопасности насчет Зоси Савич, привлечь как свидетеля, помощника для установления всей истины. Но что-то удерживало его. Что? Злоба этого человека, его жажда расквитаться с Гуканом. Для него теперь главное не истина, а месть. Шикович ненавидел людей мстительных. Поэтому свидетель, которого он подсознательно все время ждал, стал ему неприятен. Кириллу не хотелось заключать с таким человеком какой бы то ни было союз.

— Да, подрезал ты своего дружка.— Ему явно доставляло удовольствие поиздеваться над незадачливым, как он считал, журналистом.

— Что вы собираетесь делать?

Тот сразу ощетинился и тоже встал.

— А это уж моя забота, что я буду делать. Не терпится узнать? А? Ну нет, теперь вам с Гуканом не выбить у меня оружия.

— Что касается меня, то я лично ни у кого из рук оружия не выбивал и не собирался это делать. Все, что я делаю, я делаю для того, чтобы рассказать правду о людях, которые боролись честно.

— Если говорить откровенно, то я и пришел, чтоб сказать тебе за это спасибо. Ты, видимо, все-таки прямой парень.

— Не для вас я это делал!

— Кое-что сделал и для меня. Доделают другие. Всего хорошего!

Кирилл не стал его задерживать. «Черт с тобой! Фамилию я твою вспомню. А не вспомню, сам отзовешься, по всему видать. С меня хватит того, что ты сообщил. Гукан! Неужто Гукан?»

Он взволнованно ходил по просторному кабинету, потирая лысину, щеки. Не от радости. Нет, какая там, к дьяволу, радость, когда пухнет голова! Как, почему человек, который честно воевал против врага и, несмотря на все свои недостатки и слабости, наверно, искренне предан нашим гуманным идеям, мог так поступить? Ведь Зося ухаживала за ним, как за больным. Прятали, спасали. Отец пожертвовал жизнью. Кому же он тогда верил, если после всего этого поставил под сомнение честность этих людей? Огульная подозрительность? Или подлость?

Кирилл выскочил в коридор, взбежал по крутой лестнице на чердак. Там, под крышей, хранился редакционный архив и была оборудована фотолаборатория. Застучал в дверь лаборатории. Отозвался флегматичный голос:

— Кто там?

— Я, Шикович. Открой. Срочное дело.

— Подожди.

Наконец известный всему городу фотокорреспондент Петя Черноус, душа-парень, флегматик на работе и ураган в гульбе, открыл дверь своей «святой кельи».

— Петя, друг, выручай! Переверни весь свой архив. Разыщи снимки, на которых есть Гукан. От сорок пятого до наших дней.

— На что они тебе?

— Нужно. Во как нужно!

— Он что, юбиляр?

— Юбиляр, будь он неладен!

— Работаешь без осечки. А что я буду за это иметь? Квартиру он мне заменит?

— Квартиру не гарантирую. А две бутылки коньяка за мной. Сегодня же вечером.

— Врешь!

— Я тебя подводил когда-нибудь?

— Идет. Через час получишь все, что тебе надо. Представить в альбоме или в папке?

— В папке.

Зося, открыв дверь и увидев Шиковича, растерялась: никогда он еще не приходил один и в такое время — среди дня. И никогда не видела она его таким деловито-нетерпеливым. С чисто женской тревогой она почему-то подумала об Антоне Кузьмиче: не случилось ли с ним чего? Однако из чувства такта не спросила, чем вызван столь неожиданный приход.

— Пожалуйста, Кирилл Васильевич. Раздевайтесь,— вежливо пригласила она.— Вы совсем меня забыли. Антон Кузьмич вчера заглянул. А вы... Я и не помню, когда вы были в последний раз.

«Антон бывает один? Без меня? — мысленно удивился Кирилл.— Ну и ну!.. Узнает Галя — не сносить тебе головы, Антоша! Даже моего таланта миротворца не хватит, чтоб помирить вас».

— Спасибо, Софья Степановна. Я на минуточку. Пожалуй, и раздеваться не буду. Ну, ладно, ладно... Но ни чаю, ни кофе не надо. Ведь я на работе, и к вам по делу.

Он сбросил в прихожей короткую меховую куртку и с шарфом на шее, в пушистой ондатровой шапке вошел в комнату, где все хранило следы заботливых рук, все сияло от снежного света, заливавшего комнату сквозь широкое окно. В окне — тополя в цветении инея. А за тополями виднелась укрытая снежным одеялом река с черными точками — «подледниками», которые часами просиживали над своими лунками.

Падал мягкий, казалось теплый снежок.

Охваченный лихорадочными мыслями, Кирилл, когда шел сюда, не замечал красоты зимнего дня. А здесь, в этой комнате, вдруг точно прозрел. И остановился, замер у порога, заглядевшись в окно. На какой-то миг, на одну минуту охватила странная расслабленность, лирическое прекраснодушие, когда вдруг хочется забыть обо всем, слиться с природой, окунуться в нее. Но не такое у него дело, чтобы можно было о нем забывать!

Не присаживаясь, он развязал тесемки папки, в которую Черноус положил десятка два фотографий разных лет.

— Софья Степановна, я хочу показать вам несколько фотографий. Может быть, вы узнаете кого-нибудь. Это очень существенно для моей работы.

Он достал самый ранний снимок, сорок шестого года, коллективный — митинг в день похорон подпольщиков и партизан в общей братской могиле в городском сквере. Гукан — на невысокой трибуне, выступает с речью. То ли снимок выцвел от времени, то ли в тот день было мало света, но был он тусклый, невыразительный, лица людей расплылись. Однако оратор вышел лучше других.

Зося взяла снимок, поднесла к самым глазам, хотя близорукости у нее Кирилл раньше не замечал. Она стояла у дивана, ближе к окну, вся залитая снежным сиянием.

И Шикович увидел, как вдруг изменилось ее лицо: точно тень пробежала по нему снизу вверх. Обращенная к нему щека побледнела. Несомненно, она узнала человека на фотографии.

Шикович ждал.

Зося долго разглядывала снимок, но на лице ее уже ничего не отражалось. Наконец оторвалась от фотографии, перевела взгляд на Шиковича и покачала головой: нет, никого я здесь не узнаю.

Кирилл выхватил другой снимок.

— А тут?

Она глянула, даже не взяв в руки, и снова отрицательно покачала головой.

— Ты не узнаешь этого человека? — забывшись, крикнул Шикович, обращаясь уже на «ты», протягивая третий снимок — большой фотопортрет Гукана.

Зося вся съежилась и испуганно отступила.

— А если я ошибаюсь? — тихо-тихо спросила она.— Прошло столько лет!..

— Это Сажень? — перешел Шикович в стремительное наступление.

Не отвечая прямо, она спросила:

— Кто он, этот человек?

— Председатель горисполкома Гукан.

Болезненная улыбка перекосила ее лицо — она слышала эту фамилию сотни раз: и тогда, когда работала в ателье, и в больнице, и еще чаще теперь, от них — Кирилла Васильевича и Антона Кузьмича, когда они, сидя у нее, говорили иной раз о работе Шиковича, прежней и нынешней. Так вот кого они с отцом укрывали! Нет, никаких особых чувств в ней не возникло, кроме одного: захотелось вдруг никогда-никогда больше не слышать, не вспоминать это имя — Сажень-Гукан. Забыть мгновенно и навеки.

Робко, неуверенно, как маленькая, она спросила:

— А может быть, не надо, Кирилл Васильевич?

— Что не надо? Чего вы боитесь? Его?

— Я не за себя. За вас...

— За меня? Го-го!..— гоготнул он.— Не те времена, Софья Степановна, чтоб бояться! Он сам все время дрожал. И сейчас дрожит. А мы будем гнилыми либералами, заплесневелыми гуманистами, если не станем выводить таких на чистую воду. Если ты выдаешь себя за героя, так будь во всем герой. А он боялся за свою карьеру!.. Из-за нее втоптал в грязь...

Зося страдальчески поморщилась, словно от боли.

— Ну, ладно, ладно. Не думайте ни о чем и не волнуйтесь. Ничего особенного не произойдет. Мы удивительно добрые. Самое большее — его отправят на пенсию.

«Куда тебя отправят, этого я не знаю. А вот поговорить с тобой, я поговорю. И немедленно. Поговорю так, как никто с тобой, наверно, не говорил!» — не только думал, но гневно бормотал Шикович, на ходу натягивая куртку и сбегая со второго этажа.

Он снова жаждал действий. Шел и представлял себе, как ворвется в кабинет Гукана, что скажет ему. А если там посетители? Скажет и при них! Пускай знают. Скандал? Пусть вызовут милицию.

А не даст ли это Гукану козыря в руки? Поднимется шум и отвлечет внимание от главного.

Он вдруг поймал себя на том, что пропало желание ворваться в кабинет к Гукану, бросить ему в лицо гневные слова. Нет, дело надо доводить до конца спо-

койно и рассудительно. Еще через минуту Кирилл почувствовал, что, помимо всех доводов разума, ему просто не хочется встречаться с этим человеком, видеть его. Мерзко! Теперь Гукан для него, что труп врага. С живым врагом хочется сойтись, чтоб померяться силами. С мертвым — кому охота? Тем более что он не склонен к злорадству, не «кровожаден». Ему даже все равно, что будет с Гуканом: дадут ли ему выговор, понизят в должности, пошлют ли на пенсию. Главное, что восторжествовала правда. Теперь уж ничто — ни хитрость, ни заслуги, военные и мирного времени,— не поможет ему вывернуться, сохранить позу героя. Истина, как бы глубоко ее ни закопать, в каких омутах ни топить, в каких архивах ни прятать, все равно всплывет, вырвется на волю и явится людям в своей первозданной красе.

«Так-то, Семен Гукан!»

Весь этот его запал, сумятица мыслей не мешали Шиковичу любоваться окружающим, даже наоборот, как бы обостряли ощущение прекрасного.

Как-то он пошутил, что нигде нет столько красивых женщин, как в их городе. Ярош и Валя посмеялись, а Галина Адамовна согласилась с ним. Может быть, потому, что сама она хороша, а может быть, чтоб еще раз напомнить мужу, сколько соблазнов на его пути — пусть остерегается.

Теперь, вглядываясь в женские лица, Кирилл Васильевич пришел к выводу, что его шутка соответствует действительности. Говорят, женщины что цветы,— расцветают весной. Нет, они цвели и в декабре — на пороге Нового года. Раскрасневшиеся, торопливые, мило озабоченные, они, казалось, заполнили весь город. На центральной улице, возле универмага, не пробиться.

«В этом городе смешалась кровь наций, славных своими красавицами,— белорусской, русской, украинской, польской». Шикович обрадовался вдруг найденному объяснению. Шутка превращалась в обоснованный вывод.

...Не доходя квартала до горисполкома, Шикович постоял на углу, поглядел на прохожих и двинулся в другую сторону — в горком партии.

33

Галина Адамовна сразу догадалась, что муж нарушил данное ей обещание, снова виделся с Зосей и вновь утаил, не признался. Почему?

Это еще больше возмутило и обидело ее. Но она смолчала, хотя все в ней кипело от гнева. Боялась ссоры, разрыва, заставила себя молчать ради детей. Враждебность дочки испугала ее. Еще больше взволновали замкнутость и отчужденность Вити, ее любимца. Ради спокойствия детей она готова на любые муки, душевные и физические.

Внешне все в доме было как будто благополучно.

Вместе завтракали, вместе уходили на работу. К обеду Антон не всегда приходил — задерживался иногда в клинике, на консультациях. Но каждый раз аккуратнее, чем прежде, звонил и сообщал, где он. Вместе ужинали, всей семьей смотрели телевизор или, оставив детей дома, ходили в кино, в гости. Были и минуты близости. Но Галине Адамовне казалось, что муж совсем не тот, что раньше,— не так ласков. От этого она мучилась еще больше, ревность душила ее, как страшная болезнь. Однако она держалась и даже стала гордиться своим подвижничеством. Постепенно входила в роль мученицы — отвратительную, уродливую роль, которая калечит душу.

Взрыв произошел внезапно.

Как-то вечером за чаем Антон Кузьмич сказал спокойно, раздумчиво:

— Знаешь, Галка, надоело мне возиться с этой дачей. Опять требуют, чтоб мы снесли ее. Как же быть? Если б уговорить Кирилла, я с легким сердцем передал бы ее нашему профсоюзу под пионерский лагерь. Я говорил уже в обкоме. Они могут выплатить нам некоторую сумму. Правда, меньше, чем мы затратили. Но какое это имеет значение! Валя готова согласиться, а Кирилл уперся.

Витя и Наташа увидели, как побледнела мать, прикусила губу и лицо ее стало некрасивым.

— Да, у Кирилла семья, дети. И он думает о них,— начала она тихо, но тут же сорвалась, закричала: — А у тебя нет семьи, нет детей! Тебе ничего не нужно!.. Ты все готов раздать, чтоб выставить себя.

— Мама! — попробовала остановить ее Наташа.

— Молчи! — крикнула она дочери и выскочила из-за стола, раскрасневшаяся, взбешенная. Бросила мужу: — Не думай, что я дура! Я все знаю!.. Только из-за них,— она показала пальцем на детей,— я молчу и терплю!..

Витя, понурившись, направился к двери. Наташа встала в гордой воинственной позе, готовая вновь защищать отца.

Но Антон Кузьмич, не отвечая жене, остановил сына:

— Собирайтесь, дети, на каток. Сегодня и я пойду, разомну свои старые кости.

Они любили ходить с ним на каток. На него, такого богатыря, все обращали внимание и любовались его легкостью и сноровкой. Они гордились своим отцом: он все умеет!

Дети бросились одеваться. А Галина Адамовна с перекошенным лицом подошла к мужу и, задыхаясь, прошептала:

— Ты хочешь отнять у меня детей? Теперь я понимаю... Но детей я тебе не отдам! Не отдам! Не отдам! Слышишь ты, палач?

Понурившись, как Витя, Ярош вышел в коридор искать коньки.

Галина Адамовна уверила себя, что Антон ищет удобного случая для окончательного разрыва. Потому и детей перетягивает на свою сторону. Это сделало ее еще более подозрительной, но и более осторожной: не дать ему повода.

При своей прямо-таки патологической ревности она, однако, никогда не шпионила за мужем, как это делают иные жены. Считала себя слишком гордой, чтоб унижаться до тайного подглядывания.

А тут не выдержала. Дня через три после скандала вечером позвонил Кирилл. Антон говорил вполголоса

да и вообще не произносил почти ничего, кроме междометий: «угу», «да», «нет». Был у них многолетний обычай: созвониться вечером, встретиться на улице и погулять. Иной раз они выходили с женами, а чаще одни. Раньше Галина даже поощряла такие прогулки. Но теперь... Теперь она не верила не только мужу, но и Шиковичу. О, этот хитрец способен на все! Только действует умнее. Глупая Валя! Хотя что Вале! Она просто стала равнодушна к Кириллу. Своим восьмым классом занята больше, чем мужем и собственными детьми. У Вали при любых обстоятельствах жизнь не нарушится, дети взрослые... А ей надо быть бдительной, чтобы бороться — не ради себя! — ради этих неразумных еще ребят, которых отец восстанавливает против нее, матери.

Она не спросила, куда идет муж. Но как только он закрыл за собой дверь, быстро накинула платок, шубу, сбежала вниз, пошла следом.

Она не ошиблась. Действительно, в тот вечер они договорились зайти к Зосе. Кириллу хотелось порадовать ее: наконец освободилось для нее место в библиотеке! Правда, они условились не говорить Зосе, как Шиковичу пришлось «воевать» за него.

Ярош и Шикович долго думали, куда бы ее устроить. Наконец Кириллу пришла эта мысль: работа спокойная, по ее здоровью. Если сотрудники будут знать, что пережила их новая библиотекарша, можно быть уверенным, что отнесутся внимательно. Библиотекой ведала малограмотная старая женщина. Ее держали потому, что она была старейшим работником редакции, чуть ли не со дня основания газеты. Надо было уговорить ее перейти на пенсию. Идею Шиковича в редакции поддержали. Уговоры тянулись месяца два. Каждый, как умел, расписывал прелести пенсионной жизни. Наконец библиотекарша подала заявление. В редакции договорились, что на новогоднем вечере ей устроят торжественные проводы. Редактор и местком расщедрились на дорогие подарки.

Кирилл рассказывал о забавных инцидентах, возникавших во время этой «пенсионной кампании». И громко смеялся. Смеялся и Ярош.

Галина Адамовна, которая шла за ними на неко-

тором расстоянии, не могла разобрать, о чем они говорят, но слышала их беспечный смех, и он показался ей подозрительным: не над женами ли они смеются?

Они вошли в дом. Она осталась на улице, безлюдной, окраинной, над самой рекой. И вдруг ей стало страшно, стыдно, гадко. Никогда она не чувствовала себя такой униженной. Зачем она здесь? Что можно сделать? Как она заставит любить себя, если нет у него любви? Да и была ли когда-нибудь?..

«Не любит, скучно ему со мной, сказал бы прямо». Слезы застыли на щеках, и Галина Адамовна вытерла их колючими рукавичками. Все завидовали ее счастью: какой муж! Смешно! Вот оно, ее «счастье»!.. Когда-нибудь опомнится, да будет поздно! Да, будет поздно!..

Он говорит, что у нее не хватает элементарной интеллигентности. Может быть. Но у нее хватит женской гордости. Больше ничем она не унизит себя — ни подглядыванием, ни истерикой, ни укорами, ни просьбами. Мужественно снесет удар судьбы. «Но детей не отдам! Нет!»

Озябшая, разбитая, она вдруг бросилась от дома. Скорее прочь отсюда, чтобы никто не увидел ее здесь!

Но постепенно шаги замедлились. Ее начало знобить, а потом — точно приступ астмы, ничего подобного никогда не бывало. Она задыхалась. Оперлась о какой-то забор, сгребла с перекладины снег, набила им, жгуче холодным, рот: «Теперь уже все равно».

Тарас и Витя сидели на кухне друг против друга и натирали мазью лыжи так старательно и серьезно, будто чистили оружие перед атакой.

Наташка стояла, прислонившись плечом к косяку двери, и так же серьезно следила за их работой. Долго следила.

— Ты чего молчишь, Наташка? — спросил Тарас.

— У нее голос ломается,— отозвался Витя.

— А у тебя — мозги...

— Ну-ну, опять поссоритесь.

Нет, ссориться не хотелось. Последнее время они жили очень дружно. И сейчас Витя готов был извиниться

перед Наташей, если эта невинная, на его взгляд, шутка обидела ее. Мальчик сам удивлялся: никогда раньше он не чувствовал к сестре такой нежности, такого желания защитить ее.

Наташа вдруг осторожно, без стука плотно закрыла дверь.

— Тарас! Ты умный. Помири их...

— Кого?

— Маму и папу.

— На-атка!..— с укором протянул Витя, словно она открывала великую тайну чужому.

— А я не могу так больше, не могу!..— Голос девочки задрожал.

Занятый своими делами и переживаниями, Тарас особенно не задумывался над тем, как воспринимают ребята разлад между родителями. Неожиданные Наташины слова взволновали его. Он встал с табурета, поставил лыжи в угол между дверью на балкон и холодильником, подошел к сестре. Она смотрела ему в лицо с надеждой, в глазах слезы.

— Так нельзя жить!..

— На-атка!.. — снова остановил ее брат.

Она не огрызнулась, промолвила мягко, как старшая:

— Ты бесхарактерный, Витя. В кого ты такой удался?! А я не могу...

— Я их помирю,— убежденно сказал Тарас и сам поверил, что сумеет сделать это, хотя хорошо помнил, чем кончилась первая попытка поговорить с матерью.

Галина Адамовна была дома, в спальне. Тарас постучал. Она, должно быть, лежала и, наверное, плакала. Когда Тарас, получив разрешение, вошел, она стояла перед трюмо и протирала глаза, словно спросонок. Она увидела его в зеркале, но не обернулась. Он растерянно остановился возле кровати. Боялся, что она опять недвусмысленно попросит его не совать нос, куда не надо.

— Галина Адамовна, я все-таки хочу поговорить с вами. Серьезно. Выслушайте меня.

Она отвела покрасневшие глаза от зеркала, повернулась:

— Тарас, с тех пор, как я увидела, что ты уже не ребенок, я не вмешиваюсь в твои дела.— Она сказала, собственно, то же, что и в первый раз, но совсем поиному, без злобы, раздражения, измученным голосом и даже улыбалась так, словно просила прощения.

Он понял, что теперь она обрадуется, если кто-нибудь вмешается.

— Я люблю вас, мама.— Слово это вырвалось както само собой, от жалости к ней. Галина Адамовна подняла на него глаза, они заблестели слезами.— И отца люблю. Вы для меня самые дорогие люди.

— Не надо, Тарас,— тяжело вздохнула она.— Ты — это одно, а наши отношения с Антоном — другое.

— Ваши отношения — это какая-то нелепость. Вы поверили сплетне. Отец мне говорил... Послушайте меня, мама. Каждый день я бываю там... Я люблю Машу. После Нового года мы поженимся.

— Правда? — В глазах ее мелькнуло любопытство.

— А Софья Степановна, разве она на это способна? Подумайте, сколько она пережила!

Галина Адамовна закрыла лицо руками и замотала головой.

— Ты всего не знаешь, Тарас. Ты главного не знаешь. Да, она много пережила. Тем более... Но дело не в ней... В нем... Зачем он скрывает, обманывает? Почему? Что я, такая уж глупая, подлая? Скажи, была я когда-нибудь скупой? Они подружились в подполье, ему хотелось помочь ей. Пожалуйста! Неужели я не поняла бы, если бы все сделать по-человечески? Теперь он попрекает, что я не понимаю его, всегда бог знает что думаю о нем... А что он думает обо мне, если тишком... С этими деньгами...— Лицо ее передернулось.— Кем же он меня считает? Это не оскорбление? — выкрикнула она.— Он чувствует, когда оскорбляют его. А сам!.. Я терпела все, я стерпела бы и это, если б почеловечески. Я уже было смирилась. А он не переставал лгать, таиться... Ты не знаешь главного. Он изменял мне всегда! Всю нашу жизнь. Обманывал, лгал!..

— Неправда! — не сдержавшись, решительно запротестовал Тарас.

Она отняла руки от лица, сухими, горячими глазами посмотрела на него, скорбно покачала головой.

— Да кто мне поверит? Мне не верит даже Валя Шикович, женщина. Он мудрый, великий, добрый. Он всех заворожил. Тебя, Наташу... друзей. О-о, доктор Ярош! Светило! А что его жена? Бездарный зубной врач, мещанка. Кому теперь дело до того, что свою молодость, здоровье я отдала ему, тебе, детям?..

Последние слова Галина Адамовна произнесла со злобой, и Тарас смутился: она как бы бросила упрек и ему. Должно быть, она сама это поняла, потому что переменила тон:

— Теперь вы считаете, что я стала психопаткой. Может быть, я и впрямь психопатка? Так я не хочу никому отравлять жизнь! Никому! Пусть остается со своим талантом, со своей славой!.. Только дети... Дети — мои! — крикнула она и, упав лицом в подушку, глухо зарыдала.

Тарас не знал, как успокоить ее. Когда постучал в дверь, был уверен в непоколебимой логике своих доводов. А сказал две фразы — и вот они, все доводы, нечего и прибавить. Он переступал с ноги на ногу и тихо, нерешительно просил:

— Не надо, мама... Успокойтесь, Галина Адамовна!

Она вытерла лицо о наволочку, так же неожиданно, как упала, поднялась. Сказала без слез, без истерики, трезво и жестко, как о деле давно решенном:

— Если ты действительно желаешь мне добра, помоги оформить развод. Самой мне тяжело и... неприятно...

Чего угодно ожидал Тарас — слез, жалоб, проклятий, только это не могло даже в голову ему прийти. Сперва, ошеломленный, он только хлопал глазами, пристально вглядываясь в заплаканное лицо женщины, вырастившей его. Он действительно любил ее, как мать. Но в этот миг она показалась ему чужой и враждебной. И он почти крикнул:

— Это все, что вы могли придумать? А у Наташи вы спросили? А у Вити?

Наташа и Витя понимали, что подслушивать нехорошо. Но спальня — рядом с кухней, и они невольно услышали первые слова матери. Чтоб больше ничего не слышать, они, не сговариваясь, перешли в отцовский кабинет — самую изолированную комнату. Сели там,

одна — на диване, другой — в кресло, и молча сидели. Не читали, не разговаривали, не решались почему-то даже посмотреть друг другу в глаза, точно стыдно было. Просто ждали, как в приемной больницы или суда. Долго ждали.

Когда, наконец, Тарас вернулся, они взглянули на него с надеждой, с вопросом. Наташа соскочила с дивана и бросилась навстречу. Тарас устало улыбнулся им, но повторил с прежней уверенностью:

— Я их помирю.

34

... — Нет, скажи: верил ты, что Савич наш человек?

— Ты не представляешь всей сложности борьбы.

— Предположим, что, кроме тебя, есть еще люди, которые представляют себе эту сложность. Вернувшись в бригаду, ты сказал, у кого скрывался в городе?

— Нет.

— Почему?

— Наивный вопрос. Ты думаешь, что этим признанием я мог бы реабилитировать Савича? Кто бы мне поверил? Я десять дней пробыл в городе и попал в такой момент, когда ничего нельзя было сделать, когда шли аресты, проваливались явки. После этого я явился бы и сообщил: «Меня скрывал Савич, которого убили подпольщики, а немцы с помпой похоронили».— «А может быть, тебя скрывало СД?» — спросил бы, наверно, каждый партизан. Докажи, что ты не лысый! Ты забываешь, какое было время.

— Короче говоря, ты струсил.

— Ну, струсил, струсил! Если тебе так хочется, чтоб я сказал это слово. Я эвакуировал город — не трусил. Отступал до Москвы — не трусил. Меня направили обратно в тыл — я не бегал по комиссиям, как другие. Ни разу не прыгал с парашютом — прыгнул, в ночь, в болото, под боком у немецкого гарнизона. Водил людей на операции — не трусил. Пошел в город

на связь, чтоб наладить разбитое подполье,— не трусил. Ну, не вышло, как хотел, не получилось...

— Не кричи. И не бряцай своими медалями. То, что делал ты, делали тысячи, миллионы... Мы выполняли свой долг.

— Да, я испугался. А другие не трусили?! Все, кто пережил тридцать седьмой! Одно дело пасть от пули врага. А умереть от рук своих товарищей, единомышленников, чувствуя, что ты ни в чем не виноват... Ты представляешь? Ты думал когда-нибудь об этом?

— Думал. И сейчас подумал: «Как чувствовала себя Софья Савич, когда после фашистского концлагеря попала в Сибирь...»

Пауза. Громко, с легким мелодичным звоном отбивает секунды большой маятник стоячих часов. Астматически дышит один из сидящих здесь, в кабинете.

— Я думал. Я видел не раз, как шли на смерть, чтоб спасти товарища. И я это понимал. А вот донос на людей, которые тебя спасли,— этого я понять не могу.

— Ну, смалодушничал, смалодушничал! Я же не отрицаю. Я написал об этом в объяснительной записке. Признаю. Да, испугался, что придется заниматься этой старой историей, доказывать... Ничего же не изменилось в сорок пятом, ты знаешь.

— Мы победили фашизм — и ничего не изменилось?! Для тебя ничего не изменилось?

— Теперь легко рассуждать.

— Ну, хорошо, тогда ты побоялся. Дрожал за свою шкуру...

— Я прошу...

— Чего там «прошу»! Не разыгрывай святую невинность. Дрожал, как последний трус. Лишиться партизанской славы, карьеры — вот чего ты боялся. Но вот уже девять лет, как его нет, нет Берия. Почти шесть лет прошло после Двадцатого съезда. Партия сказала всю правду! На весь мир. Почему же ты не сказал правды о себе, о других? Ради чего, во имя какой идеи ты скрывал ее?

— Это что — допрос?

— Я не звал тебя. Ты пришел сам, чтоб «открыть душу», посоветоваться.

— Я не думал, что ты так настроен. Мы вместе с тобой разбирали дела некоторых из тех, кто писал доносы в тридцать седьмом. Мы были объективны.

— Мы разбирали каждый конкретный случай. Хотя не скажу, что не либеральничали иной раз. Между прочим, некоторых из них именно ты брал под защиту. С позиций высокого гуманизма. А Шиковича хотел исключить за мальчишеский поступок сына.

— Подбираешь факты?

— Нет. Просто вспоминаю. Факта достаточно одного. Какие еще нужны факты?

Снова пауза. Чиркнула спичка. Пахнуло серой, потом душистым табаком. Тяжелые нервные шаги.

«Дзинь-дон, дзинь-дон»,— странный звук у этого маятника: кажется, что их два и они по-разному звучат.

— Какое будет решение обкома? Как ты думаешь?

— Не знаю. Как член бюро, я могу говорить только за себя. Не хочется мне после этого подавать тебе руку. Тем более — вместе работать.

— Даже так?

— Представь, что так! Кстати, ты приглашал к себе на Новый год. Не жди — не приду.

— Ясно.

— Да, я люблю ясность с начала и до конца.

— Ну что ж, спасибо за откровенность. Прощайте.

— Прощайте.

Те же тяжелые шаги, гулкие на паркете, мягкие, с шорохом, на ковровой дорожке. Скрипнула дверь. Хлопнула вторая, по ту сторону.

«Прощайте»? Гукан забыл, что сам первый сказал это, но, спускаясь по широкой горкомовской лестнице, вспомнил, что так ответил Тарасов — на «вы». Это его почему-то ударило больнее, чем весь разговор. Он остановился, подставил вспотевший лоб под струю холодного воздуха, лившегося из открытой форточки.

Конечно, все уже решено. Кто-кто, а он знает, как решаются такие дела. На кого или на что он мог надеяться?! Должен был догадаться еще позавчера, когда позвонил Шиковичу, предложил встретиться. Как тот, наглец, отвечал!

«Пожалуйста, Семен Парфенович! Заходите завтра после двенадцати в редакцию. Вход свободный. Секретарей у меня нет».

Издевался, писака несчастный!

«Ох, распустили вас! Спохватитесь!» Он уходил и грозил тем, кто оставался: погляжу еще, мол, куда заведут вас такие методы руководства.

На первом этаже ему стало трудно дышать, словно он не вниз спускался, а подымался на высокую гору. Он остановился возле милиционера, держась за сердце. Сказал, как бы оправдываясь:

— Годы...

Молоденький милиционер щелкнул каблуками и бодро подтвердил:

— Так точно, товарищ Гукан!

Семен Парфенович вышел на улицу. Она была необычно людной. Нескончаемый поток пешеходов, оживленных, раскрасневшихся от мороза. И каждый третий несет елку. Город пропах лесом, хвоей. До Нового года оставалось два дня.

Гукану всегда нравилась предпраздничная суета, ее веселая торжественность. Эти хлопоты, наверное, приносят людям больше удовольствия, чем сам праздник. Он, хозяин, любил в такие дни объехать город, посмотреть на оформление, на елки, поставленные на площадях, в скверах, иногда заглядывал в магазины: как идет торговля? Но ему всегда не хватало времени, он постоянно спешил. Ходил быстро, а больше ездил на машине. А тут вдруг понял, что ему некуда спешить... Он заложил руки за спину, ссутулился больше обычного, зашагал по очищенному от снега тротуару. Но очищенный участок скоро кончился, и как раз там, где было особенно многолюдно — на подходе к универмагу, пешеходы скользили на неубранном снегу. Семен Парфенович мысленно обругал трест очистки. Сейчас он прочистит им мозги! И пошел привычным рабочим шагом. Но тут же опомнился. Зачем? Волноваться из-за какого-то тротуара? Теперь он должен приучить себя ни из-за чего не волноваться и ходить только вот так — не торопясь, чтоб ходьба была отдыхом.

Увидев, что все идут с покупками, он вспомнил, как жена дня два назад сказала как бы шутя, а может

быть, и с некоторой обидой: «Давно ты, Сеня, не делал мне подарков. Подарил бы что-нибудь к Новому году».

Семену Парфеновичу вдруг захотелось сделать приятное жене, и он пошел в универмаг.

Народу — не пробиться. Уже два письма посылал в Госплан республики насчет ассигнования средств на строительство второго универсального магазина в районе новой застройки. Город растет.

«Посмотрю, как вы будете строить без меня,— подумал он о тех, кто оставался. Но тут же вынужден был признать: — Построят. Теперь легко». Все, что будет делаться без него, казалось ему чрезвычайно легким.

Рост позволял ему разглядывать полки через головы людей. Что купить? Чего у нее нет? Что ей хочется? Он долго ходил из отдела в отдел. Очевидно, кто-то из служащих узнал его, передал директору. Тот выскочил — подвижной, в модном костюме. Гукан хорошо его знал, утверждал назначение на исполкоме, но только теперь заметил, что универмагом заведует такой молодой человек. Это ему почему-то не понравилось.

Директор жаловался:

— Мало товаров, Семен Парфенович. Конец года, фонды выбраны. Не умеем планировать.

— Посоветуйте, что купить в подарок жене.

— Семен Парфенович! — с укором воскликнул директор.— Позвонили бы.

«Подхалим»,— подумал Гукан и строго заметил:

— Я этого не люблю.

Однако не отказался зайти в кабинет директора.

— Что бы вы хотели? — спросила товаровед-женщина, от взгляда и улыбки которой становилось светлее в сумрачном кабинете.

«Штат подобрал, собачий сын! Одна в одну!» — все больше и больше раздражался Гукан. Однако женщине ответил с приветливой улыбкой:

— Ей-богу, не знаю. На ваш вкус.

— Сколько лет вашей жене?

Он вздохнул.

— Пенсионный возраст.

Товаровед вежливо потупила глаза.

— Есть чудесные шарфы, есть венгерские жакеты. Стопроцентная шерсть.

Гукану хотелось спросить: «А на прилавках они у вас есть?» Но не спросил — теперь ему все равно.

— Дайте шарф. Дайте жакет.

На площади возле пожарной каланчи, где народу было не так много, с Гуканом поздоровался молодой человек в спортивном костюме. Он стоял с лыжами в руках и разговаривал с девушкой, одетой в красную нейлоновую шубку. Лицо молодого человека очень знакомо, но вспомнить, где и когда он встречался с ним, Семен Парфенович никак не мог. И вдруг через какой-нибудь десяток шагов юноша этот, уже без лыж, догнал его, пошел рядом.

— Не узнаете, товарищ председатель? Кухарев, архитектор. С наступающим Новым годом!

— Спасибо. Вас также.

— Мне хотелось сказать вам, что проект, который я предлагал для застройки Выселок, на конкурсе в Ленинграде получил первую премию.

— Поздравляю.

— Но мне хотелось еще сказать, что вы консерватор. Так расхваливать, потом столько волынить и отклонить.

— Тут уж не моя вина. Ваши коллеги...

— Не валите с больной головы на здоровую.

Гукан остановился, пораженный дерзостью молодого архитектора.

— Молодой человек! Не забывайтесь!..

— Я ничего не забываю. Но желаю вам в Новом году больше проявлять внимания к людям и к проектам. Выселки плохо застраиваются.— Юноша отсалютовал левой рукой и пошел обратно к девушке, которая ждала его, держа лыжи.

Даже разговор с Тарасовым, разговор о самом главном — о его дальнейшей судьбе, не подействовал на него так, как этот, казалось бы случайный, эпизод. Разве не звонили ему, бывало, не писали анонимных писем с самыми неприятными пожеланиями? Он не обращал на них внимания. Иногда только покажет

в горкоме, в обкоме, покрасуется: «Вот, мол, как сложна моя работа, никому из вас небось не пишут таких писем».

Но выходка этого «творца» в такой день!..

«С Новым годом поздравил... Паршивец! Молокосос! Распустили вас. Ох, распустили!..»

До последней минуты в нем жила надежда, что та вина (он не считал ее, как этот «чистоплюй» Тарасов, такой уж тяжкой) будет в какой-то мере уравновешена его заслугами — военными и послевоенными. И вдруг этот тип, недопеченый архитектор, зачеркивает плоды его трудов — «Выселки плохо застраиваются». «Сопляки! Поработайте вы столько, сколько поработал Гукан!»

Семен Парфенович взглянул на то место, где недавно еще возвышался памятник, и тяжело вздохнул.

Пора было домой — рабочий день кончался. Но ему почему-то не хотелось идти в пустую квартиру или, может быть, наоборот, тянуло заглянуть после всех этих разговоров в свой служебный кабинет, где уже много лет ему было так спокойно.

Рабочий день был короткий — канун выходного. Но до конца его оставалось еще добрых полчаса. Однако работники уже начали расходиться. Правда, увидев председателя, многие почувствовали смущение, вернулись обратно. Гукан умел поддерживать дисциплину, и его боялись. Он не помнил, чтоб кто-нибудь уходил до времени, если даже его и не было в горсовете. «Неужто пронюхали? Надо собрать всех, дать понять, что я еще председатель. Ну, и поздравить с наступающим». И тут же подумал: не вышло бы так, как поздравили его на площади. Но не из-за этого он не стал собирать сотрудников. Его обескуражило, что нет секретарши. И пустота в приемной — ни души. «Этот писака мог раззвонить по городу раньше, чем принято решение»,— подумал он о Шиковиче с такой злобой, что даже больно заколотилось сердце.

Он осторожно разделся, сел в свое удобное кресло, откинулся на спинку, вытянул ноги. Только теперь почувствовал, как сильно устал, совсем разбит, все тело ноет. Отдых принес успокоение. Он долго сидел неподвижно и бездумно. Ни за что не хотелось браться, никого не хотелось видеть. Только когда в коридоре по-

слышались шаги и голоса — сотрудники уходили все сразу,— он точно опомнился, взглянул на часы — было ровно три — и снова подумал со злостью: «Минуты лишней не хотят поработать. А я работал. Ночами». И он решил всем им назло работать до позднего вечера. Но что делать?

Позвонил своему старому другу Мухле.

— Петр Макарович! С наступающим... Прости, брат, но новогодний бал наш отменяется. Захворала моя половина. Спасибо. Передам. Твоим тоже.

Надо и другим звонить — отменять приглашение. А жена ничего не знает и, конечно, озабочена, как бы получше принять гостей. Позвонить ей? Но что сказать, как объяснить? Ему стало жалко жену. И подарки, которые он купил, показались ненужными. Разве мало у нее тряпок? Теперь, как никогда раньше, он понял, что она — тот единственный человек, который никогда не оставит его, что бы ни случилось, с которым ему придется доживать свои пенсионные годы. Что бы сделать для нее более приятное, чем эти подарки?..

Заказал Минск. Дали скоро — минут через десять. Ответила дочь.

— Алла?! Здравствуй! Как вы там? Хорошо? Знаешь что... Сделай маме новогодний подарок... Бери потомка, садись в поезд и — к нам на Новый год. Что? У Вовки понос? — Поняв, что дочка не приедет, что ей дороже всего на свете ее лобастый Вовик, Семен Парфенович вспылил: — Понос, понос...— Гаркнул на весь кабинет: — У меня тоже понос! — и сердито бросил трубку.

Разговор с дочерью, казалось, доконал Семена Парфеновича. Он побледнел, долго держался за сердце. Потом слабым движением больного открыл ящик стола, достал коробочку с валидолом, кинул таблетку в рот.

Вошел Кушнер. Гукан не любил своего заместителя, но на этот раз обрадовался его приходу — хоть с кем-нибудь поговорить, забыть обо всем. Можно даже заняться делами — последними делами уходящего года.

— С наступающим, Семен Парфенович.

— Тебя также, Иван Федорович.

Кушнер своей единственной рукой крепко, до боли, сжал правую руку председателя, близко заглянул в лицо.

— Что-то у тебя, Семен Парфенович, не праздничный вид.

Гукан пожаловался:

— Опять сердце. Видишь, валидол сосу.

— Да, инвалиды мы с тобой.

— Ну, ты еще инвалид боевой. А я, брат, все! — И доверительно добавил: — Хочу проситься на пенсию.

— Да что вы?! — искренне удивился Кушнер.

— Как думаешь, персональную дадут?

— Безусловно. Кому ж тогда и давать?

— Ты знаешь все мои заслуги?

— А кто их не знает! Ты сам их расписал.

Гукана передернуло.

— Издеваешься? — бледными дрожащими губами произнес он.

Кушнер смутился.

— Семен Парфенович, ей-богу же, ничего дурного не думал. Имел в виду твою книгу. А вышло невесть что! Простите.

Гукан успокоился: «Этот еще не знает,— но тут же продолжил: — А узнает, не станет даже злорадствовать. Просто скажет, как тот: «Не хочу подавать тебе руки». И его охватил прилив ненависти к ним — к Тарасову, к Шиковичу, к Кушнеру, к Ярошу, к тому молодому архитектору — за то, что они в чем-то — видимо, самом главном — не такие, как он.

35

После встречи в кино Славик начал действовать решительно. Сперва звонил в больницу. Маша либо не подходила к телефону, либо на его предложение встретиться отвечала смехом.

Тогда он решил сходить к ней на новую квартиру. Правдами и неправдами узнал адрес. Дважды подходил к дому, подолгу бродил вокруг, но войти не отва-

жился. Если бы Маша жила одна, а то ведь с ней еще какая-то Зося Савич, которую отец расписал в газете, как героиню.

Сколько времени он вырабатывал в себе независимость, объявлял войну условностям, а на поверку и он, выходит, как все, словно ученик восьмого класса, впервые пришедший на свидание. Смешно. Он издевался над собой, но ничего не помогало. Решимости хватало лишь до подъезда.

Наконец он с ходу взлетел на второй этаж, с ходу нажал звонок. Открыли сразу, словно ждали у двери. Незнакомая женщина.

Он спросил:

— Маша дома?

Женщина приветливо улыбнулась:

— Нет. Да вы заходите, пожалуйста. Подождите ее. Я думаю, она скоро вернется.

Но его почему-то смутила эта маленькая женщина в халате — ее улыбка, любопытство, с которым она разглядывала его, и Славик не решился сразу войти. А тут произошла нелепая вещь. Она спросила:

— Вы сын Кирилла Васильевича?

— Нет. Не знаю я никакого ни Кирилла, ни Мефодия.

— О, тогда и я вас не знаю. И не могу впустить в дом,— сказала она серьезно и захлопнула дверь.

Славик остался на площадке один, дурак дураком. Он готов был откусить свой болтливый язык. Кой дьявол толкнул его врать! Зачем? Во всяком случае, ему ничего не оставалось, как сойти вниз и снова бродить вокруг дома. Но Маша, которая должна была скоро вернуться, как назло, не появлялась. А Славик не отличался терпением. Привык, чтобы желания его сбывались немедленно.

...Снова звонки в больницу. «Славик! Не морочь голову!» — «Я умру».— «Обещаю прийти на твои похороны».

В следующую субботу ему, можно сказать, повезло. Он увидел Машу на катке. Не одну — с Тарасом. Счастливый соперник учил ее кататься. Она только-только научилась стоять на коньках и, как ребенок, делала первые робкие шаги. Славик пришел без коньков. За-

глянул просто так, со скуки. Вот случай! Что делать? Бежать домой за коньками? Но пока туда да назад... Увидел одного из школьных товарищей — к нему:

— Дай коньки!

Тот показал кукиш:

— Свои надо иметь.

Славик схватил его загрудки.

— Дай коньки, а то вытрясу душу!

— Ты что, ополоумел? Милиционера позову.

— Дай коньки! Можешь ты понять, янычар? Надо одной марсианке сказать два слова.

— Так бы сразу и говорил,— сдался заинтригованный товарищ.

Ботинки оказались малы. Славик все-таки втиснул в них ноги. Жали зверски! Наплевать! Если бы в них были набиты гвозди, он бы все равно не отступил. Кинул на снежный барьер пальто, шапку, не заботясь, уцелеют ли. Черт с ним, с пальто! Мать купит новое! Скорее на ледяное поле! Ловко лавируя, пошел против течения, чтоб быстрее добраться до красной шапочки и голубого свитера, с которых он глаз не спускал, пока надевал коньки. Подлетел сзади, схватил Машу за руку. Она вскрикнула, но, увидев, что это Славик, заулыбалась.

— Приветствую великих спортсменов эпохи! Хочешь, за полчаса сделаю из тебя рекордсменку?

— А не слишком ли самоуверенно?

Разрумянившаяся, она вся сияла, глаза ее рассыпали такие же веселые искры, как снежинки под светом фонарей.

Тарас, вероятно не слишком обрадованный, что явился этот шалопут, сказал, однако, заботливо:

— Ты что так легко? Простудишься.

— Бригадир, ты плохо знаешь свои кадры!

Маша рассмеялась.

Поддерживаемая с двух сторон опытными конькобежцами, она пошла увереннее, быстрее, более смело.

Шорох сотен коньков, веселые голоса и смех, десятиградусный мороз, блестки инея, искрящийся свет фонарей, запах ели — елка уже стояла посреди катка, но не была еще украшена и освещена — все это пьянило, подымало дух, наполняло весельем.

— Мисс марсианка, корпус вперед! Вот так! Смотри на мои ноги! Не смотри на него! Он же ходит, как лось на льду,— за якобы безобидными шутками скрывалось желание осмеять, принизить соперника.— Пройдемся вдвоем, и я покажу класс фигурного катанья. Не бойся, я буду тебя держать вот так.

Славик попытался обнять девушку за талию, но она уклонилась и вырвала руку. Как отшить Тараса и хоть на несколько минут остаться с нею наедине?

Впервые в жизни ему хотелось поговорить с девушкой всерьез и — не найти случая! Возможно, он в конце концов все-таки что-нибудь и придумал бы. Но уж коли не везет, так не везет! Все складывалось против него. Неведомо откуда появился Ярош со своим выводком — Наташей и Витей. Они сразу подхватили Машу. Рядом с ними пошел и Тарас. Собралась вся семья! И он оказался лишним. Несколько минут Славик вертелся вокруг этого «семейного ансамбля», выделывая самые затейливые фигуры. Но вдруг вырвался вперед Антон Кузьмич и сделал два-три таких «виража», что юноша при всей его самоуверенности понял: мир ему удивить нечем. А тут еще подлетел дурак товарищ, с пальто и шапкой Славика, и закричал, поросенок, на весь каток:

— Отдай мои коньки!

Разговор не состоялся.

Всю следующую неделю Славик был занят тем, что писал Маше письма. Вообще он не любил писать. А тут каждый день сочинял длиннейшие послания. Но ни одно не нравилось ему: они были сентиментальны, как Ирин дневник. А он не терпел сентиментальщины. Он понимал, что только вера в серьезность его признания может вызвать ответное чувство. Лишь так можно победить соперника, а не дуэлью, дракой, ссорой, пренебрежением, фиглярством или еще какой-нибудь глупостью. Но оказалось, что написать так, чтобы тебе поверили, совсем не просто...

Секретарь комитета комсомола Володя Клетень перекладывал бумаги в ящике стола и все никак не начинал разговора. Тарас понял, что Володя, парень

добрый и мягкий, хочет, чтоб начала его Вера Кутькина, лаборантка, член комитета. Эта неуклюжая высокая девушка в черных очках сосредоточенно читала очередное длиннейшее постановление вышестоящего комсомольского органа.

В комитете Вера — специалист по морально-бытовым вопросам. Все на заводе знают ее гневную непримиримость, когда дело касается какого-нибудь аморального поступка. Тарасу тоже известна ее прямота: режет правду-матку невзирая на лица, будь то хоть директор или парторг. Все обиженные шли к ней. Однако Тарасу казалось, что «высокая принципиальность» Кутькиной идет не столько от убеждений, сколько от затаенной обиды на то, что сама она обойдена природой. И Тарас недолюбливал ее. Не нравилось ему, что слишком уж придирчиво она следит за его бригадой, будто поставила себе целью непременно уличить их в каких-нибудь грехах. Генрих даже сказал ей однажды:

— Ты, Вера, можешь думать о нас, что хочешь. Но не забывай, пожалуйста, что мы не ангелы, мы — люди. И молодые к тому же.

Секретарь так и не дождался, пока Кутькина проявит инициативу. Сказал:

— Давай, Вера, ты... выкладывай...

Она недовольно оторвалась от чтения, блеснула очками, покачала головой:

— Ох, либерал! — И повернулась к Тарасу: — Доклад будет короткий. Я требую, чтоб этого твоего пижона Шиковича вызвали на комитет.

— А в чем дело?

— Он обидел девушку. Нину Бойкач.

— Как обидел?

Вера сурово посмотрела на бригадира.

— Не прикидывайся дурачком, Гончаров. Ты прекрасно знаешь, как такой тип может обидеть.

Тарас покраснел. Он всегда чувствовал себя неловко, когда заводили разговоры на такие темы, да еще девушки.

— Она пожаловалась?

— Нет. Но это не имеет значения. Из-за глупой девичьей гордости она никому ничего не говорит.

Но девочки слышат, как она по ночам ревет в подушку.

— А почему ты считаешь, Вера, что такая уж это глупая гордость? — спросил Володя Клетень.

Кутькина долго разглядывала секретаря сквозь свои большие очки, как бы удивляясь, что он мог задать такой вопрос. Потом, как строгая учительница, назидательно проговорила:

— Клетень, тебе не к лицу такая позиция! С тебя спросят... Горком спросит: почему такой человек носит звание члена бригады коммунистического труда? Я до сих пор не знаю, как он попал в бригаду.

— Мы сами его взяли.

— Знаю, что сами. А почему? За какие заслуги?

— Боюсь, что ты, Вера, этого не поймешь,— вздохнул Тарас, как бы сожалея, что до нее не доходят такие простые вещи.

Вера обиделась. Возмущенно крикнула:

— Ты слышишь, Володя? Только они все понимают! Что это, как не зазнайство? Не говорила я, что за бригадой нужен глаз да глаз?

Тарасу хотелось поругаться, но он смолчал. Его волновало другое. Он был против того, чтоб отношения Славика и Нины были сразу вынесены на комитет. Кто знает, что там у них было. Девушка не жалуется, но плачет по ночам и сохнет. Так поможет ли такой разбор? Здесь нужно что-то другое. Но что?

Помимо всего, Тарас боялся, как бы Славик не подумал, что завел это разбирательство он, бригадир, из-за Маши. Конечно, подумает.

Настойчивые ухаживания Славика за Машей доставили Тарасу немало тяжелых часов. В особенности тревожило то, что Маша тянет с ответом на его предложение выйти за него замуж. Но избавиться от Славика — ему и в голову не приходило. А ведь все это может так обернуться, что они станут врагами. И тогда уж в одной бригаде им не быть.

Володе Клетеню можно было бы обо всем рассказать. Но Кутькиной, вот уж нет! Перевернет все вверх ногами, подводя все под свои «высокие принципы».

Тарас сказал:

— Дайте нам сперва самим с ним побеседовать. В бригаде.

Вера подозрительно сощурилась.

— Хотите выработать тактику, как обелить своего любимца? Ой, смотри, Гончаров, затащит он тебя в болото!..

Славик и Генрих пришли последними — дольше других мылись в душе: любили поплескаться.

Генрих знал, по какому поводу собирается бригада. Он, как и Ходас, сразу поверил, что Славик виноват, и разозлился на этого «безответственного щенка». Они вместе работали на сборке автоматического деталесъемщика. Славик был, как никогда, внимателен, усерден. «Ассистировал» без единой ошибки. Но и это не смягчало Генриха. Наоборот! Чтобы найти выход дурному настроению, он все время бубнил одни и те же строчки из песенки:

Миленький ты мой, возьми меня с собой
И в той стране далекой зови меня женой.

Славик сперва не обращал на это внимания, а потом вдруг сказал раздраженно:

— Бабская песня.

— Бабская, бабская,— согласился Генрих.

Славик сразу же, как вошел в комнату общежития, понял, что разговор будет о нем. По какому поводу?

Солидным шагом «руководящего товарища» (Славик научился передразнивать эту походочку) ходил по комнате Иван Ходас, глубоко засунув руки в карманы штанов. Костя развалился на кровати, упершись затылком в стену, где были развешаны фотографии киноактрис, и, красный, возбужденный, следил своими цыганскими глазами за Иваном. Видно было, что они поспорили. Тарас и Лопатин сидели за столом. Лопатин с детским любопытством разглядывал маленькую искусственную елочку, вертел в руках, осторожно касаясь каждой миниатюрной игрушки.

— Скажите, пожалуйста!.. Костя! Сколько стоит?

— Сто рублей.

— Врешь, только что говорил — три. Но и три дорого.

После того как Вера родила сына, Василь стал очень бережлив.

«Нарочно тянут»,— подумал Славик.

Его неоднократно пробирали в школе, на студии, в бригаде. Но никогда он не чувствовал себя так скверно. Он ненавидел этот непонятный страх. Приказал себе быть смелым, дерзким. Но, откровенно говоря, сам сомневался, что ему это удастся.

Генрих подошел к этажерке, взял какую-то книгу, раскрыл и опять замурлыкал:

Миленький ты мой, возьми меня с собой
И в той стране далекой зови меня чужой.

Славик взорвался:

— Не вой! — Но опомнился и сказал с усмешечкой, шутливо: — Что вы расселись, важные, как судьи? Ну, судите.

— И о-су-дим,— с угрозой, сквозь зубы, по слогам процедил Ходас. Остановился перед Славиком, вынул из кармана сжатый кулак.— Бригаду позорить не дадим.

— Хлопцы, ну к чему портить настроение перед Новым годом? — поморщился Костя, взглядом прося товарищей, чтоб они были посдержанней, не ссорились.

Откуда только в нем эта чуткость и доброта!

— Он, может быть, жизнь человеку испортил,— взорвался Ходас.— А ты добренький!.. Христосик!

У Славика похолодело в груди. Пол заколыхался под ногами. Вот оно, пришло... Неужели Нинка забеременела и рассказала обо всем? О ужас!.. На лбу выступил пот. Предательский пот. Вытереть? Нет. Славик пошевелил пальцами, и ему показалось, что они слиплись, будто вымазанные смолой.

— Погоди,— остановил Тарас Ходаса, который готов уже был произнести гневную речь, и спокойно спросил у Славика: — Скажи нам по правде, что у тебя с Нинкой. Девушка плачет по ночам...

— Ты уже спрашивал меня об этом. И я тебе ответил. И тебе ответил! — ткнул Славик пальцем в

сторону Генриха.— Почему же вы мне не верите? Кричите о доверии к человеку, а сами... Лезете в душу, где надо и где не надо...

— Нет, где не надо, не лезем,— сказал Тарас и сдержанно попросил: — Не горячись, пожалуйста.

А Генрих шагнул к Славику и сказал со своей обычной рассудительностью:

— По морали мещанской мы, очевидно, действительно не имеем права лезть в душу, как ты говоришь, когда дело касается твоих отношений с девушкой. По нашей морали, я думаю, имеем это право. Обязаны!

— Да он плюет на нашу мораль! — никак не мог успокоиться Ходас.— У него своя, бродвейская... А мы цацкаемся... Воспитываем... Давно пора гнать!

— А я верю Славику! Разве он нас хоть раз подвел? Был плохим товарищем? — выкрикнул Костя.

Славик хмыкнул.

— Ты наивен, Костя. Разве не видишь, что кое-кому хочется меня выжить.— Он перегнулся через стол к Тарасу, посмотрел ему прямо в лицо, в глаза, оскалился волчонком.— Что? Нашел повод, бригадир? Хочешь отомстить? Так знай... Я люблю Машу!

Все сразу умолкли. Тарас опустил глаза, лоб его побелел, а шея налилась кровью.

«Я так и знал!» — подумал он, но тут же, опомнившись, смело посмотрел на Славика и сказал спокойно и твердо:

— И я люблю Машу. Но мстить тебе... — он покачал головой,— не за что. И не думай, что нам приятно разбирать такие дела. Решаем так,— бригадир порывисто встал, оглядел друзей. Редко у него бывал такой непреклонный вид, обычно он любил посоветоваться, обсудить.— Решаем так... Если ты честен перед Ниной, перед нами, приходи завтра в бригаду и работай. Мы слова больше не скажем. В комитете я улажу... Если же ты совершил подлость и не имеешь мужества сознаться, не приходи.— Он произнес это «не приходи» почти шепотом, но очень четко и очень твердо.— Так будет лучше для тебя. Правды не скроешь. Выгоним с позором!

36

Славик не спал всю ночь. Решил пойти на завод. А вдруг все обойдется? Но когда мать утром стала будить его, объявил, что у него выходной. Долго валялся в постели. На душе скребли кошки. Встал — столкнулся с сестрой. Нарочно, назло объявил, что читал ее дневник.

— Сентиментальная чушь.

Реакция Иры была совершенно непредвиденная. Она взглянула на брата презрительно и во всеуслышание, при матери сказала:

— Подонок ты! Тебе никогда не понять этого!.. Да, я люблю его!

— Да ведь он тебя, дуру, не любит.

— Ну пусть! И пусть! А я люблю! Люблю так, как ты, циник несчастный, не полюбишь никогда. И мне хорошо от моей любви. А ты не трогай ее! Не трогай! — Ей было так «хорошо», что глаза ее наполнились слезами.

Славику стало стыдно. Идиот! Вздумал издеваться — над кем? Никогда еще не просил он у сестры прощения. А тут пробормотал:

— Я не хотел тебя обидеть. Прости...

Это растрогало Валентину Андреевну. Признание дочери, трагедия ее неразделенной любви, неожиданная чуткость сына — как все это отозвалось в материнском сердце! Одновременно и болью и радостью. Замечая, как за последнее время Славик повзрослел, посерьезнел, Валентина Андреевна радовалась и следила за тем, чтоб кто-нибудь невзначай не обидел его напоминанием о прошлом, оберегала от душевной травмы.

Чтобы закрепить мир, решила объединить детей общим приятным делом.

— Славик, в лепешку разбейся, а найди хорошую елку! Что за пренебрежение к Новому году? Доставьте удовольствие мне, если себе не хотите. Ира, сходишь в магазин, прикупишь игрушек. Чтоб к вечеру у нас стояла самая лучшая елка! Будут гости.

Славик обрадовался, что нашелся повод пошататься по городу, чем-то занять себя. Только бы забыть о вчерашнем! Если б можно было забыть! А что, собственно говоря, случилось? Ничего. Его ведь не выгнали. Он может работать. Нет, черта с два! Как вернуться, если не пошел сегодня?

Он хотел заставить себя на все махнуть рукой с циничным равнодушием человека, свободного от условностей. Таким он стремился когда-то быть. Но теперь это не получалось. Произошло что-то непонятное. Если б раньше ему сказали, что ему будет тяжело расстаться с бригадой, он, наверное, беспечно рассмеялся бы. А сейчас, когда он прижился, даже с Ходасом, кажется, поладил, приобрел профессию и полюбил ее... Да, было тяжело, больно, обидно... И он не стыдился этих «банальных» чувств. Остаться на заводе? Но ведь надо идти в другой цех, опять учеником, опять начинать все сначала. Могут даже поставить разнорабочим, разгружать уголь или вывозить из цеха стружку вместе с девчатами, которые только вчера пришли на завод.

Правда, теперь он не думал об этих девушках с пренебрежением. Какую бы черную работу ни делал человек, Славик не взирал на него теперь с высоты своей исключительности. Какая там, к лешему, исключительность! Тоже нашелся сверхчеловек! Он скептически улыбался, вспоминая недавние мысли о своих талантах, избранности, вспоминая игру в разочарованность, неудовлетворенность. Нет, теперь ему хочется одного — быть как все: обыкновенным слесарем-сборщиком — таким, как Костя, как хитрец и насмешник Вареник, как Лопатин, как Тарас, даже как Ходас. Как все они вместе и каждый порознь — со всем тем хорошим, что в них есть, и со всеми их человеческими слабостями. И владеть обыкновенным счастьем — Машиной любовью. Больше ничего ему не надо.

Славик остановился посреди широкой и пустой площади. В дальнем ее конце, у ограды парка, продавали елки. Углубившись в размышления, он совсем забыл, зачем пришел сюда. Увидел елки — вспомнил

и почувствовал, что ничто его не занимает: ни елка, ни Новый год.

А может, пойти к ребятам и честно рассказать им все? И попросить прощения у Нинки. Он почувствовал уважение к девушке, которая по ночам «ревет в подушку», но никому — ни слова. Но ведь стыдно, позорно. Да и как скажешь: «Прости, что я тебя не люблю»? Конечно, он пошляк и действительно не имеет права быть в такой бригаде.

Если б можно было увидеться с Машей! Почему-то казалось, что только она могла бы его понять. Но он сознавал, что теперь у него и вовсе не хватит решимости пойти к ней.

— Что ты привезла палки какие-то вместо елок? — накинулся Славик на молодую краснощекую женщину, которая в тулупе, в валенках сидела на груде крестовин и со вкусом ела свежую булку.— Думаешь, городские — дураки, любую дрянь слопают? Или им, может, денег некуда девать?

— А ты бы позже спал, может тебе сама Снегурочка елку бы принесла,— незлобиво огрызнулась она.— Елки как елки. Кто ж это станет хороший ельник рубить? У тебя елка два дня постояла да на помойку. А из хорошей елочки какое дерево вырастет!

Ее мудрая рассудительность, добродушие и здоровый аппетит как-то удивительно успокоили Славика, даже развеселили, настроили на праздничный лад. Он быстро выбрал елку, рассчитался. Женщина дала еще добрый совет:

— Веток прихвати. Подвяжешь — будет елочка, что кукла!

Славик нес елку — предвкушение праздника, дорогого еще с детства — и старался прогнать прочь грустные мысли. Оставить все заботы старому году! О, если б можно было войти в новый год совсем новым, без всякого прошлого!

Кто-то ухватился сзади за елку, потянул. Шуточки шутят. Он хотел было понатужиться, потом сразу отпустить — пускай грохнется, дурак! Но сзади раздался девичий смех. Славик быстро обернулся. Ему улыбалась Маша. Держала в руке маленькую пушистую елочку — и улыбалась. Красная, как жар, пер-

чатка горела в темной зелени. Искрилась заиндевевшая мальчишеская шапка.

— С наступающим, Славик!

Он так обрадовался, что даже забыл поздравить в ответ. Стоял и блаженно пялился на нее. Потом они шли рядом, несли елки — большую, с редкими ветками, Славика и маленькую, густую, Машину. Как в лесу! Славик действительно шел, как в лесу,— не видел никого вокруг. Болтали о пустяках. Но он все время думал о том, что скоро ей надо повернуть. Она простится и... уйдет. Когда будет другой такой случай? Славик остановился, глубоко вдохнул морозный воздух. Маша со смешинкой в глазах посмотрела на него, как бы догадываясь о его намерениях. Он сказал почти шепотом:

— Я люблю тебя, Маша. Очень люблю!..

И умолк — испугался, что она засмеется. Она не засмеялась, наоборот, вдруг стала серьезной. Ласково прикоснулась огненной перчаткой к борту его пальто.

— Выбрось из головы, Славик. Я выхожу замуж.— И вздохнула.

Слова ее — как удар молота, того, многотонного, что в соседнем механическом цехе. Как-то, наблюдая его работу, Славик подумал: «Чтó было б, если б под молот попал человек...»

«Она выходит замуж. За Тараса. Да, конечно...»

— Ты — дитя, Славик. А я — старуха. Мне двадцать три. И Тарас — замечательный человек!

Все. Теперь все! Нет Маши, нет бригады — ничего нет. Что же делать? Как жить дальше?..

Бросив елку, как ненужную вещь, Славик долго без цели и без мыслей бродил по городу. Сначала не замечал людей. Потом их возбужденные и, казалось, сплошь счастливые лица начали раздражать его. Куда бы уйти, скрыться?

У подъезда редакции стоял отцовский «Москвич». И Славик словно споткнулся о него. Вот он, выход! Уехать куда глаза глядят. Из города! В снежный простор! Лететь, чтоб ветер свистел в ушах! Заехать на край света. Обо всем забыть!..

Отец еще весной запретил ему ездить на машине и отобрал любительские права. Но запасные ключи Славик все-таки носил с собой, на цепочке, в маленьком кармашке брюк. Он носил их с восьмого класса, когда научился водить машину, и очень любил повертеть ключиками перед дружками, перед девушками: все, мол, у нас есть, и все мы умеем!

Шикович-старший спохватился, что нет машины, минут через двадцать. В редакции поднялся переполох. Это же неслыханная наглость. Украсть машину у дверей редакции, среди бела дня, да еще под самый Новый год!.. Возмущенно звонили в милицию по нескольким телефонам — в областное, в городское управление: «Какого черта вы там делаете, когда воры работают у вас под носом?!» Честь милиции была задета, и она проявила необычайную оперативность.

По городу Славик ехал осторожно: везде милиция, особенно на выезде; проверяют каждую машину, возвращающуюся в город, отбирают елки. Он проехал контрольный, строго придерживаясь правил, спокойный и уверенный, с папиросой в зубах. Как добрый знакомый, отсалютовал милиционеру. Но, вырвавшись за город, дал такой газ, что стрелка спидометра переползла цифру «100» и конвульсивно запрыгала, подбираясь временами к «120». Старый, не раз битый «Москвич», казалось, не касался своими облыселыми шинами скользкой дороги.

Славик держался середины шоссе, мчась в лоб встречным машинам. И опытные шоферы в последний момент бросали свои «ГАЗы» и «МАЗы» в сторону, вздымая снежную пыль. Ругались, грозили вслед сумасшедшему кулаком.

Отчаянная скорость пьянила Славика. И чем дальше — тем сильнее. Подпрыгивала, дребезжала машина, кидались под нее голые вербы — и шумело в голове, мелькало и двоилось в глазах. Все неприятности, казалось, отошли куда-то далеко.

В поселке химического завода автоинспектор хотел остановить его за превышение скорости — Славик пролетел мимо. Однако бдительный блюститель дорожного порядка успел заметить номер. Поэтому очень скоро на радость ГАИ там точно знали, в каком направлении гонят украденную машину. На двести километров по магистрали были подняты на ноги все милицейские посты.

Километрах в тридцати от города Славик увидел впереди стоящий на дороге мотоцикл и двух человек в черных тулупах рядом. Он понял, что поджидают его. И тут же представил, что произошло там, в городе. Ну что же, не одному ему страдать. Пусть и самодовольный отец поволнуется за свою «движимую собственность». В последнее время он был слишком веселым.

И Славик помчался прямо на милиционеров. Они не выдержали — отскочили в сторону. В зеркальце Славик видел, как один выхватил пистолет. «Стрелять? Вот это здорово!» Милиционеры вскочили на мотоцикл. Гонятся. И его охватило новое чувство — отчаянный азарт гонки. Он засвистел, загоготал, словно ковбой на коне:

— А ну, поймайте!

Заметив, что мотоцикл отстает, он нарочно сбавил газ, дал им подъехать ближе. Опять увидел в зеркальце, как тот, что в коляске, достал пистолет. Тогда снова рванул вперед, так что из-под колес полетела ледяная пыль.

Милиционеры отстали, зная, что впереди есть другие.

Километров через пятнадцать-двадцать беглеца ждала вторая ловушка.

Навстречу шел «ГАЗ-69». Славик сперва ничего не заподозрил: мало ли встречных машин! Но вдруг, метров за двести, «газик» точно занесло — он стал поперек дороги.

— А-а!..

Славик завыл, как дикарь. Но хватило воли не перекинуть ногу с педали газа на педаль тормоза. До боли впился в баранку. Зажмурился. Не выдержали нервы у милиционера, сидевшего за рулем: рва-

нул машину в кювет. И Славик проскочил и эту засаду. Глянул в зеркальце, увидел, как «газик» выбирается из снега, разворачивается, злорадно крикнул:

— Что, выкусили?!

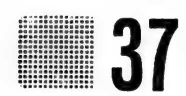
Начальник районной милиции, человек добрый и спокойный, решил:

— Пьяный. Не гони, Петро. Никуда не денется. А то еще разобьется, дурак. — Начальник жалел пьяных, даже преступников.

Но Петра «заело»: какой-то щенок так напугал, стыдно подумать! И он нажал на газ.

Неожиданно Славик почувствовал, что «Москвич» точно обессилел. Нет, стрелка по-прежнему подрагивала около «100». Но все-таки что-то не так. А тут еще вылетел к реке. Крутой-крутой спуск, а на том берегу еще более резкий подъем. И Славика охватил страх. Показалось, что машина с такого разгона не сможет проскочить узкий мостик, что у него не хватит силы удержать руль и он слетит в речку, проломит лед...

Не успел он этого подумать, как нога сама перескочила на тормоз. Но машина, словно разъяренный зверь, вышла из-под его власти. Рванула влево. Он крутнул руль вправо. «Москвич» с бешеной скоростью закружился на месте, оторвался от земли и по спирали поднялся в воздух. Один виток, второй, третий... Стремглав летели подстриженными вершинами вниз старые вербы.



37

Зося, услышав звонок, торопливо открыла дверь. Перед ней стоял Антон Кузьмич. Она ждала его уже несколько дней. Но, увидев, не сумела скрыть смущения. И он чуть смутился.

В руках у него были пакеты. Морозом и снегом, елкой, праздничным запахом покупок и еще чем-то приятным, здоровым пахнуло от него на Зосю. Она

вдохнула все это, и у нее закружилась голова. Отступила с порога. Он вошел, закрыл дверь. Они оказались в полумраке прихожей.

Зося шарила по стене, искала выключатель — и никак не могла найти. Антон Кузьмич через ее голову протянул руку и сразу включил свет, но при этом уронил один из пакетов. Раздался звон разбитого стекла. Зося наклонилась, чтоб поднять пакет. Он сделал то же, и они стукнулись головами. Хорошо, что у него такая мягкая шапка!

Антон Кузьмич засмеялся:

— Это на счастье.

Она не поняла, что «на счастье» — то ли что разбилось что-то, то ли что они стукнулись. Но тоже засмеялась.

Он тут же, в прихожей, произнес несколько торжественно, даже официально:

— Поздравляю вас, Софья Степановна, с наступающим Новым годом. Желаю... Ну, желаю всего самого наилучшего. Рад был бы встретить Новый год вместе с вами. Но не могу. Приглашен. Вот зашел... поздравить... И маленький подарок примите...

Он протянул один из пакетиков.

— Что вы!.. — Но взяла и прижала к груди, как самое дорогое.

Ей следовало предложить ему раздеться, пригласить в комнату. Но она лишь молча стояла перед ним, скрестив на прижатом к груди подарке руки, и боялась поднять голову, взглянуть в его глаза.

Антону Кузьмичу передалось ее волнение.

— Ну, простите,— сказал он.— Еще раз поздравляю. Счастья вам и здоровья... Первая моя забота...

Тогда она раскинула руки, держа в одной подарок за веревочку, как слепая, шагнула к нему — и вдруг припала лицом к холодному пальто, к пахучему меху воротника.

Он растерялся.

— Что вы? — Голос прозвучал мягко, встревоженно.

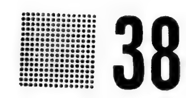
Она ответила не сразу. Подняла голову, глянула, наконец, ему в глаза. Открыто, ясно, как очень близкий человек.

— Я? Ничего.— И так же просто попросила, легко обратившись на «ты»: — Наклонись, я тебя поцелую.

Необычная просьба эта почему-то не удивила Антона Кузьмича. Он, не колеблясь, наклонился и сам поцеловал ее в губы, неловко обняв — мешали пакеты. Видно, ей захотелось в ответ так его поздравить. Что ж, пускай будет так!

А она столь же неожиданно — женщину никогда не поймешь! — выскользнула из его рук, повернулась и, не сказав ни слова, ушла в комнату.

Антон Кузьмич задумчиво постоял в прихожей, потом тихонько, точно в доме спал ребенок, вышел.



38

Они сидели в кабинете Яроша. Кирилл — в старом кожаном кресле, склонившись, закрыв лицо руками; Валентина Андреевна — на краю жесткой больничной кушетки. Нет, она не сидела. Она присаживалась на минуту, на миг и тут же вскакивала, нервно комкая мокрый платочек. Подходила к столу, бесцельно, сама не замечая, переставляла авторучку в виде космической ракеты. Робко прикасалась к черному ящичку тонометра. Одни и те же движения каждый раз. Потом кидалась к приоткрытой двери и напряженно вслушивалась в настороженную тишину больницы. Хотя тишина была не полная. Вверху, над ними, ходили, разговаривали, хлопали дверьми: больные встречали Новый год.

Кирилл сидел не двигаясь. Изредка украдкой поглядывал на жену.

Вот она опять переставила ручку-ракету, как бы стремясь отвести от себя ее угрожающе нацеленное острие. Прошла к двери. Прислушалась.

— Я не могу... Я должна быть там!

Кирилл отнял руки от лица, попросил:

— Не надо, Валя. Операция. Помешаешь...

— Да, да,— сразу покорно согласилась она, прижала платочек к распухшим от слез губам.

Некоторое время было слышно, как тикают на руке у Кирилла часы. А потом опять громко затопали наверху. Кто-то, очевидно, спускался по лестнице на костылях. Валентина Андреевна глухо всхлипнула.

— Если он умрет, я тоже не выживу.

— Ну зачем такие мысли? Не раскисай. Все будет хорошо.

— Хорошо! О боже!.. Хватит с меня твоего оптимизма! Все у тебя хорошо. Это переходит уже в равнодушие. Ко всему. Ко мне. К детям. Все у нас будет хорошо — зачем же ломать голову? Довольно других проблем...— бросила она со злым укором.

Кирилл опять попросил:

— Не надо, Валя. Об этом — потом...

В душе она понимала, что муж прав,— лучше молчать в такой момент. Человек становится суеверным, когда близкий его между жизнью и смертью. Не надо думать о ней, о смерти. Но Валентине Андреевне лезли в голову самые страшные мысли, и ей трудно было сидеть неподвижно, а тем более молчать. Она снова вскочила, снова подошла к столу.

— Нет, это выше моего разумения! Считать себя знатоком человеческих душ, писать умные книги, умные статьи и... не понимать, не знать собственных детей... чем они живут!..

За эти несколько часов после того, как дошло до них трагическое известие, жена уже который раз упрекает его, то мягко, со слезой, то трезво и жестоко. Кирилл, наконец, не выдержал и обронил глухо, беззлобно:

— Учить чужих детей...

Валентина Андреевна повторила его слова, казалось, бессознательно:

— Учить чужих детей...

И, должно быть, осознав их смысл, заговорила с горечью, с болью:

— Да, учить чужих... В том-то и беда! Разве я оправдываю себя? Я хочу разобраться. Почему... почему так получается? Почему ты... мы так мало знали,

так мало интересовались жизнью сына? Да и дочери. Дела, проблемы, поиски, находки... Когда-то ты был просто отец. Дружил с сыном. Ездил с ним на рыбалку, ходил на лыжах... А потом ты только умел накричать на него, даже ударить... А он так легко уязвим. Ты считал его шалопаем. А он вот как... Если уж полюбил... (В кармане Славика нашли неотправленное письмо Маше.) Боже мой! Какая нелепость! Отец поднял на ноги всю милицию, чтоб поймать сына, который...

— Не надо, Валя...

— А что надо? Что нам с тобой теперь надо, Кирилл?!

Она умолкла, замерла в неподвижности.

Снова наступила такая тишина, что слышно было тиканье часов на руке.

И вдруг тишину эту разорвал резкий звонок. Звонил телефон на столе. Они оба с каким-то испугом смотрели на белый аппарат. Наконец Валентина Андреевна схватила трубку.

Говорила Ира. Ее разыскали на институтском балу, чтоб сообщить о несчастье с братом. Узнала голос матери — заплакала: «Что со Славиком?»

Кирилл поразился, как рассудительно и почти спокойно отвечала жена:

— Ничего, Ирочка. Не плачь.— И повторила его слова: — Все будет хорошо. Перевернулась машина. Перелом руки. Антон Кузьмич оперирует... Не пускает? Дай трубку вахтеру.

Она долго и терпеливо уговаривала дежурного разрешить пройти дочери. Но тот был неумолим. Ни просьбы, ни доводы не помогли.

— Подожди там, Ирок. Антон Кузьмич разрешит,— успокаивала она дочку, когда та опять взяла трубку.— Что? Не думай об этом. Я знаю, что ты любишь его.

Валентина Андреевна положила трубку и, совсем обессиленная, опустилась на кушетку.

— Как жестоки люди! Этот старик — прямо чурбан! «Не могу» — и все!

— Он выполняет свои обязанности.

После долгой паузы она сказала:

— Бедная девочка! Она сейчас так мучается из-за того, что они ссорились.

Валентина Андреевна заплакала, по-детски всхлипывая.

— Не надо, Валя. Ты же сама сказала: все будет хорошо.

— Оставь, пожалуйста!

Снова они сидели молча. Думали об одном.

Шаги в коридоре — быстрые, легкие, и все же от поступи этой, казалось, дрожат стены и звенят стекла. Ярош!

Оба сразу вскочили. Ждали, как верховного судью,— со страхом и надеждой.

Антон Кузьмич в дверях привычным движением сдвинул повязку на подбородок. Вид его, суровый и величественный в белой шапочке и желтоватом халате, испугал Валентину Андреевну. Она застыла с немым вопросом на лице, в глазах.

— Ничего. Организм молодой, здоровый. Оперировали своевременно. Справится.

Мать обрадовал его бодрый голос, его уверенность, но в то же время неприятно поразило: лучший друг семьи говорит о Славике, как об обычном больном.

— Меня беспокоила рана на голове. Но она пустяковая. Рассек, очевидно, козырьком. А так — сломано всего три ребра.

«Всего!» — ужаснулась Валентина Андреевна.

— ...Перелом руки... Шок. Травматический. Это нам не очень нравится, но ничего. Пустим в ход все средства.— Ярош тяжело опустился, даже застонали пружины, в кресло, где только что сидел Кирилл, закинул ногу на ногу, достал из-под халата часы, глянул: — О-о! С Новым годом, друзья мои!

— С Новым...— горько улыбнулась Валентина Андреевна.

— Не вешай нос, Валя. Пришел Новый год, придут и новые радости. Надо нам с тобой, Кирилл, хоть спирта по мензурке хлопнуть в честь Нового года.

— Надо,— хмуро согласился Шикович.

Валентина Андреевна, которая отнюдь не была ханжой, в этот момент готова была возненавидеть их — и мужа и доктора, который спас ее сына,— за то,

что сейчас, когда Славик, может быть, на волосок от смерти, они могут думать о спирте. Кощунство!..

— Туда можно, Антон Кузьмич?

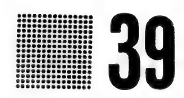
— Нельзя. Накладывают швы. Перевязывают. Зачем матери смотреть на это? Скоро его перевезут в палату.

— Ты неумолим.

— Я неумолим. Попироска есть, Кирилл?

Зная, что Ярош курит только в исключительных случаях, Валентина Андреевна вдруг поняла, какой нелегкой для него была операция, и тут же простила и спирт и равнодушно-грубоватый тон.

В коридоре послышались шаги, зашуршали шины хирургической коляски. Мать бросилась к двери. Люди в белом провезли коляску мимо нее. Она не увидела Славика — одни бинты. Ужаснулась, но не закричала, не заплакала. Молча, осторожно ступая, пошла следом. В дверях послеоперационной палаты ее руку сжала чья-то ласковая, нежная и холодная рука. Валентина Андреевна повернула голову. Знакомые глаза смотрели на нее с мягким сочувствием — тем мудрым женским сочувствием, которое не углубляет боль, не растравляет раны, а приносит успокоение и надежду: рядом добрые люди, они отгонят беду.



39

Последней мыслью было: «Только б не загорелось! И не заклинило б дверцы».

Правда, в милицейской машине Славик пришел в себя и стал громко ругать милицию. Даже попытался выскочить из машины, чем очень рассердил добродушного начальника. А потом наступила другая фаза шока: полное безразличие ко всему на свете. Врач районной больницы безошибочно поставила диагноз и встревожилась за жизнь пациента, хотя ей и сказали, что это известный вор-рецидивист, который умело

притворяется: полчаса назад кричал и рвался из машины, а теперь, вишь, лежит, будто неживой.

...Славик в бреду. Горит машина. Он пытается отворить дверцу, но ее заклинило. Как же выбраться из этой пылающей мышеловки? Разбить стекло? Ветровое стекло! Но что с рукой? Он не может ее поднять — как бревно. Неужто у него не хватит сил разбить стекло? Позвать на помощь. Кого? Милицию? Нет, он никого не станет звать! Но пламя ближе, оно жжет, гудит в ушах.

— Ма-ма!..

— Сынок! Сыночка! Я здесь, с тобой. Успокойся.

И вдруг — тишина. Нет жара, не гудит пламя. Снежная белизна перед глазами. А, его выкинуло из машины! Так это же отлично! Наглотаться снегу, встать на ноги — и бывайте здоровы! Вода сама льется в рот. Ах, речка! Речка, которую ему не удалось проскочить. Но ведь он отличный пловец.

Так повторялось раз за разом. А потом он увидел глаза матери, ее лицо, родное, ласковое. Радость в ее глазах, светившаяся сквозь слезы, доброта улыбки затопили его горячей волной неведомой до сих пор нежности к матери, благодарности ей. Это она, мать, спасла его. Она первая явилась, когда он оказался в беде. А может быть, это ему только чудится? Может быть, ему просто хочется, чтоб мама была здесь, рядом? Он пробует поднять руку, чтоб коснуться ее. Запекшиеся губы еле шевелятся.

— Ма-ма!..

Он, в бинтах, не слышит, но по движению ее губ догадывается, что мать говорит:

— Глупенький мой! Разве так можно?

Нет, он не бредит. Мать действительно рядом. Славик сразу вспоминает все, даже санитарный самолет, Яроша и Машу. Догадывается, что потом была операция. И вот он жив. Это немаловажное обстоятельство наполняет его такой радостью, что, если б были силы, он, верно, загоготал бы, закричал на всю больницу, на весь мир.

Валентина Андреевна была бесконечно благодарна Маше за то, что та осталась в больнице в праздничный первый день Нового года и не только помогала дежур-

ному врачу и сестрам, а взяла все в свои руки, поддерживала связь с Ярошем. Никто ее, операционную сестру, не заставлял здесь сидеть.

Каждая мать при любых обстоятельствах думает о счастье своих детей, об их будущем. Валентина Андреевна почувствовала, что с радостью назвала бы эту «золотую девушку» своей дочерью. Но не суждено. Не выходя двое суток из палаты, они переговорили обо всем на свете, и Маша все рассказала ей. «Почему им так не повезло в любви, моим детям?» — с горечью думала мать.

На третью ночь Маша заставила обессилевшую женщину прилечь у Яроша в кабинете. Сама осталась в палате. Славик застонал от боли и проснулся. Увидев, что ночь (горел только синий ночничок), встревожился спросонок. Маша зажгла настольную лампу, склонилась над ним. Он удивился и обрадовался.

— Дать попить?

Жадно пил. Потом потянулся губами, чтоб поцеловать ее руку.

Она погрозила ему пальцем.

— Не двигайся — будет больно.

— Ты вышла замуж? — спросил он.

— Нет.

— Не уходи от меня.

Второго января после работы пришли ребята — вся бригада. Их не пустили. Маша вышла к ним в вестибюль. Ребята приветствовали ее радостным гомоном. Генрих пошутил:

— Хорошо везде иметь своего человека.

— Как там наш автолюбитель?

— Передай, чтоб поправлялся поскорее. О разговоре нашем пусть забудет. Ничего не было. Обязательно передай!

Маша поняла.

— Вы хотели выгнать его из бригады?!

И увидела, как смутился Тарас, словно это он виноват. Вообще он был молчалив, неприметен среди друзей; больше, чем все остальные, опечален. Маша пожалела его, а потом и себя. Взгрустнулось на миг, словно предстояло ей проститься с чем-то очень дорогим.

40

Ярош и Маша вместе вышли из больницы. Окончился рабочий день, довольно напряженный — были операции, всегда утомительные. Славик чувствовал себя хорошо, даже мать, наконец, доверила его дежурным сестрам и санитаркам.

До автобусной остановки шли молча. Морозное солнце, казалось, излучало не тепло, а холод. Снег под ногами звенел на сотни ладов. Маша сказала:

— Сегодня буду встречать Новый год. Ох, и погуляю!.. Как там Зося? Вчера я забегала на часок, так она кислая какая-то была. Заскучала.

Антон Кузьмич понял ее слова как приглашение вместе отпраздновать Новый год, однако промолчал. Утром он обещал Вите и Наташе отправиться с ними на лыжах за город. Но к вечеру похолодало. Вряд ли стоит в такой мороз выходить с детьми в поле. Мать, наверное, будет против.

В последние дни атмосфера в доме стала легче. Правда, жена шла на примирение осторожно. Может быть, хитрила, чтоб, не признав себя виновной, потихоньку сгладить конфликт. Раньше Антон Кузьмич старался всегда помириться как можно скорей. Теперь же не торопил событий, однако ничем и не мешал им. Пусть все идет своим чередом. Может быть, так даже лучше в их годы: меньше горячих признаний в любви — меньше будет «трагедий ревности» и ссор. Он просто устал от всего этого. Сколько энергии и нервов приходится тратить на глупости! Когда же люди научатся понимать друг друга — в политике, в науке, в искусстве, в семье, в быту, в большом и малом? А может быть, оно и не нужно, такое идеальное взаимопонимание? Скучно будет. Борьба противоположностей — закон жизни и движения. Любовь и ненависть, любовь и ревность, тепло и холод...

Много разных мыслей роилось в голове, пока Антон Кузьмич, уже один, шел от автобуса домой по тихой улице, где снег лежал с начала зимы.

Жена встретила приветливее, чем проводила утром.

— Вот хорошо, что ты так рано сегодня! А я точно знала, у меня уже готов обед.

Еще один шаг. Ну что ж, тем лучше: для его работы в клинике и над диссертацией дома спокойствие всего дороже. Надо и ему сделать какой-то шаг навстречу.

Он разделся и, помыв в ванной руки, заглянул на кухню, шутливо потянул носом воздух:

— Отгадать?

Это его старый фокус — по запаху отгадать, что готовится на обед. Жена засмеялась.

— Не отгадаешь.

И вдруг — телефонный звонок. Он вышел в коридор, взял трубку.

До Галины Адамовны донесся его встревоженный голос:

— Что случилось?.. Бросьте шутки!.. Хорошо. Еду.

Галина Адамовна выглянула из кухни. Муж поспешно надевал пальто. Она осторожно спросила:

— В отделении что-нибудь?

— Нет. Звонила Маша. Просит сейчас же приехать. Очевидно, что-то с Савич.— Он застегивал пуговицы, руки его дрожали.

«Как он волнуется!» — Галина шагнула к нему.

— Можно, я с тобой?

— Зачем? — спросил он с суровым удивлением.

Она попятилась, сжалась, словно он замахнулся на нее.

Дверь за ним со стуком захлопнулась. А она все стояла как онемелая.

Он вернулся неожиданно быстро, через какой-нибудь час, который, однако, показался ей самым мучительным в жизни.

Она услышала его тяжелые шаги на лестнице. Очень тяжелые. Так он ходил лишь, когда сильно уставал. Открыл дверь своим ключом — открывал долго, царапая замок, будто не мог попасть ключом в скважину. Она не бросилась помочь — стояла, не двигаясь, и напряженно ждала.

Антон, наконец, вошел. Мимоходом глянул на жену и стал раздеваться. Снял свою «боярку». Положил ее аккуратно на полочку вешалки. Медленно расстегивал пуговицы, разматывал красный шарф. И все это молча. Галина не спрашивала: «Что там, что случилось?» — боялась. Но что же все-таки случилось? Если б Савич было худо, он не вернулся бы так скоро: покуда отвез бы в клинику, устроил, помог... Если б умерла, не так бы он вел себя, нет. Он как-то странно, устало спокоен.

Разделся, заглянул в зеркало, провел ладонями по лицу, пригладил волосы. Направился в комнату. Проходя мимо пианино, ударил пальцем по клавише: бас глухо загудел. Постоял у окна. Повернулся, увидел, что Галина стоит на пороге, с немым вопросом в глазах, и сразу стал обычным, только усмехнулся так, будто сам себя презирал. Сказал спокойно, без гнева, без горечи:

— Можешь радоваться. Ты своей глупой ревностью выгнала человека из дому... Больного. После такой операции!..

— Кого?

— Кого! Софью Савич.

— Я выгнала?! Куда?

— Знал бы я — куда! В том-то и беда, что не знает ни Маша, никто... Пока мы занимались Славиком, она уехала. Куда? — задумчиво повторил он.— У нее нет никого близких. На дворе — лютая зима...

«Просто так, без причины, не исчезают»,— хотелось сказать Галине Адамовне, потому что у нее мгновенно возникло подозрение, не хитрость ли это. Но сдержалась. Слишком уж необычным — никогда таким его не видела! — показался муж. Спросила мягко:

— Откуда тебе известно, что она уехала из-за моей ревности?

Антон Кузьмич вынул из кармана пиджака синий конверт, молча положил на стол.

Самообладание оставило женщину. Она бросилась к столу, схватила конверт, дрожащими руками выдернула, точно из огня, письмо. Сперва окинула весь текст одним лихорадочным взглядом. Потом, забыв, что муж следит за ней, прочитала скороговоркой вполголоса:

— «Антон Кузьмич! Как мне обращаться к Вам? Дорогой мой товарищ, дорогой человек, друг и брат! Вы вернули мне жизнь. Какое спасибо нужно сказать за одно это! Но Вы вернули не только жизнь, Вы вернули мне веру в людей, в их доброту. У меня нет слов, чтоб выразить все то, что я чувствую к Вам. Да и не стоит это делать. Я могла бы сказать, что люблю Вас, а это не все правильно поймут. Спасибо Вам за все, за все — вот слова, идущие из глубины сердца, которое Вы держали на ладони! Спасибо!

Недавно я узнала, что из-за меня у Вас неприятности в семье. Боже мой! Чтоб из-за меня Вы огорчались, теряли спокойствие и твердость руки, которая спасает людей. Да лучше мне умереть! Нет, не бойтесь. Я не умру. Теперь я не умру... Теперь мне очень хочется жить, когда я поверила, увидела, что вокруг много хороших, сердечных людей и мир так хорош. Не тревожьтесь. Не ищите меня. Я буду далеко. Может быть, потом я пришлю весточку. Успокойте Машу. Если бы Вы знали, как мне тяжело оставлять всех вас! Передайте привет Кириллу Васильевичу... Спасибо ему за то, что он сделал для меня и особенно для памяти отца моего. Прощайте, Добрый Человек. Позвольте мысленно обнять и поцеловать Вас.

С. Савич».

Галина Адамовна глотала строчки. В сердце хлынула волна благодарности к женщине, которую, кстати сказать, она так и не видела. Конечно, Зося Савич любила ее мужа и понимала, что это может привести к беде... А ведь она хлебнула горя полной мерой. Отсюда благородство! Истинное. Без фальши, без позы. Самоотверженное. Так могла поступить только женщина, которая любит его не менее сильно, чем она, Галина. Но теперь в ней нет ни ревности, ни злобы. Она благодарна той, другой, и по-женски жалеет ее.

«В самом деле, куда она могла уехать в такую пору?» — Галина Адамовна поглядела на окно — мороз заткал стекла причудливыми узорами. Ей стало холодно. За спиной ее Антон проговорил:

— Стыд! Какой стыд!..— Он сидел за столом, тер ладонью широкий лоб.

Теперь Галина Адамовна и мужа прекрасно понимала и тоже пожалела. Подошла неслышно, мягко положила руки на сильные его плечи. Помолчала. Он тоже словно затаился, словно ожидал, что будет дальше.

— Тебе тяжело?

— Мне стыдно.

— Ты любишь ее?

Он передернул плечами, точно хотел сбросить ее руки.

— Опять ты со своими глупостями. Да пойми ты, наконец, что это нелепо...

Слова эти надо бы крикнуть, а он говорил тихо, усталым голосом, не в состоянии был даже возмутиться в полную силу. Да и к чему?

Она прижалась щекой к его голове, вдохнула знакомый, родной запах волос, и лицо ее засияло от счастья.

— Если бы ты знал, как я люблю тебя, ты не называл бы это глупостью, ты понял бы...

— Я знаю, как ты любишь меня. Но пора бы уж твоей любви стать умнее.

— Любовь никогда не бывает умной,— ответила она старой книжной истиной.

А ему, умудренному жизнью, эти слова показались почти откровением. Он подумал: «А правда — существует ли она, умная любовь?»

Она боялась шевельнуться, словно счастье могло упорхнуть или выплеснуться через край. А она дорожила каждой его каплей.

Они долго молчали. Говорят, мозг излучает электрические импульсы. Если б Галина Адамовна обладала способностью улавливать их, то обнаружила бы, что мозг его в эту минуту стал радиотелескопом, разыскивающим в бескрайности Вселенной потерянную звездочку. Где она? Куда скрылась?

Наконец Галина Адамовна спросила:

— Будем обедать?

— Будем обедать.

Она оторвалась от него, выдвинула ящик серванта, вынула белоснежную скатерть, одним взмахом покрыла стол. Антон Кузьмич встал, чтоб не мешать, отошел

к окну. Жена выбежала на кухню, мигом вернулась с тарелками, с приборами.

— Мы не встречали Новый год.

— Не встречали.

Он не видел, как она исчезала и появлялась вновь. Когда-то он любовался ловкостью жены в работе: все горело у нее в руках. Теперь он думал о другом.

— У нас не тронут весь новогодний запас вина. Что ты будешь пить?

— Все равно.

— Шампанское?

— Лучше — коньяк.

— Может быть, позвать Кирилла?

— Как хочешь.

— Нет. Я хочу быть с тобой, чтоб никто не мешал. Дети ушли на каток. Им хотелось за город, но они не понадеялись, что ты так рано придешь.

— К ночи подморозило.

— Да... Пятнадцать уже.

— В поле, наверно, больше.

— Натка, коза упрямая, легко одета. Боюсь, не простудилась бы.

— Наташа не простудится.

— Прошу вас, доктор, к столу.

За несколько минут она красиво сервировала стол. У этой женщины — свой талант: она хорошая мать и хозяйка. Каждому — свое.

Они сели за стол друг против друга. Галина неотрывно, с нежностью и умилением глядела на него. Это умиление смутило Яроша. Он отвел глаза и занялся бутылками. Долго откупоривал бутылку с коньяком. Еще дольше, с особой осторожностью — не залить бы скатерть! — шампанское.

Галина любовалась его большими красивыми руками, точными движениями.

Он налил шампанское в высокие бокалы. Зашипела пена. Лопаясь стреляли пахучими брызгами пузырьки.

— За наших детей! — первая предложила тост Галина Адамовна, от всего материнского сердца, но и не без женской хитрости.

— За наших детей.

Наташа тихо открыла дверь (у каждого из них свой ключ, потому что уходят и приходят они в разное время), тихо положила коньки, зная, что мать не любит, когда стучат, а она в последнее время очень нервна. И вдруг поверх занавесок на стеклянной двери девочка увидела, что мать и отец сидят за столом и... чокаются.

Помирились!

Для нее — это лучший новогодний подарок. С детской непосредственностью она влетела в комнату, когда они только пригубили бокалы, удивив их — откуда взялась? — подбежала к отцу, обняла, крепко поцеловала.

— Я люблю тебя, папа! Ты хороший, ты умный! — Потом, как белка, прыгнула к матери, поцеловала и ее.— И тебя люблю, мама! — Закружилась по комнате, как на катке, грациозная в своих синих брючках, в красном свитере и такой же красной шапочке.— Я люблю вас! Я всех на свете люблю! Всех хороших людей!

Ярош засмеялся, радуясь, что дочка с ними.

— Выпьем за хороших детей. И за хороших людей!

И снова подумал о Зосе. Где она? Куда могла уехать в такую пору?..

Об авторе и его романе

«Сердце на ладони» — так назвал белорусский писатель Иван Шамякин свой новый роман. Там в одной из сцен хирург действительно держит на ладони живое, трепещущее человеческое сердце.

Но смысл названия не в этом. Герои романа возвращают не только здоровье живым, но и добрые имена тем, кто честно боролся в подполье и партизанских отрядах во время войны, погиб смертью храбрых, но был несправедливо предан забвению в период культа личности.

Тема партизанской и подпольной борьбы в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны не новая в творчестве писателя. Ей целиком был посвящен первый роман — «Глубокое течение» (1949), сразу же завоевавший признание широкого читателя.

Ивану Петровичу Шамякину есть о чем рассказать. С юных лет он в гуще жизни. Студент-комсомолец, сельский учитель, в двадцать лет фронтовик, прошедший с боями до самого Берлина,— вот его путь до того, как он взялся за перо.

Первая творческая удача не вскружила голову, и молодой писатель, ощущающий нехватку знаний, садится за парту Высшей партийной школы в Минске.

Шамякин родился и вырос в деревне, и она всегда тянула его к себе. Даже во время учебы он часто бывал в селах, близко к сердцу принимал колхозные дела. Вот почему с таким душевным волнением в романе «Криницы» (1956) Шамякин рассказал о больших изменениях в колхозном селе после исторического сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года, а в тетралогии «Тревожное счастье» (1960) поведал историю своей юности.

Но круг интересов писателя все время расширяется. Роман «Сердце на ладони» написан уже на новом материале. В нем появляются новые герои — труженики города, главным образом наша советская интеллигенция.

Роман получился яркий, добротный. Острый и занимательный сюжет произведения, его образная ткань приковывают внимание так, что читаешь не отрываясь.

Интересен образ врача-хирурга Антона Яроша, который воплощает в себе лучшие черты нашего современника. В годы юности, во время гитлеровской оккупации, Ярош — активный участник подпольной борьбы. Он кристально чистый коммунист, стремящийся к правде, всего себя отдающий народу. Образ Яроша выписан любовно, тепло. В его характере много неожиданного и сложного, но побеждает главное — целеустремленность.

Удачен и образ журналиста Кирилла Шиковича. Поняв, что председатель горисполкома Гукан, которому он раньше помог написать книгу о партизанском движении и подполье, исказил действительную картину борьбы, Шикович решительно берется за восстановление истины.

Воспитанный в атмосфере подозрительности и недоверия к человеку, Гукан ради своего личного благополучия оклеветал ни в чем не повинных людей. Разоблачение и поражение его, показанное с большой психологической убедительностью, естественно и закономерно в наше время, после XX съезда Коммунистической партии.

Почти все события в романе так или иначе связаны с судьбой доктора Савича, скромного человека, выполнявшего в подполье огромную работу, сознательно шедшего на смертный подвиг и погибшего во имя Родины. Обаятелен образ его дочери Зоси, смелой и самоотверженной девушки, стойко выдержавшей тяжелые испытания, выпавшие на ее долю.

Героическое прошлое в произведении органически переплетено с не менее героическими событиями наших дней. Мы видим настоящих рабочих парней, поставивших перед собой благородную задачу — жить и работать по-коммунистически. Каждый из них чувствует большую ответственность за своих товарищей. Под их влиянием Славик Шикович, возомнивший себя «исключительной» личностью, начинает серьезней относиться к жизни, ищет свое место в ней.

Роман «Сердце на ладони» — произведение о душевной чуткости, о людях, чьи сердца открыты настежь.

Петрусь Бровка

Шамякин Иван.

Сердце на ладони. Роман. Минск, «Беларусь», 1966
428 с. Бел2

Издательство «Беларусь» Государственного комитета Совета Министров Белорусской ССР по печати. Редакция художественной литературы.
Минск 1966

Редактор *О. Крайко*
Художник *А. Кошкуревич*
Художественный редактор *Н. Широков*
Технический редактор *Я. Шляшинская*
Корректоры *Н. Лебедева, Г. Славинская*

Сдано в набор и подписано к печати 29/XI 1965 г. Тираж 100 000 экз. Формат 84×108 1/32. Физ. печ. л. 13,38. Усл. печ. л. 22,47. Уч.-изд. л. 25,54.
Зак. 1238. Цена 90 коп.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа
Государственного комитета Совета Министров
Белорусской ССР по печати.
Минск, Красная, 23.

50 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „БЕЛАРУСЬ“


Иван Шамякин
Сердце на ладони